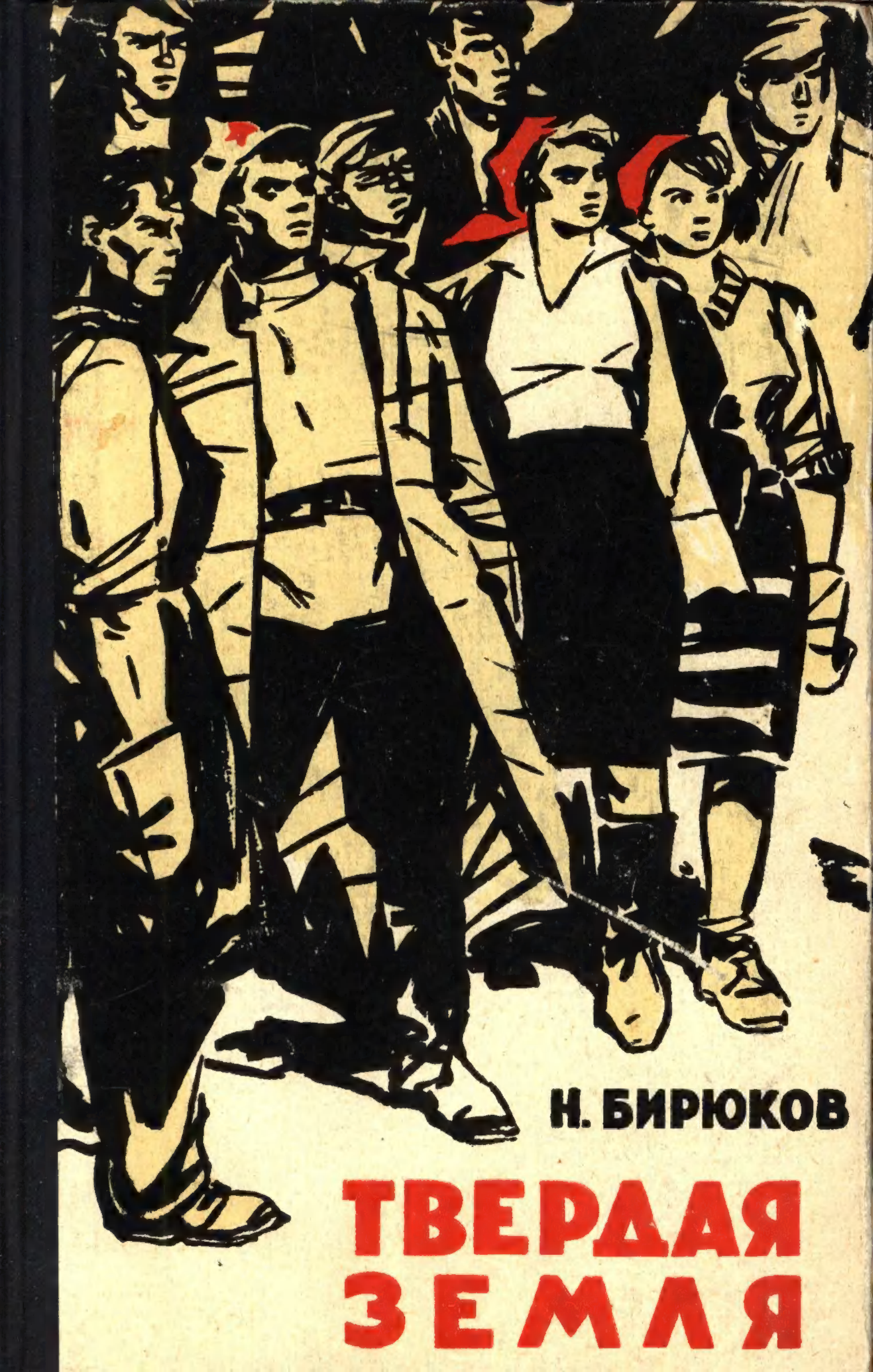

Н. БИРЮКОВ
ТВЕРДАЯ
ЗЕМЛЯ


Н. БИРЮКОВ
ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ
РОМАН
ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРЫМ"
Симферополь · 1964

Р2
Б64

«Твердая земля» Николая Бирюкова — одна из частей многотомной эпопеи, посвященной изображению жизни русского народа, начиная с 60-х годов прошлого столетия до суровых дней Великой Отечественной войны. В эпопею входят уже известные советскому читателю повести «Первый гром», «Вихри враждебные» и «В Отрадном», объединенные в трилогию «Сквозь вихри враждебные», «Воды Нарына», а также знаменитая «Чайка», завоевавшая всенародное признание и переведенная на многие языки у нас и за рубежом.

Хронологически роман «Твердая земля» следует за трилогией «Сквозь вихри враждебные». С большой теплотой изображены в романе его основные герои: чекист Степан Орлов, его сын Илья — комсомольский вожак, сестра Степана передовая ткачиха Лукерья, дочь Степана Елена, уехавшая строить Турксиб, его второй сын Василий, участник боев на сопках Маньчжурии.

С гневом изобличает автор книги происки иностранной разведки и лагеря белоэмигрантов, стремившихся путем диверсий и шпионажа подорвать успехи первой пятилетки. В последней части романа показан крах контрреволюционного заговора, опрокинутого мощным трудовым порывом народа, строящего социализм.

В целях более яркого изображения перечисленных событий в книге допущены отдельные смещения исторических фактов, присутствует художественный домысел в изложении некоторых эпизодов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Весной 1928 года

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В наспех надетой жакетке Наташа сбежала со ступенек.

На дощатом тротуаре сидели и лежали мужики. Из-под курток и кожухов их выглядывали узелки, из мешков—топоры, пилы... Строители! Одни жевали что-то, другие курили, затягиваясь самокрутками до кашля. Некоторые спали. Цепочкой растянувшиеся торговки зазывали: «Огурчики соленые!.. Яблочки моченые!..» «Кому квасу?»... «Лепешки горячие!»... — Охрипшие голоса их сливались с выкриками извозчиков, цоканьем копыт, гудками автомобилей и разноголосым говором.

На остановке у Красных ворот сновали мальчишки с не распроданными за день газетами.

— «Известия»!.. «Рабочая Москва»!.. «Комсомольская правда»!..

— Забастовка текстильщиков в Лодзи...

— Материалы восьмого съезда ВЛКСМ...

— Пуанкаре грозит... Пуанкаре берет под защиту шахтинцев....

Наташа остановилась.

Опубликованное в марте сообщение Прокуратуры СССР о раскрытии контрреволюционной организации в Шахтах было очень кратким: «арестовали, ведется следствие» — и все! Спецы... Слуги бывших хозяев. Но только ли спецы? Читаешь газеты, и думается — чекисты не в Донбассе, а *там* на осиное гнездо наступили: Пилсудский прервал свой отдых и — в Бухарест; офицеры румынского генштаба — в Варшаву, туда же — передавали вчера по радио — направляется фран-

цузский генерал Лерон, а другой заправила французского командования — генерал Шарни выехал в Прибалтику. — Чего они, как ошпаренные, заметались?

Пуанкаре? В сегодняшнем номере «Комсомольской правды» о Пуанкаре ничего не было. Надо бы взять «Известия», но к остановке уже подошел 31-й номер. Вместе с ней на площадку трамвая втиснулась девушка в красной косынке и брезентовой спецовке — синеглазая, с темным румянцем на обветренном лице. Купив билет, она неторопливо завязала сдачу в уголок носового платка, сквозь паутину трамвайных проводов оглядела безоблачное небо и, вздохнув полной грудью, засмеялась:

— Какая весна, а?

Наташа понимающе кивнула: ей самой весна этого года казалась необыкновенной с первых же дней ее, когда в газетах началась дискуссия о выдвинутом партией пятилетнем плане индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства... Не отдавала себе ясного отчета, как это будет, но сердцем чуяла — все придет в движение, словно река в ледоход, все! Поднимутся и эти вот пензенцы, орловцы, калужане, что лежат сейчас, будто бездомные бродяги, на затоптанных и запыленных тротуарах, отшвырнут расфранченных дамочек с кавалерами и пойдут, пойдут — тоже, как стремительная река, — в шахты, на стройки, а может быть, и домой, чтобы сказать там мироедам: «А ну... прочь с земли!»

Каждое утро брала она газеты с тревожным и радостным ожиданием — не началось ли?

Обостряющееся положение в деревне, кулацкий террор, раскрытие шахтинского заговора — все это говорило за то, что борьба предстоит ожесточенная. Может быть, как в годы гражданской войны, заговорят орудия и винтовки? Ну что же! Пусть поручат ей самое трудное, самое опасное дело, и она докажет, что несправедливо записали в ее комсомольское дело выговор. Лишь бы находиться среди своих людей... Завмаг! Это она-то, дочь Максима Перова и племянница Степана Орлова!.. И кто же еще, как не съезд ВЛКСМ, подскажет, какое место занять ей в начинающемся наступлении?

Вот почему такая досада была у нее на Илью. Думалось, если не на все дни съезда, то на самые значительные брат раздобудет для нее гостевые билеты, и об остальных тоже она будет узнавать раньше газет, не даст ему заснуть, пока все-все не расскажет, а Илья даже и на глаза не показался, да и в гостинице его не поймаешь. Звонила и рано утром, и днем, и поздним вечером — то он в МК, то в ЦК, в редакции «Комсомольской правды», на съезде. Спасибо Крамскому — надоумил.

«Многоуважаемая Лукерья Петровна! — обращался он к матери в своем письме, доставленном сегодня с утренней почтой. — Простите великодушно за беспокойство. Пишет вам дядя Анны — Крамской Игорь Борисович. Так получилось, что я давно ничего не знаю о ней, но слышал, что она с семьей живет в Орехово-Зуеве, а муж ее — Степан Петрович — и работает и живет в Москве. Так ли это? Убедительнейше прошу вас сообщить мне координаты Степана Петровича и лучше не письменно, а по телефону»... И в конце два телефонных номера — служебный и домашний.

«Позвони, раз просит, — сказала мать. — Было, мол, так, а теперь по-другому, и Степан уже не в Москве, так и скажи — Зуево, улица Володарского».

Позвонила из своего магазина, дома профессора не оказалось, а в академии к телефону подошел какой-то аспирант, ему она и продиктовала адрес, но днем пришло письмо от Лены: «Наташенька, получай новость — перебираемся на Англичанку!»

— Может быть, уже и перебрались, — предположила вернувшаяся со смены мать, — перезвони этому профессору-то, пускай прямо в заводоуправление едет, а там уж сам разберется — то ли в Зуеве, то ли на Англичанке их искать.

— Я хочу Илюше его письмо показать, — сложилось у нее решение поехать и встретить брата у дверей Дома Союзов.

— Весна! — повторила девушка в спецовке. Сияющие глаза ее не пропускали ни одной вывески, ни одной витрины.

— Первый раз в Москве? — спросила кондукторша.

— Какое там первый! Я уже с полгода как москвичка, да разве на нее налюбуешься — вон деревца-то

какие, словно кто подстриг их!.. А там что такое? Тетенька, прими малость голову.

Женщина, которую она тронула за шляпку, смерила ее взглядом.

— Старая, а какая вредная! — удивилась девушка.

Наташа рассмеялась.

— К Дому Союзов?

— Туда.

— С билетом?

— Если бы с билетом! Так хоть... снаружи посмотрю, а может, увижу кого из знакомых, и в зал проведут.

— А есть такие знакомые?

— Родня даже. Он... «Комсомолку» читаешь? В ней часто статьи его бывают, Орлов.

— Кто-кто?

— Илья Орлов. А ты что, тоже знакома с ним?

— Немножко, — улыбнулась Наташа, — брат мой.

— Лена? — изумилась девушка.

— Наташа.

— Постой, постой, Перова?

— Перова.

— Вот здорово! А я ведь Илюшино письмо, в котором он твой адрес прописал, наверное, в деревне оставила, искала-искала — нет. — Девушка взглянула на все еще недоумевавшую Наташу и рассмеялась.

— Я из Отрадного.

— Маша?

А Маша уже обняла ее, и пока они пробирались на переднюю площадку, успела рассказать, что работает в депо «Москва-Товарная», в Москву приехала, чтобы поступить на рабфак, да без путевки ее не допустили к экзаменам, но этой осенью поступит обязательно: обещали посодействовать ей и комсомол и один очень большой человек, который, сказывают, и придумал для таких, как она, эти рабфаки.

— А где же ты живешь, Машенька? — поправляя сбившийся берет, спросила Наташа.

— В Люберцах.

— И целые полгода таилась! Ну, наш адрес потеряла, а Орловых-то в Орехове разве трудно отыскать?

— Все время собиралась съездить туда... — Маша огорченно вздохнула, — времени нет, Наташенька! Нет

даже на то, чтобы Москву хорошенько посмотреть, я ведь в вечернюю школу хожу и старостой в общежитии. А позавчера был у нас в депо товарищ один из Московского комитета, разговорились — от него узнала, что Илюша на съезде... Приехали! Вот и Дом Союзов!

Они спрыгнули с подножки и сразу оказались в потоке молодежи.

— Красиво-то как! — шепнула Маша, любуясь увитыми кумачом колоннами. — И окна под цвет — как пожар!

Но Наташа мельком взглянула на окна второго этажа, которые от лучей заходящего солнца в самом деле полыхали, словно подожженные. Как же она не подумала, что у Дома Союзов много входов!

— Ты иди к первым дверям, а я вон к тем, — догадавшись, что смутило ее, предложила Маша. — Только... он не очень изменился, Илюша-то? Я ведь его мальчишкой знала, да и сама-то была тогда вот такой — от горшка два вершка.

— Узнаешь, — сказала Наташа.

Оглядывая толпу, она пробралась к зданию и встала так, чтобы видеть и первые и вторые двери.

У первых кто-то ругал Гастева, называя его «фордовским граммофоном», наверное, за то, что проповедовал подчинение человека машине, возле вторых азартно спорили о возможном составе нового ЦК. Рябоватый парень с потертым портфелем, багровея от натуги, кричал:

— А я г-говорю, весь секретариат отз-зовут на п-партработу. — Он обернулся к державшей его за плечо девушке. — С-самый м-молодой Б-болышев, а ему т-тоже уж... В гражданскую в П-первой конной б-был. Сколько ж м-можно в комсомольцах ходить.

В толпе мелькали русские и нерусские лица, головы в кепках, тюбетейках, папахах, картузах, косынках белых и цветастых, платках, покрытых и назад концами и «домиком», кожаные куртки, юнгштурмовки.

Вот к первым дверям, луща семечки, прошли два парня в лаптях и больших, выгоревших на солнце картузах, и следом за ними — большая группа грузин — двое были в черкесках, остальные в белых рубахах с закатанными рукавами — черноглазые, белозубые.

Гудели автомобили. Одна из машин остановилась неподалеку от вторых дверей. Держа в руке шляпу, из нее легко выпрыгнул... — веселый блеск очков, густые усы — Луначарский! Наркома окружили. А справа тоже загремело «ура». Семен Буденный! Салютуя по-военному и улыбаясь в свои пушистые усы, он прошел в двери. Луначарский что-то рассказывал...

Очень хотелось послушать, но Илья?.. Оттуда его можно проглядеть!

Гулкий всплеск аплодисментов донесся и с той стороны, куда ушла отрадненская Маша. Наташа приподнялась было на носках, чтобы разглядеть, кого там так горячо приветствуют, но стоявшая рядом девушка сказала: «Наша делегация идет, москвичи!» — и она с живостью обернулась. Лукьянов, Мильчаков, Северьянова...

— А Косарев-то, смотрите, как огурчик! — засмеялась девушка. — Вы знаете, что вчера было? Пришел он небритый, это заметили, и кто-то в зале пустил по рядам подписной лист: «На парикмахерскую секретарю Московского комитета комсомола»...

Наташа тоже рассмеялась.

— Не слыхали, кто должен возглавить новый состав ЦК? — спросила соседка.

Нет, этого она не слыхала, да и вообще знала о работе съезда лишь то, что опубликовано в «Комсомольской правде».

Москвичи проходили в двери, подняв руки с делегатскими мандатами. Ильи среди них не было. Неужели раньше прошел?

Толпа у Дома Союзов не уменьшалась, но в двери входили уже немногие.

Задребезжал звонок. Глаза парней и девушек словно по команде устремились к окнам второго этажа, с которых уже сошли отблески заката, и Наташа поняла, — это там, в Колонном зале.

Кто-то взял ее за локоть: Маша!

— Наташенька, а ведь с обратной стороны тоже двери. Автомобилей — не сочтешь! Улица там выше. Может, он тоже там прошел?

— Может быть, — хмурясь, сказала Наташа.

А глаза Маши были все такие же, ликующие.

— Угадай, кого я видела? Надежду Константинов-

ну! Прошла от меня вот так — рукой можно было дотронуться... Наташ, а ты сейчас куда, домой?

— Куда же еще? — раздраженно буркнула Наташа и смутилась: Маша-то при чем? — Поедем к нам, мамка рада будет тебя увидеть.

— А мне тоже хочется на нее посмотреть, — улыбнулась Маша, но когда выбрались к трамвайной остановке, она осмотрелась вокруг и сказала: — Может, сначала немножко побродим? Я в центре редко бываю.

«Придется позвонить», — решила Наташа, вспомнив о Крамском, и усмехнулась.

— Чего ты, Наташ? — спросила Маша, взяв ее под руку.

— Лена письмо прислала с целым ворохом наказов и поручений для Ильи, думает, наверно, что он днюет и ночует у нас.

— Как они там, Наташ?

— Ничего. Вчера Вася приехал — уже в командирской форме. Дядя Степа дома почти не бывает, а сама Лена на Турксиб собирается.

— Вот здорово!

— Еще бы не здорово! — проговорила Наташа и замолчала. Шла она быстро и на вопросы Маши отвечала коротко: «да», «нет», а то и совсем пропускала их мимо ушей.

Через Иверские ворота вышли на Красную площадь.

— Ильич! — прошептала Маша. — Ведь наш дед Иван виделся с ним, с живым... — Замедлив шаг, она с волнением оглядела деревянный мавзолей. У кремлевской стены по обе стороны его, словно в почетном карауле, стояли молоденькие серебристые ели. Крупные выпуклые буквы торжественно и скорбно оповещали:

ЛЕНИН

— Жить бы только, а он... И столько путаного вокруг... Знал бы, родной, как нужен он сейчас народу... Ты читала в «Известиях» статью Бухарина?

— Читала.

— Нашли время для споров и разногласий. Наташа... а тебе сколько годов?

— Двадцать два.

— Ух ты! Наверное, уже партийная?

— Нет.

— Почему же?

Наташа отвернулась.

— Рано еще... Не чувствую себя готовой.

— Понимаю, — подумав, проговорила Маша.

В лицо подуло ветром — теплым, порывистым, и она, зажмурившись, опять обняла Наташу.

— Вот так мы и на хуторах у себя, только там еще гармошка да песня, а за пазухой у каждой жареные семечки.

— А ты очень общительная, — одобрила Наташа.

— Общительная?.. Это как?

— Ну, боевая...

— Что ты! — изумилась Маша. — Нашла боевую.— На ее яркие и по-детски пухлые губы вновь набежала дрожь улыбки. — И в Отрадном у нас парень один — не так, чтобы уж очень, но... все же видный собой... Машка, говорит, я тебя провожу до калитки. — Ну что ж, говорю, до калитки можно, а в калитку не смей! Раз проводил, другой, а на третий вечер к подружке моей примазался, а про меня ей: «Блаженная какая-то, дескать, я, мол, ей и то и се, а она в молчанку играет» Наташенька, а ты бывала когда в степях?

— Никогда.

— Жаль. Нет у меня теперь ничего своего на хуторах, а то свозила бы тебя. Зашли бы далеко-далеко... По весне-то они хороши, наши степи. Солнце еще не пожгло травы, а простор — вдохнешь и нутра не чуешь! А вот когда суховеи подуют...

Они подошли к мосту, горбинкой поднимавшемуся над Москвой-рекой. Под высокую арку в кремлевской стене мимо будки с часовыми въезжали машины — одна за другой.

Вот, поди, здесь и разговаривал дед Иван с Лениным.

Глядя на торопливые, кое-где побеленные пеной волны реки, Наташа что-то сказала, но за дребезжанием и звоном влетевшего на мост трамвая Маша не разобрала ее слов и переспросила.

— В газетах пишут, что в Воронежской области в этом году опять ожидается засуха. Откуда эти суховеи берутся?

— Ворон накаркал, — усмехнулась Маша. — Сказка

такая есть — быль. Ее не в нонешних днях искать. Степи я тебе наши похвалила, а степи что? Леса бы на них возродить. Вот бы тогда нашим землям цены выше золота поднялись.

— Интересно ты говоришь.

— А что «интересного»! Вот ректор сельскохозяйственной академии...

Наташа даже споткнулась:

— Кто?

— Ректор. Я разве тебе не сказала, что это он обещал мне осенью насчет рабфака помочь? Хватит белоручек образовывать. Их, Наташенька, и посейчас в той академии, как чертей в глухомани. Жоржи да Марго, Жоржи с бантиками, Марго в платьях, со спины глянешь — чуть ли не до задницы голые. Разве такие будут с землей возиться? Из таких вот, наверное, шахтинцы и получаются... Наташенька, а это что же, опять Москва-река или другая какая речка?

— Канал.

— Ах, канал!

На здании, возле которого они остановились, нарисована была стрела. Прочла Маша надпись, и глаза ее радостно вспыхнули:

— Здесь Третьяковская галерея?

— Да, вон в том переулке.

— Наташенька, милая, зайдем!..

— Зачем?

— Видишь ли, у нас намечены экскурсии в Исторический музей и в эту Третьяковку. Мне поручили договориться. Я завтра хотела, а тут, смотри, как здорово оно получилось!

— Иди, я здесь обожду.

Маша смутилась. Это верно — она совсем не считала себя боевой, перед многим робела, и вдвоем войти в Третьяковку было бы, конечно, не так боязно. Но Наташа опять чего-то хмурилась: может, болит у нее что?

— Ну хорошо, я быстренько.

На набережной зажглись фонари. По каналу неслись две встречные лодки с парнями и девушками, на какой-то из них играл баян. Вот по мосту прогромыхал трамвай, во всю длину его алел плакат. Слова на таком расстоянии не различались, но Наташе показалось, что

это тот самый трамвай, что обогнал их на мосту у Кремля, от того в памяти осталось:

«Рабочий! Ты хозяин своей страны. Если хочешь, чтобы она была могущественной, мужественно борись за осуществление решений объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)».

«...Если бы оказаться сейчас в родном цехе и никогда уже не отходить от станков...» Увы! Знала, что это невозможно, — не по собственному почину пошла в завмаги — выдвиженка! А продавцы и прикрепленные к магазину товароведы — жулик на жулике. Всякое было: грубили, прямо в лицо смеялись, распоряжений не выполняли. Пробовала обратиться за помощью в правление, но председатель слушал ее, развалясь в кресле и позевывая, оборвал на полуслове:

— А почему, собственно, вы ко мне обращаетесь, а не в этот самый ка-мсомол? Как работник та-арговой сети, насколько мне помнится, я вашу ка-андидатуру не подыскивал. Я... аба-шелся бы без этих самых... как вас там называют...

Наверное, это нехорошо, что она молчала, когда на комсомольском собрании ее обвиняли в... разложении коллектива... Навряд ли поняли бы! Среди парней и девушек, так неожиданно ставших ее судьями, не было никого с родной Трехгорки... нарядные, напудренные. А Стребулаев... Кто-то из комсомольцев прозвал его «личностью в косоворотке». «Личностью» потому, что любую речь он стремился повернуть «лицом к пролеткульту», чтобы под конец отчеканить: «Даешь стопроцентное раскрепощение личности!» Характеристика «в косоворотке» тоже заключала в себе не совсем безобидный смысл: поговаривали, что синяя косоворотка с протертыми локтями — его комсомольская спецодежда, дома же он одевался иначе. Обычно медлительный в движениях, он преображался в присутствии «вышестоящих лиц». Никто ловчее не смог бы обтереть ладонью стул, на который намеревался сесть секретарь райкома, или смахнуть соринку с костюма председателя правления ЦРК[1]. Начальство только еще лезло в карман за папиросой, а Стребулаев тут как тут — на лице улыбочка, в руке горящая спичка, которая, точно передразнивая его, сгибалась в поклоне, обжигала пальцы.

[1] Центральный рабочий кооператив.

И вот эта «личность в косоворотке» поставила «ребром» вопрос о выдвиженке Перовой, «не оправдавшей доверия комсомола»... Смотрела она на лес рук — очень уж белых, и во рту ощущалась вот такая же горечь: выдвинули трехгорцы и забыли. Разве мало могла она принести пользы в столь горячую пору в родном цеху? А здесь получила выговор — позор на свою комсомольскую совесть. Будто из свинца отлитая шла с этого собрания домой.

— Какими судьбами?

Наташа вздрогнула: от угла Лаврушинского переулка к ней шагал Стребулаев в малиновом галстуке.

— А вы? — спросила она, растерявшись.

— Я самыми обыкновенными: живу в том доме. В недалеком, так сказать, соседстве от сокровищницы русского искусства, именуемой Третьяковкой. — Он сел на барьер и через плечо плюнул на воду. Разноцветные глаза его косили сильнее обычного, изо рта пахло водкой. Наташа отодвинулась.

— Чего в комитет редко заглядываешь? Загордилась или того... сердишься? А зря, Натка, — Стребулаев хлопнул ее по плечу и попытался притянуть к себе, но Наташа резко отдернула руку.

— Я же по-товарищески, — не смутился парень, — к чему нам эти разные буржуазные морали — ох да ах... Мы не институточки, а комсомольцы... Костюмчик — это так, между прочим. По-простому все надо, пролетарской линии держаться. Скажем, появилась у меня жажда — взял стакан воды и выпил, кому покажется странным? Ну, это то же самое — влечение, что ли, там и все прочее до самой точки. Если девушка настоящих новых кровей, сама должна сделать шаг навстречу естественным потребностям товарища, так сказать, инакого пола. Наша девушка не станет разводить турусы на колесах. Как ее в прошлом вся эта буржуазная сволочь называла — лирикой, что ли?

— И тебе не стыдно, Стребулаев?

— А тебе, скажешь, стыдно?

— Очень! И главным образом за то, что ты носишь на груди такой же значок.

— Вот ты как! Ну, что же — есть на такой случай принципиальное изречение: не любо — не слушай. А впрочем, хочешь ты или не хочешь—это дело десятое.

Раз я являюсь секретарем ячейки, в которой ты состоишь всего-навсего простым членом, обязана прислушиваться к моему голосу, так-с... А я ведь собрался сообщить тебе и нечто такое отменно приятное... что же такое? — Он потер красный мясистый лоб.

В домах, стоящих на другом берегу канала, становилось все больше освещенных окон. Наташа с беспокойством оглянулась на Лаврушинский.

«Что же она так долго?»

— Ах, да, — засмеялся Стребулаев, — выговорок-то ведь помог... магазин становится образцовым — контакт с подчиненными и авторитетик... это... ну, в общем, сама теперь понимаешь... Я думаю, пожалуй, скоро можно будет соскоблить с тебя выговор. Знаешь что, дорогуша, крой завтра с утра на мое личное имя заявление, а правление поддержит — это я обеспечу. — Он ждал взрыва благодарности и уже держал наготове подчеркнуто безразличные слова: «Пустяки. Свои люди и, между прочим, сочтемся».

Наташа усмехнулась. Это верно, хищения в магазине почти прекратились и ассортимент товаров, говорят, значительно улучшился, но сама она все так же мало разбиралась в «торговой механике». И не контакт, а частые рейды «легкой кавалерии» с Трехгорки и острый глаз рабкоров помогли ее магазину стать в ряд передовых.

— Игра в героизм военного коммунизма... — раздраженно вырвалось у Стребулаева. — Тебе хозяин предлагал путевку на курорт и поощрительную премию?

— Я на хозяина не работаю. Может быть, ты имеешь в виду председателя правления?

— Дело не в хозяине. Предлагал?

— Предлагал.

— Сколько раз?

— Не подсчитывала.

— Так-с... ты, значит, выдвиженка от станка — персона выше Сухаревой башни. Ждем, чтобы, значит, к нам хозяйственники пришли не три, а раз десять, в ноги поклонились бы: извините, мол, ваше выдвиженческое величество, что в прошлом немножко поругали вас за скверную работу, и ради бога примите от нас поощрение за то, что теперь немножечко исправились.

Откуда у рабочей девчонки, потомственной пролетарки, этакое интеллигентское самолюбие?

Нет, он был не так пьян, как показалось Наташе сначала. Сдерживая себя, она побледнела.

— Скажите, Стребулаев, а прежде вы где работали?

— Принципиально говоря, не за станком и поэтому, дорогуша, не с завмага начал, а с рассыльного. Перед каждой сволочью в лепешку разбивался и выслужился, между прочим, только до расчетного конторщика. — Он закурил. — А теперь вот и меня выдвигают — слыхала? Выпивка с друзьями была по этому принципиальному случаю.

Наташа не проявила желания выяснить, куда его выдвигают.

— Есть один ответственный товарищ — Мельчинский. Познакомили меня с ним, и он обещал мне подходящий профсоюзный пост в одном из уездов, но возможен и другой вариант. К черту на кулички пошлют — не то к узбекам, не то к таджикам. Между прочим, черт с ним, что далеко: масштаб будет, — Стребулаев с шумом вобрал в себя воздух, — рес-пуб-ли-кан-ский! На худой конец, областной — полнейшие условия для стопроцентного раскрепощения личности. Стребулаев покажет там, какие в нем потенциалы заложены, и тогда обратно сюда, но уже на такое местечко, что вся эта сволочь, которой сейчас Стребулаев зады лижет, стребулаевскую задницу будет лизать... А ты, между прочим, какого обо мне понятия?

— Между прочим, всегда подозревала, что ты дрянь, но, оказывается, кроме того...

— Говори, говори, — с любопытством поощрил он,— при народе не потерплю, а вот так, с глазу на глаз, мне можно хоть в лицо плюнуть — утрусь и все.

— Хорош... пролеткультовец!

— Вот пролеткульт не затрагивай.—В раскосых глазах его блеснула угроза. — От братца своего этого самого нахваталась?.. Ты познакомь меня, между прочим, с ним.

— Это еще зачем?

— В морду надаю за его статью о пролеткульте, со всей принципиальностью, как убежденный марксист... Историей развивала свой кругозор? Всегда имелись массы и личности, были буржуазно-помещичьи, теперь про-

летарско-народные. А пролеткульт — это фильтр, который поможет нашим массам отобрать своих культвожаков, как в свое время отобрала для нас вождей Октябрьская революция, — тебе этого не понять, не в обиду будь сказано, для тебя и магазина за глаза довольно. Обидного, между прочим, тут ничего нет — кому-то надо и на уровне организованных масс остаться, а я, фигурально изъясняясь, с младенческих лет усвоил: «кто был ничем, тот станет всем» — про меня это, про Михаила Тимофеевича Стребулаева, поется. Комсомол — молодо-зелено, принципиально скажу, дальнозоркости не хватает ни в райкоме, ни в МК. Три года в секретарях ячейки держат. Не то что на съезд — на губконференцию не попал. Ну и черт с ними, придет время — спохватятся.

— Лучше всего продолжить этот разговор в райкоме, — поднявшись, сказала Наташа.

— Че-го-о? — глаза его округлились и, казалось, вот-вот кинутся в разные стороны. — Не рассчитываешь ли ты, между прочим, вот на этого свидетеля? — Он хлопнул ладонью по барьеру и захохотал. — А в райкоме вес члена бюро Стребулаева немножко побольше веса выдвиженки Перовой, которая решила вдруг свести личные счеты за... выговор.

— Подлец!

— Обожди-ка! — крикнул он.

Наташа не оглянулась. Стребулаев нагнал ее почти у самой трамвайной остановки.

— Ловко же я разыграл тебя. Ну, пойдем ко мне, а?

Наташа промолчала.

— Между прочим, я с тобой начистоту... черт ее знает, может, в какой-то мере эта самая лирика и существует. Влечение-то определенно есть. Я его чувствовал к тебе, когда ты еще работала не у нас, а на этой самой Трехгорке. Но ты слишком горда, Натка. Чего ждешь? Чтобы я ходил за тобой с гитарой? Растрачивал свои силы на вздыхания? Я принципиально не могу — впереди у нас схватка с мировым капиталом — ты же знаешь мой принцип: долой мещанство! Хорошо все, что помогает служить делу революции во вселенском масштабе, и скверно все, что отвлекает от этого дела. Гордится, думал я, ну и черт с ней... девок хватит. А вот увидел — сидишь ты здесь, приблизительно у моего местожительства, и не выдержало это самое... Зайдем, дорогуша, а?

— Слушай, Стребулаев, отстань.

— За выговор сердишься? Ну, я частично признаю свою вину. Этот черт хозяин поднажал... между прочим, забудем старое, сейчас у меня напишешь заявление, а завтра я в райком — и мигом обтяпаем. Ну?

— Пусти руку, трамвай идет.

— Черт с тобой, пиши здесь. Я ведь через три дня сдаю дела, и тогда уж никто не поможет тебе, слышишь?

Наташа вырвалась и вспрыгнула на подножку остановившегося трамвая.

«А Маша?» — мелькнуло в мыслях. — «Нехорошо ведь получилось. И наверное, где-нибудь здесь телефон-автомат есть», — подумала она, вспомнив опять о профессоре Крамском.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Извозчики, стоящие у крыльца двухэтажного здания гостиницы орехово-зуевского горкомхоза, скучающе поглядывали на людей, торопившихся от вокзала к столовой МСПО, возле которой останавливались автобусы.

— Переводятся седоки! — вздохнул старик Парамон, любивший под хмельком похвастать, как ему раз довелось самого Савву Морозова подвезти на дачу. — Эй, чур, братва, мой черед! — закричал он, увидев в двери пожилого мужчину в пенсне, шляпе и добротном летнем пальто. В руке у того был желтый чемоданчик с серебристыми застежками, — по всему видать, приезжий, и потому может статься, что не знает про городские автобусы: — Чур, говорю!

Но извозчики уже кинулись гурьбой, и впереди всех — Кузьма Митькин. Бежав в двадцатом году из сызранской тюрьмы во время белогвардейского мятежа, он не замедлил убраться из тех мест, но спекуляцию не оставил и в 1925 году снова был арестован на Сухаревском рынке. После годичной отсидки слонялся без дела, пока не осенила мысль сторговать на живодерке по сходной цене обреченную на убой лошаденку и заняться извозническим промыслом. На мысль эту навела его случайно узнанная новость, что живущий в Москве писатель Берзин доводится ему каким-то родственником. Нашел его и сказал:

— Я уж и тарантасик присмотрел, братец, не откажи в родственной подмоге, тебе это с твоей умственностью раз плюнуть, а для меня приткновение к жизни.

Сторговал было и старый кафтан с кушаком, да за тарантасик пришлось отдать больше, чем рассчитывал, поэтому так и остался в рваной куртке.

— Куда изволите, дорогой ответственный товарищ?— Улыбка сосборила морщинками его небритое лицо.

За стеклышками пенсне приезжего мелькнула усмешка:

— Откуда известно вам, что я «ответственный»?

Митькин хитро подмигнул:

— По виду-с, у нас глаз наметанный, не беспокойтесь. Так куда вас, дорогой, доставить?

— В заводоуправление.

Почувствовав, что чемоданчик его стал невесомым, приезжий поднял руку. В ней болтался лишь ремешок. Митькин подскочил к стоявшим в дверях беспризорникам.

— Ваша работа?

— Осади немножко! — сказал один из них, пустив в лицо ему дым от зажатой в углу губ папироски.

Собралась толпа.

— Коль враз не ухватил, теперь — аук! — посочувствовала пожилая женщина, — поди, уж в сотые руки перешел.

А еще кто-то посоветовал:

— Заявите начальнику вокзала, может, по горячим следам и найдут — бывает.

Приезжий бросил ремешок и пошел за Митькиным к его пролетке, но посмотрел на ребристую кобылу и остановился.

— У животных видимость обманчивая, — с оглядкой обходя разозленного Парамона, торопливо сказал Митькин, — рысь, я вам доложу, — хоть на бега пускай.

Он ловко вспрыгнул на козлы и повернул сияющее лицо к «ответственному товарищу», с опаской устраивавшемуся на покряхтывающем сиденье:

— Не успеете и глазом моргнуть, как будете в заводоуправлении.

Огретая кнутом кобыленка пошла нехотя и как-то осторожно сгибала тонкие ноги, словно боялась замочить их в разлившейся на привокзальном пустыре луже.

— Ничего-с, — невозмутимо сказал Митькин, — мотор и тот, говорят, требует разогрева, а это есть все же божеское млекопитающееся... Не осудите за любознательность — большие ценности содержались в вашем саквояжике?

— Подарки.

— Понимаю-с, продуктовые?

— Были и продуктовые.

— Большая ценность по режиму сегодняшнего дня. Откровенно скажу вам, я эту беспризорную шпану во как знаю — голь! Но разборчивые. Непременно-с!.. Приведись, скажем, черствый хлеб и хвост воблы — станут они лопать? И не подумают. Они, архаровцы, жрут такую буржуйскую всякую всячину, какая, скажем, ну хотя бы мне, и во сне не видится... А у вас в саквояжике не хлеб с воблой были-с?

Седок промолчал.

— Понимаю-с.

Похоже, с большим весом в жизни человек и, надо полагать, немало знает такого, чего и в газетах не печатают. А в ней, в жизни-то, опять порохом попахивает — это, может, только мертвые не чуют: и в пивных и в очередях чего только не наслушаешься! Войск будто против России собирается видимо-невидимо, от каждого государства по полку, а то и по армии... Потому, надо думать, и в верхах опять раздор: одни вроде хотят еще туже придавить всех элементов, чтобы ни одного на земле не осталось, а другие их за руку: «Не дозволим!» Без элементов и нам дышать нечем, потому вся жизнь, что в городе, что в деревне, на этих самых элементах держится. В таком разе и налоги с имущественности надо побоку. Поговаривают, что и Троцкий неспроста сбежал через границу, — тоже, выходит, такого мнения, чтобы не пролетарскому происхождению, а способностям да ловкости человека ход дать.

Помахивая хвостом, «млекопитающееся» вытащило пролетку на мостовую, и колеса застучали, подпрыгивая на крупных булыжниках. По обе стороны улицы пестрели вывески — «МСПО», «Моссельпром», «ЦРК».

— Ленинская, — сказал Митькин, — а прежде Никольской звали, теперь Ленинская... Магазины те же, а вывески другие. Здесь, скажем, был не «Моссельпром», а бакалейная торговля Масловых. Нарпит — так это

столовка, была торговля Булкиных, старообрядцев. Ох и жили, истинный бог! Думаете, придавили их тем, что эти магазины у них отняли? Хе! Гляньте-ка на ту сторону... чуток дальше проедем — и опять Булкины, Масловы, Пуховы. Помещеньица видом похуже прежних, ихних же, да ведь, дорогой ответственный товарищ, извините, более определенного вашего служебного значения не знаю...

Седок вроде и не слушал.

«Поди, сердится: непутевый, мол, человечишка — чешет и чешет языком». Митькин со всем усердием хлестнул кобыленку. Уж не до такой степени он говорлив, чтобы выкидывать слова просто так, на ветер... и не праздное любопытство толкало его узнать, что из себя представляет этот нежданно богом посланный седок с большими карими глазами. «За Советы он или... заодно с теми, что в Шахтах арестованы?»

— Говорю, не углами красна изба, а пирогами: МОСЭПЭУ, Моссельпромы — вывесочки сверкают, и помещеньица что надо, и цены сходные, да на полочках-то шиш! А у того же Булкина или Маслова — все что душеньке твоей угодно, и встретят с поклоном и проводят с поклоном.

— Значит, частник лучше?

— Частник-то? — Митькин впился взглядом в лицо седока и, ничего не прочтя на нем, поскреб кнутовищем за ухом. — При теперешнем положении дел что частник, что МОСЭПЭУ — для меня один хрен. У Булкина найдется чем брюхо набить, да ведь за это удовольствие надо с себя последние штаны снять: цены-то ой-ой-ой! А за МОСЭПЭУ держаться, штаны сами по себе спадут — нечего взять в МОСЭПЭУ: муки ни пылинки, мясом второй месяц не пахнет. Фабричным и служащим малость повольготней, в их ЦЭРЭКА нет-нет, да что-то подкинут, но мне-то в этих цэрэках от ворот поворот — по книжечкам все да ордерочкам — пайщикам, стало быть. Говорю — нате, будьте любезны, и с меня пай — не берут, ты, говорят, элемент. — Он сплюнул и рукавом вытер губы: — Слово-то какое придумали, будто матерное. И чего мудрят? Не могут сами, так и не суйся, смири гордыню-то и позови купцов — нате, мол, обратно ваши магазины и налоги все долой, а с вас требуем одно: торгуйте по-божески, не лупите цены почем зря.

В бороде седока шевельнулась улыбка. Митькин обрадовался ей не меньше, чем рублевому подарку.

— Купец... он живучий, никакие кооперации его до конца не защемят, снимут одну шкуру, а у него под ней еще десять — покашляет, но всурьез не простудится... А вы, случаем... не политическая значимость?

— Нет!

— Ну и слава богу, а то я этого самого... за ради Христа не прогневайтесь, пропустил, грешным делом, стопочку, вот и мелет язык и мелет, — купец, говорю, который с умом, известно, не растеряется: с него шкуру сдерут, а он с покупателей две, одну про запас, на случай, ежели опять драть будут, чтобы костям и мясу было в чем остаться.

Митькин прикрикнул на лошадь для прилику. Она это поняла и продолжала семенить ленивой трусцой.

— Угловой дом, где книжечками торгуют, там сам Паладин жил, о его степенстве, чай, и Москва наслышана? Башковитый купец был, а поди ж ты... по добровольности притащил к ответственным товарищам все ключи: невмоготу, дескать!

— Выходит, и десять шкур не спасают?

— Да ведь налоги! — Митькин посмотрел по сторонам и опять зло сплюнул. — С кого только не дерут, вот и с меня тоже... А какой тут заработок — особливо теперь, когда два автобуса завелись, — ждешь, ждешь седока — и дождешься, более двугривенного не сторгуешь: говорят, на автобусе за гривенник доедут... Вот ведь народ какой пошел—анафема! Я уже ходил к самому главному коммунисту — товарищу Куницыну, чтобы объясниться, — не помогло: говорит — закон! Потому вроде личной собственности, орудия производства имею... Да какое же это орудие, — он возмущенно показал кнутовищем на лошадь, которая, задрав хвост, невозмутимо расставалась с переработанной в тощем животе пищей.— От этой орудии и выстрела-то настоящего не услышишь — одна вонь!

На другой стороне улицы, вдоль тротуара протянулся низенький палисадник и за ним — целый «городок» из палаток дощатых и парусиновых. В рядах двигались покупатели и праздношатающиеся. Вот мелькнуло жилистое лицо татарина, державшего на согнутой руке кружево. По другому ряду шел китаец, потрясая начинен-

ной опилками трещоткой и настороженно улыбаясь. У изгороди расположились букинисты.

— А там лотерейщики, — показал Митькин на плотную толпу. — Стоит пятиалтынный, а выиграть можно самовар, четвертную водки... Гадают еще — черная магия, вон, слышите: — «Граждане, по чернокнижью!» Ого!

— Держите! — истошно голосила какая-то женщина, — держите!

Лошадь готовно остановилась, но на лице седока отразилось неудовольствие, и Митькин с явным сожалением обронил:

— Шагай!

Позади дома, в котором помещался КОГИЗ, перед широкой, как ворота, дверью, волновалась толпа, еще большая, чем на рынке.

— Биржа-с... требования поступают с фабрик человек на десять, а собираются...

Дорога, на которой толпились безработные, была широкая и прямая, как стрела. Вдали маячили высокие трубы зиминских фабрик, забракованных в 1918 году комиссией СТО[1]. Оттуда же несся и благовест колоколов.

— Не осудите, я верующий, — Митькин сдернул с головы шапку и хотел перекреститься, но оглянулся на рынок, увидел милиционера, тянувшего за руку упиравшегося мальчугана лет десяти, и сразу забыл про звон колоколов.

— Словили-таки сукина сына!

— Слушайте, если на каждом шагу мы будем останавливаться, я сойду.

— Да что вы! — то ли от обиды, то ли от испуга Митькин так побледнел, что у него и на щеках и на лбу проглянули стадами веснушки, — свое хвалить негоже, я без похвальбы, лучше моего коня во всем городе не сыщешь. Не таю, на ход не так он, чтобы уж очень, зато безопастенность полная — не вывалит, как у некоторых прочих... Да шагай повеселей ты, орудие чертово! Теряй тут на твоей лахудрости заработок!

И, словно поняв, что на этот раз хозяин кричит не прилика ради, кобыленка побежала бойчее, да и мостовая стала лучше — без выбоин, а тротуары асфальтиро-

[1] Совет труда и обороны.

ванные — центр города! Об этом же внушительно свидетельствовало новое серое здание с золотыми буквами на фасаде: «Госбанк».

Митькин вынул кисет и нерешительно проговорил:

— Разрешите?..

— Зачем же нужно мое разрешение?

— Некоторые седоки не уважают махру. Дом Советов! Здесь все наше советское управленство и сам товарищ Куницын, третий этаж, ежели вам понадобится...

Напротив Дома Советов длинно протянулся забор городского сада, в решетчатые ворота его было видно, как женщины граблями и лопатами собирали в кучу слежавшиеся прошлогодние листья. Поперек улицы плескалось на ветру изрядно выцветшее полотнище: «Железной метлой из наших рядов врагов ленинизма, контрреволюционеров-троцкистов! К суровому ответу подлых перерожденцев!»

— Мы их железной, они нас... — сказал Митькин, затянувшись цигаркой. — Дом управляющего, — пояснил он, заметив, что седок оглянулся на белевший в глубине парка дом с колоннами, — не теперешнего, теперь тут собес и еще что-то, а при хозяине жил управляющий фабриками...

— Нефедов?

— А вы, стало быть, в знакомстве с Федором Ефремычем? — Митькин заулыбался всеми морщинками лица. — Видный из себя барин был, властный. В директорах служил у Саввы, а жительствовал на Англичанке — есть такая прошпектная улица у нас, с заморским званием. — Он засмеялся. — Досталось им, заморским-то, от наших фабричных и в стачку восемьдесят пятого и в девятьсот пятом... А в девятьсот-то пятом, к слову, и Федора Ефремовича малость помяли — кирпичом в голову ка-ак жахнут!

— Вот как! Это за что же?

Митькин развел руками.

— По необразованности, надо полагать, и по озлоблению... А поразмыслить, при каких же статях тут Федор Ефремович?.. Крутоваты были, а как же по-иному? Кабы фабричные им деньгу отвалили — тогда и спрашивай ласку. Может, со мною кто и не согласный, а я не осуждаю поведения их благородия... Вот дьявол! До сей поры старый режим в зубах вязнет, хотел сказать — товарища

Нефедова, Федора Ефремовича то есть. Есть слушок, будто они из Москвы всеми фабриками заправляют, и от самой диктатуры пролетарской большое к ним уважение. Что значит ученость! При любом режиме с ней не пыльно, а не то что нашему брату, Митькиным. Митькин — это моя фамилия, я к слову упомянул, может, запомните, а можете и не запоминать — Кузьма Афанасьевич Митькин. — Он помуслил губами докуренную цигарку, выплюнул и кивнул на обсаженный деревьями школьный двор. — За заборчиком крыша блестит — видите? Эвон! Там жительствовал советский управляющий фабриками, которого товарищи в прошлом месяце... — Митькин выразительно щелкнул пальцами и выжидательно замолчал, но седок или уже сам знал о расстрелянном управляющем, или, дьявол его разберет, что за человек — откинулся к спинке сиденья и смотрел не то на показавшиеся вдали фабричные корпуса, не то на небо. И в том и другом решительно ничего не было привлекательного — фабрики как фабрики, а небо без единого голубого островка. Дым, вырывавшийся из труб, смешивался с одноцветными тучами, медлительно наплывавшими со стороны Зуева. Ветер заметно посвежел, и солнце, увязшее в белесой облачности, скупо роняло свет на пыльную улицу. Люди приподнимали воротники.

«А гроза как пить дать соберется, — заключил Митькин и покачал головой. — Что-то они рано в этом году зачастили — чуть ли не с первых дней апреля... А может, так и должно? Недаром же сложилась примета: весна в слезах, лето в грибах — жди войну или мор. Не иначе как сбывается...»

— Списали в расход, говорю, управляющего-то... боле миллиончика хапнул—каково?.. Фабричного, скажем, поймают — шуму до Москвы, а много ли он в брюки сунет или под курткой обернет? А тут целая согласованность — вагончики! Из фабричных ворот по узкоколейке на станцию, оттуда в Москву, а на московском вокзале ихние же сукины сыны вагончики по квитанции разгрузят и прямо на Сухаревку — ловко? — В злом голосе его прозвучало восхищение. — Пожили люди в свое удовольствие! Что ж, поглядим, чем новый себя раздокажет — из московского ГПУ прислали. Хотя он, по правде сказать, нашенский, из прежних революционеров-забастовщиков, в доме моего отца родился... Отец-

то мой, Афанасий Митькин, скрывать не буду, и впрямь, ежели теперешней меркой мерить, элементом был: два дома под спанье для рабочих содержал и кабачок. Но это же еще при царе Горохе, до стачки. — Митькин показал в улыбке желтые зубы. — В молодости-то его, я про нового управителя, Степкой Орликом у нас звали— босяк был первой руки... В пятом недаром, надо полагать, к виселице приговорили, а теперича — ихнее время. Говорю, тузы бубновые в управители полезли. Сын-то его меньшой тоже немалая власть — в комсомоле коновод, за что ни возьмись — без него не обходится. Старшего вскорости в командиры Красной Армии произведут. Жена народным образованием управляет. Дочка образование получает... А у меня вот, у Митькина, единственный кровный сынок, и того никуда приткнуть не сумею. Послал в Москву, имеются там такие научные обзаведения, куда без шибкой грамотности принимают— рабфаки, что ли, чтоб им лопнуть, окаянным, — отказ! И все по этой же самой причинности — отец элемент. Хлобыснули с ним с горя махонькую, а он, элементов сын, сидит с осоловевшими буркалами и сквозь зубы песняка:

Дайте мне за рупь шестнадцать
Папу от станка...

Митькин вытер рукавом навернувшиеся слезы.

— Рупь шестнадцать — это, ежели доводилось слышать, плата в день по первому разряду тарифной ставки... Жизня новая, а тесто старое, не долго засидится— это я про нового управителя.

Седок насторожился.

— Проворуется.

— Какие же у вас основания говорить так о товарище Орлове?

Митькин вскинул на него удивленные глаза.

— Да местечко-то ведь какое! Ме-до-во-е! Страх подумать, сколь миллионов проходит через руки, — разве стерпишь? Доведись и до меня, ежели доверили бы... Миллион оно, может, уж слишком нахально, а тысчонка-другая все к рукам прилипла бы... так, дуриком. Со стороны и не хватились бы посреди таких миллионов-то, в кармане же моем от них, сердешных, ох как повеселело бы! Взыграйся и возликуй, яко... А я не скуп, я не стал

бы при таких капиталах отца родного в паровой держать, при всем честном люде сказал бы: бери, старый хрен, расчет, грейся на солнышке, а перед сном в молитвах своих и меня не забудь помянуть, самому-то мне посреди этих миллионов проклятых лба некогда перекреститъ... Прет, дьявол! — проговорил он с ненавистью.

По большому мосту, приподнявшемуся горбом над Клязьмой, шел переполненный автобус.

— На прошлой неделе чуть было не опрокинулся — не этот, другой, что от вокзала ходит,—колеса в яму—и крен, да тут Илька Орлов, на службу, что ли, свою комсомольскую шел, руками и плечом — все жилы напряглись веревками... Непременно подмяло бы парня, не подоспей на подмогу другие. А жаль! Пусть бы изломало людишек пяток-десяток, тогда бы поняли, как гривенник выгадывать... Не то что сесть, за версту стали бы машину обегать, а ко мне, к Митькину, с нижайшим поклончиком, ну, а я их тогда образовал бы, я продемонстрировал бы им кузькину мать — полтинник, не меньше! Дорого! Так, будь ласков, прогуляйся на одиннадцатом номере... И везде-то этих Орловых сует!

Митькин яростно хлестнул лошадь.

— Рады, вымахали — косая сажень в плечах, — что старик, что управляющий, что сыновья евонные, небось не на пайках — вот и не знают, куда девать силу, а до того, что бывшему хожалому Митькину завтра, может, жрать нечего будет, какое им дело-с!

Седок смотрел на него, не понимая, при чем здесь семья Орловых, но Митькин и не собирался пускаться на этот счет в объяснения. Он ткнул кнутовищем на галдящую очередь. Прижимаясь к домам, она тянулась по улице к магазину, стоявшему на углу соседнего проезда; крыльцо брали приступом — мелькали нумерованные мелом спины. Женщины выбирались из дверей растрепанные, но счастливые, высоко над головами пронося краюшки.

— И в цэ-рэ-ка не сладко! Вот она какая жизнь-то, дорогой ответственный товарищ. Налоги, — Митькин выругался, — мужичка-то побогатей жмут, а он и осердись, сел на мешочки с хлебом и показывает шиш — берите, мол, с голытьбы да с ваших колхозов. У вас, дескать, с ними смычка да затычка, а мы элементы... Ан

колхозники-то что-то не шибко спешат города накормить, у самих кишка кишке диктатуру кажет... хе-хе-хе!.. вот и представленьице для рабочего человека, терпи, а работу дай. Слышали небось, ударников придумали, чтобы один за двоих, а то и за троих успевал, лишних — на биржу, пущай, мол, как хотят... Шуму-то шуму... Эк, ведь как распирает их! Может, от радости это, что диктатура ихняя. Пролетариат-с! Раньше были фабричного звания, теперь пролетария всех стран, соединяйся... вкруг пустого котелка... А вон и трест, — он указал кнутом вперед и, решившись, придержал лошадь. — Извините, имени отчества вашего я не знаю... скажите, а правда, будто руководители наши никак друг с другом не договорятся? Не слышно ничего в Москве?

— Я к сплетням не прислушиваюсь, гражданин.

— Что ж, и Троцкий — сплетня? Вы мне только одно скажите: правду говорят или вранье — я насчет войны, будто непременно-с в этом году, а?

Седок пристально посмотрел в его лихорадочно заблестевшие глаза и отвернулся. Митькину показалось, что губы у него при этом брезгливо покривились.

— Понимаю-с, — пробормотал он угрюмо, а про себя выругался и с саднящей злостью подумал: «Из прежних господ, наверно, — упрятал глаза-то за стекла и разговаривать не хочет, сволочь такая!»

— А вам по какой, так сказать, надобности в управление-то?

— Вы ко всем так пристаете?

— Я не банный лист, — сказал Митькин и смутился: ведь сейчас рассчитываться! — Для вашей же милости — по одним делам вход с улицы, по другим здесь, — он показал во двор, в глубине которого дымили трубами хлебозавод и пятиэтажный корпус ткацкой фабрики.

Взгляд седока задержался на памятнике, возвышавшемся посреди сквера, — высокий постамент и на нем фигура рабочего с расстегнутым воротом и с засученными рукавами, обнажившими упругие бугры мускулов.

— В честь бунта, — с заискивающей улыбочкой пояснил Митькин, — это еще в восемьдесят пятом при Тимофее Саввиче было, а под памятником-то крестный теперешнего управляющего похоронен. Без меня то было, сказывают, четыре года назад... Он, Петр Моисеенко-то,

и был за главного коновода, ежели желаете, я... расскажу, как мой отец в ту стачку с «котами» погорел?

— Нет, спасибо, — седок спрыгнул наземь, — сколько вам?

— Да посудите сами, товарищ, книжку продовольственную мне не дают, сено подорожало. — Он заметил на строгом лице седока нетерпение и, отбросив вожжи, решительно сказал: — Рупь!

Седок расстегнул пальто. Из кармана его, сверкнув сургучной печатью, выпало какое-то письмо. Митькин поспешил поднять и, прежде чем седок отобрал письмо, успел прочесть на конверте: «Профессору Игорю Борисовичу Крамскому».

— Это, стало быть, вы изволите так именоваться?

— Да, это я изволю так именоваться, — усмехнулся седок. В пальцах его шелестнула новенькая рублевка, и Митькин задержал дыхание, мысленно обругав себя дураком за то, что не спросил еще больше: раз профессор, то денег, наверно, куры не клюют, недаром он и к краже так легко отнесся! Митькин почесал затылок. «Выпрошу два...»

— Товарищ! — к пролетке подбежала пионерка — голенастая, шустроглазая, в руках у нее была жестяная банка с прорезью в крышке, на груди—лента: «В фонд ОДД».

— Детская беспризорность — еще не изжитое нами проклятое наследие войны, — обратилась она к профессору. — Тысячи беспризорных детей — это жертвы войны. Ваши дети знают, что такое семья, ваши дети учатся в школе, спят в теплых постелях, они...

— Кыш! — шикнул Митькин, — много вас тут развелось с кружками-то — в мопры да фонды разные У товарища профессора твои жертвы саквояж сперли, а ты хочешь, чтобы товарищ ученый к этой закусочке твоим малышам еще и на водочку подкинул-с?

Он грозно двинулся на девочку, но профессор отстранил его и опустил рубль в кружку. Митькин даже охнул, словно у него зуб выдернули.

— Спасибо, — поблагодарила пионерка и, раскрасневшись, обернулась к Митькину. — А вы просто несознательный элемент!

Тот и заругаться не сумел от изумления:

— На лбу, что ли, у меня написано, что я элемент?

Игорь Борисович протянул ему серебряный полтинник.

Несколько минут назад Митькин был бы на седьмом небе от радости, но сейчас... даже не вдруг заметил, что пошел дождь: в глазах все еще мерещилась желтенькая рублевка, из ушей не ушел шорох и шелест — прошла мимо его руки в жестяную кружку для беспризорной шпаны! Где же справедливость?

Встряхнув на ладони монету, Митькин кинулся за профессором и нагнал его у входной двери.

— Четвертак подкиньте... за услуги.

— Какие?

— А объяснения-то по городу давал!

Игорь Борисович молча потянул за дверную ручку.

По лестнице спускались двое мужчин с раздутыми портфелями. Помоложе, щеголь во френче английского образца, говорил, брезгливо оттопыривая нижнюю губу:

— Напрасно он думает, что ему все позволено. Здесь не ГПУ, а трест, и я не мальчишка, не подчиненный ему солдат, я попрошу, чтобы он не вмешивался в дела, которые требуют знаний, опыта и, как минимум, институтского образования. В противном случае—ауфвидерзеен! Я не комедиант!.. Выделывать соцсоревновательские па под дудку всяких там невежд не намерен и, собственно... Федор Ефремович давно уже предлагает мне очень приличное место в Вэ-сэ-эн-ха... — Он вскинул глаза на Крамского. — Вы к кому, гражданин?

— К управляющему трестом.

— Я главный инженер треста.

— Рад знакомству, но мне нужен товарищ Орлов.

«И здесь все Федор Ефремович, любопытно», — подумал Игорь Борисович, поднимаясь по лестнице.

Степана в тресте не было. Секретарша сказала, что управляющий жил в Зуеве, но позавчера переехал на Англичанку.

Дождь шумно плескал по мостовой. За косыми полосами его громады фабрик едва разглядывались.

Игорь Борисович постоял в открытых дверях, потом приподнял воротник и шагнул на тротуар, по которому с шумом и брызгами спешили сверкающие при вспышках молний ручейки и потоки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Шинель намокла, и Степан решил оставить ее в швейцарской, снял и картуз. Высокий лоб его прорезали волнистые морщины, возле губ легли резкие складки. Но особенно броско выделялись на его по-солдатскому волевом лице глаза, — может быть, это потому, что они были карие, а виски припудрила седина.

Поднимался управляющий по лестнице легко, а брови, тоже слегка прихваченные сединой, хмурились.

Оказывается, ткацкая фабрика № 2 не работала, потому что... не было пряжи, из-за того, что на прядильной кончились запасы шпуль и картонных патронов. Шпули же эти лежали грудами на складах ткацкой и во дворе той же прядильной. Директор не разрешил их принять, потому что они были не рассортированы, а директор ткацкой считал, что его дело — ткать, а не шпули разбирать. Сидели эти хозяйственники по своим кабинетам, и каждый ожидал уступки со стороны другого, а станки и машины тем временем стояли.

На строительстве ТЭЦ, наоборот, работы шли полным ходом, но лучше было бы, если бы они свернулись еще год назад... Кафельные плиты, бронза, позолота... Потолки и выстрелом не достанешь... Не электростанция — дворец! И все до последнего паршивого гвоздя поступает на стройку из-за границы, оплачивается валютой.

— А вас ждут, — сказала секретарша, когда он быстро вошел в приемную.

— Ждут? Ах, да... — Степан задержался возле ее столика. — Выяснили, кто консультировал закупку мюлей?

— Профессор Федор Ефремович Нефедов.

Какое-то время слышалось лишь тиканье стенных часов да учащенное, с легким присвистом, дыхание управляющего. Впрочем, сам Степан настолько привык к этим шумам в легких, что и не замечал их: давнее это — память гражданской войны. Попал к белякам в полной форме, с комиссарскими нашивками, ну и понятно — вдоволь потешились, прыгали, плясали на пораненной осколками груди.

— Попрошу также выяснить, что из себя представляет профессор Рамзин.

Зоя Фроловна записала фамилию.

— Текстильщик?

— Нет, автор проекта ТЭЦ, и еще... запросите в отделе кадров личные дела Растопчина и Бардина.

В глазах секретарши проступило изумление:

— Директоров прядильной и ткацкой?

— Да, директоров, — сказал Степан и прошел в кабинет. У его стола в кресле сидел Куницын с папироской в зубах и с газетой, из-за которой виден был лишь его розовый затылок.

— Вот и хозяин... Привет!

— Привет, — сухо сказал Степан. — А где же...

— Мельчинский? Сейчас... — Куницын отбросил газету и, с кряхтеньем поднявшись, снял с телефона трубку: — Упрофбюро! Упрофбюро? Попросите Семена Яковлевича.

Степан сел за стол.

— Зачем я ему понадобился?

— А шут его знает, — зажав рукой мембрану, сказал Куницын. — Мечет громы и молнии. Кажется, из-за Андрея Каткова, но это твое дело, Степан, я тебя предупреждал... При чем же тут я? Позвонил и настоял, чтобы присутствовал при вашем разговоре, как будто у Куницына своих дел мало. Повторяю: я тебе не мешал, но... — Губы его дрогнули и расплылись в улыбке. — Семен Яковлевич? — сказал он в трубку.

Степан отвернулся.

В который уже раз судьба сводила его с этим человеком! Было время, когда думалось — ничто не в силах разорвать их дружбу, но... Алексей Куницын — смелый до отчаянности командир Красной Армии и задушевный товарищ... Алексей Куницын — уполномоченный СТО и ВСНХ, кипучей энергии которого текстильщики Орехово-Зуева обязаны быстроте, с которой были восстановлены и заработали на полном ходу фабрики... Где все это? Стены в квартире обил шелком, пол устлал коврами... Прежний Куницын любил ходить пешком и на дороге, бывало, со сколькими рабочими разговорится, посоветуется, а этого уж и рысаки не устраивают — ведет переговоры о легковой машине... В доме прислуга, из Москвы приезжают какие-то франты обучать дочку западным танцам и игре на рояле... Авдотья Куницына дважды приходила сюда и плакала: «Степан, ты же друг ему,

образумь: пьянствует и опять с девками начал путаться...». Мучается женщина, но чем он может помочь ей, когда у товарища секретаря теперь новые друзья и советчики!

— Да, только что, — все еще продолжая угодливо улыбаться, говорил в трубку Куницын. — Ждем, Семен Яковлевич, ждем. — Он повесил трубку, и лицо опять приняло равнодушно деловое выражение. — Сейчас заявится.

Степан промолчал. Вторую неделю разбирался он в запутанных делах треста, а внутренне все еще не мог отрешиться от того, что было начато и не завершено им на Лубянке. Да и как отрешишься, если специалисты треста — и своим поведением, и плодами своей «деятельности» — невольно заставляют вспоминать груды папок с наклеенным на них ярлыком «Шахтинское дело»? Финансовая отчетность и по предприятиям и в самом тресте запутана, брак до двадцати процентов давно принял здесь, так сказать, «законную форму», а по некоторым предприятиям в текущем квартале он составил чудовищную цифру: сорок — сорок шесть процентов всей готовой продукции. Трудовая дисциплина? О ее состоянии говорило число прогулов: только одна крутильно-ниточная фабрика, на которой работает тысяча триста восемьдесят пять человек, ежемесячно не досчитывает свыше трех тысяч человеко-дней.

Куницын грузно шевельнулся в кресле. В последнее время он чувствовал себя как на иголках. Неожиданный стук в дверь или ночной звонок леденили и останавливали кровь, а на народе тоже охватывала настороженность: вдруг подойдет кто-нибудь и спросит: «А что это, товарищ секретарь, месяц тому назад затевалось в нашем городе?» Что затевалось в городе — это он знает, а вот что затевалось в т у а п р е л ь с к у ю н о ч ь? Еще накануне открытия объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) он получил телеграмму, которую телефонистки и в Москве и на орехово-зуевском телеграфе, вероятно, отстукали с полнейшим безразличием, может быть, даже позевывая: «Молния. Приготовьтесь к докладу о посевной. Угланов». — А его этот листок с наклеенными влажными полосками и обжег и в пот бросил.

«Проведите срочную мобилизацию всех наших сил»— вот что стояло за будничными словами о посевной.

Ночь была лихорадочно деятельной и по-фронтовому тревожной. С рассветом раздался, наконец, долгожданный звонок из Москвы, но... голос личного секретаря Угланова сказал устало и, кажется, со злостью: «Доклад о посевной отменяется».

А тринадцатого апреля в Колонном зале состоялось собрание московского партактива, на котором Сталин в своем докладе заявил, что состоявшийся объединенный Пленум ЦК и ЦКК не в пример другим пленумам был чисто деловым и прошел «без внутренней партийной драки», хотя обсуждались самые животрепещущие вопросы — хлебозаготовки, шахтинское дело, план работы Политбюро и Пленума ЦК. И резолюции были приняты единодушно...

Трубка на рычажках лежала косо, поправляя ее, Куницын усмехнулся: «Плывем, качаемся...»

Слова Бухарина! И сказаны они были... Ну да, еще позапрошлой осенью после того вызова в Москву, с которого и началось все.

Секретарь губкома, когда он вошел тогда в его кабинет, читал «Правду» и, не отрывая глаз от газеты, сказал:

— Рассказывай!

— Что рассказывать?

— Как развлекаешься...

В груди у него будто оборвалось что-то.

— Съела кошка сало и хвост поджала, — засмеялся Угланов.

— Так уж и кошка...

— Это фольклор, а из фольклора, как говорится, слова не выкинешь,— поглаживая сердечком подстриженную бородку, секретарь губкома пристально вгляделся в его лицо, потом улыбнулся и показал на корзину, полную клочьев бумаги. — На первый раз так я поступил и с письмами, в которых тебя обвиняли в пьянстве, бытовом разложении и еще многих пакостях. Было такое?

— Каюсь, — сказал он, поколебавшись.

— Я не поп, чтобы передо мной каяться. — Угланов прошелся по кабинету и спросил: — Читаешь художественную литературу?

— Маловато, но теперь обещаю быть в курсе и актив настрою.

— Я попросту спросил, а не директиву даю, — улыбнулся Угланов. — За последнее время в советской литературе утвердился тип этакого железобетонного большевика, праведника не от мира сего. Читается с зевотой. Откуда же он экспортирован на нашу планету, сей человек без слабостей и пороков, без сучка и задоринки? Нет, товарищи литераторы, коммунисты тоже люди, и все человеческое им не чуждо. Но нам, руководителям и вождям партии и масс, не следует забывать, что имеется грань, на которой следует сказать себе: «Стоп».

— Скажу. Да теперь я...

Секретарь губкома досадливым жестом дал понять, что еще не закончил свою мысль.

— Случайно ли в литературе появился такой тип? Не думаю, товарищ Куницын. Сия цитадель на двух ногах импонирует массам, и нам, руководителям, нельзя не считаться с этим. Это верно, «мы, коммунисты, люди особого склада», но не пуритане и большого греха не видим в том, если кто-то из наших товарищей стал выпивать лишний бокал, но, разумеется, не у всех на виду. Понятна тебе разница?

— Понятна, — вздохнул он.

— Тогда ступай. Хотя... Ты, Алексей Филиппович, теснее общаешься с народом — что орехово-зуевцы поговаривают об индустриализации и коллективизации? Не в открытой, разумеется, форме, а так, между собой.

— Разное говорят.

— А ты сам? Как думаешь, можно ли наступить кулаку на горло в условиях сегодняшнего дня, когда у нас миллионы таких крестьянских хозяйств, которые сами руку за хлебом тянут? И как вообще рассматриваешь ты это самое пресловутое кулачество?

Кулаки? Само собой, никакого расположения он к ним не чувствовал, скорее наоборот. Может быть, потому и в революцию пошел, что натерпелся немало обид от своего шурина — Тимофея Стребулаева, хозяйство которого ни в чем не уступало соседним помещичьим имениям. Женившись на его сестре, Тимофей прибрал к рукам и их, куницынскую, землю — немного, а все же име-

лось... Ему, Алексею, было в то время всего девять лет. Вместе с сестрой, хозяйством и землей Тимофей забрал и его в свой дом вроде на правах родственника, но когда он подрос и стал побольше соображать, то понял, что в доме Стребулаевых он всего-навсего батрак. Работает с рассвета дотемна, ест вместе с другими наемниками, спит где придется. Только в отличие от других батраков Тимофей, как «своему», не платил ему ни гроша. Кое-кто из односельчан подбивал его отобрать у Стребулаева свою землю через суд — твое, мол, дело правое. Он и сам понимал, что его дело правое, но как судиться с этаким мироедом, который не то что с мужиками — и с начальством не шибко считался: не он ездил к становому, уряднику и другим чинам волостного управления — они к нему. Сестра тоже просила не устраивать скандала, пообещав за мужа, что тот поможет ему встать на ноги после женитьбы. А его к тому времени уже крепко за сердце зацепила Дуняша Прохорова — румянец во всю щеку, золотистые косы до пояса... Правда, и в ее семье редко досыта ели, но на дочек из зажиточных семей ему, бездомнику, вряд ли можно было рассчитывать. Сговорились, обвенчались... Сестра на свадьбе была, шурин даже не заглянул, и вся помощь его ограничилась четырьмя красненькими, которые он дал, но не в подарок. К тому времени, когда началась война с Германией, процентов на этот должок наросло сам-три. И вышло так: его обрядили в солдатскую шинель, Авдотья же поднималась чуть свет и с девчонкой на руках шла за этот долг работать на Стребулаева. Вот почему в день мобилизации он хотел пустить на крышу дома Стребулаева красного петуха.

Но теперь — за давностью ли или оттого, что завоевал себе видное положение в жизни, — мысли о шурине уже не обжигали все в груди, а кулачество вообще... Кажется, похоже на то, что ему теперь стало совершенно безразлично — останутся или не останутся в деревне кулаки, однако сказать так секретарю губкома было по меньшей мере рискованно.

— Признаюсь, к своему стыду, в этом вопросе я недостаточно тверд, товарищ Угланов. И сомнения, и путаница в мыслях.

— Без ясности в крестьянском вопросе руководить нельзя, уважаемый товарищ! — Угланов взглянул на

часы. — К разговору о ясности мы еще вернемся, а пока... — он протянул руку, — не забывай, Алексей Филиппович, о гранях и... впрочем, на днях я позвоню тебе.

Каждый день после этого разговора он, приезжая в уком, прежде всего спрашивал: — Звонка из Москвы не было? — И к концу недели столь нервозного ожидания уже решил — не будет звонка, но секретарь губкома позвонил и пригласил к себе на дачу. Были в тот день там и другие секретари уездных комитетов партии и кое-кто из партийных и профсоюзных работников Москвы.

— Как говорится, чем богаты, тем и рады, — занимая свое место за столом, сказал Угланов.

Вначале разговор шел о делах, касавшихся Москвы и губернии, и если бы не бутылки, бокалы и продолговатые тарелки с закусками, можно было бы, пожалуй, забыться и подумать, что идет очередное заседание губкома. Хотя нет, о том, что здесь не губком, напоминало все, куда бы ни обращался взор: кружевные занавеси на окнах колыхались, пропуская в комнату смолянистый запах соснового бора; вокруг люстры хороводом вились мотыльки и бабочки, стукаясь о бронзовые чашечки и хрустальные подвески; девушки в белых и тоже с кружевной отделкой передниках бесшумно подходили к столу — одни составляли с подносов кушанья, другие уносили пустые бутылки и тарелки.

Разговор, вернее, шум за столом, стал уже общим, когда жена Угланова вошла с известием, что приехал Бухарин. Угланов вышел встретить гостя на крыльцо.

— Здравствуйте, товарищи, — от дверей сказал Бухарин. — Выходит, я, как Чацкий, — с корабля на бал?

— Вы за границей были? — удивился кто-то.

По лицу Бухарина, словно умыв его, скользнула улыбка.

— Beinahe[1], а точнее, на совещании в Коминтерне. Чем не корабль? Плывем, качаемся.

Смысл того, о чем говорил он на даче Угланова, конечно, помнился, а слова... мудреные они всегда у Николая Ивановича — на одно русское пять иностран-

[1] Почти *(нем.)*.

ных: «деградация», «стабильность», «ситуация», «субъективность», «казус диалектики»...

Припоминать их у Куницына не нашлось желания, да и о самом этом вечере вспомнилось, наверное, потому, что соседом его за тем столом был Мельчинский, заставлявший себя сейчас ждать здесь.

Куницын вздохнул. Нет, разумеется, не верил он ни в это «единодушие», ни в искренность смеха и аплодисментов Бухарина, Рыкова и Томского... А вот Угланов... еще в дверях зала предупредил: «Выступать не нужно».

С собрания секретарь губкома уехал вместе с Бухариным, к себе заявился уже за полночь и разговаривать ни с кем не стал, сославшись на усталость, а через неделю вызвал к телефону и сообщил, что по согласованию с ВСНХ на пост управляющего Орехово-Зуевским хлопчатобумажным трестом вскоре будет прислан Степан Орлов, и добавил: «Кажется, вы друзья?»

Что ж, и Анна считалась его другом, однако это не помешало ей выступить против него на прошлогоднем пленуме укома. От Ильи тоже приходилось получать немало щелчков, а Степан... Еще в армии его побаивались все, кто знал за собой какие-нибудь грешки... Такой, пожалуй, и с сыновьями своими был бы беспощаден, вздумай они противопоставить себя партии. Первой его мыслью было предупредить об этом Угланова, то есть сказать, что Орлов будет для них большой помехой, но успел лишь проговорить: «Орлов будет...»

— Проводить в жизнь решения ЦК и ЦКК? — перебил Угланов. — На то и принимаются решения, чтобы их проводили в жизнь, — пусть проводит, а твое дело — не мешать.

— Помогать ему?

— Сие ты вряд ли сумеешь — говорю, не мешай! — И повесил трубку.

А позавчера состоялся по телефону второй короткий разговор. Кто-то опять подал на него материалы в Москву, и Угланов сказал, что если он не научится держать себя в рамках, с Орехово-Зуевом придется ему распрощаться. Кто же это мог написать? А может быть, и нет никаких материалов... и тогда не было... Порвал? А зачем? «Сами в кусты, а шапки пускай, мол, на Куницыных горят... Ну, н-нет!»

Куницын шумно развернул «Правду», но глаза его лишь скользнули по странице с крупным заголовком «Пролетарское спасибо работникам ОГПУ» и скосились на Орлова, делавшего какие-то пометки на бумагах.

— Скажи, Степан, не ты дал Угланову на меня материал?

— Я.

— Т-та-ак...

В широко распахнувшейся двери появился небольшого роста мужчина в роговых очках с объемистым портфелем. Степан догадался, что это и есть Мельчинский.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Не поздоровавшись, Мельчинский бросил свой портфель на стол, потом снял шляпу, и на солнце, полосой тянувшемся от окна к столу, синевато блеснула его круглая, до лоска выбритая голова.

— Разворачиваемся, значит? — Он прошелся к окну и, повернув обратно, хлопнул шляпой себя по ноге: — Мы этого не позволим, товарищ Орлов! Я высказываю не свое мнение, я... Это...

— Что «это»? — спросил Степан, припоминая, где и когда встречался с ним.

— Это предупреждение Томского! — В глазах Куницына метнулось изумление: ведь только на днях в «Правде» была статья Томского, в которой тот заверял, что профсоюзы готовы решительно и с энтузиазмом бороться за претворение в жизнь всех решений апрельского Пленума ЦК и ЦКК.

— Пре-ду-преждение! — еще выше поднял голос Мельчинский. — И тебе, и твоим покровителям... — Сверкнув очками, он повернулся к Куницыну, грузно шевельнувшемуся в кресле. — Я со всей ответственностью заявляю, что мы спросим отчет и с тебя, уважаемый Алексей Филиппович.

— Видишь ли...

— Отлично вижу! — не так крикливо, но все же зло буркнул Мельчинский. — Хочешь сказать, что не разделяешь увлечений Орлова и компании? Сие ЦК союза известно, но... попустительство эквивалентно сообщни-

честву!.. Это тоже не мое личное мнение. — Он вынул из портфеля «Комсомольскую правду» и швырнул на стол. — Полюбуйся! Сынок упражняется в теории, а папаша сию антирабочую теорию осуществляет на практике! Им мало единичных экспериментов, они мечтают втянуть в свою потогонную систему всю молодежь, весь рабочий класс! Не выйдет! — В голосе Мельчинского зазвучали металлические нотки, и он стукнул по столу кулаком. — В хозяйчиков вырождаетесь!.. Под ширмочкой соцсоревнования думаете из рабочего горба сверхприбыли выжать, а? Не позволим! Не для этого делали мы революцию!

«Нет, с ним, пожалуй, я не встречался, — усомнился Степан. — С кем-то другим, но очень на него похожим... Такой же бритоголовый...»

Скользнув взглядом по ордену Красного Знамени на гимнастерке Степана, Мельчинский рассмеялся:

— Советский управляющий! Сколько у Морозова обслуживали каждый мюль? А что поддерживаешь ты, коммунист, которому рабочие с легкой душой вверили свои трудовые интересы? Сведение хозяйского минимума до четырех! Оставим пока в стороне эти четыре жертвы карьеризма некоторых перерожденцев и спросим: а трех куда? Что?

Но усмешку управляющего вызвали не его слова — просто Степан припомнил наконец: похож заместитель председателя ЦК союза текстильщиков на шахтинца Матова, дело которого он вел на Лубянке, и сам Мельчинский больше не интересовал его, однако брань этого неразоружившегося оппозиционера была настолько груба и неуместна, что в учащенно застучавшем сердце нарастало желание крикнуть: «Достаточно!» — и показать на дверь.

Степан вынул из стола папку с отчетами директоров фабрик, но голос Мельчинского, мешая сосредоточиться, назойливо стучал в уши.

— Программа «догнать и перегнать»... сотни и тысячи новых заводов... Знаю! Но пока сие обсуждается и, следовательно, не программа, а спорные тезисы — курочка в гнезде.—Мельчинский презрительно фыркнул.— Построй эти тысячи заводов-гигантов и тогда... а пока не позволим расширять безработицу. Мы грудью встанем на защиту рабочего класса, хватит попустительств!

«Матов» — рассеянно написал на листке Степан, и губы его вновь тронула усмешка, а глаза стали еще суше и холоднее.

Матов! Выразительнее фамилии для этого бандита с инженерским дипломом не придумаешь: весь он, начиная от выбритой головы до рук — не то жирных, не то водянистых, с рыжеватыми волосками на суставах, — был какой-то матовый и скользкий... Глаза спрятались за очками да еще прикрыты белесыми, будто опаленными ресницами. Галстук, на брюках складочки, словно только что из-под утюга... Часовые рассказывали — на ночь он кладет их под матрац. Франт и, разумеется... джентльмен!

Матовы, Березовские, Юсевичи...

С каким возмущением и чувством собственного достоинства эти негодяи в первые дни заключения произносили свои «нет», «нет» и «нет»!

Теперь этот этап уже позади: улики и вещественные доказательства заставили даже самых упорных сменить «нет» на «да». Затопляли шахты, вызывали обвалы горных пород, обрекая на смерть десятки и сотни советских шахтеров; портили машины, омертвляли забои, богатые залежами каменного угля, разрабатывали тощие пласты. На ветер, на злодейские дела и делишки летели десятки и сотни тысяч советских рублей в дни, когда каждый рубль ощутимо участвует в разрешении проблемы, жестко поставленной Лениным еще в годы военного коммунизма: «Быть или не быть»!

Да, они делали все, чтобы советской власти «не быть», и каждое их преступление оплачивалось заграничной валютой. Платили бывшие владельцы шахт Донецкого бассейна — поляк Дворжанчик, француз Ремо, Соколов... Платила берлинская ВКЭ. Запутанные показаниями своих дружков, Юсевич и Матов вынуждены были признаться, что во время служебных командировок не только посещали военное министерство Франции, но и получили из кассы этого министерства «около миллиона франков».

В чем только они не повинились, эти Матовы, Юсевичи, Казариновы, Башкины и Колодубы!..

Но настороженность не покидает их ни на минуту, и стоит направить допрос по руслу, которое привело бы к открытию новых связей и контрреволюционных групп,

как словоохотливость мгновенно оставляет преступников, и в протоколах появляются старые знакомые: «нет», «этого я не могу сказать».

А за границей знают! Вон какой вой подняла вся буржуазная пресса...

«Гидра империализма» — изрядно затасканное выражение, но лучшего, пожалуй, не подберешь. Пуанкаре, Пилсудский... Причастность к вредительству в советской угольной промышленности этих господ неопровержимо установлена следствием. Из английских правительственных кругов названо имя Уинстона Черчилля. О причастности к заговору германского правительства следствие пока еще не располагает определенными данными. Инженер Казаринов и немцы, инженер Отто и монтер Мейер, в своих показаниях говорят лишь о частных немецких фирмах, отчислявших для шахтинцев полтора процента с общей стоимости поставленного Советскому Союзу оборудования.

Но почему же «Форвертс» проявляет такую нервозность и бешенство в связи с провалом этой контрреволюционной банды? Почему, не зная еще, что именно раскрыто следствием, эта официальная газета социал-демократического правительства Германии объявила «шахтинское дело» выдумкой ОГПУ и маневрами ВКП(б), решившей, мол, результаты провала своей политики списать на счет несуществующих вредителей? И почему эта почтенная газета требует отзыва торгово-промышленной делегации, ведущей в Москве переговоры о поставке Советскому Союзу машин и выполнении монтажных работ. Да разве только «Форвертс»?

Шантажом, угрозами и ультиматумами вот уже второй месяц полна пресса всех без исключения стран капиталистического «цивилизованного» мира. Рябушинский со страниц белогвардейского листка призывает французское правительство порвать с СССР дипломатические отношения и начать интервенцию. Теряя всякое самообладание, он грозит задушить большевистскую Россию костлявой рукой голода.

Истерика бывшего московского заводчика? Но ведь столь же истерично кричат и «Тан» и другие официальные и полуофициальные органы правительства Пуанкаре. Англичанам нечего порывать. Правительство Болдуина уже порвало и «де-факто» и «де-юре», но отдельные

английские фирмы продают Советскому Союзу машины, хлопок, и вот «Таймс» вчера скомандовала — прекратить!

— Ни грамма хлопка! — командует американским плантаторам покровитель ку-клукс-клана Херст. С газетных полос этого же архимиллионера и архимракобеса обращена полупросьба-полуприказ к президенту США Гуверу «умиротворить большевистскую стихию в Европе»... А газеты Варшавы, Бухареста, Ватикана!.. Если бы всю эту прессу озвучить и пропустить в один рупор, то с чем бы можно было сравнить этот вой осатанелой ярости? И хотят, чтобы ОГПУ поверило, будто «шахтинское дело» — только Донбасс. Нет, господа!

Слишком частыми за последнее время стали аварии на электростанциях и транспорте, золотые прииски подозрительно утратили рентабельность, металлургические заводы выпускают брак, текстильные фабрики все на ходу, а продукция их в избытке лишь у спекулянтов и нэпманов — деревня раздета, и в городах кооперативные полки пусты. Случайность? Трудности роста? Но такие же «случайности» и «трудности роста» были и в Донбассе. Нет, «шахтинское дело» — это не только Донбасс, и находящаяся под следствием банда специалистов — не самостоятельная организация внутренней контрреволюции, а лишь одно из ее звеньев и к тому же не центральное. А где оно, центральное, и много ли их, остальных звеньев? Найти хотя бы одного не угольщика, связанного с этой бандой, и тот мог бы стать кончиком, который потянул бы за собой и размотал весь клубок антисоветского заговора.

При аресте немцев — представителей берлинской «АЕГ» — чекисты обнаружили в камине груду пепла от сожженных бумаг и, разворошив его, извлекли два еще не распавшихся лоскуточка. На одном из них удалось прочесть:

«Unter vier Augen mit E. T.»[1], а в записной книжке инженера Отто под словом «Moskau» было записано «Emma Tompson». Проверка иностранцев, проживающих в Москве, не дала результатов: Эммы Томпсон среди них не значилось. Так что у следствия сейчас имеется только один «кончик» и тоже пока не расшифрованный—

---

[1] С глазу на глаз с Э. Т. (*нем.*).

некий «Р». Юсевич показал, что, когда прибыли в Донбасс немцы, он был у Матова и слышал, как Мейер сказал:

— Привет вам от господина «Р»...

На все вопросы об этом «Р» немцы отвечали молчанием. Матов сначала тоже отрицал, что знаком с каким-то мифическим «Р», потом признался, что это мосье Ремо.

Да, «матовый», скользкий... Но он, Степан, за дни следствия привык и сквозь эту «матовость» безошибочно угадывать, когда старый щеголь говорил правду, когда врал. О «Р» ложь его была несомненной. Зимин, который ведет теперь дело Матова, — чекист с большим опытом, но Степана не оставляла мысль, что сам он быстрее докопался бы до этого «Р», потому что знал Матова и раньше, в дни своей подпольной работы на шахтах Донбасса, куда был послан ленинским ЦК после побега из поезда, мчавшего его на казнь.

Юрий Николаевич Матов и в то время был заметной фигурой на Донбассе, доверенным лицом самого Дворжанчика, а Дворжанчик... Сияние богатства этого грузного, заплывшего жиром поляка, в руках которого были и Щербинский, и Неляповский, и общество Никитовских копей, Ирминские рудники и частично рудник «Золотое», отражалось и на лицах его служащих — этих Быховских, Матовых, Березовских... В Юрии Николаевиче было тогда меньше «матовости», чем теперь, тогда он как бы на небесах витал — надменный, властный... Рабочий человек к нему и не подступись, да что там рабочий — не каждого служащего удостаивал кивка. Как человека своего круга его принимал у себя не только пан Дворжанчик. Правда, среди шахтеров поговаривали, что француз Ремо и англичанин Строун по-обидному снисходительно похлопывали Юрия Николаевича по плечу, но за свой стол все же сажали, а Соколов и Парамонов не прочь были переманить к себе от пана «талантливого инженера».

В советское время этот «талантливый инженер» проявил себя талантливым лицедеем — втерся в доверие к партийным работникам, пролез на высокий технический пост и даже авторитетик среди шахтеров завоевал, подлец! Нелегко заставить такого быть «откровенным до конца», а время ведь не ждет. Пока не поймана и не

раздавлена вся эта контрреволюционная гадина, страна находится в большой опасности.

В дверь постучали. Секретарша сказала, что звонит Бардин и очень просит соединить.

— Давайте.

Степан покосился на Мельчинского, что-то еще извлекавшего из своего портфеля, и взял трубку.

— Степан Петрович? Рад доложить вам, что все отделы на полном ходу, — бодро заговорил в трубку директор ткацкой фабрики № 2. — Станочки постукивают, утком и основой обеспечены с запасцем.

— Сколько простояла фабрика?

— Что?

Степан повторил свой вопрос.

— Да пустяки, Степан Петрович! Пять часов с какими-то минутами.

— Заплатите эти пустяки из своего кармана.

Трубка молчала так долго, что Степан хотел уже положить ее, но послышался кашель, а потом и тонкий вскрик Бардина:

— Это как же так, Степан Петрович?

— Очень просто. Иван Иванович и Иван Никифорович повздорили из-за гусака — это было их личное дело, а в производственных делах нам гусаки не нужны, запомните раз и навсегда! У треста нет и не будет средств на оплату таких гусаков.

— Товарищ Орлов, если... — В трубке опять послышался кашель. — Да! При таких взаимоотношениях... я, кажется, вынужден буду подать вам заявление об увольнении.

— Незаменимых у нас нет, — помолчав, сказал Степан, — но прежде чем уйти, простой фабрики вы оплатите полностью, до последней секунды, и постарайтесь сделать это в текущем квартале, иначе дело будет передано в прокуратуру. — И он положил трубку.

— Видал? — торжествующе обратился Мельчинский к Куницыну. — Расстреляли растратчика и на его место посадили... Да, Орлов, как уполномоченный доверием масс, я должен со всей ответственностью заявить: это из-за таких, как ты, политических авантюристов мы очутились на краю пропасти. В стране голод, в Сибири стреляют в нас из обрезов, по селам гуляет красный петух... На Северном Кавказе волнения. Интеллигенция против

нас. А вам этого мало... Вы думаете поднять против нас пролетариат! На советском языке, знаешь, как это называется? Контрреволюцией!

По лицу Степана разлилась бледность.

— Еще одно такое слово, и я...

— Не грози. Я говорю, или ты откажешься от своих... от всего этого...

— Или?

— Орден тебя не спасет! — тоже побледнев, закричал Мельчинский. — Я приехал предупредить, что я, то есть мы... В общем, если возьмемся за тебя, то уж как следует копнемся и в прошлом...

— А оно тебя очень интересует?

— Разумеется.

— А меня твое заинтересовало — и тоже очень! Что же касается моего... — Степан взял Мельчинского, как мальчишку, за шиворот и потянул к окну, выходившему на Ленинскую улицу. Куницын торопливо поднялся.

— Степан!

— Не бойся, не выброшу. — Степан отстранил его локтем и гневно прикрикнул на заместителя председателя ЦК союза, с перепугу ставшего, кажется, еще ниже ростом: — Смотри!

Вымытые дождем крыши домов блестели, блестел и асфальт, с сучьев тополей падали, искрясь на солнце, последние капли. Степан показал на корпуса фабрик: возвышавшиеся над ними кирпичные трубы уперлись в самое небо и цеплялись там хвостами дыма за уносившиеся к лесу тучи.

— Многого из этого не было, да и самого города, когда мой отец, Петр Орлов, пришел сюда из Твери двадцатилетним парнем — в лаптях и домотканой рубахе — не было! На месте вот этих новых фабрик шумел лес — сосна вперемежку с березой и елью. По елкам, говорят, прыгали белки, а по ночам жители Зуева не спали из-за волков... Лес, болото да монастыри — вот что здесь было вокруг! На плечах наших отцов поднялся и разросся этот город текстиля. Ясно?

— Ну, чего же неясного, — с примирительной улыбкой сказал Мельчинский. — Но, может быть, товарищ Орлов, ты все же отпустишь мой воротник?

Степан с удивлением перевел взгляд на свою руку и разжал пальцы.

— Извини.

Мельчинский пробормотал что-то и принялся заталкивать в портфель свои бумаги.

По кабинету, чуть колеблясь, тянулись сизые полосы табачного дыма. Степан распахнул окно — широко, на обе створки. Свежий порывистый ветер приятно коснулся разгоряченного лица. Вдали под лучами вечернего солнца играли глянцем крыши рабочих казарм, а еще дальше, на берегу невидимой из окна Клязьмы, раскинулось Зуево.

На качнувшейся створке окна мелькнуло отражение кабинета. Мельчинский, прижав локтем к боку портфель, прикуривал от спички, услужливо поднесенной ему Куницыным.

«Черт его знает, как воротник этого хлюста попал в руку — неудобно все же...»

Степан покачал головой.

«Усталость сказывается, — подумал он, вспомнив, что за последние три недели работы в ОГПУ, кажется, и на улицу не выбирался: с утра допросы, ночью ознакомление с материалами, с каждой бумажкой, найденной в служебных кабинетах и на квартирах преступников. Перед рассветом ложился на диван и вроде только-только успевал глаза закрыть, а за дверью уже слышались четкие шаги часовых — привели на допрос шахтинцев... Несколько гимнастических упражнений, торопливый завтрак и снова за работу. А здесь... Здесь тоже не до сна. Но бывали ведь и раньше напряженные дни и недели... Сколько возились с этими троцкистами, не раз темнело в глазах от гнева, но однако же не забывался и даже голоса не повышал...

— Ну, пока! — сказал Мельчинский Куницыну.

— Пока, дорогой, — секретарь укома пожал его руку. — Да я провожу тебя...

Мельчинский холодно взглянул на обернувшегося Степана.

— С тобой, управляющий, не прощаюсь, так как надеюсь на скорую встречу, но в другом месте.

— Хорошо, — сказал Степан, а про себя успокоенно решил: если бы это было на Лубянке, там он не забылся бы. Чутье чекиста редко подводило его, и сейчас оно

подсказывало, что Мельчинский не просто оппозиционер и профбюрократ, а сукин сын, и не упустит, наверное, такого случая, чтобы из мухи сделать слона: «Вот, мол, дальше переть некуда — члена ЦК союза за шиворот схватил».

Степан прикрыл дверь и сел за стол.

«Сукин сын, но как это доказать?»

Вернулся Куницын.

— Проводил! — Вытирая платком лицо, он покосился на окно. — Я закрою! Терпеть не могу сырости.

— Давно ли? А под Царицыном, помнится...

— Нашел время ворошить историю. — Куницын сердито захлопнул окно и полез в карман, но папиросная коробка оказалась пустой. — Закурить есть?

Степан кивнул на помятую пачку «Червонца», лежавшую возле чернильницы.

— Только ты, кажется, такие теперь не куришь?

— Да, отвык, но ничего. — Куницын шумно опустился в кресло. — Поздравить, значит, тебя, Степан?

— С чем это?

— С воскрешением Степки Орлика.

— Да? Оказывается, и тебе мое прошлое спать не дает.

— Это ты брось. Мне кое-что другое спать не дает, а насчет тебя... Так, мимоходом, на днях разговорился с одним старичком...

Степан в упор посмотрел на его обрюзгшее лицо.

— Чем мимоходом и у других, проще было бы обратиться прямо ко мне, я удовлетворил бы твое любопытство полностью. — Он прошелся по кабинету.

— Да, Алексей. Был в жизни Степка Орлик, как был в ней и славный командир Красной Армии Куницын. Степан Орлик умер еще до тысяча девятьсот пятого года, уступив свое место в жизни коммунисту Степану Орлову, а коммунист Алексей Куницын умирает на наших глазах, из жизни его вытесняет совбюрократ, для которого личное благополучие стало дороже всего, который из-за боязни утратить свое благополучие готов улыбаться любому «высокопоставленному», и даже в том случае, если этот «высокопоставленный» называет его друга «политическим авантюристом» и «контрреволюционером».

Степан взял папиросу. Заметив, что Куницын сидит с потухшим окурком, протянул ему пачку и спички. Но

пальцы того дрожали, и он одну папироску поломал, две уронил на пол.

— Злой ты человек, Степан! Сразу и к Угланову. А я не такой... Я не забыл, что дважды обязан тебе жизнью, и сюда приехал тоже ради тебя, чтобы...

— А я в адвокатах не нуждаюсь.

— Нуждаешься! — Куницын побагровел сильнее. — Мельчинский, может, и перегнул, но в основном-то он прав. Давно ли ты здесь, а специалисты уже все против тебя, готовят коллективное письмо в ВСНХ. Фабрики в прорыве, главный инженер треста собирается бежать от тебя, как от чумы... Подожди, не перебивай и Мельчинским не тычь... Резкости его я не разделяю, но по существу полностью с ним согласен, и не потому, что он «высокопоставленный». Я тебе до Мельчинского говорил, что не одобряю раздувания этого мальчишеского соревнования: машины на фабриках старые, хлопка в обрез. Фу, черт! Как ты куришь это дерьмо? — Куницын снял телефонную трубку. — Горком партии! Это Алексей Филиппович. Распорядитесь, милая, чтобы доставили мои папиросы в заводоуправление. Да, я в кабинете управляющего. — Он положил трубку и усмехнулся. — Знаешь, что говорят в городе о поддержке твоим сыном и тобой ударной бригады Андрея Каткова? Сын — это понятно, друзья, а отец... Здесь, Степа, на свет божий выплывает некая романтическая история, и героиня ее— Марфа Каткова, в молодости Марфуша Серегина. — Он рассмеялся, маслянисто поблескивая глазами. — Говорят, что Степан Орлов, в бытность Степкой Орликом, имел на нее кое-какие виды, обещал жениться, да потом... другая приглянулась. Но «покойный» Орлик перед смертью, выходит, оставил завещаньице коммунисту Степану Орлову, и тот чувствует себя не совсем удобно, когда до него доходят слухи, что барочница Марфа Каткова не проводит никакой черты между Орликом и управляющим хлопчатобумажным трестом Степаном Орловым: честит напропалую всех Орловых — и на фабрике, и в казарме, и в очередях. А коммунист Степан Орлов занимает высокое положение. Почему бы не воспользоваться им, чтобы... ну, скажем, умилостивить бывшую любовь бывшего Степки Орлика — авось материнская благодарность возьмет верх над поруганным женским чувством.

— И ты... поверил?—сдерживаясь, спросил Степан.
— Меня сие мало касается, — лениво проговорил Куницын, — а вот Мельчинский может из такой истории конфеточку сделать. Впрочем, и это пустяки по сравнению с основным его козырем. — Куницын насмешливо кивнул на окно. — Ты хорошо показал ему город и об отце недурно сказал. Старик твой — ничего не возразишь — колоритная фигура. А дядя и крестный, — он перекинулся глазами к окну, выходившему во Двор стачки, и с усмешкой задержал их на памятнике. — Ничего не скажешь, завидная родословная с этой стороны. Но, кажется, никто здесь не в курсе твоей родословной со стороны Анны. Знаю, что папаша ее в мир иной отошел, и с помощью... Чего на войне не бывает сгоряча, потом спохватываются...
— Ты о чем это?
— О родне. У твоего тестя братец остался, дядюшка твоей Анны, который, кстати, в эти самые минуты сидит в твоем доме и распивает чай в обществе Анны и твоих детей.
— Крамской?
— Крамской.
Степан взялся было за телефонную трубку и, раздумав, сквозь зубы спросил:
— Ну и что же?
— Газеты надо читать, — засмеялся Куницын. — Он полез в карман и извлек оттуда какие-то бумажки, скомканные вперемежку с деньгами. Один листок, сложенный вчетверо, выпал. Степан, страдая дальнозоркостью, невольно прочел несколько немецких слов, написанных русскими буквами: «Их либе дих... Их варте».
Куницын поспешно поднял листок.
В марте этого года секретарь Угланова затащил его к писателю Берзину. Народу было много. Какой-то вихрастый парень читал стихи. Говорили кто о чем, ни водки, ни вина за столом не было, и он, Куницын, скучал, пока к столу не вышла жена писателя, которую все называли Эммочкой, а она всем говорила: «Здравствуйт, я отшень рад». Русским языком Эмма Берзина не владела — только английским и немецким. Он, Куницын, смотрел на нее во все глаза, словно завороженный. Вот это женщина! Изучить английский или немецкий язык? Но на такой подвиг даже при всей тяге к Эмме он не

отважился и придумал компромисс — дал дочке задание перевести ему нужные фразы и слова на немецкий язык, но написать их русскими буквами, что та и сделала вчера.

Куницын сунул листок в карман.

— «Вечерняя Москва» недельной давности. В статейке рассказывается о митинге в Тимирязевке в связи с шахтинцами. Часть профессуры демонстративно отказалась присутствовать. В числе их и твой родственник — Игорь Борисович Крамской. Авторы статьи — их несколько человек — законно спрашивают: а не шахтинцы ли они, эти профессора?

Со Двора стачки в кабинет доносился монотонный гул голосов; вероятно, у магазинов ЦРК, расположившихся внизу заводоуправления, уже выстраивалась очередь. С улицы долетел шум проехавшего автобуса. Степан молчал, перебирая пальцами бумаги. Статейку, о которой рассказал Куницын, он не читал, но подозрение ее авторов не мог считать нелепым. Сам он не видел Игоря Борисовича с 1906 года, когда тот предоставил ему и Анне убежище в своем доме. У Анны последняя встреча с ним была уже после демобилизации. Дядюшка и руки ей не подал, и сесть не пригласил.

«Ты вроде уж позабыла, чья кровь на твоих руках. О Леониде, моем брате и твоем отце, я молчу: как говорится, бог вас рассудит... Но Юрия простить тебе не могу. Ничто, Анна, не смоет его кровь с твоих рук, ничто!..»

И вот теперь, если не сочиняет Куницын, профессор Крамской сам пожаловал. Зачем?

Подметив, как сошлись на переносье брови Степана, Куницын опять рассмеялся:

— Так что у каждого свои родимые пятна, но утешимся старой истиной: и солнце не без пятен! Подвижничество — удел молодости, Степа, и мы отдали этому свою дань, да еще какую! Пусть-ка теперешняя молодежь даст Родине столько же, сколько в свое время мы, и тогда бросай в нас камень за то, что на склоне лет хотим взять от жизни что-то и для себя, для души. — Он улыбнулся и, поднявшись, дружески опустил руку на плечо Степана. — Полно тучи по лицу пускать, уладим. Вот что: приходи часикам к одиннадцати, у меня будут гости из Москвы, попробую затащить и Мельчинского,

а упрется — черт с ним, у Куницына есть неплохие связи в верхах, замнем это дело... А за шиворот-то ты его, однако, ловко ухватил, как пацана, — это члена-то ЦК союза, ха-ха-ха!...

Степан столкнул с плеча его руку.

— У вас ко мне есть какие-нибудь дела, товарищ секретарь?

— Вот ты как! По-нят-но!.. Слушай, после такой демонстрации я мог бы плюнуть на тебя и уйти, но, повторяю, я не забыл, что дважды обязан тебе жизнью, и поэтому даю тебе еще одну... последнюю возможность спасти себя: подавай рапорт об освобождении от работы... по состоянию здоровья.

— Как?

— Очень просто — так, как сказал ты Бардину. В одном доме нам не ужиться. Ну? Сегодня же проведем приказом, и Мельчинскому нечего будет около тебя делать. — Куницын схватил папироску, повертел ее и, поколебавшись, закурил. — Пиши, я обожду.

— Ты вгорячах не забыл, что партия поставила меня на этот пост, и только она может меня снять?

Секретарь горкома пренебрежительно махнул рукой

— Пустяки, с Углановым я...

— Вы что же, товарищ Куницын, не слышали, что я сказал? — нахмурился Степан. — Я сказал: дезертировать коммунист Орлов не способен, да и незачем это ему. Фабрики в прорыве? Это верно. Но я позволю себе зачитать для вашего сведения из документа, составленного накануне моего появления здесь.

В дверь кабинета заглянула секретарша.

— Степан Петрович, пришли мюльщики.

— Обождут! — не оборачиваясь, крикнул Куницын.

— Нет, зачем же? — Степан прошел к двери.

В приемной стояли три старика.

— Мы насчет вызова Андрюшки Каткова: хотим, стало быть, и на своих машинах такое же уплотнение.

Степан оживился.

— Добре!

— Задело за нутро, — сказал самый старший из стариков с длинной седой бородой. — Яйца курицу учить начинают! Ну, да мы им, молокососам, покажем, что такое кадровый рабочий. Только, товарищ управляющий, у нас кое-какие соображеньица... обсудить бы...

— Да вы проходите, садитесь.

Куницын подождал, пока мюльщики уселись за стол, потом взял портфель, но в дверь опять заглянула Зоя Фроловна.

— Степан Петрович, к вам из Москвы товарищ.

Она отошла от двери, и Степан невольно поднялся: в кабинет входил Крамской.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Звонил мосье Жерар, безотлагательно требуя свидания. Сонно протирая глаза, Антонина Ефремовна сказала, что ждет его через час у себя.

— En ce qui concerne la servante, n'y faites pas attention, quant au mari, il est parti hier[1]. — Повесив трубку, она вернулась в свою комнату.

На улице слышался говор. Вот прогрохотала по булыжной мостовой телега, наверное, очень тяжело нагруженная. Окна дома напротив розовато отсвечивали солнцем.

Антонина Ефремовна повернула выключатель настольной лампы. Ударившись в оранжевый колпак абажура, свет мягко разлился по комнате, стены которой только на прошлой неделе были окрашены «под волну», и так удачно, что нарисованные зеленоватые «волны» казались почти живыми. Антонина Ефремовна положила валявшуюся возле кушетки книгу на этажерку и подошла к трюмо. Постояв с минуту неподвижно, вздохнула: морщинки на лбу и возле губ... От посторонних глаз их можно скрыть тоненьким слоем искусно наложенного крема, а от себя-то ведь не скроешь: старость!

— Даша!

Прислуга заглянула в дверь.

— Сделай уборку, но на столиках не смей ничего трогать.

Кран над раковиной был начищен Дашей до сияния, но и оно, это сияние, показалось Антонине Ефремовне каким-то грубым и пошлым, словно золотые буквы на этикетке дешевых духов.

«Ванны и той нет», — поморщилась она, спуская с

[1] Прислуга не стоит внимания, что касается мужа — он еще вчера уехал *(франц.)*.

плеча сорочку и брезгливо оглядывая громоздившиеся на плите чугунки, кастрюли и сковородки.

Когда-то она любила обнаженная стоять перед зеркалом, закинув руки за голову или поправляя ими прическу, но тогда ведь стоило ей появиться в ресторане или театре с голыми плечами и рискованным декольте, глаза у мужчин разгорались, и они ходили за ней толпами — покорные, желающие ее.

«А девушке в осьмнадцать лет какая шляпка не пристанет!» В осьмнадцать—да, а в дважды осьмнадцать?.. Сотни шляпок надо перебрать, чтобы найти ту, единственную, которая хоть слегка стушует возраст.

Антонина Ефремовна протерла глаза. Мыльная вода, стекая с лица, задерживалась на груди и животе... Жир! Горы жира!

Чтобы приостановить эту катастрофически нарастающую тучность, она проглóтила не один килограмм разной аптекарской дряни — и в порошках, и в таблетках, и капельками, и по столовой ложке перед едой, после еды, натощак и на ночь, а тело все рыхлело, противно вздрагивая при малейшем движении.

Молодость беспечна, ей нет дела до того, что там, впереди, не видит и не слышит она крадущихся шагов времени, но зато как гулко отдаются эти шаги в ушах женщины, когда ей за тридцать и тем более за сорок лет. Время уже не подкрадывается к ней, оно наступает на нее, как статуя командора, и некуда пятиться. В лицо даже в самые цветущие дни весны холодно дует осень, а за ней — все бело и безотрадно: старость!

Молодости не понять, что для такой женщины означает не только каждый лишний день, каждый час, каждая минута этой немилосердной поступи времени, а ведь она, Антонина, ограблена не на минуты и часы, а на целые одиннадцать лет!

С улицы доносился голос радио — наверное, последние известия:

— Нервозность и бешенство — других слов не придумаешь для оценки передовой, опубликованной во вчерашнем номере «Форвертс», являющейся официальным органом правительства Германии.

Антонина Ефремовна повернулась намыленным лицом к окну.

— Мы уже сообщали, что в своей реакции на сооб-

щение прокуратуры СССР о раскрытии ОГПУ в Шахтах контрреволюционной банды «Форвертс»...

Грохот грузовой машины заглушил радио, а когда он стих, сквозь шум падающей из крана воды она услышала дверной звонок и испуганно вскрикнула:

— Даша, халат!

Но это был Игорь Борисович.

— Извините, mon cher[1], что я в таком виде, я думала...

Профессор пожал плечами. Спина у него стала сутуловатая. Антонина Ефремовна проводила ее неприязненным взглядом и прошла в свою комнату.

Одеться для женщины всегда искусство, а женщине ее возраста, да еще при этакой полноте... здесь, кроме вкуса, требовалось поистине адское терпение. Не так-то просто скрыть от глаз то, что прежде так естественно обнажалось.

С папиросой, закушенной в уголке рта, Антонина Ефремовна туго стянула корсет и, переводя дыхание, хмуро оглядела красный след на боках и спине, оставленный тесемками чересчур тесного бюстгальтера. Надо бы смазать вазелином или хотя бы тальком присыпать, что она делала каждое утро, но до приезда мосье Жерара осталось уже всего тридцать восемь минут. А может быть, Крамской уйдет?

За перегородкой слышались шаги — профессор ходил по кабинету. Она представила себе его: руки заложены за спину, высокий лоб нахмурен.

За восемь лет, минувших после примирения, ни разу не спросил он, где она бывает или кто у нее бывает. Бог знает, что у него на уме и что подумает он, увидев в своей квартире иностранца.

Антонина Ефремовна поморщилась: места, где врезались тесемки бюстгальтера, нестерпимо саднили, и зло было на душе от мысли, что эти красные полосы будут спутницами ее стареющего тела, если и не вечно, то во всяком случае до той поры, пока она не перестанет ощущать себя женщиной, а ощущать себя таковой она хотела до последнего дня своей жизни и несмотря ни на что. И поэтому эти рубцы на ее теле тоже были из того счета, который она не простит большевикам. О, с каким

---

[1] Мой дорогой *(франц.)*.

наслаждением своими руками сдавила бы она горло каждому из них!

...Шелест. Вероятно, взял газеты...

— Игорь Борисович!

— Да?

— Вы разве не поедете сегодня в академию?

Игорь Борисович промолчал, глядя на лежавшую перед ним раскрытую брошюру «О состоянии народнохозяйственной конъюнктуры». Это была стенограмма прошлогоднего доклада профессора Кондратьева на пленуме земплана Наркомзема РСФСР.

«Страна не имеет сил выносить того темпа развития промышленности, который мы взяли в прошлом году,— говорилось в нем. — Когда ставится проблема строить фабрики, строить железные дороги, создавать оборудование, то... нужно иметь средства, а при той политике, которая проводится по отношению к сельскому хозяйству, их не будет, а это значит, что все здание индустриализации строится на песке...»

Крамской перекинул взгляд к отчеркнутому им месту, где Кондратьев требовал взять курс на форсирование сельского хозяйства. Вчера он, кажется, согласен был с этими мыслями, а сейчас вдруг поразился:

«Митькин!»

То же ехидство по поводу возникших в стране продовольственных трудностей, то же возмущение политикой налогов. И если извозчик Митькин хотел, чтобы в городе «элементам» дали простор, то ученый муж и в этом не отставал от него, подчеркивая, что «по линии сельского хозяйства» предлагаемый им путь развития народного хозяйства «есть отказ от преследований так называемого кулака».

«Я знаю, что предубежденность против этой фигуры огромна. Но, извините меня, тот класс населения, который не сводит концы с концами в своем бюджете, никакого накопления дать не может. Можно на него возлагать горы надежд, он, может быть, годен для борьбы на баррикадах, я с этим согласен, может быть, он годен еще на что-нибудь, но для накопления он не годится. Не ведите зигзагообразной политики в деревне, ведите определенную политику, стройте дело на бедноте; или от этого откажитесь и развяжите руки творческой фигуре деревни...»

«Творческая... это мироеды-то!»

За стеной что-то звякнуло. Игорь Борисович настороженно скосил глаза, а с губ его слетело:

— Д-да-с...

И в этом «д-да-с» была досада не только на Антонину Ефремовну, но и на себя — за свою слабохарактерность, не позволившую ему восемь лет назад закрыть дверь перед этой женщиной. Сказать бы твердо: «Нет!»—и ни один человек на свете не посмел бы упрекнуть его в жестокости. Но дело, разумеется, не в суждениях других, — не было бы вот этого тягостного... Чего?.. И определение мудрено подобрать — сожительства? Сосуществования?

Впрочем, не в этом суть, совсем не в этом.

«Творческая фигура деревни»... — Губы его тронула усмешка, а глаза под седеющими бровями смотрели все так же хмуро. Встреча с Орловыми оказалась безрезультатной. Не нашлось решимости задать Степану вопрос, ради которого предпринял он эту поездку, остались в душе и боль и смута.

Не совсем верно, а точнее, чепуху сказал он Анне, будто политика его теперь не интересует. Правда, в те дни, когда дошла до него весть о расстреле Анной отца и Юрия, душа его, казалось, навсегда закрылась для всего, что хоть отдаленно связано с политикой.

«Я человек науки, ее слуга, и все, что выходит за рамки этого служения, — не для меня», — сказал он себе тогда. Это, конечно, было чистейшим идеализмом. Внешне он и в самом деле как бы выключился из жизни, если не считать работы в академии, но по газетам следил за всем, что происходило вокруг. Нет, он не был из числа тех, которые лихорадочно ожидали падения Советской власти и с садистским смакованием ловили вести о малейших ее неудачах, срывах и трудностях, может быть, потому, что не знал, кого бы хотел видеть на месте теперешних хозяев Кремля. Возвращение дома Романовых? Избави боже! А разве партия кадетов и октябристов лучше? Меньшевики и эсеры? В годы гражданской войны эти господа раздели себя перед всем миром догола— наплевать им на интересы народа! Не питая симпатий и к большевикам, он все же признавал за ними одно большое и бесспорное качество, выгодно отличавшее их от всех других партий: они никому не продавались. Памят-

ны дни, когда сердце толкало его пойти и сказать: я с вами, товарищи! Было это, когда он ознакомился с планом ГОЭЛРО, но тогда же в руки ему попала книга Уэллса «Россия во мгле».

Да, то, что разработано по заданию Ленина, было велико, манило к себе, однако поверилось все же больше англичанину, что в условиях нищей России — это утопия, и хотя вступили уже в строй и Волховская ГЭС и Шатурская, скептически встретил он в прошлом году тезисы большевиков о пятилетнем плане индустриализации и коллективизации СССР. Будь размах гораздо меньше и руководи осуществлением этого дерзкого плана сам Ленин, тогда возможно бы, а теперь... Вряд ли многие верят в осуществление этих планов, а по-честному признаться у потерпевших фиаско не хватает духа, вот и понадобились «козлы отпущения», на которых можно переложить свой собственный провал, но... Кто поверит? Разумеется, если бы речь шла об одном-двух мерзавцах — с этим можно было бы согласиться, а ведь в Шахтах, говорят, арестованы более пятидесяти человек — снят начисто весь слой технической интеллигенции. Чтобы все без исключения специалисты, отдавшие столько времени и сил для того, чтобы созидать, превратились в свою противоположность — стали разрушителями того, что создано ими и их предшественниками! Нет, конечно, допустить возможность столь низкого падения человека — значит признать, что в мире нет уже ничего святого. И ради чего продолжать тогда жизнь?

«Боком выйдет им сия отдушина. Человечество долго терпело, а больше не может. Пушки мировой цивилизации уже нацелены на башни Кремля», — Кондратьев сказал это с явным злорадством, но ведь пушки действительно нацелены на границы Советов, и похоже, что на этот раз пахло уже не демонстрацией, а серьезной подготовкой к новой интервенции — еще более мощной, чем в 1918 году.

От этих дум пропал и сон, а мысли все чаще и чаще обращались к Анне и ее Степану.

Жестокими они быть могли — в этом его убедили события в Отрадном, — но подлыми нет — в этом он тоже был уверен. Такие, как Анна и Степан, не могут быть причастны к делам, подобным шахтинскому. А может

быть, и вся их партия не причастна? С таким вопросом ехал он к мужу Анны, но то ли холодок в глазах Степана помешал поставить все точки над «и», то ли сознание бесполезности такого разговора: ведь до встречи со Степаном больше часа просидел он за столом с Анной. Говорили о многом, в том числе, конечно, и о международной обстановке.

«Положение серьезное, но не опасней, чем в восемнадцатом году, — сказала Анна. — Война? Вряд ли удастся им ее развязать, а развяжут, посмотрим, кто устоит!»

Что это, самонадеянность или слепота?

В прихожей зазвенел звонок.

Набросив на себя халат, Антонина Ефремовна опередила Дашу и сама открыла дверь. Так и есть: мосье Жерар!

— К профессору? — спросила она.

— Извините, я...

— Что? Не сюда попали? — Сделав знак, что сейчас выйдет, Антонина Ефремовна захлопнула дверь. — Толкаются разные «извините», одеться не дадут.

Минут через пятнадцать она вышла в прихожую в темно-синем крепдешиновом платье, с сумочкой. Запирая комнату, сказала Даше намеренно громко, чтобы быть услышанной в кабинете:

— Если кто будет меня спрашивать, — я поехала к брату.

У подъезда никого не было, но на противоположной стороне улицы Крамская увидела шофера мосье Жерара. Тот не спеша пошел по тротуару и свернул в переулок. Там и стоял автомобиль мосье Жерара с готовно открытыми дверцами.

Вышла из этой голубоватой машины Антонина Ефремовна на Мясницкой. Автомобиль промчался дальше, а она, бережно прижимая к боку большой сверток, прошла в здание почтамта и стала в очередь к телефону-автомату. Губы ее привычно складывались в улыбку, но в глазах мелькала растерянность: мосье Жерар был очень нервным и даже грубым.

Оказывается, вчера вечером арестовали инженера Рабиновича, и к следователям ОГПУ попали документы, обнародование которых и в самой Франции и в других странах, участницах антисоветского блока, может произвести неприятный резонанс и сделать войну с Совет-

ским Союзом непопулярной еще до ее начала. «Любой ценой надо предотвратить это крайне нежелательное для генштаба Франции разглашение».

Легко сказать «предотвратить», но как? Жерар подозревает, что немецкая разведка имеет связь с кем-то из высокостоящих советских людей, но с кем именно? Ее неведение и разозлило его, а с какой стати? И почему он спросил, знакома ли она с женой писателя Берзина?

— Гражданка, вы будете разговаривать?

— Да, извините. — Антонина Ефремовна зашла в кабину и плотно прикрыла за собой дверь. — «А у себя ли он?» — обеспокоенно подумала она, набирая номер телефона директора теплотехнического института.

В трубке знакомо раздалось:

— Слушаю.

Крамская сказала условную фразу и, услышав: «Еду», положила трубку.

На улице к ней подбежал парень, подпоясанный кушаком.

— Подвезти куда-нито?

— Да, на Киевский вокзал и, пожалуйста, побыстрее.

Чистые пруды... Красные ворота...

Она достала из сумочки носовой платок с узелками, которые она завязывала, когда слушала Жерара. Верхний означал — передать Рамзину деньги и приказ в ближайшие два-три дня выехать в Париж, второй — о группе, которую возглавляет профессор Кондратьев... Но это, пожалуй, надо сделать первым, потому что контакт должен быть установлен еще до поездки Рамзина. В Париже его спросят об условиях объединения. «Немедленный союз промышленников и аграриев» — вот что означал этот узелок. А остальные три... Но сие уже не для Рамзина.

«Любой ценой...»

«Торгпром» тоже слал директиву за директивой о принятии «любых мер», направленных на срыв или хотя бы на затушевку процесса над Матовым и другими донбассовцами. И деньги эти предназначались для той же цели. Но директивы слать легко и деньги передать не велика сложность, а вот купить большевиков... Правда, и среди них имелись разные оппозиционные элементы и просто карьеристы — на таких можно было держать расчет, но... вчера стало известно, что председательство-

вать на суде будет бывший ректор Московского университета. Ничего доброго это назначение для шахтинцев не предвещало.

Извозчик свернул к тротуару: улицей ехали машины, и в них сидели двое или трое русских, остальные—иностранцы.

«А, хлопковики!» — догадалась Антонина Ефремовна. Лицо одного из них, что держал свой «цилиндр» в руках, подставив ветру седую, шевелюру, показалось ей знакомым, но припоминать было недосуг.

У Киевского вокзала стояло два автомобиля. Не увидев возле них Рамзина, Антонина Ефремовна успокоилась: еще не приехал. Расплатившись с извозчиком, она задержалась взглядом на молоденькой девушке в прозрачном голубом платье, которое очень мило гармонировало с ее голубыми глазами на разрумянившемся лице, и с сожалением подумала, что для нее, Антонины Ефремовны, пора светлых тонов давно миновала. Правда, и в темном бархате можно быть ослепительно свежей и красивой, если обсыпать всю себя сиянием, блеском, солнечной игрой драгоценностей. Но, увы, в восемнадцатом году из всего, что имела, ей удалось сохранить сущие пустяки, да и те лежат на дне запрятанной шкатулки. Попробуй надеть — все глаза так и уставятся: откуда, мол,. это у профессорши? Заглянет фининспектор, а может быть, и само ГПУ.

Проходя мимо зеркальной витрины, Антонина Ефремовна покосилась на свое отражение, и настороженность сменилась улыбкой. Ничего! «Около тридцати», больше и самые придирчивые женщины не дадут! А мужчины... Вон как оглядел ее этот блондин и еще раз оглянулся.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком...

Антонина Ефремовна обернулась: профессор Рамзин!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Эмма отказалась выйти к столу, сказав, что ей хочется еще понежиться и помечтать.

Федор Миронович недовольно пожал плечами. Принимая из рук прислуги пузырящийся шипящим маслом бифштекс, он попытался вспомнить, не обидел ли чем

вчера жену, и вздохнул: досаднее всего, что он был совершенно безоружен против ее упреков.

Знакомые в восхищении от их квартиры, но... добрая половина стоимости этого уюта оплачена фунтами стерлингов отца Эммы.

Как-то вгорячах он сказал, что дал ей имя, пользующееся европейской известностью. Эмма промолчала, а на коралловые губки ее навернулась лукавинка, напоминая ему, что слава его родилась не здесь, не на русской земле. Разумеется, не обладай он тем, что принято называть «божьей искрой», то и самые влиятельные в мире люди смогли бы сделать из него не больше, чем калифа на час. Но талант есть талант! Друзья Эммы ни крупицы не прибавили к нему, однако они избавили его от утомительной толчеи у подножия Олимпа, подняли, широко распахнули двери зарубежных издательств, и вот он уже в сорок лет, то есть совсем еще молодой человек, стал тем, кем другие становятся в преклонном возрасте или... в посмертные годы. Стоит появиться ему среди читающей публики, и он слышит позади себя шепот: «Берзин! Сам Берзин!» Юноши и девицы останавливаются, забегают вперед, чтобы видеть его в лицо...

Да, это слава!

За стеной заговорило радио. Федор Миронович отставил стакан с кофе и прислушался.

«Опять о шахтинцах... То о съезде комсомола, то о шахтинцах...»

Радио подвывающе свистнуло, — вероятно, Эмма искала другую волну.

Федор Миронович взял стакан и, предварительно понюхав, достаточно ли налито сливок, с удовольствием прихлебнул.

Было уже за полдень, когда он в полосатой шелковой пижаме и домашних шлепанцах вошел в кабинет просмотреть почту.

В кругу своих друзей Федор Миронович слыл утонченным эстетом. Это сказывалось и на отделке стен его шестикомнатной квартиры, и в меблировке, и даже в подборе книг, тесно стоявших в шкафах с замысловатой резьбой и обязательным вензелем — венком из лавровых ветвей, обвившим две заглавные буквы «Ф» и «Б», то есть первые буквы имени и литературного псевдонима

владельца этих роскошных шкафов и всего заключенного в них книжного богатства, с показной щедростью сверкавшего золотым тиснением на корешках переплетов.

Но, может быть, именно потому, что каждая находившаяся здесь вещь словно говорила: «мимо меня невозможно пройти, не залюбовавшись», — человеку, впервые попавшему в кабинет Берзина, бросался в глаза письменный стол — самый обыкновенный, да к тому же в царапинах и ссадинах. Однако заменить его более изящным Федор Миронович не решался. Был он немножко сентиментален и чуть-чуть суеверен. Дед его, Мирон Жадин, до самой смерти носил рядом с нательным крестом медный пятак — это из первой выручки от кабака, содержавшегося им в селе Залесском. Вот вроде этого дедовского пятака и был для Федора Мироновича его старый письменный стол с потертым зеленым сукном. Ведь за ним, тогда еще без голубого стекла, написаны им и первые рассказы и первый роман. Рядом со стопкой газет, журналов и писем на столе лежала проколотая скоросшивателем желтая папка... «Повесть о минувшем».

Рукопись эту еще позавчера доставили из издательства, а сначала был звонок... Федор Миронович не смог припомнить фамилии вертлявого молодого человека, по его рекомендации устроившегося на работу в литературной консультации издательства. Вот он-то и предложил ознакомиться с этой «вещью», причем был очень настойчив и уверял, что им руководит чувство признательности, а об авторе обмолвился: «Молодой, но, кажется, талантлив».

Берзин брезгливо откинул верхнюю корку папки. Почерк не из красивых, но разборчивый:

«Сегодня огромный праздник! На календаре черное число? Пусть! Сквозь радостный шум в голове я все еще слышу торжественное: — Кто «за»? — и вижу над рядами голов лес поднятых рук — это было всего полчаса назад на партийном собрании.

Коммунист!

До чего же светло на душе! А вокруг тишина и глубокая ночь.

Тикают ходики в соседней комнате, и, словно пытаясь обогнать их, колотится сердце под моей сетчатой

майкой, так же суматошно торопятся и мысли вылиться в рассказ о нашем времени, о нас, то есть о моем поколении, детство которого...

Год 1918!

Кто ты, читатель этих записок, — питерец, москвич, иваново-вознесенец? Я не спрашиваю, почему вдруг облаком скользнула тень по твоему лицу... Да, это было в те дни, когда голодную хлебную норму в четверть фунта пришлось в городах поделить пополам, ибо вслед за Украиной Советская власть утратила связь с хлебородной Сибирью — перерезали пути к ней войска белого генерала Дутова и чехословаки, спровоцированные английскими и французскими дипломатами на мятеж».

«Не понимаю». Почти не читая, Берзин перелистнул еще несколько страниц, на которых рассказывалось о панике на Курском вокзале, вызванной мятежом левых эсеров, и хотел закрыть папку, но глаза вдруг натолкнулись в тексте на фамилию «Митькин». Так и есть, речь шла об Отрадном.

— Феденька, — послышался голос жены.

— Да? — отозвался Федор Миронович, уже с беспокойством листая страницы. Нет, о Жадиных ничего, кажется, не было.

Эмма вошла почти неслышно, будто впорхнула. Огненные волосы плотным валом поднимались над ее лицом, и в тридцать лет сохранившим ту особенную свежесть, которая и некрасивое лицо делает прелестным, а ей в восхищении и Зоил не смог бы отказать.

— Arbeitest du noch nicht, mein Freund?[1] — спросила она, щуря в улыбке отливавшие синевой глаза.

— Nicht, aber...[2] — он отодвинул рукопись. — Намечталась?

Эмма вместо ответа растормошила его волосы. Федору Мироновичу это было приятно...

«Ну, о стариках еще можно допустить, а ведь этого дядюшку Афанасия Силантьевича я и в глаза не видывал... Чепуха, конечно!»

Берзин ласково привлек к себе жену. Еще в юности он не то прочел, не то слышал от кого-то сравнение любви к женщине с непрочитанной книгой, — перелистну-

[1] Ты еще не работаешь, мой друг? *(нем.)*.

[2] Нет, но... *(нем)*..

лась, мол, последняя страница, и наступает охлаждение, потому что не часто встречаются книги, которые хочется перечитывать... Пошлое, конечно, сравнение, циничное, и если оно пришло сейчас на ум Федору Мироновичу, то, разумеется, не под знаком согласия с ним. Его Эмма! Тринадцать лет совместной жизни! Он на память знал каждую родинку на ее теле, запах ее надушенных волос, жар ее губ, знал, что это красивое тело так же подвижно и изменчиво, как выражение ее глаз. Вот хотя бы эти обвившиеся вокруг его шеи руки — по-лебяжьи белые, с золотистыми пятнышками веснушек на локтях, они могли быть то изнеженно-расслабленными, то вдруг бралась в них откуда-то такая сила, что у него, мужчины, дыхание приостанавливалось от их объятий. Капризы ее? Тоже чепуха! А вот рукопись...

Федор Миронович осторожно снял с шеи руки жены. Она перехватила его взгляд, и золотистые брови ее взметнулись, словно распростертые крылышки.

— Was ist das?[1]

— Рассказ.

— А что такое «минувшем»? — по-английски спросила Эмма и, вспомнив, что Федор на языке ее родины знает не больше десятка слов, засмеялась.

— Я не буду для тебя помешайт, я улетайт... — Вздернутый носик ее досадливо поморщился. — Machen, machen[2]... О! Делайт хороший котлета.

Она поцеловала мужа и пошла к двери, почти неслышно ступая по ковру, а Берзин раздраженно снял с рычага трубку зазвонившего телефона и кинул ее на стол. Рукопись лежала перед ним, как... обвинение. Но в чем? В родстве с Митькиным? Чепуха. Разве беллетрист Берзин ответствен за чьи-то поступки в жизни, кроме своих? И не так уж близко это родство: двоюродный дядя, сыновья и компания!

Никакого отношения к Отрадному он не имеет, и все же... тень может упасть и на его имя — и конец тогда «литературным вечерам». Ответственные партийные товарищи первыми забудут дорогу к его дому. Впрочем, об этом он вряд ли стал бы жалеть. Не его это затея —

---

[1] Что это? (*нем.*).
[2] Делать, делать (*нем.*).

Эммы: приглашать на чашку чая не только деятелей искусства.

Закурив, Берзин вернулся было к первым страницам, но вспомнил, что вчера звонили из Гослитиздата: какое-то совещание, очень просили прийти.

«Позвонить и сослаться на нездоровье?.. Нет, лучше все же съездить: просил ведь сам директор».

Берзин закрыл папку. Опять телефон! Он снял трубку.

— Федор Миронович? Здравствуй, дорогой, это я — Куницын.

Берзин вспыхнул. Его так и подмывало сказать в трубку такое, после чего Куницын забыл бы сюда дорогу, но... Эмма, конечно, не поняла бы его резкости и могла не на шутку оскорбиться: ведь это все равно, что допустить мысль о ее благосклонности к Алексею Филипповичу. Нет, такую обиду нанести жене он не мог и сказал хотя и с холодком, но без грубости:

— Здравствуйте, товарищ Куницын! Но, извините, я сейчас очень тороплюсь.

— Минуточку! Не возражаете, если я нагряну к вам сегодня так часиков в восемь?

— Да, очень тороплюсь, — сделав вид, что не расслышал, повторил Берзин. — До свидания, товарищ Куницын.

Тот продолжал говорить что-то об Эмме. Федор Миронович положил трубку.

Спустя полчаса в темном костюме и в летнем пальто он заглянул на кухню: в плите весело потрескивали только что подложенные прислугой и уже охваченные огнем дрова. От сковородки, на которой поджаривались котлеты, шел парок. Масло пузырилось и шипело. Эмма стояла в белом переднике с вилкой в руке.

— Wohin?[1] — удивилась она. — А meine котлет?

— Я постараюсь вернуться очень быстро...

Губки Эммы капризно надулись.

«Ребенок!» — Федор Миронович обнял ее и поцеловал шею там, где у нее сидела родинка с золотистым пушком.

Эмма улыбнулась.

— Не умейт я на ти рассердить, — и по-немецки спросила: — С кем разговаривал по телефону?

---

[1] Куда? *(нем.)*.

— Так... Свинья одна на двух ногах, — по-русски буркнул Берзин.

— Швинья? Вас ист дас?

— Das ist Schwein[1].

Глаза Эммы прищурились весело, с лукавинкой.

— Ich verstehe[2], критика? Рецензент?

— Если бы рецензент!

Эмма обтерла платочком руки и вышла, на ходу поправляя волосы и темно-синие проймочки сарафана, кокетливо оттеняющие белизну ее рук и плеч.

— Бистро?

— Быстро.

Эмма вздохнула, но в душе эта неожиданная отлучка мужа скорее обрадовала ее, чем огорчила. В кабинете Федор явно был смущен, когда она спросила его о рукописи, и, похоже, что-то утаил. Это интриговало, и тогда же она решила непременно полистать загадочную «Повесть о минувшем». Но зачем же откладывать до завтра? Закрыв дверь, она сказала прислуге, чтобы та дожаривала котлеты сама, и прошла в кабинет, но едва развернула папку, из прихожей донесся звонок.

— Мария!

«А может быть, Федор вернулся?» Положив папку на место, она выбежала из кабинета.

Прислуга уже открыла дверь. С любопытством озираясь, в прихожую вошел пожилой мужчина в цилиндре и с тросточкой.

— Здравствуйт! — с привычной улыбкой поприветствовала его Эмма, и вдруг вся кровь отлила от ее лица.

— Папа! Какими судьбами?

— Здравствуй, Рыжик! — засмеялся он.

— Какими судьбами, папа? — повторила Эмма, встревоженно думая: где и от кого узнал отец, что она Берзина и живет в России?

— Коммерческими, — обняв ее и подставив щеку для поцелуя, усмехнулся Томпсон. — Да тебе, может быть, и неведомо: я ведь теперь один из директоров фирмы Кларков... Ну что ж, квартирка у тебя ничего... Пикантная. Муж дома?

---

[1] Это свинья. *(нем.)*.

[2] Я понимаю *(нем.)*.

— Нет.

— Очень хорошо... А эта нимфа, — кивнул он на прислугу, — у нее не найдутся какие-либо дела вне дома?

— Она не понимает по-английски.

— Чудесно! Куда прикажешь пройти старику?

Эмма провела его в столовую. Джимми рассказал о своей новой семье, о лондонских новостях, но об истинной цели своего визита заговорил, когда они выпили по рюмке.

— Ты ведь дочь Великобритании, Рыжик, и, я думаю, не откажешь ей в некоторых дочерних услугах?

— Каких?

— Не обременительных для тебя. Кое-какие сведения... Ну, ты понимаешь, конечно.

— Стать шпионкой?

— Зачем громкие слова? — поморщился Джимми. — Кстати, просит тебя об этом твой старый знакомый — помнишь майора Лоуренса? Он теперь солидный полковник, солидный и весьма могущественный.

— Оставим этот разговор, папа.

— Жаль... Тебя жаль, дочка: полковник Лоуренс вполне джентльмен, но в гневе может зайти далеко.

— Что же может сделать мне этот гневный полковник?

— Ну хотя бы маленькую неприятность, — сказал Джимми, дробя вилкой котлету. — Сообщит большевикам о твоей причастности к «Es lebe Deutschland»[1].

Вздрогнув, Эмма пытливо вглядывалась в его розовое, усеянное веснушками лицо: не хочет ли отец поймать ее на слове?

Томпсон встал и, заложив за спину руки, прошелся по комнате.

— «Es lebe Deutschland» не просчиталась ли, дочка? Лишенная в Версале колоний и армии, что представляет собой сейчас эта так называемая социал-демократическая Германия? Вассал США, хотя и заседает в Лиге наций на правах перворазрядной державы! Генеральный агент по репарациям — американец, председатель третейского трибунала — американец, все железные доро-

---

[1] «Да здравствует Германия» (*нем.*).

ги находятся под контролем акционерного общества, в котором хозяева — Морганы, Дюпоны, Рокфеллеры, Нельсоны. Им же принадлежит решающее слово и в Переводном комитете, который, как это тебе, наверное, небезызвестно, держит в своих руках весь денежный рынок Германии. Правительства в твоем Берлине меняются чаще, чем перчатки на руках леди Кларк.

Эмма выжидающе молчала.

— Знаю, ваши реваншисты любят козырять стариком Штреземаном — как бы часто, мол, ни менялись правительства, Ausenminister'ом[1] в них бессменно остается Густав Штреземан, следовательно, ничего в немецком политическом курсе не меняется... Что ж, Штреземан, конечно, не из тех, которым можно пальцы в рот класть... До сих пор еще не утих шум от его последнего «хода конем»... Да-да, я имею в виду его рукопожатие с большевиками. Ну, что ты так смотришь? Я не переоцениваю себя, Рыжик, но все же разбираюсь в политических кухнях и тоже полагал, что вашему Ausenminister'у ничего другого не оставалось, как последовать примеру Лондона. Что думает ваш Штреземан, наши правительственные круги мало интересовало, — это была не просьба, не предложение, а требование, если хочешь — приказ. Штреземан знал, что ослушание может стоить ему министерского портфеля, и все же вместо ожидаемого от него шага сделал «ход конем», то есть дал указание своему московскому послу подписать с Кремлем договор о дружбе и ненападении. Это ли не трюк! Расчетец на то, чтобы в торге с Лондоном и Парижем иметь в кармане лишний козырь? Отчасти да, но только отчасти, а истинная причина — «домашние» дела, которые, Рыжик, так и напрашиваются на сравнение с перегретым котлом: не спустить пары — взрыв. В наших правительственных кругах это поняли и простили вашему старцу «ход конем». В конце концов, бумажка есть только бумажка, которую можно в любую минуту порвать в клочья, что, кажется, уже собирается сделать ваш Ausenminister, а домашние дела все те же, если не хуже: — Работы! Хлеба!

Спасти твою Deutschland, Рыжик, мог бы благород-

---

[1] Министром иностранных дел *(нем.)*.

ный жест стран-победительниц, то есть согласие правительств этих стран на списание репараций и отсрочку платежей по займам, которые Густав Штреземан успел нахватать после войны, но подобного жеста не последует: хватит с нас, золотце, и того, что потеряли мы из-за красной России. Своя рубашка ближе к телу, Рыжик!.. Задумывалась ты об этом? С тонущего корабля и крысы бегут... А ты ведь человек — красавица, умница.

Томпсон достал из кармана платок и, обтирая им лоб, скосил глаза на дочь...

«Притворяется или действительно все это ей безразлично?»

А Эмма в самом деле уже без интереса слушала разглагольствования отца о Германии.

Верно, Густав Штреземан не мог сейчас проводить свою политику без оглядок на красную опасность внутри страны, уже несколько раз вынуждавшую его в публичных выступлениях клятвенно заверять, будто в Локарно он не принял на себя никаких обязательств, которые втянули бы разоренную, голодную, изнывавшую под тяжестью репарационного бремени Германию в новую войну с Россией. Но видеть лишь это — значит почти ничего не видеть. Контроль американцев? Пусть! Германия Штреземана не теряет даром времени: вон как развернулся химический концерн И. Г. Фарбениндустри! Заводы Круппа тоже на полном ходу: в цехах все подготовлено для серийного производства новейшего образца пушек, танков, самолетов — и это еще не весь Штреземан!

«Благородный жест»... Неужели отец всерьез считает, что Германия будет ждать милости «стран-победительниц»? Но усмешка прошла где-то в отдаленности от настороженно бившегося сердца. «Как он узнал?» И что ей теперь делать? Столько лет безукоризненно чистой работы, настолько безукоризненной, что даже Федор серьезно полагает, что она не способна овладеть русским языком, и вдруг...

— Секретная служба его величества не требует от тебя большего, чем ты даешь немцам, Эмма. Полковник даже готов пойти и на то, чтобы получать копии и держать это, разумеется, в строжайшем секрете. Я, как отец, не советую тебе упорствовать, Рыжик.

Услышав звонок, он встрепенулся.

— Муж, — прислушавшись, сказала Эмма.

— А! Ну, этот разговор нам лучше закончить в гостинице. Кстати, ты там встретишь еще одного знакомого — главу нашей фирмы.

— Старого Джона? — рассеянно спросила Эмма.

— О нет, — засмеялся Джимми. — Старый Джон свое уже отжил, а теперь всеми делами заправляет сэр Эдуард. Впрочем, он и тогда уже...

Федор Миронович вошел в столовую и ожидал, когда Эмма познакомит его со своим гостем.

— Mein Vater[1], — сказала она. Берзин так и засиял. Раскинув руки, он почти подбежал к поднявшемуся за столом Томпсону, и они расцеловались.

— Значит, англичане все же решили продать Советам хлопок?

— О да, — Джимми взглянул на часы. — О! Прелестно в вашем гнездышке, но дела... Телефон есть у вас?

— Конечно.

— Разрешите воспользоваться?

Берзин провел его в кабинет. Томпсон позвонил, и вскоре за ним прислали машину. Эмма сказалась нездоровой, лицо ее и в самом деле было бледным.

— Но, может быть, Рыжик, на свежем воздухе как раз лучше станет?

— Нет, до завтра.

— Хорошо, до завтра, — поневоле согласился Томпсон. Федор Миронович, вызвавшийся проводить его до гостиницы, в машине завел пространный разговор о своих взглядах на искусство. Сэр Томпсон с трудом сдерживал зевоту, но когда проезжали мимо здания Московского комитета ВКП(б), лицо его оживилось.

— Орлик?

— Что вы сказали? — переспросил Берзин, задетый невниманием тестя.

— Вон там у подъезда стоит... В шинели.

---

[1] Мой отец *(нем.)*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Уже вечерело, когда Степан, торопливо обойдя вереницу машин и пролеток, прошел в двери, над которыми внушительно значилось:

ВСНХ СССР

В приемной председателя сидело и стояло много народа.

«Примет ли?» — засомневался Степан.

— Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с товарищем Куйбышевым, — сказал он, пробравшись к столику, за которым сидел секретарь.

— Фамилия ваша?

— Орлов.

— Из Орехово-Зуева? Валериан Владимирович справлялся о вас, но сегодня прием уже закончен.

— Досадно! В МК меня долго задержали.

Поблескивая очками, в приемную вошел Осадчий — гладко выбритый подбородок, небольшие, скобочкой, усики.

— Валериану Владимировичу, — сказал он, положив на стол пакет. Секретарь переложил пакет в ящик.

— Завтра в десять-одиннадцать, товарищ Орлов. Устраивает?

— Приду.

Осадчий обернулся:

— Товарищ Орлов!

Степана не удивило, что заместитель председателя Госплана назвал его по фамилии. Знакомы они не были, но встречаться приходилось — и на собраниях московской парторганизации и в других местах.

— Здравствуйте, товарищ Осадчий.

Тот протянул ему руку.

— Валериан Владимирович ознакомил меня с содержанием вашего вчерашнего разговора с ним и просил... А вы не думаете поехать в Колонный? Сегодня закрытие комсомольского съезда, все руководители там, у меня, кстати, два гостевых билета.

В машине, когда она выехала на мостовую, он поинтересовался:

— А кто автор проекта вашей ТЭЦ?

— Рамзин.

— Д-да, крупнейший специалист, но иногда чересчур увлекающийся. Хочется ему, чтобы все, на чем стоит его имя, выглядело картиночкой.

— Карманы бездонные надобны для подобных картиночек! — со злостью проговорил Степан. — Дворец и все до последнего паршивого гвоздя...

— Но это уж относится не к проекту. За сие придется, и как следует, других лиц потрясти. Транжирить народные рубли и копейки мы никому не позволим, товарищ Орлов. А что с оборудованием?

— Мюль, товарищ Осадчий, громоздкая и экономически невыгодная машина. Я не приму эту партию, что прибыла к нам на прошлой неделе.

Осадчий посмотрел на него, сдвинув очки:

— Интересно. А на что опирается ваш вывод, будто ватера производительнее?

— Я текстильщик, товарищ Осадчий, ну и литературу читаю. Английские фабриканты бог знает с каких пор начали заменять мюля ватерами. Делал это и Савва Морозов.

— К сожалению, в текстиле я не слишком компетентный человек, — задумчиво сказал Осадчий, — мы поручили разобраться в этом деле члену Президиума ВСНХ товарищу Нефедову.

— Кому-у?

— Федору Ефремовичу Нефедову. А что так удивило вас, товарищ Орлов?

— Да ведь это он и подписал соглашение с английскими промышленниками о поставке нам старых мюльных машин.

— Вероятно, здесь ошибка.

— Чья ошибка?

— Ваша, товарищ Орлов, — мягко подчеркнул Осадчий. — Федор Ефремович может елку перепутать с сосной, а что касается текстильных дел, здесь промах с его стороны абсолютно невозможен. Кстати, вы слышали, что сегодня к нам приехали представители английских хлопковых фирм? Полагаю, что мы сможем договориться с ними о разумных ценах, и тогда вы сможете работать без нервозности.

Степан промолчал, думая, не заглянуть ли ему к

Зимину? Если он и впрямь в чем-то ошибается, то сами факты — и по электростанции и по поставке оборудования таковы, что от них нельзя так благодушно отмахнуться, как делает это зампред Госплана. Может быть, именно проверка вот таких фактов и приведет товарищей на Лубянку к кончику, которого не удалось обнаружить в дни следствия по «шахтинскому делу»?

Но машина уже выехала на Большую Дмитровку. Напротив Дома Союзов милиция с трудом отвоевывала у людского скопища узкую полоску для проезда автомобилей и пролеток.

Шофер засигналил, парни и девушки оглядывались и, как могли, теснились, чтобы пропустить машину.

Степан с интересом вглядывался в молодые — и веселые и взволнованные лица. Вдруг ему послышалось: «Отец!»

К машине пробирался Василий в своем новеньком френче с рубиновыми квадратиками на воротнике. Лицо сына показалось Степану встревоженным, и он попросил шофера затормозить машину.

— Что-нибудь случилось, Вася?

— Да, Ленка сбежала.

Степан не стал спрашивать, куда. В Москву сегодня он приехал с утренним поездом, идти в МК было еще рано. Зашел к Лукерье и от нее узнал о намерении дочери, которым та поделилась в письме к Наташе, — уехать на строительство Турксиба. У себя в фабкоме сестра слышала разговор, будто, где строится эта дорога, нет ни капли воды, и нога человеческая вроде там никогда не ступала, и зверь не селился, и птица не пролетала — одни змеи, крыша — пыльное небо, постель— пески раскаленные, а Ленка... сколько ей? Семнадцать и то без малого, в школу еще ходит...

— Голова-то у вас с Анной есть? — накинулась на него Лукерья, едва поздоровавшись. — Куда дите отпускаете?

Он успокоил сестру: никто Лену не отпускает, и никуда та не поедет, разве что в школьные лагеря. И он и Анна считали, что девочка по окончании школы должна пойти в институт. И сама Лена, кажется, стремилась к тому же. Училась она хорошо, легко и даже «вела на буксире» с десяток своих одноклассников и одноклас-

ниц. Но, увлекающаяся натура, она хотела быть то медиком, чтобы, как доктор Брюхоненко, заставить попятиться смерть, то химиком, то инженером-путейцем. Вчера завидовала комсомольцам, строящим Днепрогэс. Сегодня говорила о красинцах, бороздивших на своем ледоколе сплошные льды и айсберги: «Ой, как хотела бы я быть с ними!»

Его смешила встревоженность Анны: придет время — придет и выбор.

— Но время-то почти пришло, — возражала жена.— Через полтора года Лена заканчивает школу, и надо будет решать.

— Решит.

Вот таким очередным увлечением в последнее время, казалось, был у Ленки сбор газетных и журнальных статей о Турксибе и Средней Азии. Только позавчера, когда он после обеда читал газету, она обняла его за шею, щекой к щеке прижалась.

— Сказать, какой сон я ночью видела? Будто я там, на Турксибе. Иду, а ветрище! Песок волнами поднимает. Вот уж и ногой пошевелить не могу, увязла. Стою в этом песке, как в воде, и слышу, ноги немеют, немеют. Испугалась и проснулась. А на ногах у меня кошка лежит. Обидно стало, что это только сон.

— Успеешь побывать и на Турксибе.

— Конечно, успею, — прошептала Лена.

Он полагал, что думали они об одном: Турксиб будет строиться не один год, и с каждым годом строительств, равных Турксибу, Магнитке и Днепрогэсу, будет открываться больше и больше. Так что и на ее долю достанутся свои турксибы. Но, оказывается, вот что стояло за ее «конечно, успею».

— Одна? — спросил он Василия.

Тот смахнул со лба капельки пота.

— Не знаю, отец. Оставила два письма — тебе с матерью и Илье. — Он достал из кармана помятые листочки. — Вот.

Было уже довольно сумрачно, да и шофер спрашивал взглядом — можно ли трогаться. Степан кивнул ему и сунул листки в карман. Прочел он их уже в вестибюле.

«Мои славные, дорогие люди-человеки, мама и папа! Как я вас люблю и как будет мне не хватать вас т а м.

Не сердитесь, что уезжаю тайком, знаю, вы стали бы меня удерживать, но это бесполезно, и мне и вам было бы тяжело. А зачем это, чтобы всем нам было тяжело? Последнее время вы меня очень обижали, разговаривали со мной, как с ребенком, а я ведь давно уже не маленькая. Осенью вашей дитяточке пойдет восемнадцатый годок. А сколько, мамочка, было тебе, когда ты оставила ту семью и ушла за папой в революцию? Ты считаешь, что я легкомысленная, что-то вроде КВД — куда ветер дует, а это тоже не так. Решение пришло не внезапно, начало его в том дне, когда принимали меня в комсомол. Полтора года школы и пять института — это же шесть с половиной лет! Вы скажете: коммунизм будет строиться не одну пятилетку, — я это знаю, но я хочу быть не в числе продолжателей, а в числе тех, которые кладут начало. Я хочу быть на переднем крае и притом на одном из труднейших участков. Вот почему Турксиб.

Шахтинцы, угроза империалистов... Я не ребенок, я понимаю, какое сейчас тревожное время. Илюша хорошо сказал в своей статье: «Каждый целеустремленный взмах молотом, каждое наше трудовое усилие—это удар по нашим врагам и их преступным замыслам, это частица нашего продвижения вперед к далекому пока коммунизму». В нашей семье все такие высоченные и здоровенные, я одна росточком в бабушку Наталью пошла. Но дедушка говорит, что бабушка Наталья была стожильная, и внучка в этом ей не уступит: недаром ведь я весь год упорно физкультурилась, краснеть за меня вам не придется.

Уезжая, думаю о вас. Писать буду часто... Вчера хотела попросить у вас денег... на платье и использовать их на билет, но это было бы обманом, а я никогда и ни в чем вас не обманывала. Ничего, доберусь и без денег. До свиданья, крепко-крепко целую.

Ваша Ленка».

Письмо Илье было короче, но более нервное. С горячностью писала Лена, что брат отказал ей в путевке не с комсомольских, а с семейных позиций: мобилизационные комсомольские путевки вручаются ведь не по метрикам, а по предъявлении комсомольского билета. Если же устанавливать возрастные цензы, не следует

тогда принимать в комсомол с четырнадцати лет. И еще с большей обидой отчитывала она Илью за то, что он допускает мысли, будто на Турксибе она сможет опозорить комсомол.

«Комсомол мне дорог не менее, чем тебе, я скорее умру, чем положу какое-либо пятно на него и нашу семью. Я помню и ни при каких условиях не забуду, что я комсомолка и что я Орлова».

«Вот тебе и школьница!» — растерянно подумал Степан.

В фойе на втором этаже было почти безлюдно. Дежурные с красными ленточками на рукавах стояли у закрытых дверей в зал. Две женщины протирали листья пальм, росших в пузатых кадушках.

«А что такое о Каткове?» — Степан достал письмо Лены к Илье: «Андрею я тоже не сказала, что уезжаю, потому что он тоже стал бы удерживать. И тоже потому, что это я, то есть с позиций своего личного».

«Что означало это «с позиций своего личного»?» Степан покраснел, вспомнив слова прядильщика Селивановского, принятые им тогда как шутка: «Андрей-ка, похоже, в зятья стучится к тебе, Петрович».

Спрятав письмо, он обежал взглядом стены, нарядно пестревшие диаграммами, сатирическими зарисовками, витринами с фото, и подошел к дверям.

— Давно началось?

— К концу идет, — шепотом сказал дежурный. — Слышите? ЦК избирают.

Двери были прикрыты неплотно, гул аплодисментов заполнял и фойе. Вот он пошел на убыль, и тотчас же мужской голос выкрикнул:

— Орлов!

«Илья?»

— Разрешите, — торопливо сказал Степан и, толкнув дверь, прошел в плещущий ладонями зал.

Аплодировали в партере, на балконах, а кое-где парни и девушки поднялись со своих мест и хлопали стоя.

В президиуме среди молодежи сидели руководители партии и правительства. Степан не сразу увидел там же и сына. Наклонив свою кудлатую голову, Илья листал блокнот. И только когда стоявший на трибуне Косарев назвал другую фамилию, он распрямил плечи и тоже зааплодировал.

Осадчий устроился в седьмом от дверей ряду. Оглянувшись, он показал, что можно потесниться, но Степан сделал вид, что не понял его знаков, и опять перекинулся взглядом к сыну, который что-то говорил склонившемуся к нему Сергею Болышеву.

«Член ЦК комсомолии!»

Собственно, удивительным было не это, а то, как быстро и вроде совсем неожиданно повзрослели все его дети. В годы большевистского подполья он мельком видел два раза Васю, а Илюшу один раз в лесу у Гоперского завода. Война разметала семью. Он и Анна бились на разных фронтах с белогвардейцами. Вася и Лена лишь благодаря самоотверженной заботе Опанасенко не стали жертвами тифа, холеры и голода. А Илюша тоже почти чудом избежал гибели в этом «хлебородном» Отрадном. А время шло. Вернувшись из армии, он застал ребят уже в пионерских галстуках. Работа в ОГПУ приковывала его к Москве, Анна с детьми жила в Орехово-Зуеве. Кажется, рядом, а виделись урывками. Не часто выпадали такие дни, чтобы мог он на несколько часов прикатить в Орехово-Зуево. Анна и дети тоже могли приезжать в Москву не в каждый выходной, и не в каждый свой приезд заставали они его дома. Вот и казалось так, что совсем недавно, почти вчера, видел он их в пионерских галстуках, а они... Василий в военной форме, командир, Илья — вожак орехово-зуевской комсомолии и теперь, похоже, будет членом ЦК. Да и Ленка...

Мысль о дочери опять прошла хмуростью по лицу Степана. Без денег поехала, значит, «зайцем», на любой станции могут высадить. Вернется? Уверенности в этом не было: вон ведь она какая! А Илья? Василий? Знает ли он их так, как, например, Анну, отца, Лукерью, брата Николая, то есть так, чтобы при любых обстоятельствах их поведение и поступки не стали для него вот такой же ошеломляющей неожиданностью?

Косарев читал список, уже не делая пауз, и в зале стало тихо.

«А Илья ведь может выйти в другие двери... Нет, увидеться непременно надо...» — Степан достал блокнот, второпях черкнул: «Илюша, я жду тебя в фойе у окна». Листок сложил вчетверо, написал на нем: «В президиум, Орлову И. С.» — и передал стоявшему впереди пареньку. А зал снова грохнул аплодисментами. Председатель-

ствующий встал и, подождав немного, зазвонил в колокольчик:

— Какие есть отводы и замечания по кандидатурам? У кого есть замечания?

Степан с надеждой оглядел зал, — может быть, продлится заседание, — но голоса шумели: — Нет!

— Кто за утверждение списка членов ЦК в целом, просьба поднять мандаты.

«Не поспеет»,—подосадовал Степан, глядя на взметнувшийся лес рук.

— Кто против?

Руки опустились, не было и воздержавшихся.

— Переходим к кандидатскому списку. Слово имеет товарищ Косарев.

«Может, и поспеет».

За кандидатским съезд утвердил список ревизионной комиссии, и слово опять было предоставлено Косареву, который доложил о постановлении президиума съезда избрать почетными комсомольцами уходящих на партийную работу секретарей ЦК ВЛКСМ Чаплина, Соболева и Шацкого. И вот когда на трибуну поднялся Чаплин, из первого ряда вышла девушка и, взбежав по ступенькам, положила на край стола записку.

Илья, когда ему передали ее, развернул, прочел и повел взглядом по залу.

* * *

Организационное заседание нового состава ЦК закончилось в полночь.

Открывая свой кабинет, Большев оглянулся на звуки шагов и увидел Илью Орлова в накинутой на плечи кожаной куртке.

— Я думал, что ты уже к своему Орехову подъезжаешь.

— Поговорить надо.

Большев вгляделся в его лицо.

— О сестре тревожишься?

— Да, но я не об этом. — Илья помолчал, рассеянно комкая в руке телефонограмму. Перед началом заседания Косарев спросил его:

«Не засиделся ты в своем укоме, Илья?»

А во время заседания, когда резко критиковали вя-

лую работу товарищей из отдела пропаганды и агитации, Мильчаков сказал: «Замена найдется», — а Косарев посмотрел на него. Это и тревожило. Нет, дело, разумеется, не в ответственности, ее он не боялся, но...

— Хорошо, минуток пять обожди. — Болышев прошел в кабинет и прикрыл за собою дверь.

Отец из Дома Союзов направился к Зимину. Там ли он еще?

Илья набрал коммутатор ОГПУ и попросил соединить его с начальником третьего отдела.

— Алексей Дмитриевич? Здравствуйте, это Илья. Отец у вас?

«Только что ушел, — сказал Зимин. — Поздравляю тебя, Илюша».

— Спасибо.

«С Леной как?»

— Не знаю, у меня телефонограмма железнодорожников, за время следования до Самары поезда Москва—Ташкент — из Москвы он выехал в четырнадцать ноль-ноль — высажено восемнадцать безбилетников, девушки среди них ни одной. Возможно, что она не попала на этот поезд, и тогда надо искать ее на Казанском вокзале. Поеду сейчас туда. Спокойной ночи, Алексей Дмитриевич.

«Рановато укладываешь, — засмеялся Зимин. — Желаю удачи».

— Спасибо. — Илья положил трубку и подошел к раскрытому окну.

Над Москвой струился голубоватый свет звезд. Из окна было видно: и вширь и вдаль лепились дома — линиями, полукругами, ярусами, то пропадая для глаза в низинах, то вновь светясь кое-где квадратиками освещенных окон. Сотни улиц, переулков, бульваров... И на многих из них возвышаются «крепости» с гордыми вывесками: «Институт», «Университет», «Академия»...

Вдали дымили высокие трубы — заводы, фабрики, а в них тоже «крепости», в которых притаились бюрократы и неразоблаченные шахтинцы. Двери от пролетарского контроля захлопнуты наглухо, нагло поблескивают дощечки: «Без доклада не входить». Ночные рестораны и кабаре... С театральных афиш чуть ли не на каждом шагу бросаются в глаза слова «фокстрот», «танго»... «Всадник без головы», «Очарование поцелуя»...

Да и театры и киностудии и даже многие рабочие клубы — «крепости», в которых прочно окопался враг— такой же нахальный и вызывающий, как и его афиши.

Это в одной Москве, а сколько их по всей стране, этих «крепостей», о которых так жестко сказано было сегодня комсомолу от имени партии. Тысячи, десятки тысяч, и во все надо ворваться комсомолу с такой же решимостью, с какой в семнадцатом году отряды матросов и красногвардейцев ворвались в позолоченные залы Зимнего дворца. Ворваться и широко распахнуть все двери для юношей и девушек от станка и сохи: миллионным армиям тружеников, начинающим социалистическую перестройку всей жизни, нужны свои командиры, свое искусство.

— И большой разговор? — спросил Болышев, выходя из кабинета.

— Большой. — Илья поерошил волосы. — Видишь ли, Сергей, я учиться хочу. Нет, от работы я не отказываюсь — сколько угодно, только, если можно это, внештатно. Понимаешь?

Болышев закрыл кабинет, ключ положил в карман.

— А куда пойдешь?

— В Свердловский. — Илья прошелся по комнате, слегка припадая на левую ногу и как-то совсем по-мальчишески хмуря брови. — Сколько раз порывался... Да что рассказывать! Многих руководящих работников вы на учебу отпустили? Перед отъездом я так и сказал в МК Косареву: не отпускаете? Хорошо! Через вашу голову махну — весь ЦК растормошу, а добьюсь своего... Но, вот видишь, как оно получилось... Ну, если уж есть в этом необходимость, чтобы осел я здесь в каком-нибудь кабинете, что ж... буду урывками как-нибудь учиться, что называется, птицу за хвост ловить. А хочется-то другого... Понимаешь? Третьего дня я рассказал тебе о своей повести, ты сказал — хорошо. И я думал, что хорошо: всю душу вложил в эту повесть-быль. А перед началом нашего заседания позвонил к писателю Берзину и услышал: «Не дочитал еще, но уже ясно — профанация искусства и вообще чепуха». А что такое профанация вообще и что такое, в частности, «профанация искусства»?.. — Илья помолчал, сердито покусывая губы. — До сегодняшнего дня я рваться-то рвался, а порой и сомнение одолевало: что, если прав не я, а те товарищи, что

говорили: «Это у тебя личное, Илья, эгоистическое»... Нынче же... Но ты и сам слышал... Вздор все это, что они говорят! Учеба — не наше личное дело, даже больше того — это выполнение боевого приказа партии, адресованного лично мне и тебе — каждому из нас. Это... — Илья остановился перед Болышевым, а глаза его... Минуту назад они, кажется, были и меньше и не искрились так... — Поддержишь, Сергей Матвеевич, на бюро ЦК?

— Подумаю. А чего ты прихрамываешь?

— Ревматизм, черт бы его побрал.

Болышев недоверчиво оглядел его с ног до головы.

— Какой ревматизм?

— Самый обыкновенный, — невесело усмехнулся Илья. — Медики величают его полиартритом: поли — значит много, артрит... в общем, ну их к черту, все эти «иты» и «врачиты». Поддержи, товарищ секретарь, на бюро и перед Мильчаковым — и лучший друг тебе тогда по самый гроб, честное слово!

— Простудился, что ли?

— Так, грехи молодости. Измерил как-то январскую температуру, но дело не в этом... — глаза Ильи блеснули с лукавинкой. — Если не ради меня самого, то ради моего пролетарского происхождения: дед мой — участник морозовской стачки, родители — революционеры-большевики...

— А сын этих родителей по натуре, видно, тоже бунтарь, — засмеялся Болышев. — Знаешь что, ты дай мне свою повесть, я прочту ее — не возражаешь?

— Очень признателен буду, — просиял Илья.

— Так и сказал — «профанация искусства»? — спросил Болышев, когда они вышли из приемной.

— Да.

По лестнице шли молча.

— Товарищ Орлов, а ты знаешь, какое у нас положение с хлопком?

— Туговатое.

— Очень туговатое, — подтвердил Болышев. — А руководство в республиках Средней Азии...

Илья настороженно скосил на него глаза: «Уж не туда ли думает сосватать»?

Но секретарь ЦК не добавил к сказанному ни слова. Площадь гудела веселыми голосами.

«Может и не поддержать», — подумал Илья, и в груди у него шевельнулось глухое раздражение — нет, не на Большева, а вот против этих разжиревших нэпманов и их раскрашенных дам: останавливаются, пятятся, словно боятся запачкать себя о его кожаную куртку и военную гимнастерку Сергея. Заложить бы, как сказал Маяковский, динамиту побольше и... ну-ка, дрызнь!

Из переулка на площадь вылетела пролетка и понеслась в их сторону. Извозчик будто с лубочной картинки сошел — бородатый, в армяке, перепоясанном цветастым кушаком, — стоял во весь рост и, размахивая кнутом, орал, выпучив глаза:

— Дорогу! Дорогу!

— Быстрее! — звенел голос сидевшей в пролетке девушки.

Крики и свистки милиционеров.

— Как на беговой дорожке! — возмутился Большев.

Илья решительно шагнул на мостовую.

— Посмотрю, как они не свернут!

Пролетка была уже в нескольких шагах, перед глазами мелькнуло красивое раскрасневшееся лицо девушки. Рядом с ней сидел старик в шляпе, его седые усы тоже шевелила улыбка.

Подскочивший Большев потянул Орлова за руку, но Илья точно врос в мостовую.

Смех девушки оборвался.

«Испугалась, дрянь!»

Разъяренное «Эй!» — это извозчик.

Кто-то опять схватил за руку, какой-то военный. Илья высвободил руку. А конь — уж вот он! Перед самым лицом взметнулась запотевшая грудь, сверкнули подковы. Девушка в пролетке закрыла лицо руками, и в тот же миг в пролетке что-то хряснуло. Подоспевший милиционер схватил храпящего коня за узду, кто-то помог подняться вывалившемуся на мостовую старику. Милиционер потребовал у него документы. Старик достал красную книжечку. Милиционер развернул ее и растерянно проговорил:

— Нефедов. Вы, значит, товарищ Нефедов?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Вот и опять Париж...»

Обтираясь мохнатым полотенцем, Рамзин прикидывал в уме, насколько укрепились его позиции за рубежом после вчерашней встречи с торгпромовцами. Козыри не подвели — заявление о блоке с кондратьевцами принято ими с удовлетворением. Идея об акционировании всей промышленности России?.. Ну, здесь полный триумф! Даже англичанин Строун — суховатый и обычно скупой на похвалы — воскликнул не без патетики:

— Черт побери, вы рождены, чтобы стать великим человеком! Компенсация потерь, понесенных нами из-за революции, — это так сложно, и — такое поистине гениальное в своей простоте решение!

Но наибольшую сенсацию вызвало его сообщение об Осадчем... Кое-кто из них, а может, и все уже склонны были видеть в провале шахтинцев начало конца всей «Промпартии». Что же, это понятно... Ведь и самому ему неделю назад казалось, что спасти организацию может лишь чудо, и он уже всерьез намеревался воспользоваться вызовом в Париж для того, чтобы... остаться здесь или в Лондоне... Связи имелись, а имя — это ведь тоже капитал. Не удалось — ну и к черту все эти честолюбивые планы и замыслы. Эдиссон только изобретатель, а вон до какого могущества добрался.

С такими мыслями, которые уместнее назвать сложившимся решением, провел он предотъездную ночь, а чуть свет приехал Осадчий — большие глаза на бледном лице: предложено быть общественным обвинителем на процессе шахтинцев.

Положение у коллеги действительно было весьма и весьма щекотливое. Однако и не настолько уж рискованное, чтобы паниковать: Рабинович, правда, трусоват, но умница, и не надо ему растолковывать, что малейший намек, дискредитирующий Осадчего, обернется губительно прежде всего против него самого, — не подведут друг друга!

Маричев все еще спал. Рамзин разбудил его и, распорядившись по телефону о завтраке, подошел к окну.

Париж! В зелени садов затаились красивые особняки парижских буржуа — это по соседству с отелем, но с четвертого этажа видни были и дали. Вон серой глыбой проглядывала из-за домов стена Лувра со старинными бойницами и башнями, туманная дымка — это над Сеной, а темное пятно зелени в левой стороне — знаменитые аллеи, еще в молодости манившие к себе со страниц романов Бальзака и Золя. Рамзину почудилось, что он даже различает белые колонны Елисейского дворца, уже не одно десятилетие служащего местом постоянного пребывания президента Французской республики. Вряд ли тот сейчас подозревает, что вот в эти предрассветные минуты у окна парижского отеля стоит человек, который...

Рамзин сощурил в улыбке глаза.

«Великий человек?.. Может быть, сие, пожалуй, сказано слишком сильно, а там как знать...»

Премьер Российской республики! А может быть, и так: президент Соединенных Штатов России? Оба варианта звучали неплохо.

Услышав храп, Рамзин оглянулся. Маричев спал, выставив из-под одеяла голую коленку и запрокинув одутловатое лицо с темными полукругами под глазами. С сердцем и почками у маститого профессора было далеко не благополучно, что особенно бросалось в глаза после кутежей, а на вчерашнем банкете, устроенном в их честь торгпромовцами, старик выпил немало, словно вознаграждая себя за годы воздержания в большевистской Москве. Осторожный и хитрый... Если бы он возглавлял секцию угольщиков, — вряд ли возникло бы это «шахтинское дело». Зарвались! Федор Ефремович Нефедов тоже не устает твердить: «осторожность и еще раз осторожность, господа», а у самого в этой истории со скачкой на рысаке из-под личины советского ученого так глупо проглянул дореволюционный барин. С Маричевым ничего подобного не возможно.

Рамзин взглянул на часы. С минуты на минуту должны были принести завтрак, но будить вторично Маричева не захотелось.

Шахтинцы, Кондратьев, Маричев... Порой у него появлялось странное чувство брезгливости — и к ним и к самому себе. Но что поделаешь!

Сейчас без них он обойтись не может, а дальше... Обстановка покажет, и все же это «дальше» тревожило. Лидер «Промпартии», вождь ее, но любая партия, какие бы цели ни преследовались ею, есть союз единомышленников, а о каком единстве мышления может идти речь, когда даже члены ЦК едины с ним лишь в неприятии большевистского строя? Нефедов спит и видит в России великобританские порядки — двухпалатное представительство при либеральном монархе. Калинникову по душе американский «бизнес» — и в экономике и в политике, а Осадчий... Этот смотрит в диктаторы и, кажется, уже сейчас обижен, что не он посажен во главе «Промпартии». Немало, вероятно, в будущем предстоит с ним возни. А Маричев чего хочет? А рядовые промпартийцы? Знает он о них только, что они ученые и инженеры дореволюционной выучки и что их около двух тысяч человек... А что они думают и чего ждут от перемены в России власти?

— Bonojur![1] — Маричев потянулся, жмуря и без того узенькие и чуть косящие глаза. — А я видел во сне...

— Не Берзину ли? — улыбнулся Рамзин.

Эта на редкость красивая женщина была их соседкой по купе от Москвы до Берлина. Хорошо владевший английским языком Маричев любезничал с ней всю дорогу, а в Берлине, когда она скрылась из их глаз, затерявшись в шумной толпе пассажиров и носильщиков, задумчиво проговорил:

— И аппетитна, и умница.

На его шутливый намек тогда рассердился, а сейчас рассмеялся и, спуская с кровати голые ноги, сказал:

— И в молодости вашего покорного слугу не беспокоили во сне видения женских прелестей. Снилось мне... Впрочем, сие не суть... — Маричев поднял голову с овальной бородкой, казавшейся серой от множества седин, глаза его слезились, но были, как всегда, неприятно цепкими и колючими. — Провал Рабиновича, Матова и иже с ними, разумеется, не облегчит нам завоевание технической интеллигенции. Я долго думал

---

[1] Здравствуйте (*франц.*).

и прихожу к выводу, что система вербовки у нас несовершенна, медлительна и от провалов не спасает, да к тому же и ограничивает размах. Без «своих», уважаемый Леонид Константинович, у нас и военная промышленность и сама армия. Возможность проникнуть туда... Я искал ее в Москве, а нашел... да, кажется, что нашел по дороге в Берлин...

Старик поднялся. В шелковой пижаме и с голыми ногами он был, пожалуй, комичен, но Рамзин не обратил на это внимания: то, о чем говорил Маричев, волновало, конечно, и его.

— И, главное, создавать ничего не надо, — продолжал тот. — Не помню уж, от кого я слышал и раньше, что квартира Берзиных — это нечто вроде салона и весьма оригинального. Эмма в поезде подтвердила — по четвергам у них собирается на чашку чая много разных людей. Бывают и писатели, и ученые, и военные... Вникаете в суть? И если сделать эту Эмму своей...

— У Матова тоже было нечто вроде салона, — подойдя к гардеробу, Рамзин открыл зеркальные дверцы и опять захлопнул их. — Было!

— В том-то и ахиллесова пята, что у Матова... Моя мысль, дорогой Леонид Константинович... Суть ее, — Маричев закашлялся и оперся красной с припухшими пальцами рукой о письменный стол, — вербовочный пункт, работающий на «Промпартию», но... изолированный от нее почти абсолютно. Скажем, фрау Берзина может знать кого-либо одного из нас, но и это не обязательно, она может знать лишь адрес, по которому будет сообщаться: такие-то, имярек и так далее, подготовлены, а там уж...

Зазвонил телефон, и они оба вздрогнули — оттого ли, что звонок показался слишком резким, или оттого, что нервы у обоих были постоянно настороже и здесь, вне досягаемости ГПУ.

Трубку снял Маричев.

— Да! Одну минуточку, — он зажал мембрану ладонью. — Из полпредства.

Леонид Константинович неторопливо, будто в своем теплотехническом институте, подошел к столу.

— Рамзин слушает. Здравствуйте. О нет! Съезд, как, вероятно, вам известно, откроется через неделю, но

наши доклады — мой и профессора Маричева — на повестке значатся первыми, а до начала работ съезда нам желательно обсудить некоторые технические проблемы с английскими коллегами. Следовательно, задерживаться в Париже более двух суток нельзя. Право, не знаю... В моих планах на эти два дня — посещение некоторых французских электростанций. Однако я постараюсь...

Маричев взял лежавшую на письменном столе газету «Руль». Внимание его привлекло сообщение о предстоящих в предместье Парижа маневрах белогвардейских воинских частей, но, читая, он в то же время слушал, как Рамзин говорил:

— ...Может быть, на завтра выкрою часик, хотя сомневаюсь, представит ли товарищам интерес встреча со мной — ведь человек я сугубо технический. Хорошо, спасибо... Да, до свиданья.

Маричев откинул газету:

— Чего они?

— Просят сделать доклад для сотрудников полпредства о шахтинцах. — Рамзин блеснул на него очками и неожиданно рассмеялся.

Старик махнул рукой, но все же накинул на плечи халат и взял полотенце.

— При ее данных — я опять же о Берзиной — в успехе можно почти не сомневаться, однако это одна сторона дела, есть и другая, не менее золотая: родственники и в Германии и в Англии, получение визы для нее, очевидно, не проблема...

— В своем увлечении, коллега, вы упускаете некоторые детали, — холодно прервал его Рамзин. — Во-первых, Эмма — не былинка в поле: у нее — муж.

— Я слышал, что он очень недалекий, этот писатель...

— Во-вторых, по собственному признанию вашей Эммы, она ни слова не понимает по-русски.

— Несущественно. Кто же из интеллигентов старой школы не владеет хотя бы одним из господствующих в Европе языков? И к тому же я не слишком верю в это непонимание: что-то красавица здесь хитрит.

— Вполне разделяю ваше сомнение. Своеобразное кокетство? Вряд ли! Само собой здесь напрашивается

следующее «в-третьих»: не опоздали ли вы со своими видами на Эмму, уважаемый коллега?

— Постойте, постойте...

— Времени для этого нет, — усмехнулся Рамзин. Услышав тихий стук, он открыл дверь, и в номер вошел официант, держа на вытянутых руках поднос.

Маричев рассеянно скользнул взглядом по его лицу с седой раздвоенной бородкой и пушистыми бакенбардами. То, о чем сказал сейчас Рамзин, удивило его, и очень.

Надежда всей русской эмиграции — «Торгпром», а «Торгпром» внутри России — «Промпартия» и только «Промпартия». Предположить, что одна из западных держав, как это было и в восемнадцатом году, готовит государственный переворот в России своими силами, маловероятно: и Большую и Малую Антанту тоже вполне устраивала «Промпартия». Германия? Но правительству этой, с позволения сказать, державы и у себя дома не до жиру, быть бы живу, поэтому заинтересованные в русских делах немцы тоже ориентируются на «Торгпром» и «Промпартию». Уже не первый год выплачивает им два процента со всех своих поставок Советскому Союзу такое могущественное объединение, как берлинская «АЕГ». И не потому ли оказались под арестом трое служащих этой компании, что «работали» в контакте с «Промпартией», о чем правительственные круги Германии, может быть, и знать не знали и ведать не ведали! Нет, ему, Маричеву, не была известна ни одна антисоветская группировка, деятельность которой так или иначе не контролировалась бы «Промпартией»; все это не мешало бы напомнить Рамзину, но, разумеется, не при свидетелях. Маричев круто повернулся и пошел в ванную.

Рамзин смешливо поморщился, вспомнив его кривые ноги с выпуклыми чашечками на коленках. Сам он обладал безукоризненным здоровьем: кожа на лице и теле без единой морщинки, молочно-белая, а после ванны, особенно когда потрет мохнатым полотенцем, — будто розовый сок сквозь нее выступает... Излишне полноват? Но без этой полноты он выглядел бы, пожалуй, слишком легковесно... Маричевы, Нефедовы, Калинниковы — все у них в прошлом, и не им соперничать или стать поперек пути Рамзина, которому многое дано

сегодня и которого ожидает еще большее завтра. Он повел руками и улыбнулся, ощутив упругость дрогнувших бицепсов.

Служитель отеля тем временем уже составил на стол вино и тарелочки с яичницей и бифштексом, вазу же с румяными булочками не просто поставил, а пристукнул ею с профессиональным шиком и галантно взмахнул белоснежной салфеткой.

— Пожалуйста, господа-товарищи-с!

Рамзин удивленно приподнял очки:

— Русский?

Блеснув зло глазами, старик поклонился:

— Граф Разумовский... к вашим услугам!

— Ка-ак? Бывший шеф жандармов Владимирской губернии?

— Нет, то Михаил, мой кузен, — усмешка сосборила породистый, с горбинкой нос лакея. — Он и сейчас еще держится, а ваш покорный слуга...

— Да вы присядьте!

— Это зачем-с? — сурово спросил старик и тотчас же как бы самому себе согласно добавил: — Можно-с и сесть. Граф Разумовский, пожалуй, счел бы подобное приглашение за дерзость, а лакею иностранного отеля всякое общество хорошо. — Выпучившиеся глаза его уже не таили горячей ненависти. — Любопытно, значит, ученым господам-товарищам, как титулованные особы Российской империи дошли до этого? — Он потряс салфеткой, а по морщинистым щекам побежали вдруг слезы. Суетливо расстегнув ворот, старик вытащил привязанный на одну цепочку с крестом маленький грязный мешочек.

— Вот-с!

— Что это?—брезгливо отодвинувшись и в то же время испытывая большое любопытство, спросил Рамзин.

Лакей трясущимися пальцами развязал тесемку и высыпал на ладонь слипшиеся комочки земли.

— С полей моего имения... Жжет она грудь, не дает забыть... И не даст! — закричал он с брызгами слюны и, спохватившись, испуганно пробормотал: — Pardon![1]

Сунув мешочек за пазуху, он поднялся, а в дверях опять, пряча под бровями глаза, повторил:

---

[1] Извините (*франц.*).

— Pardon! Жжет, не дает забыть!

— Оригинально! — сквозь журчание и плеск воды донесся из ванной голос Маричева.

Рамзин сел за стол и, сам не зная зачем, долго рассматривал на бутылке этикетку.

Русские эмигрантские круги!.. Вчера в ресторане на Больших бульварах толстяк Дворжанчик лез целоваться и усиленно зазывал поехать в какой-то комфортабельный публичный дом.

— Здесь называют его кто русским, а кто американским, — говорил он, поблескивая сальными глазами. — Янки, господин профессор, вообще падки до всего аристократического, а в Париже на этот счет теперь раздолье — и графинюшки, и княгинюшки, и разные там фрейлины, и статс-дамы. Любую светлость и любое сиятельство можно брать на час, на всю ночь — на сколько душа пожелает, а точнее, на сколько кармана хватит. Откровенно говоря, по части кармана с янками нелегко соперничать — вот они и прут туда, и цены поднимают, сволочи! Однако пан Дворжанчик не из числа тех, которые расшаркиваются перед дядюшкой Сэмом. Есть у меня в том доме девушка. Янки предлагали солидные куши лишь за то, чтобы я отступился от графини. Нашли дурака! Что из того, что эта великосветская пышечка стала мне уже в две шахты? Весь свой Донбасс загоню, а не уступлю! Вот ты, золотой мой Леонид Константинович, другое дело — нравишься ты мне, очкастая шельма, а натура у меня широкая: предоставлю графинюшку на все эти дни в полное твое распоряжение... Вот я какой! И графинюшка не будет в обиде— не какой-нибудь прожженный янки, а сам Рамзин, завтрашний глава государства Российского, с ней переспит.

«Свинья!» — поморщился Рамзин, наполняя бокал искрящимся вином. Пил он медленными глотками, но «букета» не почувствовал, и неприятный осадок на душе, оставленный титулованным лакеем, не растаял, и снова беспокоило это проклятое «а дальше?»

Блок с группой Кондратьева, если рассматривать его как резервную опору на кулачество, разумеется, усиливал его, рамзинскую, партию, но ведь за спиной Кондратьева и Чаянова стояли бывшие землевладельцы николаевской империи, то есть вот эти сиятельные лакеи

и разные там «княгинюшки» и «графинюшки», продающие себя и оптом и в розницу.

«А за вашей спиной кто?» — этот вопрос Чаянова невольно припомнился ему вчера на совещании с торгпромовцами. Не все, ох, далеко не все было там приятно для души, особенно на банкете. И не один Дворжанчик свиноподобен... Денисов, Рябушинский, Ремо, Нобель, Лианозов, Гукасов, Мещерский, Морозовы... все перепились как скоты, а Рябушинский даже свалился со стула и, тараща глаза, бессвязно бормотал: «Костлявой рукой голода их... горло сдавить... каждому пролетарию... и старых, и комсомолию, и пионерию... голодом душить насмерть... тысячи, миллионы, всех!»

И все же это были люди, которым, как ему думалось или хотелось думать, Россия обязана своим промышленным развитием в предреволюционные десятилетия, дворянство же. Растление его началось ведь не здесь, не в эмиграции... Беспросветным казематом, в котором душилось и попиралось ногами великосветских юродивых и мракобесов все светлое, истинно талантливое, была романовская империя и в годы его далекой теперь юности. Помнилась и студенческая клятва: «отдать всего себя, не страшась ни пыток, ни смерти, беспощадной борьбе с произволом самодержавия», помнилось и вступление в РСДРП.

— Рэ-сэ-дэ-рэ-пэ, — задумчиво произнес Рамзин.

— Что вы сказали? — опять послышался голос Маричева.

Рамзин не ответил. Дымя папиросой, он налил себе еще полстакана вина, но зазвонил телефон.

«А, черт с ним!»

Подумав, что Рамзин вышел, Маричев стал выбираться из ванны, и в это время в комнате раздраженно и почти зло раздалось:

— Да? — и тотчас же мягче и по-русски: — Да, профессор Рамзин. Утро доброе.

«Свои», — облегченно заключил Маричев. В волнении он нечаянно повернул рукоятку душа, и на голову с шумом полилась холодная вода. Профессор поспешно крутанул рукоятку влево, шум стих, но и голоса Рамзина уже не было слышно. Вот его шаги, толчок в дверь.

Не переступая порога, Рамзин сказал:

— Андрей Никитич... Вы знаете его?

— Если речь идет об отчиме Федора Ефремовича...

— Ах, Успенский, — и Рамзин повернул обратно, не объяснив, с кем у него был телефонный разговор и о чем.

Лицо Маричева с несмытыми клочьями пены вспыхнуло.

— Леонид Константинович!

— Меня ждут, — второпях отозвался Рамзин.

Немногое вызывало у Маричева чувство удовлетворения, и в числе этого немногого была ванна: погрузившись в воду до подбородка, он любил лежать в ней без движения и в эти минуты думать о чем угодно, даже о сложнейших законах механики, но сейчас было не до потягивания. Выпрямившись под душем, он нервно повернул рукоятку. Этот Рамзин по сравнению с ним почти мальчишка, а тон такой, что и не подступись! Что же ему сказали по телефону? Кажется, одевается, но ведь им надо еще о многом переговорить... И насчет Берзиной... Если и занята, разве нельзя перекупить?

На редкость счастливое сочетание: готовый салон, неотразимое очарование хозяйки и прославленный, но недалекий муж, который великолепно может играть роль... ширмы! Неужели не понимает Рамзин, что у «Промпартии» нет резервов. Или блок с кондратьевцами наполнил его самонадеянностью? Кулак, конечно, стоящая фигура, и при дилемме — колхозы или возвращение помещиков — можно не сомневаться, он выберет последнее. Но к чему крайности? Эсеры сошли со сцены, однако кулаки от этого, вопреки разумению некоторых политиков, не стали круглыми сиротами — не их ли языком говорит правая оппозиция?

И если с началом войны власть окажется в руках бухаринцев, то очень и очень неясно, как поведет себя это «двухсоттысячное воинство», которым с таким апломбом козыряют сейчас профессора Кондратьев и Чаянов. Питать надежды можно и на них, но для обеспечения успеха гораздо важнее блока с кондратьевцами завладеть командными высотами и в оборонной промышленности и в армии... Эмма Берзина — вот что нужно! Не согласится? Согласится! Симпатии к большевизму — это же чувствуется — у нее нет, а на деньги такие падки. Пусть «работает» и днями и ноча-

ми, не останавливаясь ни перед чем, — все оплатится, и щедро: на деньги, слава богу, заграница не скупа. А Рамзин, вместо того, чтобы обеими руками ухватиться, начал выдумывать свои «во-первых», «во-вторых» и «в-третьих».

Ежась под холодноватыми струями и похлопывая себя ладонями, Маричев подосадовал — и не впервые! — почему в свое время не сделал нужных усилий, чтобы теперь самому стоять во главе «Промпартии». Стар? Нет! Пока на башнях Кремля развеваются красные флаги, у него найдется энергии побольше, чем у молодых, порукой этому...

Профессор нахмурился: «это», приведшее его к борьбе против Советской власти, никогда не забывалось и не могло забыться. Носить в себе тягостно, а поделиться с кем-нибудь — боже упаси! И на вопросы товарищей по «Промпартии»: «За что, коллега, вы возненавидели так большевиков?» — он обычно уклончиво отвечал: «Длинная история». И лишь раз в ответ на такой же вопрос Рамзина вспылил:

— И скажу, так не поймете! Все вы родились барчуками, учились на родительский капиталец: пользуясь связями, заняли в жизни определенное положение... А я? Может, сие и оскорбительно для слуха, но факт — ваш покорный слуга пришел в жизнь... из навоза, потому что был рожден какой-то дворовой девкой на скотном дворе и наутро подобран пьяницей-конюхом. Вас жизнь ласково поглаживала по причесанным и напомаженным головкам, а меня рвала за вихры и уши, била кулаками, палками, камнями, ухватами, плетками... Позднее о вас говорили, что «они-с идут в гору», а я не шел, я полз... Да, полз на животе и, как самый паршивый пес, лизал другим зады, чтобы... Да, это тоже факт — в молодости покорного вашего слугу властно манил к себе мир науки и техники, и он ощущал в себе силы сказать в этом мире свое, маричевское слово. Ради этого терпелись сначала всяческие унижения, а потом...

Потом вместе с профессорским жалованием пришла в его холостяцкую жизнь и устойчивая обеспеченность, стали налаживаться связи с «хорошими домами»... Стынущая на мерзлой земле кровь большевика Перова?.. Да, она мерещилась иногда в глазах, но он говорил себе, что «большевизм» — утопия, сиречь

безумство, и помочь властям оградить себя от лишнего одержимого — если и не гражданская доблесть, то и не преступление. Смерти же Перова, бог свидетель, он не искал и за жандармский произвол не ответчик. Такое самооправдание умиротворяло совесть, и он мог гордо носить голову в почетной профессорской ермолке, но вот — в эту почти уютную жизнь ворвался Октябрь и все спутал... Ведь вместе с властью в руки большевиков перешли и архивы, а там, то есть где-то в шкафах бывшего управления московской жандармерии, надо полагать, осталась пометка о его «заслуге» в пятом году.

Былые угрызения совести оказались сущим пустяком перед трудноописуемым кошмаром, в котором протекали теперь его дни. От малейшего шороха он вскакивал среди ночи в холодном поту. Прислуге запретил будить его по утрам стуком в дверь, потому что у него останавливалась кровь, и он ждал, что не Марья — эта простоватая баба из-под Тамбова, — кто-то другой суровым голосом скажет: — Откройте!

Бежать? На какие же средства? От безысходности сердце распалялось душной злобой, а надобно научиться прятать ее в себе, и он научился. Потом была памятная встреча с Пальчинским и... вступление в члены «инженерного центра». Игра ва-банк? Да! Петля еще туже стала ощущаться на шее, но теперь он знал, что можно из нее вывернуться... лишь бы не подвели партнеры!

Маричев оглядел себя. Кое-где в складках по-старчески мешковатого тела еще белело мыло.

«Шут с ним!» — Он завернул душ и, не обтеревшись, в накинутом на плечи халате, вышел из ванной.

Рамзин уже во фраке, несколько тесноватом для его плотной фигуры, стоял перед трюмо и натягивал на руки белые перчатки.

— Леонид Константинович!

— После, дорогой, после: меня ждут. А вас я попрошу прокорректировать мои наброски к докладу: ни здесь, ни в Лондоне времени, наверное, у меня не будет.

— Леонид Константинович!

Рамзин сверкнул на него очками и пошел к двери, но та без стука приоткрылась, и в номер заглянул, а затем и вошел какой-то господин, очень розовый и круглый.

— Guten Morgen! — сказал он, улыбнувшись.

— Розенберг?

— В университете ты называл меня короче, просто Адольфом, — продолжая улыбаться, Розенберг протянул руку. Рамзин нерешительно подал ему свою, а глаза не утаили встревоженности: ведь о том, что он в Париже и остановился в этом отеле, знают только торгпромовцы и кое-кто из советского полпредства...

— Откуда вам...

— Тебе, — поправил Розенберг. — Разрешишь присесть?

Кажется, и в самом деле в университете они были на «ты», но это отнюдь не означало дружбы, более того, ему всегда неприятен был этот Розенберг своим чисто немецким высокомерием.

— Пожалуйста, но я, к сожалению...—Рамзин взглянул на часы и развел руками.

— Ничего, я ненадолго. — Розенберг оглянулся на Маричева и, не узнав его, сказал: — Прошу извинить, мосье, за просьбу предоставить нам с Леонидом Константиновичем...

— Останьтесь, — разрешил Рамзин Маричеву, а для Розенберга пояснил: — Er versteht nicnt deutsch[1].

Но Маричев уже вышел, с сердцем захлопнув дверь. Рамзин опять посмотрел на часы.

— Я слышал, что ты в Нью-Йорке?

— О нет! Гораздо ближе к тебе и территориально и духовно. — Розенберг кинул шляпу на письменный стол и сел в кресло. Свет от окна мягко лег на его лицо, и оно, до лоска выбритое, как бы просияло. — Разве ты не знаешь, что через мои руки проходят деньги, которые отчисляют на твою «Промпартию»? — сказал он по-немецки.

Рамзин вздрогнул.

— Какие деньги? Какая «Промпартия»?—второй вопрос прозвучал более твердо.

Розенберг достал из кармана письмо.

— Я, дорогой, должен был встретить тебя в Берлине, но... полученные данные подвели, и пришлось мчать сюда, — говоря это, он пододвинул к себе сначала бутылку, потом бокал и наполнил его.

Письмо было коротким — просьба с достойным вниманием отнестись к тому, что будет иметь честь сооб-

---

[1] Он не понимает по-немецки *(нем.)*.

щить инженер Розенберг, пользующийся полным доверием «АЕГ», привет и знакомая подпись одного из директоров «АЕГ», но Рамзин смотрел на этот листок долго, словно изучая каждую букву.

— Чем же я могу быть полезен вам? — спросил он наконец.

— Ну, «вы», так «вы», — усмехнулся Розенберг, ставя на стол наполовину опорожненный бокал. — Хозяева «АЕГ» предлагают вам на обратном пути из Лондона встретиться с узким кругом...

— С «АЕГ» у меня нет никаких дел, кроме этих денег, — перебил Рамзин, — к тому же договаривался о них с Берлином не я, а «Торгпром»...

— Совершенно справедливо, и это было ошибкой, которую «АЕГ» хочет теперь исправить, установив с вами личный контакт.

— Зачем?

— Узнаю университетского товарища: «Зачем?» «Почему?» Известно ли вам, что «Торгпром» если и не нищ, то почти нищ? Основной вклад в интервенцию делает Франция, затем британский нефтяной король Детернинг и, кажется, хлопковые плантаторы. Кое-какую лепту кладут на общий алтарь и их вассалы от Варшавы до Бухареста, но Пилсудский, например, заявил, что в границы великой Польши должен входить Киев, и это ему обещано. Так ведь? Мои земляки из Прибалтики столь далеко вклиниваться не намерены, их устроит, если они... расположатся в Ленинграде и Пскове. О старших партнерах и говорить нечего — само собой разумеется, они не растеряются и себя не обидят. Союз с Германией обошелся бы гораздо дешевле! Но это еще не все, — проговорил он, подметив нетерпеливое движение Рамзина. — Подумайте, умеет ли должным образом англо-французский блок ценить работающих на них людей? Насколько нам известно, вы делаете все возможное, чтобы держать текстильную промышленность в Советах на голодном пайке. Идя навстречу этим вашим усилиям, Америка отказала советскому текстилю в хлопке, а томми, извольте радоваться... приехали и подписали контракт. Я понимаю — сэр Кларк сделал сие не из-за симпатии к большевизму, подоплека флирта островитянина ясна — не сжигать все мосты и, выждав удобный момент, вырвать у Советов право на концессии, что-

бы... Ну... азбучные истины не нуждаются в разжевывании. Сэру Эдуарду Кларку так выгодно, а коалиции антисоветских сил? Вашей партии, дорогой и уважаемый профессор? Лично вам? Но и это еще не все. Берлину многое известно. Известно, например, что Бриан и Черчилль намечали войну с Советами на осень минувшего года; увы! пришлось передвинуть сроки на весну, вот и она пожаловала и... принесла вам вместо французских избавителей провал большой группы ваших в Шахтах! Сидят они сейчас «в гостях» у «товарища» Менжинского и с надеждой прислушиваются: не заговорят ли на границах пушки? Нет, не заговорят! Ни весной, ни летом этого года... Трусость? Скорее растерянность. Шуму много: «Вперед, на коммунизм!» А он, этот коммунизм-то, сам. пожаловал — стачки, демонстрации: «Работы, хлеба, мира!» Удар, если не ошибаюсь, намечался со стороны Польши, однако дела у пана Пилсудского не слаще, чем у мосье Пуанкаре. — бездарности! Спасти Европу сможет только Германия, Леонид Константинович!

Рамзин рассмеялся:

— Американская или... Германия этого... как его... Эрнста Тельмана!

— В наши дни существует одна Германия — Штреземана! — закричал Розенберг. — Стоит на краю могилы? Ничего! Штреземан может уйти, но политика его останется, а для успокоения Тельманов по ту сторону Рейна уже есть человек, на отряды которого ныне возлагают большие упования! И не только промышленные круги.

— Ефрейтор Гитлер? — поднимаясь, холодно спросил Рамзин.

— Пока ефрейтор, — продолжая сидеть и уже вполне овладев собой, улыбнулся Розенберг. — Пример Италии красноречиво подтверждает, что в будущем в руки этого «ефрейтора» может быть передана диктаторская власть, и гораздо большая, чем та, которой наделен в наши дни Муссолини. Я подчеркиваю: в будущем, Леонид Константинович. Такая ориентация на Германию отнюдь не означает, что ты должен отрешиться от теперешних своих патронов, но в дни, когда ты станешь премьером России, чему совершиться от души желаю, в дни, когда весь этот англо-французский блок будет свежевать Россию, ты

почувствуешь, что тебе, чтобы сохранить нечто или просто удержаться в Кремле, нужна... помощь сильного друга, а таким другом, дорогой, может мыслиться только Берлин!

— Нет, крайности не для меня... — по-русски и намеренно громко сказал Рамзин. Но Розенберг счел за возможное не понять намека.

— Извини, я забыл, что ты был чем-то вроде полуменьшевика, — рассмеялся он. — Но ведь это было когда-то, а теперь все эти Даны и Аксельроды не чуждаются «крайностей», больше того, и нашему Гитлеру, пожалуй, есть чему поучиться у них в области крайностей. Господин профессор, похоже, все еще не расстался с университетской порой?.. Правительство интеллигентов, а? Что ж, это, может быть, и недурно как вывеска и... фиговый листок для кого-то, а кандидатам в «правители» питать подобные иллюзии, ха-ха-ха! Чистейший идеализм, мой друг, извинительный для гимназисточек и смешной по отношению к людям, стоящим на кафедрах. Вот большевики в этом вопросе и правы, и прямолинейны, они нашего брата именуют точным словом: слуги! До семнадцатого года вы, как и я, и как все другие мне и вам подобные, были слугами своих хозяев. После семнадцатого вам предложили стать слугами его величества пролетариата и прочих скотов. Хозяева и так называемый народ, а посередине — мы, так называемый интеллект нации — или туда или сюда... Крайности? Советы — это уже реально существующая крайность, которая нас не устраивает, а крайности, дорогой профессор, легче всего устраняются крайностями же. С какой же стати шарахаться от фашизма? Вцепиться в него следует и не отпускать от себя. Мы — люди науки и технического прогресса, который немыслим без свободной конкуренции капиталов и талантов, а также без обеспечения нормальной атмосферы, то есть без абсолютного спокойствия в низах, в так называемых народных массах. Сама история на примерах этих чудовищных революций подсказывает, что интеллигенция, если ей дорого будущее цивилизации, должна отбросить и белые перчатки, и все, что хоть отдаленно попахивает демосом. Кнут для удержания в повиновении масс—в этом альфа и омега политического кредо наших дней.

— У меня времени нет, господин Розенберг.

«Гость» побагровел, но остался сидеть.

— Выйти вдвоем из отеля нам неудобно, идите сначала вы, — сказал Рамзин и распахнул дверь.

— Хорошо! Так я и передам в Берлине.

Розенберг выбежал из номера, но тотчас же вернулся за шляпой и уже спокойно сказал:

— Вы правы: дело надо иметь не со слугами, хотя бы и трижды профессорами, а с их хозяевами. Это может многое изменить, в том числе и... руководство «Промпартии». Одумаетесь — протелеграфьте.

Маричев вернулся в комнату и ждал, когда шеф заговорит. Но тот, так и не сказав ни слова, тоже вышел из номера.

На бульваре было многолюдно. Старик в фартуке и шляпе поливал из шланга мостовую, на которой стоял полисмен, выжидательно поглядывая на рослого оборванца, прислонившегося к фонарному столбу. Слева по тротуару спешили куда-то рабочие, а справа из-за угла отеля вышла молоденькая француженка, вероятно, чья-нибудь une femme de chambre[1], в руке ее покачивалась сумка с картошкой и пучками лука. Оборванец подбежал к ней и, сдернув с головы картуз, попросил разрешения понести сумку. Девушка брезгливо обошла его, и оборванец ругнулся... на чистом русском языке.

— Когда же, наконец, их вышвырнут из Парижа? — возмутился старик со шлангом.

— Дожидайтесь, — рассмеялась девушка, — мосье Пуанкаре соизволил еще подкинуть им на кормежку.

Оборванец обернулся, и Рамзину показалось, что он чем-то похож на сиятельного лакея, а тот тоже заметил его и с оглядкой на полисмена приблизился — горбоносое лицо в синяках и ссадинах.

— Не откажите, мосье, в солидарности человеку, который когда-то тоже носил фрак и даже... имел собственный выезд.

Рамзин прошел мимо и уже за спиной услышал:

— Союзничек, мать твою...

А ведь правда, блок с Кондратьевым превратил и этого оборванца, и того сиятельного лакея, и всех «княгинюшек» и «графинюшек», цены на которых катастрофически падают в парижских бардаках, в «союзнич-

---

[1] Прислуга *(франц.)*.

ков»... Больше того — почти в хозяев Леонида Рамзина! А чем они лучше тех же фашистов, на союз с которыми только что подбивал его Розенберг? Мысль эта прошла как бы стороной, но на душе все равно стало погано. Может быть, и не от нее, а вот от этой неуверенности, порождаемой проклятым «а дальше?»

Самому-то по крайней мере ясно ему, каким хочется видеть это «дальше»? Кажется, да, но гораздо смутнее, чем в гимназическую пору, когда он читал и перечитывал страницы античной истории, повествовавшие об эпохе Перикла в Афинах.

Не веря в реальность «большевистского эксперимента», да и враждебно относясь к самой идее «всеобщего равенства», он полагал, что, за исключением ничтожного меньшинства, его единомышленниками является вся мыслящая Русь, а в ней ведь немало светлого и честного... Не сомневался он, что и его появление на посту премьера отечественной интеллигенцией встречено будет овацией. А если те, на которых он рассчитывает опереться в своем «дальше», увидят у него за спиной всю эту опустившуюся эмиграцию и штыки иностранцев, то не поймут ли все превратно и не породит ли это и в их среде каких-нибудь Мининых и Пожарских? Ведь и в самом деле — в этаком окружении... не будет ли он смахивать на... лжеперикла?

«Нет, надо получше взвесить все еще и еще раз».

В условленном месте стоял лимузин, в точности такой же, в каком приезжал вчера Рябушинский. На окнах — занавески, прислонившийся к радиатору шофер «читал» «Руль». Ошибки быть не могло.

Где-то на Кэ д'Орсэ[1] надо будет пересесть в другую машину, в которой его ждет сам Денисов.

Рамзин огляделся по сторонам и подошел к машине. Шофер проворно распахнул дверцу.

Поглаживая седую раздвоенную бороду, Успенский молча подвинулся на кожаном сиденье. Ему было, наверное, уже за восемьдесят, но выглядел он еще довольно крепко — краснолицый и лысый.

Вчера на Больших бульварах он спросил, чем закончились переговоры Кларка с Советами, и потом все время молчал и даже о своих родственниках не поинте-

[1] Улица, на которой помещается Министерство иностранных дел Франции.

ресовался узнать, а ведь, кроме Нефедовых, есть у него, кажется, и родной сын, инженер... Нет, не сын, племянник. Федор Ефремович рассказывал, что работает он в Орехово-Зуеве на бывших морозовских фабриках, а с Андреем Никитовичем переписывается.

Машина вылетела на Кэ д'Орсэ, и мысли Рамзина устремились к тому, что должно произойти сейчас в одной из комнат министерства.

Этого Розенберга, очевидно, подводит берлинская информация: не одними призывами к войне с Советами занят англо-французский блок. В генштабе Франции уже создана и работает под председательством генерала Жанена специальная комиссия. Отзвуком ее работ явился и этот договор между генштабами Румынии и Польши, копию с которого показал ему вчера Денисов.

В двадцатых годах в Малой Антанте все трещало по швам, потому что каждому из участников хотелось играть там первую скрипку. Теперь этот этап уже позади, и в договоре, согласно с волей Парижа, говорится:

«В случае войны одного из договаривающихся государств с Советской Россией другая сторона обязуется немедленно оказать ей помощь всеми вооруженными силами».

«Не позднее двадцатого дня мобилизации Румыния обязуется выставить на реке Прут не менее 14—16 пехотных дивизий для совместных наступательных действий с польской армией».

«Координация действий польско-румынской армии против Советской России осуществляется польским командованием».

Нет, напрасно Маричев и еще кое-кто из руководства «Промпартии» распускает нервы и нервишки — интервенция подготовляется солидно! Жаль лишь, что во главе всего дела Франция поставила такого человека, как Жанен. В годы гражданской войны этот генерал, «находясь при Колчаке», оставил по себе нелестную славу, а под конец увенчал ее тем, что пытался... овладеть золотым запасом, когда Колчаку пришлось бежать из Омска. Не он ли это так щедро пообещал Пилсудскому Киев, а румынским боярам — Одессу?

— Кто будет на встрече — генерал Жанен?

Успенский не повернул головы, но в стекле было видно, как его белую бороду шевельнула усмешка.

— Его превосходительству милее поляки, а тебя... профессор, соизволили увидеть сошки помельче — полковники ихнего генштаба Жуанвиль и Ришар. С нашей стороны приглашены генерал Лукомский и этот... Разумовский.

— Брат лакея?

— Что-с?

Рамзин снял очки и, протирая их, рассказал о служителе отеля и заодно об оборванце, просившем милостыню.

— Ничего-с, злее драться будут, — засмеялся Успенский.

Что-то неприятное было в смехе этого торгпромовца, но Рамзин не стал доискиваться, что именно. Неприятного в деле, ради которого почти совсем оставлена наука, имелось предостаточно, но сожалеть... поздно: не сегодня, так завтра заговорят пушки.

«А дальше?» — мелькнуло в мыслях.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Друзья и сверстники юности моей, помните эти июльские дни?

Гудящая, раскаленная гневом площадь! Не всем удавалось проникнуть в Колонный зал, но каждый из нас мог увидеть этих Рабиновичей, Матовых, Березовских, Юсевичей, Колодубов, когда они под конвоем шли от машин к дверям в выутюженных костюмах, в галстуках.

Время стирает в памяти лица, и сейчас, спустя три десятилетия, думается: может быть, у них и в самом деле не было лиц? Да, змеиный клубок!

В обвинительном заключении было подробно рассказано о них, и, тем не менее, каждый день процесса раскрывал новые и новые бездны человеческого падения. Они называли себя русскими, а мы видели, как перед ними открывались двери черных ходов министерства иностранных дел и генштаба Франции. Продавались с потрохами! Но, оказывается, даже и такие не всегда решаются сказать о себе: «Да, я отпетая сволочь». Некоторые из них пытались предстать перед нами некими трагическими жертвами желтоватого сияния франков:

не устояли, мол, слаба человеческая натура. Но председатель Верховного суда, листая папки следственных материалов, требовал, чтобы «жертвы» оглянулись назад. Оглядывались они и уже без патетики, поеживаясь, признавались: да, еще в годы становления Советской власти выдавали деникинской разведке подпольщиков-большевиков и подозреваемых в сочувствии большевизму шахтеров. И не только выдавали! Колодуб сидел, опершись на увесистую клюку. Не ею ли вбивал он в землю беременную шахтерку, муж которой ушел с красными? Или этот дипломированный бандит успел за свою жизнь измочалить о спины и головы шахтеров несколько таких клюк?

— Давно ведь это было, — пытался он найти себе оправдание.

А дальше? Уже в годы Советской власти?

Помните, друзья, глухой и короткий шум, будто ветер пронесся по залу от края до края? Это мы поднялись со своих мест, когда Государственный обвинитель стал зачитывать имена шахтеров, погибших в шахтах при обвалах, взрывах, затоплениях и от газа; поднялись и стояли неподвижно как бы возле тех братских могил. Стояли минуты, а может быть, и вечность, и в какое-то мгновение этой вечности Степан увидел неподалеку от себя склоненную голову Крамского, тот подошел к нему в фойе в минуты перерыва.

— «Русские»... Они называют себя русскими, — взволнованно проговорил он, забыв даже поздороваться. — Какое страшное пятно позора, Степан Петрович, легло на всю нашу интеллигенцию. Оно должно быть смыто: нельзя жить с таким позорищем на совести, нет! Я многого не понимаю. Может быть, ничего и не выйдет из пятилетки, может быть, действительно, крахом закончится этот смелый социальный эксперимент, но если он принят большинством народа, место интеллигенции не по ту сторону. Она не может быть ни Иудой, ни Понтием Пилатом, умывающим свои руки. С народом! И не мыслями, а делами. «На улицы из лабораторий!» — вот что слышу я сейчас в себе самом. Конечно, придет время, нужно будет и все это, что добывается в тиши лабораторий, но когда гудит вечевой колокол, мензурки и колбочки могут подождать. Всем существом своим, Степан Петрович, ощущаю я сейчас неодолимую потребность

быть на таком деле, где бы и сам с гордостью сознавал, и другие все видели: не с ними, не с этими гадами профессор Крамской! Вы верите мне?

— Верю, Игорь Борисович.

— Спасибо!

Я не был в те минуты рядом с ними и об этом разговоре, прерванном звонком, узнал позднее. Звонок возвещал о конце перерыва. Нет, я не поведу вас еще раз в Колонный зал: финал «шахтинского дела» всем известен, а июльские дни, которыми я потревожил память вашу, друзья и сверстники моей комсомольской юности, не только ведь в этом процессе. Помните? Ну конечно, наше комсомольское «даешь!»

«Из искры возгорится пламя». Из одной искры! А то, что вскрывалось на шахтинском процессе, каждое честное сердце делало искрометным.

Я пишу эти строки в Крыму. Перед глазами — бескрайнее море. Разыгралось оно, вспенилось, и я ловлю себя на мысли, что хочется мне вот с этими неудержимыми, нагоняющими друг друга волнами сравнить то великое начало, у истоков которого взволнованно прозвенели девичьи голоса с ленинградской фабрики «Равенство»: «Даешь социалистическое соревнование!» Но волны — слепая и разрушающая сила, а миллионами подхваченное «даешь!» не вернее ли назвать солнечным маршем ударных бригад? Именно солнечным, ибо по ту сторону рубежей нашей земли уже в следующем году легла тень наступающего экономического кризиса. Там закрывались фабрики и заводы, у нас строились новые. Там заполнялись улицы безработными, а у нас... Этого в мире еще нигде и никогда не бывало, чтобы остро стала ощущаться нехватка рабочей силы, и уже не на биржах труда, на газетных полосах, заборах и воротах новостроек появилось чудесное слово: требуются, требуются, требуются!

Так с разбега входила в нашу жизнь первая пятилетка, зажигая красные вымпелы ударных бригад, цехов, заводов, фабрик, шахт, новостроек, и вдруг...

Но об этом «вдруг» рассказ еще впереди, а сейчас все же надо вернуться нам если не в Колонный зал, то к тем же июльским дням двадцать восьмого года.

Степан не был на последних заседаниях и о приговоре узнал из газет. Но еще накануне, когда прочел заключительную речь общественного обвинителя, профессора Осадчего, ему стало ясно, что высокий накал процесса «спущен на тормозах»: «Учитывая чистосердечное раскаяние подсудимых...» Где оно? В чем? Где нити, ведущие к нераскрытым единомышленникам?

«Что-то здесь не то!» — Мысль эта не давала ему покоя, и, воспользовавшись поездкой по делам треста в ВТО[1], он позвонил Зимину.

— А я к тебе собирался приехать, — сказал тот, — давай на квартиру, Степа. Через десять минут я буду там.

Потеряв жену в Поволжье, Зимин так и остался без семьи, работницы тоже не держал, и уютной его двухкомнатную квартиру даже с большой натяжкой вряд ли можно было назвать. Впрочем, сам Зимин при дневном свете редко ее видывал.

Когда вошел Степан, он сидел за столом. Свет настольной лампы с простым канцелярским абажуром падал на раскрытую толстую папку. Зимин отодвинул ее, улыбнулся.

— Здорово, текстиль!

— Здорово, ГПУ, — улыбнулся и Степан.

Сдружились они еще до армии. После ранения в дни заволжского мятежа Зимин был назначен начальником политотдела в одну из частей, готовившихся к штурму Перекопа. Там и повстречались, потянулись друг к другу. Когда с врангелевцами было покончено, Зимина опять отозвали в ВЧК, а месяц спустя туда прибыла большая группа комиссаров и политработников; в числе их был и Степан.

— Ужинать будем?

— Да нет, — сказал Степан, успевший разглядеть, что на столе лежала стенограмма шахтинского процесса. Положив на стол фуражку, он сел.

— Есть вещи, в которые я теперь не имею права вторгаться, но в пределах возможного объясни мне, Леша: в чем дело?

— Ты имеешь в виду приговор? Здесь, вероятно, все правильно. Так требовало и общественное обвинение.

---

[1] Всесоюзное текстильное объединение.

— Значит, ты подозреваешь в чем-то Осадчего?

Зимин достал из пачки папиросу и, не закурив, лишь рассеянно помял ее — друг попал в точку: именно мысли об этом Осадчем не давали ему теперь покоя ни днем, ни ночью.

«Очевидно, так нужно, Алексей Дмитриевич», — сказал в день вынесения приговора Менжинский.

Да, может быть, в интересах большой политики с учетом и международной и внутренней обстановки действительно «так нужно», но не палка ли о двух концах эта гуманность? Не «вырвано с корнем злодейство», как заверил в своей заключительной речи Осадчий, отрублен лишь один палец, а вся злодейская рука осталась и ускользнула. Был процитирован тайный договор, заключенный в декабре 1918 года Англией и Францией, о «зонах влияния», а попросту о циничном захвате территории и природных богатств своей союзницы России, еще отбивавшейся в те дни от наступающих немецких войск. По этому тайному договору Англии предназначалась «зона влияния» на севере, в Прибалтике, на Кавказе и Кубани, к Франции должны были отойти Крым, юг России, Дон и Польша. На коммерческом языке это звучало так: французские империалисты «дарили» английским империалистам русские леса и нефть, а за собой оставляли донецкий уголь и южнорусскую металлургию, основываясь на том, что в этих отраслях русской промышленности французский капитал имел преобладающее значение.

Кое-кто склонен думать, что Дауэс и Локарно внесли какой-то переворот в международную политику. Ерунда! Многое, а в том числе и материалы шахтинского процесса, говорило за то, что это соглашеньице и до сегодня не сдано в архив, но центр руководства международными антисоветскими заговорами, как и добивалась этого французская дипломатия, из Лондона переместился в Париж. Почему добивалась? Ну, на этот счет в дни процесса «Фигаро» с полнейшей откровенностью высказалась: «Пощечину можно забыть, плевок с лица вытереть, но о куске, вырванном изо рта, всегда напомнят застрявшие в зубах крошки, о потерянных деньгах — пустые карманы...»

«Своим куском» царскую Россию считали сильные мира сего и в Англии, и в США, и в Германии, но, ко-

нечно, особенно чувствительно сказался Октябрь на карманах французских буржуа: восемьдесят пять процентов всех довоенных займов дома Романовых были размещены среди них, а стремясь вернуть «что с воза упало», они, как это явствовало из официальных данных французского министерства финансов, потратили еще более трехсот миллионов франков на поддержку Колчака, Деникина, Юденича и интервенции в Архангельске, да теперь еще на шахтинцев! И только ли на шахтинцев?

Наивно полагать, что их остановит потеря одного пальца.

Осадчий! Почему именно он стал общественным обвинителем? Формально вроде и не должно бы возникать такого вопроса: заместитель председателя Госплана, член Президиума ВСНХ, член ЦИКа СССР... Однако память настойчиво возвращала мысль к послемайской встрече со Степаном, когда тот рассказал ему о своем разговоре с Осадчим в машине. Он имел возможность близко соприкасаться с заместителем председателя Госплана и не нащупал ничего настораживающего, да и чего ради мог желать этот профессор падения Советской власти, вознесшей его на такую высоту?

Все это так, но встревоженность не оставляла, и позавчера вечером он развернул вот эту стенограмму речи Осадчего, хотя и знал, что все здесь правильно, и вдруг...

Зимин открыл листы на месте бумажной закладки и пододвинул папку Степану.

«Одного, однако, не позволял себе инженер: он никогда не изменял своей профессии, всегда был творцом и никогда не был разрушителем», — прочел тот вслух и задержался, раздумывая.

— Это об одном из западных инженеров, оставившем по себе скандальную славу всевозможными аферами и должностными преступлениями... Но ты читай дальше.

«Эйфель, Лессепс...[1] Да, они были мошенниками и

---

[1] Эйфель — французский инженер-строитель, построивший в 1889 г. всемирно-известную Эйфелеву башню.

Лессепс — французский делец, дипломат.

Оба они замешаны в крупнейших аферах «Всеобщей компании по строительству межокеанского Панамского канала», разоривших во Франции около полумиллиона держателей мелких акций.

хищниками, но они были творцами. Они до последнего момента, до тюрьмы продолжали быть инженерами-созидателями, они не изменили своей инженерной профессии». Действительно, странное и непонятное противопоставление. Я, признаться, не перечитывал его речь, а когда слушал... — Степан закрыл глаза, припоминая Осадчего на трибуне. Хорошая была речь, зажигающая, и он, Степан, аплодировал вместе со всем залом.

— Ты запомнил, Степа, с какой интонацией говорил он все это? Ведь здесь не осуждение этих хищников и мошенников, а любование ими!

«Любование»? — Степан перечитал отчеркнутые на полях строки: «творцы», «инженеры-созидатели» и чуть ли не герои... «До последнего момента не изменяют своей инженерной профессии».

— Это ли не высокий пример для подражания!— усмехнулся Зимин.—Да, противопоставляя Эйфеля и Лессепса шахтинцам, общественный обвинитель вольно или невольно делал первых примером, достойным подражания. А зачем?

— В самом деле, зачем, Алексей?

— Согласен, странно это и непонятно, если думать только о том, что профессор Осадчий представлял на процессе советскую общественность. А если допустить мысль об иной «общественности», скажем, о такой... — Зимин выдернул из папки газетный листок «Руль», издававшийся белоэмигрантскими кругами в Париже.— Известный тебе глава «Торгпрома» Денисов ратует за то, чтобы освобождение Руси от «большевистского ига» произошло без разрушения материальных ценностей. Улавливаешь перекличку мыслей и положений?

— Ты докладывал об этом самому? — спросил Степан, прочитав статью Денисова.

Зимин промолчал, глядя прямо перед собой. Годы щадили его лицо, оно, как и десять лет назад, было моложавым, лишь виски густо побелила седина. и глаза стали вроде строже.

— Когда дело похоже на уравнение со многими неизвестными, всевозможных вариантов возникает не меньше, чем в сложной шахматной партии. Делая ход за противника, надо нам и на все поле битвы смотреть его глазами. И если допустить мысль, что ветер дует

отсюда, — Зимин показал глазами на газетку, — все становится на свои места. Две роли — официальная и частная, в которой Осадчему надлежало оставаться самим собою и адресоваться не к суду и даже не к подсудимым, а к тем своим единомышленникам, что находились в зале и за его пределами. И сказать им так, чтобы они его поняли. Если, повторяю, это действительно так, надо отдать профессору должное: обе роли сыграны с блеском! Аплодировали ведь мы ему, аплодировали и они, наверное; впрочем, может быть, и не две роли — одна, лишь в наряде с чужого плеча. В этом же плане вполне допустимо, что и гнев, бушевавший в его речи, был не театральным: шахтинцы могли быть трижды изменниками родины, стократ хищниками, и у него не поднялась бы рука бросить в них камнем. Он поставил бы их надо всеми, как Эйфеля и Лессепса. Но они были разрушителями, они забыли, что должны в целости передать предприятия прежним хозяевам, и за это подлежали самому суровому осуждению, чтобы и другие не забывали, за что платят деньги их бывшие хозяева. Отказ от вредительства? Боже избави! Вредить в тысячу раз сильнее, но... по-инженерски. Вот ведь, Степа, что можно прочесть здесь между строк.

— Я спрашиваю, ты докладывал Менжинскому? — взволновавшийся Степан совсем забыл, что не имеет права об этом спрашивать, а Зимина не удивили ни вопрос, ни горячность друга. За годы совместной работы он привык во всех трудных делах держать с ним совет, и то, что Степан был теперь «штатским», не имело для него значения. Ни с кем из сотрудников своего отдела не поделился он этими мыслями и предположениями, а с Орловым можно: дальше Орлова никуда не пойдет — это тверже твердого.

— Докладывал, Степа.

— И что?

— Об этом... — Зимин положил руку на стенограмму, — то же, что и ты: «странное и непонятное противопоставление», об остальном, — он помолчал и вздохнул, — остальное до конца не дослушал, спросил, давно ли я отдыхал.

— Д-да, нужны факты, конечно.

— Ищу. Но для меня вот что важно сейчас — твое мнение, Степан: не кажутся тебе эти поиски нелепыми?

— Нет.

— Спасибо. Буду искать. — Зимин встал, распахнул окно. Вглядываясь в темноту ночи, спросил: — Как у тебя на фабриках, Степа?

— Выравниваются дела.

— А к нам не думаешь обратно?

— Чувствую, там нужен. — Степан встал с ним рядом. — А с чем ты ко мне собирался? Поделиться этими мыслями?

— Да. И узнать, нет ли чего не по-шахтински грубого, а «инженерного».

— Не знаю... Пожалуй, нет.

Они закурили.

— Не мы, а они выиграли этот процесс. До него мы не теряли надежды раскрыть их связи с другими группами, теперь это отсечено, отрублен один палец, а вся рука осталась.

Степан обнял его за плечи.

— Народ подскажет, Леша. Без горняков, сам знаешь, мы и этих не раскрыли бы.

— Народ, конечно, — рассеянно сказал Зимин.

Так и стояли они в обнимку, два друга. Оба в военных гимнастерках, а в окна смотрела на них притихшая ночная Москва. Вширь и вдаль вокруг нее раскинулись просторы советских республик, над миллионами советских людей вот это июньское небо, а сами они — на пороге своего первого социалистического пятилетия. Но с ними вместе через порог этот готовятся змеями прошмыгнуть неразоблаченные единомышленники Матова, Рабиновича, а может быть, и Осадчего. Где они? Сколько их?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Лукерья-апа

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шофер затормозил: в руке милиционера, стоявшего на вокзальной площади, был красный сигнал.

Со стены углового здания успевший выгореть и полинять плакат призывал:

«ДАЕШЬ ВСТРЕЧНЫЙ, ТОВАРИЩИ!»

Нефедов отвернулся.

Давно ли был тот день, когда он по поручению Рамзина встретился с Кондратьевым и чуть ли не за грудки тряс бородатого здоровяка:

«Где же, уважаемый, обещанные вами мужицкие бунты? Где ваши хвастливые заверения, что все творимое инженерами — пустячок перед стихией мужицкой ярости, которой захлестнете вы всю большевистскую Россию? Не только безлошадники, попер в колхозы и середняк. Да, середняк, про которого вы говорили, что он тоже у вас в кармане. Коммунисты всех рангов, рабочие агитбригады — вот кто задает в деревнях тон, а ваших голосов что-то совсем не слышно, струсили, хвосты поджали».

А теперь, наверное, этот Кондратьев вышагивает на своих длинных ногах по коридорам Тимирязевки и так же зло думает: «Где же ваша обещанная анархия производства, уважаемый Федор Ефремович? Где ваши хвастливые заверения, что «товарищи» и оглянуться не успеют, как от их социалистического наступления останутся лишь воспоминания. Воспоминания остались от ваших плановых «ножниц». Или, может быть, вы надеетесь, что «встречный» сам себя скомпрометирует?»

Да, как ловко была рассчитана каждая цифра, и все полетело к черту. Так же, как и другие промпартийцы, он теперь делал и подписывал все, что требовали руководящие «товарищи», и лишь однажды забыл о совете Рамзина не лезть на рожон. Да, в тот день, когда Куйбышев распорядился, чтобы нормы поставок хлопка прядильным фабрикам были пересмотрены с учетом встречных заявок хлопчатобумажных трестов. Но председатель ВСНХ, прежде поддерживавший его доводы о «культуре труда» и необходимости жесткой экономии в расходовании сырья, на этот раз холодно сказал: «Не беспокойтесь, профессор, рабочие не меньше нас с вами заинтересованы, чтобы ничего на ветер не летело».

— Считаю своим долгом предупредить: запасы хлопка у нас критические, — пустил он в ход свой последний козырь.

— Партия это знает. — И вдруг совсем другим тоном Куйбышев спросил: — А как у вас со здоровьем, Федор Ефремович?

Домашние тоже тревожились: очень уж осунулся, и цвет лица нехорош. Еще бы румянцу играть на щеках, когда и в постели, и на службе, и в часы лекций в текстильном институте — каждую минуту ожидалось: вот-вот распахнутся двери... Но военные с малиновыми петлицами не приходили, и оставалась неизвестность: то ли «товарищи» делали вид, что не видят злого умысла в обнаруживающихся плановых «ножницах», или в самом деле считают, что это «ошибка наших специалистов», которые «при своих технических расчетах вслед за буржуазно-экономической наукой ставили апостроф на станки и машины, не домысливая, что реальность наших планов — живые люди!» Как будто промпартийцы мертвецы! И тем не менее... Нет, разумеется, до полного крушения еще далеко. Занимая многие командные вышки и опираясь на свои низовые звенья, «Промпартия» и теперь еще, пожалуй, в любой момент может если не парализовать, то внести огромный хаос в хозяйственную жизнь Советов: погаснут огни электростанций, полетят под откосы сталкивающиеся на магистралях поезда, загрохочут взрывами шахты... Но этот любой момент мыслим лишь единожды, только когда заговорят пушки. А они молчали — упорно и непонятно. Правда, летом минувшего года «Промпартия» сама просила

повременить: большевики и весь народ после шахтинского процесса были настороже. В Париже легко согласились с этим доводом, может быть, потому, что экономический кризис, ураганно трясший теперь все континенты мира, уже тогда чувствительно давал знать о своем приближении.

Но зимой в том же Париже представитель генштаба Франции генерал Жерар топал ногами и кричал на Рамзина и Осадчего, как на мальчишек: «Какого дьявола вы нас за нос водите? За что получаете валюту, господа хорошие!»

Нервозность его была понятна: мир содрогался, как от вулканических толчков. Не стало и в американских газетах заголовков — «Затруднения наши временные», «Спокойствие: мосье кризис за океан не перешагнет!», «Дом дядюшки Сэма гарантирован от социальных потрясений и экономических катастроф»... Еще в новогоднем послании президента Гувера мелькали заверения о том, что новый подъем и еще более яркое процветание не за горами, проблески этого будто уже видны, только вряд ли уже тогда верили ему и сами американцы, на глазах которых росло число безработных. Пугающей грозой веяло и от колоний: волнения в Бомбее, восстание в Кабуле. По охваченному забастовками Китаю бежали объединенные войска Чан Кай-ши, вторично разбитые армиями китайских Советов.

Во всем этом виделась «рука Москвы» — если и не физически, то как символ.

К тому же освобожденная от большевиков Россия, кроме всего прочего, могла стать огромнейшим и безотказным рынком, что в условиях кризиса, вызванного перепроизводством товаров, сулило великолепнейший выход из мирового бедствия.

ЦК «Промпартии» это понимал, и ни у кого из его членов не имелось желания затягивать жизнь, полную смертельного риска. Но тогда еще не было этого проклятого «встречного», и думалось, что вторжение интервенции до того, как совершит свое дело «заминированная» пятилетка, сведет роль «Промпартии» в уничтожении Советской власти на нет. А это было не в интересах и «Торгпрома», лишая его при последующих расчетах права сказать французам, англичанам, американцам и прочим участникам военного дележа: «Позвольте,

господа, основное сделано руками «Промпартии», и на вашу долю достался триумфальный марш. Упорным военным штурмам одна цена, а военной прогулочке совсем другая. Сколько вас осталось бы, да и ворвались ли бы вы на советскую землю, не будь этой самоотверженной подготовки нашими силами». В конце концов и для коалиции держав было резонно повременить с открытием военных действий до тех дней, когда большевистская пятилетка успеет основательно скомпрометировать себя в глазах всего мира. Разумеется, Рамзин и Осадчий высказали представителю французского генштаба только последний довод, а до него дошло, очевидно, лишь слово «повременить», и он хлопнул дверью. Торгпромовцы? Но ведь те в этом Париже тоже ничего не решали. Лишь к концу третьего дня Рамзин получил указание сесть в условленном месте в голубой автомобиль, доставивший его в загородную виллу, где он оказался с глазу на глаз с самим Пуанкаре. Глава правительства Франции не вымолвил ни да ни нет, он только слушал. А еще через день опять тот же Жерар сказал:

«Весна... Первые дни ее... Устраивает вас это, господин Рамзин?»

«Постараюсь, чтобы устроило».

«Но имейте в виду — это последняя оттяжка. Последняя, черт бы вас побрал!»

И вот давно уже позади эти первые дни. Как в снегу черемуха, набирает свои гроздья соцветий и сирень, а пушки молчат, хотя Париж и предупрежден, что положение изменилось и что каждый промедленный день теперь — выигрыш Москвы и усиление мировых позиций коммунизма. Почему же медлят?

— Прикажете обождать? — остановив машину, почтительно осведомился шофер.

Скользнув взглядом по невзрачному зданию Савеловского вокзала, Нефедов неторопливо поправил шляпу и галстук, пригладил седые, коротко подстриженные усы.

— Да, минут через тридцать я должен...

Старик вздохнул: чертовски нелепый день получился! Семья уезжает на дачу, а он не смог быть дома даже при сборах. Спасибо, еще Успенский подвернулся и взял на себя все предотъездные хлопоты. Но дело-то ведь не только в хлопотах... Ксения! Давно уже не вспоминает-

ся, как совсем несущественное, что она только приемная дочь, — родное сердцу дитя. И на мир должна бы смотреть его, Федора Ефремовича, глазами, и эта вот безбрежная ненависть ко всему большевистскому, что распирает его старое, подточенное склерозом сердце, должна бы набатом стучать у нее в висках, да в том-то и ахиллесова пята его, что он не мог прививать ее девочке. «А как же, дядя Федя, пошли вы работать на большевиков?» — спросила бы она, и тогда... Что тогда? О той рискованной крупной игре, которую ведет в ВСНХ и Госплане, он ни словом не обмолвился и жене, хотя знает, что та не выдала бы. Нет, если бы даже девочка находилась в смертельной опасности и спасти ее могло бы его признание в принадлежности к «Промпартии», он, разумеется, промолчал бы. Единственное, что мог предпринять он в этом труднейшем сплетении обстоятельств, — посильно ослаблять веяние «той стороны». И когда замелькали на улицах Москвы красные галстуки и в школах появились пионерские форпосты, он отослал девочку в Кашин. Там, в этой тверской глуши, тогда еще не гремели барабаны, не трубили пионерские горны и, как встарь, привольно разливался по воздуху гул церковных и монастырских колоколов. Консерватория? Но в стены ее тоже еще не успели пробраться «товарищи». Да, казалось, и дома и вне его Ксения не выходила из круга своих людей, и все же... Однажды приехал с работы и застал ее за чтением «Комсомольской правды».

Скрыв неудовольствие, пошутил: «Не комсомолкой ли хочешь стать, проказница?» Улыбнулась: «Нет, дядюшка, не знаю, как это поточнее сказать. Похоже, что мы люди разных полюсов, хотя и по одной земле ходим». — «Понимаю, начинаем становиться взрослыми, в жизнь вглядываемся. Ну и какая она?» Смутилась: «Не знаю, мне кажется, что наши дни — это эпоха... Нет, даже не контрастов, а крайностей — резких, взаимоисключающих. А я не золотая середина, чтобы иметь право судить и выносить приговор. Порой мне думается, что вообще нет в нашей жизни золотых середин, а значит, и объективных суждений. Они будут, наверное, у наших отдаленных потомков. А что скажут те о нас, людях двадцатых годов двадцатого столетия, — не берусь предугадать, Может быть, скажут — это было ве-

ликое время русской земли, а может быть, и так — это было второе смутное время на Руси, и более страшное, чем первое». — «Скорее всего, так, дочка». — «Это говорите вы, дядя Федя!» — «Вероятно, потому, что никого другого не вижу в комнате», — опять отшутился он. Больше Ксения ничего не сказала, но взгляд ее, полный изумления, запомнился и посеял в душе тревогу. За сына такой тревоги не было: тот и на чужбине среди своих, а Ксения...

Грянувший «встречный» отодвинул было эти тревожные мысли о ней, но вот с первых же дней весны, когда каждым нервом души и тела стало ожидаться — «сегодня? завтра?» — они вернулись вместе с вопросом: как воспримет она э т о? Внутренний голос подсказывал, что надо принять, и без промедления, какие-то меры, но опять так ничего и не смог придумать он, кроме... Кашина. Еще вчера решил на службу сегодня не ехать и до отхода поезда пробыть с ней, чтобы девочка почувствовала, как дорога ему, и не забыла бы положить это на весы, когда придется ей еще раз задуматься о жизни. Да и послушать напоследок ее игру хотелось. Давно не сидел возле ее рояля. Однако все эти планы перечеркнул телефонный звонок — вызывал сам Куйбышев: встреча с голландскими промышленниками! Уже в ВСНХ пришла ему мысль проводить жену и Ксению до какой-нибудь не очень далекой станции. Отнимет много времени? Ну и черт с ним! В перерыв он позвонил домой и попросил подошедшего к телефону Успенского позаботиться о билете. Все представлялось устроившимся, и после отъезда голландцев он даже решил принять несколько человек со срочными делами, а когда закрывал кабинет, подошел Рамзин и сказал: в восемь часов ожидает Маричев, встреча обязательная и без опоздания, в девять будет уже поздно.

— Да, минут через тридцать, — взглянув на часы, повторил Нефедов, — в крайнем случае... через сорок.

В гул привокзальной площади звонко ворвалось:

— «Вечерняя Москва»!.. «Вечерняя Москва»!..

Из пестрого потока торопящегося люда, размахивая пачками газет, вынырнули двое босоногих мальчишек.

— Баррикадные бои в городах Италии. Правительство Макдональда посылает войска против бастующих горняков. Предательство Кука.

«Кук? Да, об этом уже было в утренних газетах».

— Голодный поход безработных в США. Самоубийство...

— Обожди, мальчик. Самоубийство?

— Спичечного короля Крейслинга, — газетчик белозубо сверкнул улыбкой. — Если уж до королей дело дошло, то... берете газету, папаша?

Нефедов прошел к ступеням, а услышав за спиной: «старорежимный хрен, видать», — вспыхнул и запоздало пожалел, что не взял газету: дежурная улыбка нужна не только на службе — везде. Такое время!

— А я все глаза просмотрел, — от дверей навстречу ему шел одетый, как всегда, «с иголочки» инженер Успенский. — Все в порядке, Федор Ефремович.

Нефедов чуть было не сказал: «очень признателен вам, Маркел Никитыч», так живо напомнил ему Всеволод Никанорович своего покойного деда. Усики, усмешка тонких губ, хрящеватый нос и маленькие, беспокойно бегающие глазки. Правда, у старика Маркела форменной фуражки не было.

— Спасибо, батенька мой, ну, ведите, где они?

— Устроились мы в буфете.

— Волнуются?

— Еще бы! Вот-вот должны объявить о посадке. Виктория Дмитриевна глаз не сводит с часов, а Ксения Владимировна...

— Что она?

— Как всегда... — Успенский придержал дверь, чтобы та не задела профессора. — Донимает насмешками вашего слугу покорного.

Нефедов засмеялся, но невесело, а седые брови столкнула поднявшаяся между ними хмурая складка. Приблизил он к себе этого щеголеватого инженера еще до провала шахтинцев. Тогда же помог ему подняться по служебной лесенке до поста главного инженера Орехово-Зуевского хлопчатобумажного треста. И тогда же завербовал в «Промпартию», хотя сам Успенский вряд ли об этом подозревает.

— Что за галиматья! — оборвал он этого Всеволода Никаноровича, когда тот под напором его полунамеков в дружеских беседах пришел к открытию, что «инженерия — колоссальная сила, и если ее объединить, больше-

викам не поздоровится!» — Я старик и... Разве вы забыли, кто я? Из уважения к прошлой близости наших семей, молодой человек, соглашусь вычеркнуть из памяти сегодняшний день, но на будущее предупреждаю: никаких антисоветских разговорчиков в своем доме профессор Нефедов не потерпит. Запомните это! — Хлопнул дверью и ушел, а к Успенскому вскоре по его сигналу пришли.

Для «Промпартии» приобретение не ахти какое: болтлив и опрометчив, и все же он продолжал с неизменным радушием распахивать перед Всеволодом двери своего дома. Духовная близость была здесь, разумеется, уже делом десятым. Разлетится вдребезги большевистская власть, вернутся на Русь ее старые хозяева, вернется к своим хлопковым предприятиям и отчим — возраст у старика на пределе, а детей бог не дал, рассчитывать на наследство могут трое: он, сестра Тоня и отец этого Всеволода — Никанор Успенский. Но Тоне еще в те дни, когда она вышла замуж за Игоря Крамского, отчим сказал: «На мои карманы не рассчитывай». Его старик тоже за что-то недолюбливает, и не исключено, что в завещании фигурировать будет только Никанор, а тот уже десять лет разбит параличом, и фактически обладателем всех миллионов Андрея Никитовича Успенского может стать Всеволод Никанорович. А девчонка нос от него воротит! Некрасив? Ну и что ж из того? И не урод ведь! Не блещет талантами? А зачем они будущему миллионеру?

В тесноватом зале, где горками высились у стены буфетные полки, уже горели запыленные электрические лампочки, потому что света двух тоже густо запыленных окон здесь и днем вряд ли хватало.

Жена читала какую-то растрепанную книгу. На столике, за которым она сидела, стояли распечатанная, но еще не початая бутылка портвейна и четыре стакана. У стены на чемодане пристроилась Анфиса, зорко поглядывая на остальные вещи.

— Наконец-то! — Виктория Дмитриевна положила книгу на столик и провела сухонькой ладонью по волосам, когда-то огненно-каштановым, а теперь будто пеплом посыпанным. — Ксюша пошла к дежурному по вокзалу: говорят, что наш поезд отправят не по расписанию.

— Сие мог бы и я выяснить, — подосадовал Успенский.

— Куда вы? — остановил его Нефедов.

— Не затеряется, — сказала и Виктория Дмитриевна. Инженер снял со спинки стула свой плащ, стул пододвинул Нефедову. Тот поблагодарил его кивком, а сесть медлил.

— Как мило ты это придумал, Федя! — улыбнулась Виктория Дмитриевна. — Ксюша, когда услышала, пришла в восторг.

— Минуточку, — перебил ее Успенский, — извините. В этом третьем классе нас разъединили, и я не успел сообщить Федору Ефремовичу, что не совсем точно выполнил его поручение. Чтобы не скучно было вам возвращаться в Москву одному, я взял... — он вынул из кармана два билета, один задержал в руке, второй почтительно положил на стол.

— Я не еду.

Виктория Дмитриевна вздохнула, как бы сказав этим: «так я и знала», а Успенский встревоженно спросил опустившегося на стул профессора:

— Что случилось, Федор Ефремович?

— Дела, — сказал тот, а сам тоже подумал: действительно, что случилось? И, кажется, только сейчас он понял, что этот вопрос гвоздем засел у него в голове и не выходил из нее всю дорогу. Думал о «встречном» и Ксении, а в каждом насторожившемся нерве жило это «что случилось?» Рамзин ни на что не намекнул, но Леонид Константинович ведь «джентльмен» — не любит сам доставлять неприятности, а Маричев же... у того редкая способность всегда иметь за душой увесистые сюрпризики!

Прохладные, пахнущие фиалками ладони закрыли ему глаза. Нефедов устало улыбнулся.

— Коза безрогая!

Ксения рассмеялась, поцеловала его в щеку. Зеленое платье с кружевной отделкой на воротничке очень шло к ее смуглому разрумянившемуся лицу. Да впрочем, что не шло к ней? Экой красой расцвела! Одни глаза под густыми веерами ресниц чего стоят!

Ксения прилепилась на краешке стула, обняла его за шею.

— Теснотища во всех залах невообразимая. Да! Ни

за что не угадаете, дядюшка, с кем я чуть было не столкнулась!

— Если угадать ни за что нельзя, следовательно, и попытки бессмысленны, — сказал Нефедов, гладя ее руку. Тоненькие и, кажется, очень хрупкие пальцы, но какие сильные звуки и аккорды исторгают под ними клавиши рояля. Талантливые руки! Но о чем это она говорит? Орлов? Что за Орлов?

— Неужели забыли, как вылетели мы тогда из пролетки? — встретившись с его спрашивающим взглядом, рассмеялась опять Ксения.

— А! Так во сколько же поезд идет?

Девушка не заметила суховатой строгости в его голосе, рассеянно сказала:

— Еще не скоро, часа через два.

— Боже мой! — ужаснулась Виктория Дмитриевна, а Нефедов и Успенский разом посмотрели на часы.

— Вероятно, с отцом он, — сказала Ксения. — Такой же — под потолок, а в плечах, пожалуй, и пошире.

— О нет! — возразил Успенский. — Сие генерал Опанасенко.

Нефедова вскинула брови.

— Кто-о?

— Не удивляйтесь, Виктория Дмитриевна, он столько же генерал, сколько мы с вами архиереи. Это врач наш. Утром я видел его на ореховском вокзале вместе с этим Орловым. Вокруг парни и девки — не то на Турксиб, не то еще куда-то едут, а посредине они, их величества, члены окружкома, горисполкома и прочее, и прочее.

— Всеволод Никанорович, — перебила инженера Ксения, — а почему же он на костылях, не знаете?

— «Генерал»... этот? — опять изумилась Виктория Дмитриевна.

— Нет, Орлов. Почему? Отрыжечка зимней «эпопеи», Ксения Владимировна! Что вы сказали, Федор Ефремович?

— Буду просить вас, — повторил Нефедов, вставая.

— Обижаете, Федор Ефремович. Вы же знаете... Но на прощание, — инженер взял бутылку и быстро разлил вино по стаканам. Помедлив, Нефедов поднял свой.

— Благополучного пути! И дай бог...

— А не рано ли? — улыбнулась Ксения. — Мне думается, эти слова более уместными будут...

— Федор не едет! — резко сказала Нефедова.

— Это правда, дядя Федя?

— Да. Я заскочил сюда буквально на минутку.

— Ну, это даже больше, чем безобразие!

— Свинство, — согласился Нефедов, — и тем не менее, — он посмотрел на свет густое бордовое вино. — Так дай бог всем нам доброго здоровья.

Ксения отпила глоток и поставила стакан.

— Догадываюсь, это за мое здоровье Ксения Владимировна отказывается выпить, — сказал Успенский.

— Да, я уверена, что ничего не случится с вами: разве легкий насморк...

— А вдруг?.. Ну, хотя бы полстаканчика! Я прошу вас..

— Напрасно затрудняете себя.

Инженер помрачнел. Нефедов это заметил и отнял от губ стакан.

— А если я попрошу?

— Серьезно?

— Вполне.

— Пожалуйста, дядюшка. — Ксения взяла стакан и, не отрываясь, выпила все вино.

Нефедов переглянулся с женой, вздохнул.

Конечно, все эти мысли о наследстве и расчеты на него в известной мере призрачны, но что ныне не призрачно? И ведь не настаивает он, чтобы Ксения сейчас же шла под венец, хотя ей уже двадцать. Больше того, если бы речь шла о «сейчас», то он сам дал бы совет ей: «Повремени, дочка». Ну да, до того дня, когда что-то уже определится. Без миллионов Андрея Никитовича этот Всеволод, конечно, ей не пара. Но повременить — отнюдь не одно и то же, что попусту терять время. Невесть какая обременительность быть повнимательней и поласковей, встречать улыбкой, вздохнуть раз-другой при расставании. Вика это умела в молодости, да и каждая девица, наверное, сумеет, если захочет удержать возле себя серьезного жениха. Удержать! Не обещать ничего наверняка, лишь удерживать. Но в том-то и вся беда, что Ксения, похоже, не хочет удерживать. А Всеволод не рыцарь средних веков, чтобы, несмотря ни на что, петь под окном предмета своего сердца

серенады. Раз натолкнется на подчеркнутую холодность и пренебрежение, во второй натолкнется — и отстанет. Нет, первое время она не была с ним такой неприступной. Успенский тому вина или...

Нефедов допил вино. Жена отвлекла его в сторону от столика и тихо спросила:

— Я все-таки не понимаю, почему такая срочность с отъездом?

В мыслях у Федора Ефремовича было: «Пушки могут заговорить каждую минуту, может быть, они уже заговорили сейчас, когда мы стоим с тобой здесь. «Варфоломеевская ночь» — сущий пустяк по сравнению с тем, что последует за первым громом пушек. Это не для женских глаз, Вика. Во всяком случае, не для глаз Ксении. К сожалению, и Кашин теперь, кажется, уже не тот, что несколько лет назад, — закрываются церкви, вокруг колхозы. Но ведь расстояние-то осталось, Вика. До вас донесутся лишь отзвуки. Да, да! Там наша девочка не увидит ни половодья крови, ни гор трупов — пусть спокойно занимается своей музыкой». Но ничего этого сказать было нельзя, и он раздраженно проронил:

— Не вокзальный разговор, Вика. — А проведя по ее белым волосам ладонью, шепнул: — Постарайся, чтобы не было никаких «Комсомольских правд», ты понимаешь меня?

— Понимаю.

— Ну вот. — Федор Ефремович поцеловал ее в губы, Анфису мимоходом тронул за плечо. — Молодежь, надеюсь, до машины меня проводит?

Ксения взяла его под руку.

— Я буду скучать, дядястый мой.

— Пустяки! Там же курорт. Только прошу тебя — будь осмотрительней со знакомствами, слушайся тетю Вику.

Выход на улицу был через зал третьего класса, а там и ногой переступить было негде. Голос рыжеусого железнодорожника, просившего: «Граждане, не загромождайте проход!» — тонул в торопливом говоре парней и девушек.

— Очередная мобилизация комсомолии, — усмехнулся Успенский.

Ксения утвердительно кивнула. Давно ли начались эти мобилизации, а уже так прижились, что удивитель-

но было, если за день не встречались где-нибудь вот такие же, по-походному снаряженные толпы молодежи. Спешат по улицам ко всем вокзалам, а оттуда поезда мчат их... да кого куда! И в шахты, и на новостройки, и на днепровскую ГЭС, и на Турксиб, и к берегам Каспия, где вырастают среди соленых песков нефтяные вышки, и на Дальний Север, где валят вековые леса и сплавляют их по рекам к рождающимся заводам и городам.

Железнодорожнику удалось докричаться до стоявших у выхода, и зал пришел в движение.

— Ослеп? — накинулся Успенский на парня, толкнувшего Нефедова своим чемоданом.

Парень оглянулся и тоже рассердился.

— Подумаешь, интеллигенция какая! Недотроги...

— Спокойней, Всеволод, — сказал Нефедов побагровевшему инженеру и за локоть подтянул его к скамейке, возле которой стояли у своих вещей женщина в жакетке, пестрой от приставших к ней волокон ваты, и старик-крестьянин — сутуловатый и лысый. Здесь же задержался и рыжеусый железнодорожник.

— Бескрайняя, похоже, мать-земля наша, — сказал он, поглядывая, чтобы опять не застопорилось движение. — И день и ночь садятся в поезда, а она глотнет — и еще подавай ей.

— Пятилетка же, — отозвалась женщина. Лицо у нее было не старое, но такое суровое, что даже тронувшая губы скупая улыбка не смягчила его. — У меня самой, из Твери я, на чесальных работаю. Один, говорю, парнишка. и тот влетел в каморку — кепку на стол: «Собирай, мать, бельишко, вечером еду». В Архангельск на лесозаготовки укатил.

— Ишь ведь, какие они — комсомол! — старик в лаптях покачал головой. — А у нас колхоз, кимровский я сам-то, всей семьей вступили — осьмнадцать душ. Сноха меньшая, правдать, и по сей день ревет — известное дело, не в обиду тебе, тетка, будь сказано, — бабий ум, без соображениев. Тракторы обещают. Не доводилось самому-то видеть, вроде автомобиля будто машина, сама пашет! А человек на нем запросто сидит, для приглядки, что ли, и никакое другое тягло тебе не надобно. — Скользнув взглядом по лицам инженера и Ксении, он пытливо посмотрел на Нефедова.

— Есть такие машины, а?

— Есть, товарищ, — подтвердил тот, и усы его шевельнула улыбка, а в мыслях клокотало тоскливо и зло: «Почему, черт их побери, молчат пушки, почему?»

— Должны быть, раз сказывают, а то ить с лошадьми-то у нас ой как плохо. И хозяева, что посправней, топчутся. Одни записываются, а другие — врать не буду — топчутся: вот, мол, ежели в самом деле будут такие машины! — продолжал говорить старик, а за спиной чей-то до пронзительности звонкий голос негодовал.

— Нет, вы подумайте только, товарищи, люди мрут у них, топятся, напускают в жилье газ, потому что мочи нет смотреть в голодные глаза детишек, а они хлеб уничтожают, а!

Это об Америке. Чтобы как-то приостановить бешеное падение цен, там действительно разгружают пшеницу, кофе и сахар... на дно океана, а что не успевают погрузить в трюмы пароходов, сжигают на кострах. Но что кричать об этом? Сжигают не чужое, а свое. Миллионы голодающих? Ну и что же? Благотворительностью занимается там «армия спасения», большому бизнесу это ни к чему. Нет, не в кострах суть, а в том, что президенту Гуверу пришлось стянуть к своему Белому дому войска... А первомайские залпы в Берлине? А бои в городах Италии? А самоуправство горняков Нижнего Уэльса? Все это яблочки с одной яблони: хам поднимает голову, хам расправляет плечи, хам выворачивает булыжники из мостовых — и повсюду с оглядкой на Москву... Турксиб, Днепрогэс, Магнитка, Кузбасс — это же не слова. «Реальность наших планов — живые люди», вот эти самые, что и «днем и ночью садятся в поезда». И если, господа, не видно вам из Парижа, Лондона, Нью-Йорка их лиц с фанатично горящими глазами, то эхо их наступления доходит до вас, не может не доходить! Так какого же дьявола медлите?

— Какого дьявола!

— Что, дядюшка? — спросила Ксения.

— Ничего, вот это самое... — пробормотал он, приложив руки к ушам, потому что их вдруг словно огнем охватило. — Почему мы стоим, когда можно уже пройти?

Комсомольцы и комсомолки, успевшие выйти из зала, толпились на ступенях и около них. Глаза Успенского сверкнули:

— Толкнуть чемоданом и даже не извиниться!

Нефедов пожал плечами: имел ли значение какой-то толчок чемоданом перед лицом тех непоправимых ударов, которые обрушил и продолжает обрушивать на него «встречный».

Шофер ждал, придерживая раскрытую дверцу машины.

— Ну, так, — сказал Нефедов, кося глазом на комсомольцев, двинувшихся от вокзала. Кто-то из них сильным голосом затянул:

Партия сказала-а:
— Дать сталь! —

подхватили и другие.

— Дать сталь! —

звонко выделялись девичьи голоса.

— Кажется, я еще не поблагодарил вас, Всеволод Никанорович, но это не по рассеянности, а просто... привык уж к вам, батенька мой, как... Ну, в общем, позвольте мне надеяться, что и в отсутствие этой насмешницы вы не забудете про старика Нефедова.

И комсомол ответил:
— Все по местам! —

гремела песня.

«В Магнитогорск», — подумала Ксения. Слова песни подсказали? Может быть, а может быть, и другое... — «Зимняя эпопея», сказал Успенский. Да были ли еще когда-нибудь зимы такие, как минувшая? Анфиса говорила: страсть господня! А ведь о н и не бежали в натопленные комнаты от этой «страсти». У тех, которые строят домну в Магнитогорске, ладони и пальцы примерзали к арматуре так, что кожа на ней оставалась, света не было — все равно не расходились, работали при кострах, и как! Комсомолец Сидоренко за смену давал по девятьсот с лишним замесов, — правда, это не на Урале, в Харькове, но морозы были и там такие же, и вьюга так же завывала, как в Москве. «Комсомольская правда» писала о работе этого бетонщика Сидоренко, как о неслыханном мировом рекорде. И дядя, когда она назвала ему цифру девятьсот тридцать семь замесов, сказал: «Невероятно!» Думалось, что это богатырь из

богатырей, что-то вроде Ильи Муромца, но газета поместила его фото во весь рост — обыкновенный парень, как и вот эти. А странно, почему она не поздоровалась на вокзале с Орловым? Ведь сколько раз порывалась написать ему, чтобы извиниться за тот случай с пролеткой, но письма не получались, и думалось: если доведется повстречаться, тогда это будет проще. Узнал ли он ее? Наверное, нет. Он же разговаривал со своим спутником, а на нее взглянул мельком, когда нечаянно задел ее ногу своим костылем и сказал — «извините». Дядя! Как изменился и постарел, бедный, за последнее время, — столько работы, столько забот...

— Мой дом — ваш дом, — говорил он Успенскому, — вы это знаете.

— Федор Ефремович!

Но дядя наконец-то повернулся к ней.

— Не работай по ночам — обещаешь? — сказала она, взволнованная и песней и расставанием.

Нефедов кивнул, поцеловал ее и что-то хотел сказать, но махнул рукой и сел в машину. С треском вылетели облачка газа, машина пересекла трамвайную линию и на полной скорости нырнула в узкий переулок.

— Пойдемте, Ксения Владимировна, — подхватив девушку под руку, сказал Успенский. Туфли его — очень узконосые, с загнутыми носками — были похожи на хоккейные клюшки.

— Что вы имели в виду, Всеволод Никанорович?

— Когда? — не понял инженер.

— Когда сказали «зимняя эпопея».

— А, вы опять об этом? Эпопея, в кавычках, конечно, — расчистка железнодорожных путей. Ну, а командовал там он, Орлов... Но я, кажется, вынужден вас огорчить: слово «герой» я ведь взял тоже в кавычки. Костыли-то самого прозаического ревматизма, который донимал их пролетарское величество и прежде, то есть до зимнего аврала, — так что эпопея, как видите, самая банальная. Огорчил? Очень сожалею.

Кто дал ему право говорить с ней таким тоном? Ксения сделала резкое движение локтем, но Успенский не выпустил ее руку, и она нахмурилась. А ведь было время, когда думалось, что этот склонившийся к ней инженер с маленькими глазками и черными, будто тушью

наведенными усиками — необыкновенный человек, оригинальный и смелый до дерзости. Печорин двадцатого века. Правда, заблуждение это было не столь долгим. Раздумывая над его остротами, чаще всего антисоветскими, она не могла отделаться от странного ощущения, что кто-то уже говорил это, хотя и знала, что сама услышала впервые. Потом поняла: соль оригинальности Всеволода Никаноровича заключалась в том, что он не имел своих суждений, а те, что высказывались им, были... кафтаном с чужого плеча — где-то услышано, где-то вычитано и запомнено. А стоило затронуть в разговоре явления и стороны жизни, о которых под его форменной фуражкой не отложилось ничего готовенького, — и остряк-нигилист сразу же немел, как рыба, и вместо демонической усмешки на лице его проступали судорожные потуги ничем не прикрытой пустоты. И выражение «зимняя эпопея» тоже наверняка подхвачено им где-то на лету, а сам он прибавил к этим словам усмешку. Вот усмешка эта — его. Порой думается, что он так и родился с ней и с усиками. А глаза... Как часто поблескивали они у него, словно носки только что вымытых и еще не совсем просохших галош. Очень странно, что дядя до сих пор не заглянул дальше этого самодовольного блеска. «Мой дом — ваш дом». Ну, что ж, лишь бы под этой соединяющей черточкой не подразумевалась она, Ксения.

— Что вы так пристально разглядываете, Ксения Владимировна?

— Ноги.

Она в самом деле, чтобы не видеть его лица, смотрела на ноги людей: большие и маленькие, в лаптях, в сапогах, в модных «джимми», в лакированных туфельках, в яловочных ботинках с ушками и босые, они обгоняли и шли навстречу, поднимая с плит вокзального пола вихорьки пыли...

ГЛАВА ВТОРАЯ

По стенам и потолку вагона скользнули полосы неяркого, словно сквозь дым пропущенного света. Люди лежали и на багажных полках. Кто-то храпел с захлебом и присвистами, а над головой глуховатый голос с покашливанием говорил:

— Место издавна громкое. Из-за великомученицы Анны Кашинской. Княжна такая была, это еще в татарское нашествие. Старообрядцы, те ее не признавали, а православная церковь чтит. Сейчас, правду сказать, не знаю, как, — может, и нет. В восемнадцатом вскрыли гробницу-то... И от Советской власти представители, и попов было много — из белого и черного духовенства, всякие. Вскрыли — и что ж? Тряпье трухлявое, кости, камни, пыль от пакли — вот и вся святость. А теперь курорт на тех водах.

«А!» — припомнил Илья, зачем едет в этом вагоне, и, вздохнув, опять закрыл глаза. Вздох был не случайный и не оттого, что горели и ныли ноги. Вчера орехово-зуевская «Колотушка» вышла с обращением окружкома ВЛКСМ ко всем молодым рабочим и работницам округа принять вызов комсомольской ударной бригады мюльщиков Андрея Каткова. Ребята и девчата повсюду боевые, и что под силу катковцам, то, разумеется, сделают и другие, если обеспечить им поддержку партийных, профсоюзных и хозяйственных организаций. Но в этом-то «если» и не было уверенности.

Куницын вызов катковцев назвал «мальчишеским заскоком Ильи Орлова и компании», отец — «за», а Стребулаев... Черт знает, где Мельчинский выкопал этого «кума Томского», как уже успели окрестить орехово-зуевцы председателя окрпрофбюро за то, что тот, явно подражая председателю ВЦСПС, отрастил под носом усы скобочкой, а глаза упрятал за круглые очки, хотя нужды в них у него и не было.

«Носы, что ли, у нас одинаковые?» — отшутился Куницын, когда рабочие спросили у него на улице — правда ли, что Стребулаев ему родственник? А на бюро поинтересовался: «Не ты, Илья, эту басню по городу пустил?» — «Почему именно я?» — «Да так, мне кажется, ты готов всех, к кому зуб есть, в мои родственники записать». Так и просилось с языка: «Родственник не родственник, а с тех пор, как появился он у нас, зря ты, Алексей Филиппович, в баню ходишь: нечего отмывать— все вылизано». Если бы только вылизывал! Сколько путаницы шло от Стребулаева в дни внедрения «встречного» — циркуляр за циркуляром, и один анекдотичнее другого. Весь город облетели тогда слова, которые он сказал предзавкому с прядильной № 2: «Ты кто? Пока

еще только председатель фабзавкома, как же ты мог себя умнее председателя окрпрофбюро поставить?» Похожее было и теперь. «Обожди, Орлов, не наседай, здесь тебе не комсомолия, — затараторил он привычно. — Пять в четыре, говоришь? Ситуация, на мой взгляд, ясна, но... Я говорю, если взглянуть на это с точки зрения государственных масштабов, оно. конечно, а между прочим... какое мнение товарища Куницына?»

«Я хочу знать твое мнение».

«А ты не наседай и так далее. Мое мнение? Совпадает с мнением Алексея Филипповича. А ты как бы хотел? Партия и профсоюзы у нас едины — и все! Больше я по этому вопросу дискуссий с тобой не развожу. Скажешь, Стребулаев бюрократ? Попробуй! Я тебе масштабно отвечу: дискредитация руководства, товарищ! «Семь раз отмерь — один отрежь» — это не бюрократство, а народная мудрость. Взвесим, всесторонне проанализируем и скажем свое мнение. «Шаг вперед, два шага назад». Знаешь, откуда это? А еще заочник Свердловки! Ленина читать надо! Поспешишь — сделаешь шаг, а потом придется целых два назад отмеривать — вот как он, марксизм, раскрывается. Диалектика! И прошу не смотреть на меня так, хотя мы вроде и одногодки, ибо комсомол — это еще не фетиш! Молодежная организация при партии, ее резерв — и только, а профсоюзы — школа коммунизма. Не всякого, Орлов, поставят руководить ими».

Дурак или пройдоха? Да кто бы он ни был, а палок в колеса много насажать может. Нет, нельзя было уезжать. Но что поделаешь, если это предписание ЦК?

И ход часов и удары сердца сливались с торопливым перестуком колес. Вот так же постукивали они и вчера утром под вагонами поезда, мчавшегося к Москве.

За толпами березок мелькали крыши дач, уютно захоронившихся в густой зелени. Нет, это уже потом... Вспаханное поле... Из темневшего вдали леса на него змейкой выбегала родниковая речка. Вода в ней местами была досиня черная, а на солнце отливала зеленоватым стеклом. Кусты ивняка, теснившие ее и справа и слева, пестрели проседью — цвела черемуха. Парни и девушки, ехавшие в том вагоне, под гармошку Егора Никонова пели «Моряка». Гудел паровоз, и сквозь все эти

звуки то тише, то громче прорывался сердитый бас Опанасенко.

— Не обижайся на прямоту, по-родственному скажу, Илья: считал я тебя всегда гораздо умнее.

Не отрывая взгляда от убегавшей в сторону речки, он сказал:

— Какой уж есть.

— А! Тогда сожалею, что вмешался, — взорвался «дед» Леонтий. — Любо до коммунизма на костылях добираться — пожалуйста! Что? Через месяц? А если тогда новые подсчеты покажут, что и четырех лет для пятилетки многовато, в три года можно? И ты опять, конечно, скажешь «нет!» Победы, дескать, сами не приходят. Правильно! Да только как и что сможешь ты организовать, если сам к тому времени уже на карачках будешь ползать? Кого и куда ты поведешь, если сам даже и с помощью костылей не сможешь добраться до кабинета с двумя нулями. Подкладное судно — вот вышка, с которой будешь ты воодушевлять молодежь округа. Устраивает это тебя, а?

В соседних вагонах тоже ехали парни и девчата, которым он своей рукой подписывал мобилизационные листки, — орехово-зуевцы, дрезненцы, петушинцы, павлово-посадцы, ликинцы.

«Нынче здесь — завтра там», — напевала гармонь.

«Чудак этот Егорка Никонов! Всю дорогу подчеркнуто держался на «вы», как будто они не с пионерских лет знают друг друга. Но на платформе Курского вокзала эта нелепая торжественность с парня соскочила, заморгал своими рыжими ресницами и облапил так, что чуть шею не свернул. Понятно это: у строительств Турксиба или Днепрогэса есть свои сроки, а потребностям страны в угле нет и не будет никаких «до», и ребята, едущие в донецкие шахты, знают — не на время! Егор так и сказал:

— Может, и не суждено уж нам, Илюша, под одним небом когда-нибудь быть!

Ответил ему: «Ерунду порешь!», а в душе-то ведь было: «Твоя правда, дружище, может быть, и не суждено». Но Ольга-то Павлова чего слезу пустила? Не в шахты едет, на Турксиб! Хотя... Разве Турксиб — точка? Сколько их, не менее важных дорог на очереди! Вспыхнут огни над Днепром, но Волховская ГЭС, Днепров-

ская, Шатура—лишь первые ласточки, ибо «коммунизм— это Советская власть плюс электрификация всей страны».

Сколько днепрогэсов должно засиять на советской земле, чтобы стала былью эта ленинская формула? Сотни, тысячи? И неужели каждая новая стройка должна начинаться с обучения неопытных юнцов? Нет, не только угольщики могут не вернуться...

«Значит, и Ленка?» — Мысль была столь неожиданной, что Илья и дыхание задержал. В памяти с живостью возникло лицо сестры, и он покачал головой, не в силах представить себе командиром на стройке где-то между Сибирью и Алма-Атой эту девчонку с озорными голубыми глазами и заносчиво вздернутым носом, по которому его всегда так и подмывало щелкнуть.

Но факт есть факт. Уже и на страницах «Комсомольской правды» замелькало ее имя: «Молодежная бригада Елены Орловой вызывает на социалистическое соревнование все молодежные бригады своего участка».

Вспомнив, как один из номеров газеты, в котором рассказывалось о ее бригаде, она прислала в окружком с припиской на полях: «К вопросу о том, как некоторые позорят комсомол. Эх ты, член ЦК», — он улыбнулся: «Шельма курносая!» Ольга ей чем-то сродни. Зимой на расчистке дорог обморозила и руки и уши, а уйти наотрез отказалась: «Уйдут все обмороженные, в том числе и ты, уважаемый товарищ секретарь окружкома, тогда и я уйду!»

Павловы, Никоновы... Как нужны они сейчас на фабриках! «5 в 4!» Нет, Алексей Филиппович, это не «мальчишеский заскок», а раскрытие новых, неучтенных на первых порах резервов «встречного» — вот что такое вызов бригады Андрея Каткова! Хлопок? Здесь ты прав: на новый пересмотр сырьевых норм в сторону их увеличения рассчитывать нельзя, но катковцы и не рассчитывают на это. Нет!

Опять загудел паровоз, и в вагоне «ожило» множество голосов. Все так же, покашливая, продолжал говорить и ткацкий подмастерье Ермилыч — родом тверяк, а теперь «шуец», но уже не о мощах Анны Кашинской.

— Когда судили шахтинцев, еще тогда подтянули они войска этой самой Малой Антанты к нашим границам. Ну, думалось, все, а они и по сей день стоят там, а

насупротив — наши. Запугивают, нервы наши проверяют... Чего сказала?

— Не до пляски Игнатке, когда гвоздь в пятке, — засмеялась соседка учительница. — Другого жду, Ермилыч, — не войны, а революции. Кажется, я говорила уже вчера — по профессии я историк, но не могу отыскать в своей памяти никаких аналогий той противоестественности, какую наблюдаем мы, ну хотя бы в Америке. Горький дым этих чудовищных костров и за душу хватающий крик миллионов... О чем? Ну о чем и как может кричать человек, когда ему и семье его предоставлен лишь один выход: мучительная голодная смерть под открытым небом?

Качнуло, и так сильно, что Илья схватился за край узкой полки. Колеса с торопливого постукивания перешли на замедленное. Он поправил съехавшую с ног куртку и приподнялся на локте.

— До Кашина еще целый час, — сказала учительница. Уже одетая, она полулежала на своей полке. Лицо ее вчера казалось более молодым.

— А что это?

— Полустанок какой-нибудь или разъезд. Вы понимаете мою мысль? — спросила она смотревшего на нее поверх очков Ермилыча. — Не может этот голодный поход миллионов стать лишь эпизодом. Вашингтон оцеплен войсками, по всей вероятности, прозвучат выстрелы, и тогда...

Полосы света дрогнули, скрипнули колеса, и почти в тот же миг кто-то крикнул в распахнувшейся двери:

— Проталкивай снизу!

Поднялся шум:

— Не прите со своим мешком!

— Русского языка не понимаешь? Вагон этот специальный, для курортников!

— Плацкартные места, товарищи!

На площадке плакал ребенок.

— Проталкивай! — Рельсовый порожек, пятясь, перешагнул мужик лет тридцати — в лаптях и потрепанном картузе.

— Да ведь, слышишь, курортники тут, — отозвалась с площадки женщина.

— А мы от сохи! — Протащив в коридор громоздкий, перетянутый веревкой узел, мужик удовлетворенно

выдыхнул: — Ну, вот! Где тут, товарищи, местечко есть приткнуться: баба у меня с ребенком. — Взгляд его с лица Ильи перебежал на костыли, торчавшие из-под скамейки.

— Больной, что ли? Вот сюда, к стенке, давай, Марфа, — сказал он женщине с ребенком. — Тут безногие, не тревожь.

— А вы, товарищ Орлов, согласны со мной? — спросила учительница.

— В чем?

— Да в том, конечно, что там все это может обернуться повторением нашего пятого года. Но обстановка-то совсем иная: есть мы, есть Советы в Китае. И американский «пятый год» может пойти дальше нашего, то есть сразу же перерасти в американский Октябрь.

— У нашего пятого года, гражданочка, был Ленин,— с усмешкой возразил Ермилыч, — а там?

Илья согласно кивнул. Компартия в США была еще слишком незрела, чтобы повести за собой весь американский народ. Да и вообще не все в мире так просто, как представляется этой учительнице истории, больше, кажется, чувствующей, чем думающей. Кризис, бесспорно, революционизирует мир, но он же дает «зеленую улицу» и фашизму. Не только заправилы империалистических клик, но и «социалисты» всех мастей и оттенков готовы молиться на чернорубашечников Муссолини, коричневые отряды Адольфа Гитлера и одетые в саваны банды ку-клукс-клана, и не тайно — открыто.

Вся разница между ними теперь: одни носят фашистскую форму, другие нет. До сих пор, наверное, дожди еще не смыли кровь с улиц и площадей Берлина, где по приказу полицай-президента, именующего себя социал-демократом, Первого мая были сметены пулеметным огнем колонны демонстрантов. В Германии! Там естественно было ожидать революционного взрыва. Ждали, и до сих пор страстно ожидается он, но увы! Нет даже и таких схваток с озверевшей реакцией, как в городах Италии. Нагло и с вызовом по земле, давшей человечеству Маркса и Энгельса, маршируют отряды Адольфа Гитлера.

А какое ликование было два года назад, когда радио и газеты разнесли весть о взятии китайской народно-революционной армией Шанхая. «Наши в Шанхае!»

В этом слове «наши» было не только чувство солидарности: вели разведку для НРА советские летчики; военными советниками у командования НРА были опытные советские полководцы во главе с Блюхером, о котором в НРА говорили: «Где генерал Галин — там победа».

Шанхай! Эхо этого события грохотало по всему миру, и кто тогда не думал, что песенка китайских милитаристов и их хозяев спета. Увы! Не долго плескались на этой вершине Востока красные флаги. Снова по-хозяйски топчет улицы древнего китайского города американская, английская и французская военщина. Некоторые товарищи считают, что суть происшедшей в Китае трагедии только в предательстве Чан Кай-ши, после смерти Сун Ят-сена прибравшего к своим рукам Гоминдан. Это верно, успех освободительной борьбы в Китае опирался на союз Гоминдана и коммунистической партии, но если бы не было Чан Кай-ши, разве империалисты не смогли бы найти какого-нибудь Чжо Цзе-лина, который с той же готовностью начал бы свое «восхождение» с арестов и расстрелов коммунистов? Нет, дело тут не в личностях, хотя и они играют, конечно, немалую роль. Придет час, и с Чан Кай-ши спросится за все — и за горы трупов и потоки крови, и за сожженные селения, и за страшные частоколы из кольев с нанизанными на них головами рабочих, крестьян и студентов. Спросится!

Глаза учительницы смотрели все еще ожидающе.

«Не так это просто, товарищ», — хотел сказать ей Илья, но внимание его отвлеклось захлебывающимся плачем ребенка.

— Тише! Ну, чего ты, — шептала женщина, — бай, бай...

— Дай ему грудь, — сказал мужик, пристраивающий в коридоре свой узел. — Какой тут стыд, раз такое дело.

Илья потянул на себя куртку и спустил ноги.

— Садитесь.

— А ты как же... с больными ногами-то?

— Садитесь, — повторил он.

— Ну, дай бог тебе здоровья. Премного благодарны.

— Ой, зачем вы? — встрепенулась учительница, — могу и я потесниться.

— Ничего.

Куртка мешала женщине посвободнее сесть на скамье. Илья накинул ее на плечи, достал косты-

ли и, опершись на них, сказал возившемуся с узлом мужику:

— Не поможешь ли, товарищ, выдвинуть мой чемодан на площадку?

— А чего ж, — готовно согласился тот. — Сейчас?

— Можно и сейчас.

— Да что вы, Кашин еще не скоро, — заволновалась опять учительница. Илья улыбнулся.

— С моими ходулями скоро и не размяться, ничего, пусть располагаются товарищи.

Муж женщины с ребенком выволок из-под лавки его чемодан, поднимая, сказал:

— Ого! Чего это у тебя такое веское?

— Книги.

— А! — На площадке, опустив чемодан, он поинтересовался: — Студент, что ли?

— Студент.

— Ну ладноть. Когда сходить, я выгляну подмогнуть.

— Спасибо, товарищ.

Небо отливало уже голубизной. По склонам холмов бежали кусты, где вразнобой, где толпами. Вот проплыл высокий, с надломленной верхушкой дуб: он стоял неподвижно, словно прислушиваясь к рожку пастуха, гнавшего по кочковатому лугу овечье стадо. Не здесь ли прямо по шпалам полвека назад в лаптях и шинели с солдатского плеча шагал Петр Орлов в неведомое ему местечко Никольское — купеческую вотчину всесильного мануфактур-советника Тимофея Морозова? Где-то там, куда мчал поезд, и сейчас жила семья Василисы Волгиной, носившей в девичестве фамилию Орловых. Хорошо бы заглянуть туда и побродить по всем дедовским местам.

Вокзал подплыл такой немудрящий, что Илья принял его вначале за железнодорожную будку, тем более, что никаких признаков города не было заметно.

— А его отсюдова и в подзорную трубу не разглядишь, — сказал старик, подметавший веником дощатую платформу. — Далековато стоит.

Сдав курортному агенту чемодан, Илья хотел идти вместе со всеми, но врач, пожилая женщина, строго сказала:

— На линейку, молодой человек.

Линейки ожидали за станционным сараем. Одна из

них уже тронулась, а на второй сидели сгорбившаяся старушка с клюкой и остроносая девица в каком-то чересчур цветастом платке, намеренно сдвинутом к затылку, чтобы видны были рыжеватые кудряшки.

— Не хотел сажать, — шевеля мысками лакированных туфелек, пожаловалась она на возницу. — А как, скажите пожалуйста, смогу я идти в такую даль, да еще по этим буграм и кочкам?

— За кем же это прикатил Ермил? — проговорил возница, поглядывая на запыленную пролетку и озадаченно почесывая давно не бритый подбородок. — Начальство, видать, какое-то пожаловало... Сюда, вдоль костыли ложи, — сказал он Илье, — дай-кось...

Илья отдал ему оба костыля и, опираясь ладонями, сел.

— Без происшествия, — засмеялась девица, — а я думала, что сейчас от нашего тарантаса останется «прости прощай», — вон ведь вы какой! Девушкам, наверное, с вами опасно, а? — Глаза ее, бесстыдно откровенные, улыбались и словно ощупывали.

— Ну, стало быть, — сказал возница и концами вожжей стегнул лошадь.

Дорога была вся в колеях; ссохшиеся комья земли стучали под прыгающими колесами, как камни, а кое-где ее разрывали застоявшиеся лужи, и тогда в обе стороны летели брызги.

Старушка охала, поминала бога, Илья взглядывал на нее сочувствующе: при высадке из вагона растревожил поясницу, и каждый толчок отдавался в ней острой болью, к тому же то и дело приходилось поднимать ноги, чтобы не зацепиться ими за бугорки. На телеге было бы удобнее... И кто только выдумал эти линейки! Может быть, слезть и добраться пешком?

Мольбы старушки рассердили возницу.

— Куда же тише? И так ползем, как улита. Дорога! А ее тоже чего винить? Дожди! А земля, видишь — глина. Шагай, шагай! — лениво понукнул он лошадь. — Сейчас еще благодать — ни комарья, ни оводов, а вот летом... Правее держи, чертяка! А городок ничего, зеленый, не понапрасну художники наезжают. И дачи есть... — Он оглянулся и резко подал лошадь к обочине, уступая дорогу пролетке. Сквозь облако пыли перед глазами Ильи мелькнули две женские фигуры.

— Нефедовы! — удивился возница. — До революции-то, слышь, у них и еще где-то именьице было. Теперь, поди, нет, и они каждое лето у нас. Сам-то — профессор. Рановато, говорю, что-то они ныне. А вот он и город!

Дорога, бежавшая по низине, терялась вдали среди холмов, в зелени которых поблескивали железные крыши, но их Илья заметил потом: в глаза бросились пузатые купола, увенчанные сверкавшими на солнце крестами, и было их столько, что, казалось, впереди не город, а скопище храмов, замаскированных от любопытствующих взоров кустарниками и деревьями.

— Девичий монастырь! — возница вытянул руку с зажатым в кулаке кнутовищем. — Эвон, где галки кружат... На горе на самой. С его колокольни, сказывают, чуть не до Москвы можно все оглядеть.

— И все действующие?

— Церкви-то? Которые прикрыты, а которые действующие. Вон, слышишь, чай?

От города плыл перезвон колоколов.

— Обедня закончилась.

Илья усмехнулся, вспомнив разговор в вагоне о мощах:

«Город святой Анны!»

Курорт тоже не привел его в восторг. В палатах койки стояли чуть ли не впритык, водолечебница оказалась «у черта на куличках», сад вроде и красивый, но когда он вышел через заднюю калитку, на заборе увидел полустертые слова четверостишия.

Кресты, колокольный звон и похабные антисоветские частушки — трогательное единение! А тут еще дождь...

— Давно не был! — иронически проговорил сосед по палате, грузин Вассошвили, представившийся как «без пяти минут товарищ агроном, диплома еще нет, фуражка — пожалуйста!» — Какой безобразие! — возмутился он, снимая с себя белый костюм. — За две недели не помню и двух солнечных дней. Хорошо, скажешь? И день льет и ночь льет. Скучный место, кацо. Правда, по вечерам бывают танцульки, но с кем танцевать, скажи, пожалуйста?

— Известно, серая публика, рабочие, — усмехнулся мужчина лет сорока, тасовавший за столом колоду карт.

Вассошвили нахмурился.

— Скандал хочешь? Давай не надо. Родитель мой тоже трудящийся Востока. Землю таскал, дорога строил, кукурузный лепешка ел.

На террасе постукивали костяшками домино «забойщики», бренчала балалайка, и чей-то голос без особого увлечения тянул на мотив «Кирпичиков»:

На окраине града Кашина,
В санатории кашинских вод,
Где вода молвой приукрашена,
Отдыхает рабочий народ.

Илья прошел в раскрытую дверь. Пел парень из соседней палаты, окна которой выходили тоже на эту террасу.

— Собственного сочинения?

Грязь лечебная там такая есть. —

Парень задержал пальцы на струнах.

— Городская, ее все тут поют.

Исцеляет людей, как вода.
Вот мальчишкою лет под двадцать шесть
Я поехал лечиться туда.

У «забойщиков» свое:

— Шесть и мыло? Мыло и пять!

— По мылу!

«Д-да!» — Илья оглядел небо. Опанасенко допытывался, почему он взял путевку не на юг, а в этот Кашин? Нет, конечно, не только из-за его близости к Орехово-Зуеву. В августе — экзамены. Если уж выпала необходимость стать курортником, надо, чтобы время это курортное не пролетело впустую. Думалось, на юг стремятся попасть все, и, наверное, там тихого уголка для занятий днем с огнем не найдешь, а Кашин — городишко маленький, неслышный, прием ванн много времени не займет, и вполне можно будет не только все, что требовалось по университетской программе, сделать, но и для «Комсомольской правды» написать обещанную статью о формах шефства городских комсомольских организаций над сельской молодежью. А здесь вон как!

К вечеру облачность затянула все небо, и тучи плыли так низко, что при вспышках молний казалось, вот-вот зацепятся они за монастырские и церковные кресты.

В столовой ужинали при электрическом свете. За одним столиком с Ильей сидела знакомая по вагону учительница.

— Видела вас в читальном зале с наушниками, — сказала она, пододвигая к себе тарелку с разваристым «геркулесом». — Что нового в мире, Илья Степанович? Ну, не томите.

Глаза ее и в самом деле смотрели с такой жадной мольбой, что Илья засмеялся:

— Все пятый год в Америке ожидаете? Нет, еще не состоялся.

— Будет! — заверила она, дуя на горячую кашу. — Но о чем же все-таки передавали по радио? Говорят, французские власти на военных пароходах отправляют русских белогвардейцев в Китай. Это правда?

— Говорят... Сам не слышал. Известия кончались, когда я надел наушники.

— Но зачем? Против нас собираются их бросить или против китайских Советов?

— Кушайте. Вон уже кофе несут.

— Скрытный вы человек, Илья Степанович, — обиделась учительница, — молодой, а такой скрытный.

Третьим соседом их по столу был пожилой электрик Фома Фомич.

— На всю катушку, — сказал он о дожде.

Поужинавшие курортники толпились на веранде, в «читалке» и курзале.

К показавшемуся в дверях Орлову подошел Вассошвили в черкеске и щеголеватых сапогах.

— Слыхал новость, кацо? Опять генерал Семенов, скажи пожалуйста, добровольческую армию формирует в Китае!

Выглянувший из-за плеча Ильи Фома Фомич сложил губы так, словно сплюнуть хотел:

— Банду — еще туда-сюда, а то армию... Хватил, грузин, высоко!

— Уши пока волосом не заросли, — сверкнул на него глазами Вассошвили. — В квартире директора, кацо, радио слушал. Интересный подробность...

Но что за подробность, «без пяти минут агроном» не сообщил: в курзале заиграл баян, и он заспешил туда, подкручивая на ходу усы.

— Похоже, кончится скоро, — сказал Фома Фомич.

Голубые трещины в толще туч и впрямь расползались. Над посветлевшей зеленью горы обнажилась полоса заката, бросив багряный отблеск на монастырские кресты. Илья шагнул к дверям курзала и обернулся, услышав очень уж звонкий и жизнерадостный смех. У ступенек отряхивались от дождя и свертывали мокрые зонты седовласая женщина и чернобровая румяная девушка с косами, достававшими ей до пояса. Легенькая жакетка, шелковое платье, в руке — пушистые ветки сирени.

Передавая свой зонт седовласой женщине, она тоже обернулась. Веселые искорки дрогнули и рассеялись, словно затонув в глубине ее больших черных глаз.

«А!» — припомнил Илья.

Из курзала выбежал Вассошвили, расшаркнулся.

— Разрешите, барышень?

Ксения машинально подала ему руку и тотчас же извинилась.

— Минуточку. — Она пробралась к Илье: — Товарищ Орлов!..

— Откуда вам известно, что я товарищ Орлов? — холодно спросил он.

Ксения засмеялась:

— Современникам грешно своих цицеронов не знать, особенно таких, которые становятся под копыта коней и ломают пролетки. Нет, я не злопамятна, хотя тогда и очень ушиблась, а еще сильнее испугалась. После, разумеется, поняла, что виновата во всем только я. Дядя предупреждал, что может выйти неприятность, но я не послушалась и умоляла извозчика гнать во весь дух. Так вот и получилось.. — Она прикусила губу, с досадой чувствуя, что лицо ее густо заливает краска, как вчера на вокзале. — Вы, наверное, тогда очень дурно подумали обо мне, товарищ Орлов?

— Разрешите! — напомнил о себе Вассошвили, увлекая ее в зал.

— Подержите, пожалуйста, если вас не затруднит.

Бывают поступки, которые и сам человек, совершивший их, не сможет понять и объяснить. Так и Илья не смог бы сказать, почему взял протянутую ею сирень.

— Я очень хочу, чтобы вы не думали обо мне так, — сквозь звуки баяна долетел от двери ее голос, а рядом кто-то шепотом сказал:

— С соседней дачи, Нефедовы.

Илья посмотрел на мокрые ветки с красноватыми и белыми соцветиями и положил их на барьер веранды. Тучи уплывали, показывая в расползающиеся прорехи голубое, забеленное волокнами облаков небо. А ветер не унимался, с шумом пригибая к земле цветущие яблони и обрывая с них лепестки.

«Спите спокойным сном», — томно выпевал в курзале баян.

«На сопках Маньчжурии»... Дальний Восток.. Китай! Пожалуй, самая многолюдная и самая многострадальная в мире страна. Далекая и чужая? Да, но не вся. На юге ее плещутся красные флаги.

Обер-бандит Семенов... «Добровольческая армия». В самом деле, зачем? Для третьего похода? Но Чан Кай-ши, еще, наверное, не пришел в себя от второго! И дал ли бы Пуанкаре на это всю русскую белогвардейщину, столько лет подкармливаемую им у себя совсем для других целей?

Где-то отдаленно звенел колокольчик. Илья не мог понять, где, а звук этот почему-то очень раздражал. «Китай... Белогвардейцы...» Он закрыл глаза: так всегда лучше думалось, когда вокруг бывало много посторонних помех, и не видел, как соскользнувшая с барьера веточка сирени задержалась на миг у подножия балясины и ткнулась в рябую от лопающихся пузырей лужу. Вторую ветер сбросил на успевшую опустеть веранду и, перевертывая, подкатил к ногам парня в желтой майке. Тот поднял ее, отряхнул пыль и торжественно преподнес бежавшей из столовой кареглазой официантке.

— Какая прелесть! — зарделась та. — Где ты достал, Вася?

Он скромно улыбнулся:

— Бог послал.

Сходя по ступеням веранды, они склонились над этой веточкой, отыскивая в ее пушистых кистях свое «счастье», а из курзала выбежала радостно взволнованная Ксения.

— Вот и я!

— Цветы ваши... Они здесь лежали, — смутился Илья, не увидев на барьере веточек сирени.

— Ничего, товарищ Орлов, у нас на даче ее много,— улыбнулась Ксения. Во время танца она решила, что

самое трудное — первые слова — уже позади, и теперь не будет скованности.

— Поверьте, это не для того, чтобы показать: вот мы какие! — вернулась было она к прерванному танцем разговору, но в курзале опять заиграл баян, и опять подскочил к ним Вассошвили.

— Вторгаюсь, кацо, и разлучаю. Вашу ручку, Ксения Владимировна!

— Да оставьте меня в покое! — рассердилась она.

Пробормотав что-то, грузин отошел к дверям, возле которых со свернутыми зонтами стояла Виктория Дмитриевна.

— Я о себе и не думала, товарищ Орлов, да и о том, что вокруг меня Москва, люди, тоже забыла. Мне нравилось мелькание домов, крики, свист ветра... Ой, вы уже уходите?

— Да, дождь перестал. — Илья передвинул костыль, чтобы обойти ее.

— Можно, я вас провожу, товарищ Орлов?

— Не стоит, кавалер из меня плохой, а вас ждут.

— Тетя Вика, я скоро приду, — оглянувшись, рассеянно проговорила Ксения. — Дело в том, что мне... крайне нужно с вами поговорить.

Илья пожал плечами: «Не знаю, о чем у нас с вами могут быть разговоры», — и шагнул к ступенькам, но Ксения поняла это так: «Пожалуйста! Что с вами поделаешь?»

Стянув распахнувшуюся жакетку, она засмеялась.

— Не могу объяснить, почему, но мне нравится, когда ветер вот так кидается тебе прямо в лицо, тормошит тебя, трясет, словно хочет оторвать от земли и унести на своих невидимых крыльях. Хорошо! А вас, товарищ Орлов, я и до той нелепой истории знала. Не верите? Ну, честное же слово! В «Комсомольской правде» я ни одной статьи вашей не пропускаю.

Он задержал ногу на последней ступеньке:

— Вы... комсомолка?

— Нет.

Со вздрагивающих веток падали тяжелые капли. Поеживаясь от их холода, девушка сказала, что зовут ее Ксенией и что она слушательница консерватории.

Илья шел, словно на качелях, выбрасывая вперед всего себя, и хотя ничего не видел, кроме мокрой дорож-

ки, не мог отделаться от неприятного ощущения, что вслед ему устремилось множество глаз. Нет, он был не из числа тех комсомольских работников, которые — кто на словах, кто с искренней убежденностью — считали, что все не имевшее прямого отношения к пятилетнему плану — крамола и должно безоговорочно искореняться как несовместимое с членством в комсомоле. Молодежь есть молодежь! Не легко и не всем открывает человек свою душу. Иногда... ох, и сложное же бывает это «личное», особенно у девчат. Бывали и споры, а бывали и слезы. Разные! У ткачихи Солнцевой они были злые. Увлеклась девка хулиганом — купеческим сынком и еще возмущалась, что комсомольцы потребовали у нее отчета. Нет, слезы ее не трогали. Даже и не сказал, а крикнул: «Комсомол или этот тип — середины нет... Выбирай!»

Вот с ватерщицей Строгановой дело было сложней: не чужак, свой рабочий парень оказался сукиным сыном — сделал брюхатой и бросил. Илье об этом подруги ее сказали, опасались, как бы не натворила чего над собой. Встретил девушку вечером у дверей казармы, а попрощался почти на рассвете — трудный был разговор. Зоя сидела словно каменная, с пустыми глазами. Слезы побежали из них уже потом. Уткнулась лицом ему в грудь и рыдала, а он...

Нет, конечно, ему тогда было безразлично, что на них смотрят. Да мало ли приходилось сидеть и прогуливаться с девушками и в Орехове, и в Москве, и в других местах, а такого ощущения, что совершается что-то предосудительное, никогда не испытывалось. Но там ведь были свои... Ну, в том, что утром трясся на линейке бок о бок с той девицей, не его вина, а сейчас... что вынуждает? Правда, та девица своим навязчивым бесстыдством вызвала к себе такую брезгливость и злость, что он с трудом подавлял в себе желание спрыгнуть и добраться до курорта пешком, а Нефедова... как будто и нет ничего общего: живые, умно поблескивающие глаза, красивая, и очень! Но красота эта — чужая.

И он уже знал, не было никакого колокольчика, когда стоял на веранде и думал о Китае и собирающихся там белогвардейцах, — просто в мысли прорывались отзвуки той ночи, а сейчас не только колокольчики на дуге рысака — все вспомнилось так живо, что руки напружи-

нились до боли в мускулах, как тогда... Слушательница консерватории? Но это еще ни о чем не говорит! Потому так остро и поставлен партией вопрос об овладении крепостями науки и искусства, что в них окопались чужаки.

— А вы отчаянный человек! Я про тот вечер на Старой площади. Вы ведь очень рисковали.

— Не очень. — Илья придержал костыль и с усмешкой согнул руку в локте, — это у нас родовое. Неподалеку от здешнего курорта есть земля, которую мои дед и прадед пахали на себе.

— Как то есть на себе?

— Нехитро. Запрягались вместо лошадей и шагали. А ваш дядя... не работал до революции на морозовских фабриках?

— Работал, а что?

— Так... — сухо сказал Илья. — О чем же со мной вы хотите говорить?

— О комсомоле, товарищ Орлов. Но, может быть, мы сядем? Смотрите, совсем сухая.

Скамейка, на которую она указала, пряталась под густыми липами. Помедлив, Илья подошел к ней и сел. Ветер начал стихать, листва уже не трепыхалась, а чуть шелестела, словно шепча что-то. Луна белесым диском отпечаталась в синеве неба, на дорожке мерцали мокрые камушки.

— Я не знаю, как это объяснить, — глядя куда-то сквозь темную гущу кустов и деревьев, тихо сказала Ксения. — Мне нравится в вас, комсомольцах, то, что вы... идете своей дорогой и не сворачиваете ни перед кем и ни перед чем, но... недавно читала я Маяковского. Вы любите его?

— А вы?

Девушка покачала головой.

— Нет, грубый он какой-то. Иные места читаешь и покраснеешь. А чтобы вслух... Не кажется ли вам, товарищ Орлов, что его стихи похожи на голого силача? Разделся и вышел в таком виде на улицу. Есть пословица: «Не нравится — не смотри». А Маяковский даже и этого не хочет сказать. Его стихи говорят: «Не нравится вам моя нагота, а мне черт с вами, пусть не нравится. Возмущаться можете и сколько угодно, а смотреть будете!» Понимаете меня? Вот Пушкин... Читаешь и переносишься в какой-то другой мир, размечтаешься...

А Маяковский... Он как-то давит и никуда не уносит, а наоборот... понимаете? Думаешь уйти, а он не дает, как бы опускает тебе на плечо чугунную руку и говорит: «Ни шагу с этой улицы, по которой я иду, — это и есть тот мир, к которому ты должна приковаться, все остальное бред».

— А вам это, конечно, не нравится?

— Да, пробуешь мысленно возражать и чувствуешь — до боли так, осязательно — он равнодушно отталкивает тебя, может быть, пинком, и проходит дальше с усмешкой, и уже не пытаешься остановить его, смотришь на него издали, видишь в гуще толпы, и голос его доносится оттуда до тебя, как громыхание машины: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо, а поэзию к выделке стали...» Есть отдельные места у него, которые мне очень нравятся, а весь... Кощунства много у него в стихах против такого, что должно быть свято для каждого. Правда?

— Для каждого? — Коленка ныла, и Илья потер ее ладонью. — Мне и моим товарищам свято, например, наше строительство, рывок наш в будущее, а вот шахтинцам... Разные человеки бывают, барышня, и святыни разные. — Увидел, как поморщилась она, однако не пожалел о своей резкости и взял костыли. — Время уже позднее, и, простите, у меня нет сейчас настроения вести поэтический разговор.

Но уйти почему-то было неловко.

— Я хотела с вами о другом, о комсомоле, — сказала она растерянно. — Это не праздное любопытство. Это... Вы верите мне?

— Почему я должен верить вам?

— Это правда, почему? Вы не знаете меня, но я прошу вас, сядьте, я долго не задержу.

Он неохотно приставил один из костылей к скамейке, другой оставил в руке.

— И не обижайтесь, товарищ Орлов, — сказала она ласково, — по-моему, в комсомоле есть что-то общее со стихами Маяковского, он и притягивает к себе таких, как я, и отталкивает. — Ксения потянула свои пальцы, поблескивавшие на ногтях розовым лаком, заметно было, что она нервничала. — Я знаю нескольких девушек, которые вступили в комсомол и... перестали быть девушками: остриглись, вырядились в кожаные куртки,

одна из них в брюках, во рту папироска, и говорить научилась, как извозчик, через каждое слово такие словечки выпускает — ушам жарко. Зачем это? И потом эта теорийка, — она покраснела и тихо, но возмущенно договорив: — «стакана чая», — замолчала.

Молчал и он, постукивая резиновым наконечником костыля по мокрой гальке. В словах племянницы Нефедова была маленькая доля правды. Да, кое-где под видом пролетарской морали грязнили комсомольскую честь гаденькими идейками, вроде «стакана чая», «свободной любви», «свободы от буржуазных предрассудков», но как смеет эта музыкантша в шелковом платье и с лаком на ногтях болячки отдельных комсомольцев или даже отдельных комсомольских организаций перекладывать на весь комсомол? Было ли когда-либо на земле юношество более чистое и здоровое, чем комсомолия? Стриженые девушки? Он их и сам недолюбливал, но все же они были *свои,* комсомолки, и многие из них самоотверженно работают на фабриках и стройках, а эта Ксения?

— Что же вы молчите? — робко спросила она.

— Вы правы — грубы мы, великосветского воспитания не получили. Неоткуда! Отцы наши тоже его не знали. И насчет кожаных курток согласен с вами, Ксения Владимировна, шелк красивее для глаза, и шелест его приятней, но, к сожалению, он дорог, и та девушка, что ходит в кожаной куртке, может, и нарядилась бы в шелк, да совесть ей не позволила, решила на другое деньги отдать — на заем, чтобы скорее росла наша тяжелая индустрия, чтобы больше тракторов на поля хлынуло. Руки у наших девушек не похожи на ваши, в мозолях, затвердевшие — с такими за рояль не сядешь. Но сейчас не до роялей нам — простая русская гармошка, трубы, зовущие в наступление, куда нужнее! Понятно вам это?

— Товарищ Орлов, а в своих статьях...

— О моих статьях говорить не будем — не место, и к тому же мои статьи — это наше, внутрикомсомольское дело.

— А я, значит, чужая для России? Или, как модно говорить теперь, — чуждый элемент, интеллигентка...— В голосе ее прозвучали слезы.

«Пусть!»

С минуту, а может быть, и больше слышались лишь шепоток листьев, отголоски далекой песни.

— Я не знаю, почему вы так, — глухо проговорила Ксения, — но я не верю... Ведь вы не такой, товарищ Орлов.

От курзала донесся встревоженный голос Виктории Дмитриевны:

— Ксюшенька!

Она встала.

— Прощайте!

Мелькнули по ту сторону аллеи ее жакетка и шелковое платье, прошуршали в кустах.

«Ксюшенька», — усмехнулся Илья и вдруг растерянно кашлянул. Это еще в пионерские годы — не помнится, в связи с чем, — дед Петр рассказывал, как вернулся «генерал» Опанасенко из ссылки в Орехово-Зуево с грудной девочкой на руках и как Нефедовы отобрали у него эту девочку через суд. Сам Леонтий Петрович на его расспросы тогда проворчал: «Много будешь знать, скоро состаришься, не мешай-ка мне, парень, читать». А тетя Груша подтвердила: была девочка!

И, рассказывая о смерти ее отца, кажется, именно так и назвала она его — Владимир.

Забыв опереться на костыли, Илья рывком поднялся:

— Ксения Владимировна!

Звуки шагов... не ее: по мокрым, освещенным луной дорожкам шли к корпусам от курзала курортники.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В Орехово-Зуево утро приходит следом за зычным гудком, созывающим рабочих на «заработку». Но начинается оно не одинаково по ту и другую сторону Клязьмы, разделившей этот город пополам. В то время как на крутизне правого берега уже четко вырисовываются высоченные кирпичные трубы и мерцают крыши фабрик и рабочих казарм, в Зуеве из густоты сумрака проглядывают лишь купола церквей, остальное все еще в дымке тумана. Потом, если небо безоблачно, сверкнет и заиграет глянцем роса на траве, кочковато разросшейся у палисадников на тополях, а кое у кого и на кривых яблонях.

Две кривоствольные яблони росли и в небольшом садике, примыкавшем к приземистому домику, который уже много лет в городе и стар и мал называли орловским. Домик этот стоял в глубине переулка лицевой стороной на восток, и обычно рассвет устремлялся сразу во все четыре окна с потрескавшимися и рябыми от облупин краски наличниками. Но сегодня он натолкнулся здесь на глухие ставни, и только когда вдали заиграл пастуший рожок, запоздавшее утро из-под веток яблони заглянуло в боковое окно сквозь щель неплотно сдвинутой занавески. В комнате эта протиснувшаяся белесая полоска света скользнула по косому подоконнику и, задев угол смятой подушки, словно в раздумье замерла на седой жестковатой бороде Петра.

Вчера вечером после смены он зашел к Степану, простывшему где-то и вот уже три дня не поднимавшемуся с постели: хотелось узнать, как здоровье, и заодно поговорить об этих самых «правых» — война-то ведь у самых дальневосточных границ стоит! Но у сына шло совещание. Пока сидел за столиком в прихожей, задремал, а домой вот пришел — и нет сна. Года ли сказывались или от дум это? Порой и рад был ничего не думать, да голова ведь не паровая машина: там-то просто — потянул за рычаг, и остановилось колесо, перестали мелькать спицы. А глядишь, и оттого беспокойно, что один здесь.

Петр вздохнул. Больше года уже прошло с того дня, как сын переселился на Англичанку, а никак не мог он свыкнуться с беззвучной пустотой комнат... Бывало, проснется, послушает и по дыханию наверняка определит, кто дома, а кто не вернулся еще со своих заседаний, собраний или каких-нито там партийных дел. Да взять хотя бы ту же Ленку. Бегала девчонка, вроде и не замечал, а как недостает теперь в этих стенах ее песен и смеха, который прежде подчас и сердил — уж очень неуемный, так и звенело от него в ушах!.. На Турксибе!

В комнате становилось все светлей, а за перегородкой скрипуче тикали ходики — единственно живое, что осталось в этих стенах.

Конечно, Степану надо было переехать: не телефонную же линию, в самом деле, тянуть сюда из центра, а без аппарата ему, да и Илье, разве мыслимо, и все же... Чего все же? Звали, уговаривали, и Николай с Авдотьей

к себе звали... Нет! С обжитыми комнатами не захотел расставаться, а в них ли суть?

Петр сбросил с себя одеяло. Обычно он еще до того, как покормить кур, разжигал самовар и в первое время после переезда Степана на Англичанку упорно держался этого же порядка, хотя сидеть одному перед большим самоваром было до противности тоскливо, но по осени пристрастился к сырой воде. Отрежет ломоть хлеба, посолит покруче и захлебывает холодненькой — и вкусно, и возни никакой. Так намеревался он позавтракать и сейчас, да вспомнил, что вчера попусту простоял в очереди — не досталось хлеба. И «выдвиженки», как окрестил народ воблу за то, что заняла на полках ЦРК место свежего мяса, давненько уже не видать. Зимой поговаривали о картошке: слава богу, дескать, хоть «непрерывка» выручает, а теперь и она, похоже, в декретном отпуску до нового урожая.

Глаза задержались на консервной коробке — бычья голова, а вскроешь... гвоздь-то еще ничего, вытащил и все, а то ведь бывает стекло мелкое, его сразу и не приметишь. Хулиганство? Да сколько же их может быть, хулиганов? Вот и папиросы новые из махры: курнет человек, и его в три погибели изогнет, все нутро от кашля, словно овечий хвост, прыгает. Написано «Ударник». А курящий люд зовет их «Смерть ударникам». И на видто они коричневые, да еще черная краска во всю пачку.

Надевая в прихожей чоботы, Петр заглянул в горницу. На полке дивана, на котором всегда прежде спала Ленка, свернувшись, как кошечка, лежала забытая Ильей кепка.

...«Баба и есть баба, хоть и с партбилетом, — подумалось вдруг об Анне. — Радоваться надо бы, что парень костыли свои на курорте оставил, а ей бог знает что в голову лезет. «Странный какой-то с курорта вернулся, — пожаловалась вчера Леонтию Петровичу. — То ничего, а то грусть в глазах. Встанет и смотрит в одну точку, окликнешь — не сразу слышит, или со здоровьем чего, или... Ведь двадцать уж ему!»

Вон ведь куда загнула! Материнское сердце—оно-де вещун... «Материнское сердце» — ишь ты! Разобиделась, почему, дескать, скрывает от нее, а то не подумала — есть ли у Ильи время, чтобы за подолы девок цепляться. Да ежели бы и нашлось, какой парень будет об этом

матери рапортовать? Уж коль до женитьбы дошло бы дело, ну, тогда другой разговор. И грусть насочиняла. Задумываться шибко стал? Стало быть, есть о чем. От одних мобилизаций голова, поди, кругом идет — едут и едут в разные края... Издали парни как парни, а поближе присмотришься да к словам прислушаешься — и не то, нет! Прежде, в его-то молодость, своими были избушка и полоска земли, ну, может, еще и околица села, куда собирались под гармошку с девками поженихаться, а что дале той околицы — все чужое, и не было никому никакого дела до этого чужого, а ныне эвон как жизнь раздалась — все свое: и то, что есть, и то, что еще только будет.

Петр взял трубку, кисет с табаком и в накинутой на плечи куртке вышел на крыльцо.

Издали доносились звуки духового оркестра — где это в такую рань?

— А-а! — протянул он, вспомнив, что на фабрике был разговор, будто к пионерам должны приехать сегодня не то китайчата, не то французы, а может, и те и другие.

Пионерия! Все лето гремели их барабаны и трубили горны — сначала городской слет, потом уездный был, а теперь делегаты ихние в Москву выезжают — всесоюзный будет и международный детский конгресс. Находятся недовольные: такое, мол, время тревожное, каждая копейка на счету, а тут сoплякам игру в политику придумали. Сопляки-то сопляки, да сколько утильсырья ими собрано! А субботники и воскресники! Мелькают они и в цехах. И те, у кого рабочая совесть с пятнышками, побаиваются их, может, поболе начальства. Ныне пришли, разузнали все, а завтра, глядишь, всем отрядом со своими плакатами — тут тебе и портретики и фамилии— по всем улицам пронесут. Да под окнами дворов и казарм, где живут они, эти пьяницы, лодыри и прогульщики, остановятся и под барабаны и вой горна: «Дезертирам с фронта социалистического наступления — позор! позор! позор!»

Нет, не игра у ребятишек, и рабочий класс это понимает. Вон как Москва принарядилась — вся в знаменах, плакатах и цветах. Поди, уж все съехались. Илья вчера по телефону сказывал, турки, как большие, ходят в каких-то фесках. Те, что из Индии, с головы до пят

словно из бронзы отлиты, а негритята, да и белые парнишки из Америки этой чертовой — с марлевыми повязками, кое-кто из них и на костылях, есть и руки на перевязи: к пароходу в Нью-Йорке пришлось им сквозь заставу полицейских пробиваться, а те не посмотрели, значит, что перед ними детишки... Зверье! По-другому и не скажешь... В Германии говорят: мы социал-демократы!.. И Чан Кай-ши, может, считает, что он в обнимку с белогвардейщиной на КВЖД социализм устраивает, гадина!

Отбросив обжегшую пальцы спичку, Петр сел на ступеньку крыльца. Во дворе стояло прохладное безветрие. Запыленные ветки бузины и черемухи, растопырившейся над покосившимся забором, не шевелились, к земле жался туман — с Клязьмы, наверное, вон и на крышах домов держался выпот. Вдали смутно проглядывала громадная кирпичная труба зиминской фабрики, до сих пор бездымно торчавшая в окружении старых одноэтажных домов, как угрюмый памятник тому каторжному времени, когда рабочие сотнями гибли здесь от увечья и непосильного труда.

«Вернуть прежним хозяевам... Ха!»

Трубка еще дымилась, когда в мысли его, вспугнув их, ворвались кудахтанье и петушиный крик. Петр открыл дверь сарая, и во двор кучно высыпали куры. В углу на соломе белели три яйца, одно было тепленькое, видать, только что снесла та, что кудахтала.

«Занесу после смены Степану, может, свеженьких-то отведает».

Куры толпились у двери, отряхиваясь и разминаясь.

— Ну, чего? Не зима, самим надо отыскивать пропитание.

— Ко-ко! — вскрикнул петух, кося красноватым глазом.

— Целых три, — засмеялся Петр и, оглядев всех кур, заключил: — а могло бы, конечно, быть больше — плохие из вас ударники!

Воды в корытце было еще много. Он вынес из дома мисочку с просом, разбросал щепотью. Клювы застучали, как град по крыше.

— Вот здесь вы ударники! Хватает еще у нас таких— на работе за поясницу держатся, а за стол сядут, аж за ушами трещит.

— Ко-ко! — это уже не призывно, а настороженно, и крыло оттопырил...

Петр оглянулся и увидел над забором черную морду кота. Запустив когти в трухлявую доску, он шкодливо поводил зелеными глазами.

— Опять ты, Чан Кай-ши проклятый!

Кот исчез, а Петр все еще бушевал, жалея, что не запустил камнем.

— Подожди у меня ужо! Я ведь без дипломатии, без нот — по-рабочему хвачу и разом отшибу интерес к чужим заборам.

Получасовой гудок застал его на улице возле клуба Профсоюзов, где перед радиорупором собралась большая толпа. Поздоровался с браковщиком отбельно-красильной фабрики Андреем Селивановским и от него узнал: в утренних известиях передали, что прибывшие в Москву представители английских фирм отказались поставлять хлопок на прошлогодних условиях, хотя и те были сверхразбойные... Концессию требуют на весь Туркестан! И что же тогда станется: земля советская, а порядки на ней английские? Ишь ты! Правительство, конечно, на такое не могло пойти: не для того своим захребетникам в семнадцатом году по шее дали, чтобы через двенадцать лет дозволить хозяевать хотя бы и под контролем разным сэрам и лордам-мордам! Все это так, но как же быть с хлопком?

Сухопарый мужчина в галстуке, — может, учитель, а может, из служащих, — поблескивая очками, говорил, что, в конце концов, можно пойти и на концессию, никто сейчас не скажет, каких жертв и сколько крови потребует отдаленное будущее, и в свете этого какие-нибудь два или три года, пока строится Турксиб, потерпеть на среднеазиатских землях англичан — беда небольшая.

— А я говорю, не будет этого! — горячился парень в замасленной кепке. — Нэпу возврата нет! В деревнях вовсю идет раскулачивание. Ко всем хренам частную собственность.

Петр исподлобья взглянул на Селивановского.

— А так ли ты все понял, Андрей?

— Все точно, — сказал тот, жуя кончик седой бороды. — Или в концессию, слышь, сдавай или, мол, мы шляпу на плешь, а ты — фигу ешь.

— Самому Куйбышеву так?

— А я почем знаю, — может, и ему.

К ним подошел прядильщик Никонов.

— Жмут, выходит, Петр Прокофьевич, а? Запугивают?

— А ты думал, с хлебом-солью придут? Не запугают: хлопка в запасе у нас на целый год.

Селивановский прищурил слезящиеся глаза:

— А дальше?

— Дальше видно будет, — вспылил Петр и пошел из толпы.

— Где тут о равенстве толковать — сын управляющий, и старик уж, гляди-кось, не хочет с народом путем поговорить.

Кто это сказал, Петр не понял, но искушение оглянуться поборол, хотя лицо до багровости опалилось гневом. Никонов видел это и не решался продолжать разговор. Семеня рядом ногами, теребил пепельную бородку и вздыхал, но у дверей фабрики не сдержался:

— Вот если бы Турксиб был уж готов...

Петр с силой потянул на себя обитую войлоком дверь.

— Чего попусту болтать — в одночасье Турксибы не родятся.

Концессия! Да и сами лорды не понимают разве, что это им кукишем обернется! И в прошлом году начинали с этого, а кончилось тем, что содрали с ВСНХ разбойную цену — и айда, а дома, видать, спохватились: дела-то, мол, у большевиков тугие, некуда им податься, и, стало быть, можно было еще с них одну шкуру содрать, вот и примчали — за золотом. А есть ли оно? Серебро с медяками — и то куда-то фукнуло. Другой раз и лежит в магазинах на полках нужный тебе товар, но в кассе предупреждают: нет сдачи. Вот и округляют люди в уме до рубля. Сначала многие спичками сдачу брали, да тем ведь тоже число есть! Хорошо еще, кооператоры вовремя спохватились и больше пары коробков в одни руки не дают, а то курильщикам в пору хоть, как в гражданскую, зажигалками обзаводиться. Концессия... Ишь ты!

Перед дверью в паровую стояла тележка с «начинками» из-под ровницы. Петр раздраженно оттолкнул ее и прошел внутрь. Лицо обдало привычной духотой, как на полке́ в бане. Громадное колесо натужно выло, кру-

тясь в проеме, оставленном для него в междуэтажном перекрытии. Сменщик Никита стоял у окна, позевывая.

— Мое вам, — улыбнулся он.

Петр нахмурился: беда с этим мужичонкой! И пионеры уж его портрет по городу таскали, два раза после длительных запоев рассчитывали непутевого — и опять принимали по настоянию фабкома, и он, Петр, первым голосовал «за»: не пропойцу этого было жаль, детишек — наплодил, пустоголовый, чертову дюжину, мал мала меньше...

— Навеселе?

— На взводе, — с вызовом подтвердил Никита, но улыбка сошла с его губ, и маленькие красноватые глаза сверкнули злостью. — Ты, что ли, мне поднес?

«Трезвый», — Петр пристроил в угол, где попрохладней, сумку с яичками для Степана и достал из стенного шкафа свою спецовку — пиджак и брюки.

— Эх, жизня соревновательская! — вздохнул Никита. Оттирая концами пряжи въевшуюся в ладони машинную мазь, он сел на круги канатов. — Был нэп, а теперь еще чего? Пятилетка... Индустрию какую-то придумали, а зачем? Чуток захандрит машина, остановлю, так изо всех отделов сбегаются — и мужики и бабенки, поверишь, с кулаками прямо подскакивают, того и гляди, личность заденут, а из-за какой корысти? За простой-то все равно они деньги получают. Сиди бы, знай, руки в боки да отдыхай, ежели оказия такая подвернулась, — нет, бесятся!

Это нытье сменщика для Петра было не в новизну, и он молча подошел к раскрытому окну. Что-то прохладное коснулось лица — дождь? Да, и солнце и дождь. А как же это, когда шел на фабрику, не заметил туч? Эвон какая наплывает!

Крыша Дома искусств была уже мокрая и сверкала на солнце до рези в глазах. Над окнами второго этажа там все еще висел выцветший плакат. Буквы на таком расстоянии не угадывались, но Петр знал, что на плакате этом написано: «Пролетарский привет делегатам районного слета юных ленинцев».

«А теперь всесоюзный». Но того светлого чувства, что всколыхнулось у него дома при мыслях о пионерии, сейчас не ощутил, может быть, потому, что вспомнилось:

именно в тот день, когда вывесили этот плакат, радио разнесло весть о захвате китайцами и белогвардейцами КВЖД, а через неделю пришло письмо от Василия. Точного места, куда перебросили их часть, внук не сообщал и вообще ни слова о дальневосточных делах — на газеты сослался: из них, мол, вы знаете, что здесь происходит, но не волнуйтесь — выполняйте спокойно пятилетний план, Красная Армия не подведет! Ждем приказа. А в конце письма все же обмолвился: «Смотришь на все, и сердце закипает».

Смотрит! Значит, на самой что ни на есть кромочке границы стоит. А от чего сердце закипать может? Поди, видно им с того места, где стоят, как измываются гады над арестованными советскими людьми, как жгут и рушат народное добро. Полоснуть бы пулеметной очередью или из орудий жахнуть, да нельзя — нет приказа. А у тех, значит, есть. Стреляют, сволочи! Может, и убитые с нашей стороны имеются? Вон ведь какие дела там. А здесь...

«Порядок надо у себя навести, а потом уж и с нас спрашивать», — такими словами думал он начать вчера разговор со Степаном. Сын, конечно, спросил бы: «Где это у себя?», Ну, он напрямки и врезал бы: «В партии. Мне, что ли, в Кремль податься? У Ленина в восемнадцатом году два раза бывал. И Сталин примет. Чего смотришь этак? Непонятно? А понятие, Степан, тут небольшое надобно: только-только вошь с себя троцкистскую смахнули, и здравствуйте, пожалуйста, обратно вошки-блошки запрыгали — правые да левые, а дале, может, и еще какие появятся... в крапинку».

Порывом мокрого ветра колыхнуло оконную створку, и та захлопнулась. Петр выколотил из трубки пепел, сунул ее в карман и мимо Никиты, все еще сидевшего на канатах, прошел к машине.

Подшипники — без перегрева и смазка в порядке, а нахлынувшее раздражение требовало выхода. Он искоса взглянул на сменщика, флегматично почесывавшего спутанные волосы.

— Ты еще здесь?

— А чего? Дождь, и куды мне спешить? Вот и сижу, думаю.

— Ты?

Никита усмехнулся.

— Разве ж я тоже не человек? Какая-никакая, все ж есть голова, бывает, и думаю.

— Занятно, — уже спокойнее проговорил Петр. — О чем же ты, скажем, сейчас думаешь?

Никита хлопнул себя по коленке.

— А вот о заплатках. В Орехово-Зуеве живем, так? Город ситца и другой разной мануфактуры. Сколь, говорят, отгружают каждый день со складов в Москву, а текстильщик в чем ходит? Заплатка на заплатке.

— И много таких?

— Есть.

— А многим из них приходит в голову пожаловаться на такое дело? — Петр опять вынул трубку, набил ее табаком. — Разве какому-нибудь шкурнику, у которого рабочих чувств в крови не больше, чем у воблы шерсти.

— Кто же этот шкурник?

— Я к слову.

— К слову — это ничего, а то ведь, дед, я и обидеться могу.

Петр присел с ним рядом, показал на заплатанную спецовку:

— Денег, может, нет, чтобы новую справить? Есть. А зачем? Вот в чем суть. Носится? Носится! Ежели ты пролетарий, то должен понять: ситец теперь — и хлеб и золото, на которое рабочая власть покупает машины и строит новые заводы и фабрики.

— Слышал это.

— Слышать, милок, мало, надо осознать. Разбогатеем, тогда и разоденемся. А сейчас нитку в иголку — и ничего! Хорошо! Посреди нужды и всеобщей экономии заплатки молодцу не в укор, нет, не в укор.

— Наряды и галстуки мне тоже, скажем, ни к чему, я о порядках: у самих его нет, так и с меня не спрашивай.

— Ты о чем это? — насторожился Петр.

— О руководителях наших. Правые, левые...

«Гляди-кось! Почти слово в слово, что я Степану хотел сказать», — и удивился и растерялся Петр.

— Того и другого слушать, так штаны лопнут там, где ноги расходятся, а они у меня одни.

— Ноги? — пошутил Петр, все еще хмурясь: совпадение его собственных мыслей со словами сменщика было не только удивительным, но и обидным. Хорошо еще, если Никита не всего себя в сивухе утопил и душа

его может до общего рабочего интереса боль иметь, а нет — тогда, выходит, сам он, Петр, до Никитки скатился. Села на газетный лист муха, а он из нее слона делает.

— И ноги и штаны, — помедлив, сказал Никита. — Знаю, о чем вы все думаете. Никитка, мол, и сукин сын и «котях», окромя рюмки, ничего в жизни не видит, ан врешь, видит! И, может, еще позорчее вашего. Крику, говорю, много. У иных, окромя этого крику, ничего боле и не сыщешь внутри. А есть, не спорю, и такие, что пятилетку не только горлом выполняют, и хребет у них в мыле. Есть такие! Да, слышь, голова всех голов наших— сам Куницын — не то, чтобы насовсем их к ногтю, но кому выговорок, а кого и совсем из партии под зад коленом — как это понять?

— Разберемся. — Петр встал и уж вслед себе услышал сквозь смешок:

— Уж не ты ли?

— А хоть бы и я! — закричал он и обернулся со сжатыми кулаками. — Поеду и вся недолга. В Москву, к этому... Как его там, Николай Иваныч, что ли, путаник-то этот... ЦК, мол, вы, товарищи? ЦК! И мы верим вам, а как же? Пойдем за вами и другими товарищами из ЦК на любые лишения, только чтобы дорога была одна — та, которую Ильич в Октябре проложил. В будущее идем, стало быть, в местность еще не хоженую. Слева-то, может, болото, а справа — трясина... Рабочий класс хочет идти большаком.

Возле махового колеса что-то пискнуло. Петр взял масленку и наклонил ее загнутый носик над перегревшимся подшипником.

— Ветер в лицо? Ничего, и вьюги видали. А? Да ты не мельтеши улыбкой-то, я ведь серьезно. Хочешь сказать, партбилета нет у меня? А это тоже ничего, у сыновьев есть, у Анны, у Ильи и Василия, у Ленки...

— А она разве тоже в партии?

Петр смущенно кашлянул.

— Нет, в комсомоле еще, но это...

— Один черт, — в зевке сказал Никита.

В другой раз Петр не спустил бы ему этого «черта», но сейчас он просто не мог остановиться, не высказав хотя бы и перед Никиткой-Котяхом все, что ночами бессонными передумано и в душе накипело.

— Не суть. Подрастет и получит. А я и без билета имею право в открытую говорить со своей партией, потому она мне, может, в тысячу раз роднее, чем некоторым с билетами, а? Всей своей жизнью я ее рождение готовил, со стачки самой. Сказывают, один из царевых писателей в ту пору кинулся во дворец: «Ваше, мол, императорское, да как вы дозволили, чтобы суд владимирский оправдание им по всем статьям вынес? Это ж сто один выстрел по самодержавию!» — Правильно — сто один! А стрелял-то кто? Я и такие, как я. Помнишь? Да что я, где тебе помнить, когда и отец твой тогда был еще в таких летах, что его с матерью в бабью баню пускали, но это ничего... Мы, слышь, этими «выстрелами» разбудили рабочую Русь, и поэтому дорого мне все это, кровное мое! Поэтому и могу я, ежели другие с билетами-то в рот воды набрали, прийти к кому хошь и от имени всего рабочего класса потребовать, чтобы с ленинского большака не сходить и не пятиться! Вот так...

Петр взял с пола кусочек черной блестящей мази и провел ею по медленно двигавшемуся канату.

Кулаки... Чего тут неясного? Коль на хвост волку наступили — глаз с него не спускай, добить надо... Шахтинцы...

Никита оглянулся на звук широко распахнувшейся двери и предостерегающе кашлянул, но Петр не расслышал или не понял.

— Так эти сукины сыны, поди, не только в Донбассе были, повсюду, — продолжал он, вытирая ладонь. — Всех их в шею, а своих инженеров и мастеров поставить. Нету? Выучить. На стройки денег даем, дадим и на обучение. Понятно?

Петр обернулся и выронил из рук промасленные концы пряжи, которыми оттирал с ладони мазь: перед ним стоял директор фабрики в легоньком халатике, надетом поверх дорогого тонкошерстного костюма. Говоря «в шею всех их», Петр имел в виду и вот этого краснощекого инженера с бакенбардами, — что ж из того, что в открытую не вредит, а может! На всех волком смотрит. Но сейчас в лице директора было что-то неожиданно новое. Никак, радостное. Так и есть — смешинки в глазах.

— Гудок! — расслышал Петр. — Останавливаем.

— Надолго?
— Об этом у сына спроси. — Отстранив его, директор сам потянул рычаг, и во все этажи и отделы фабрики с подвыванием понеслась пронзительная сирена.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Окно, выходившее на улицу из кабинета сына, было закрыто наглухо, и Петр встревожился. Дверь открыла медсестра. На его спрашивающий взгляд она махнула рукой и отвернулась.
— Плох?
— Работает! Вчера совещание, сегодня... Обложился, как сугробами, всеми этими сводками, которые чуть свет притащил ему курьер, и курит и курит — любому здоровому в таком дымище за лихо покажется. Нет, Петр Прокофьевич, я больше не могу так. И Опанасенко скажу.
— Сестрица! — послышался голос Степана.
— Идите вы, я не пойду. Температура тридцать восемь и семь, а он...
Петр сунул ей в руку сумку — яички свежие! — и прошел в кабинет.
— А-а, это ты! — сказал Степан. Он полулежал на диване, а поверх одеяла и на двух стульях в самом деле «сугробами» высились стопки бумаг. В пепельнице, поставленной на один из этих сугробов, дымились окурки. — Садись, отец, я сейчас... Два миллиона метров ситца, помноженные на три с половиной, — это будет...
Петр обернулся к девушке, оставшейся за порогом.
— Фортку-то можно открыть?
— Не можно, а крайне нужно.
Степан отложил карандаш.
— Вы о чем это? А, проветрить! Ну, что же... — на небритой щеке его играл легкий румянец. — Эка ведь, сколько начадил! Да все эти гудки паровозные мешают, прежде вроде и не замечал их, а нынче как назло — только сосредоточишься... чего ж форточку? Распахивай, отец, все окно.
— Окно не разрешаю, — сказала сестра. — И давайте температуру смеряем.
— Бессилен сопротивляться, — засмеялся Степан.

— Да вы хоть, пока проветривается, не курите, Степан Петрович!

Степан положил папиросу в пепельницу и опять рассмеялся:

— Видал, отец, как управляющим трестом командуют!

— А здесь не трест, — она сердито встряхнула градусник, — и для меня нет ни управляющих, ни дворников — все больные, на обязанности которых выполнять то, что предписывает врач и приказывает сестра.

— Видал! Ох уж эти мне медики — сильней табака для них зверя нет. Позавчера привезли консультанта из Москвы — седенький, маленький, крутил, вертел—здесь пальцами постукает, там трубкой приложится. «Курить надо бросить», — а сам за папироску и кашляет. Профессор, говорю, курить надо бросить, кашляете. Так я же, говорит, и по врачам не шляюсь.

Сестра протерла ему влажным полотенцем под мышкой, поставила градусник и вышла.

— Директоров бы мне да спецов вот с таким огоньком, — глядя ей вслед, сказал Степан. — Всем фронтом развернулись бы, но и сейчас, старик, неплохо. Вторая ткацкая, правда, немного подводит, а на остальных — смотри... — Он протянул отцу вычерченную диаграмму.— Красная линия — производительность, синяя — себестоимость.

Петр следил за его пальцем, слушал, а сам думал: сказать или не надо о том, что фабрика не работает?

— За этими линиями, отец, сотни тысяч сэкономленных рублей и миллионы метров сверхплановых тканей, которые зажгут новые домны, перевоплотятся в машины, лягут километрами новых магистралей. Вот что означает «встречный». Я пошлю эту диаграмму в центральную печать, пусть покусают ногти разные «левые» и «правые».

В дверях появилась сестра.

— Товарищ Орлов!

Степан посмотрел на нее удивленно.

— Забыли, что доктору обещали?

— А! Не выйдет это у меня, девушка, оставь, — поморщился он, отстраняя ее руку. — Чуть что и сразу за пульс. Этому вы научились, а вот пульс жизни слушать... умеете? Пойми...

— Я понимаю, но... — сестра ласково отвела с его влажного лба полуседой вихор. — Вам нельзя волноваться. Доктор говорит....

— «Берегите свои силы», — усмехнулся Степан. — А ты представь себе, ну, скажем, эскадроны конницы в атаке. Враг жмет — скорее, скорее, шашки наголо, и вдруг на дороге у них вырастает этакий человеколюбец: берегите, мол, свои силы, кто-нибудь еще за вас схлестнется с врагом. Да конники из него форшмак сделают! А разве теперь мы не в атаке? В атаке, девушка, да еще в какой! Скорость: в десять лет — сто! Разорвать, развеять блокаду экономической отсталости, вырваться из нее, прежде чем заговорят пушки разных там брианов, черчиллей и гуверов.

— Я понимаю, но доктор...

— По обязанности, сестра, говорит, — устало сказал Степан, — и тоже, наверное, не понимает, что это...— он опустил руку на груду сводок, — самое надежное лекарство.

Сестра взяла градусник и побежала на телефонный звонок.

— Квартира управляющего, — обрадованно подтвердил за перегородкой ее голос. — Да, я. Только сейчас. Тридцать семь и восемь.

— Ну, вот видишь, — подмигнул Степан отцу, и блеск его глаз смягчился от хитроватой улыбки. — Не могут понять... А кто это там звонит?

— Анна Леонидовна. Что передать ей от вас?

— Пусть не беспокоится, еще порции две таких сводок — и от всех недугов пшик останется.

Петр встревоженно прислушивался к хрипам в его груди. Он привык видеть сына сдержанным, и теперь вот эта его говорливость и шутливый тон настораживали. Старик скосил глаза на руки сына. Узловатые, мускулистые. А ведь было время, когда, совсем крохотные, силились они надломить веник и не могли; было и такое время, когда в этих жилистых буграх таилась устрашавшая весь город силища, но никогда не было на лице сына столько морщин и складок. Седина проглядывала на подбородке, на щеках, побелила виски.

— Смотришь, небритый? — Степан провел ладонью по колючему подбородку, — да, залежался... Помню, раз пошли наши конники на прорыв, но без меня. Я и еще

пять раненых красноармейцев остались в деревушке, в доме попа, на попечении фельдшера и санитарки. Вижу, бойцам не по себе — горят глаза, да и у самого сердце ходуном — вскочить бы и в самую гущу... Мыслями-то летел, а простреленное бедро к поповской перине приковало. Веришь, отец, от стыда и злости слезой прошибло. На худой конец, хотя бы видеть, как и что там.

«Несите на колокольню», — приказываю фельдшеру. У того глаза на лоб.

«Да что вы, товарищ комиссар, лесенка-то винтовая, на ней и одному человеку тесно». Знаешь, не люблю голосовым связкам волю давать, а тут... лекпом как пробка выскочил. Прибежал с попом, попадьей и дьячком: «Товарищ комиссар, может, передумаете? Очень прошу!» — «Несите!» Лесенка в самом деле — винт, а перебитая кость в бедре — туда и сюда, рвет мясо. Донесли до середины, и не удержал стона. Лекпом чуть не в плач: «Товарищ комиссар!» — «Тащите!» — Вытащили под самые колокола, схватился за веревку, смотрю: ни коней, ни людей — дым, вспышки залпов, но на душе стало легче. И боли вроде притупились: стена дыма не стояла на месте, а ползла все дальше и дальше... Значит, враг бежит, значит, наша берет... — Степан откинулся на подушку, помолчал.—К чему я это вспомнил? Да, вот...— Он кивнул на папку со сводками и грустно усмехнулся.— Колокольня! «Наша берет»... Вижу вот по этим цифрам, но они же безликие и как тот дым. — Взгляд его перекинулся вдруг на форточку.

«Гудки», — Степан поморщился, но ничего не сказал. Незачем пояснять, хотя бы и отцу, что его выводят из себя самые обыкновенные звуки шагов и голоса людей, они торопятся по призыву фабричного гудка к своим станкам и машинам, а он, которому партия доверила командование этой многотысячной армией текстильщиков, вынужден довольствоваться лишь цифровыми итогами состоявшихся битв за промфинплан. Разумеется, это временно. Схлынет изнуряющая лихорадка, и он... но надолго ли? До следующей простуды?

Степан сдержал в себе вздох. Не привык он отворачиваться от правды, как бы ни была она жестока. И теперь вот эта постылая расслабленность говорила ему прежде всего о том, что безвозвратно минуло время,

когда мог он не придавать значения любым ангинам и гриппам. На что врачи — профессиональные утешители — и те не решаются сказать — «вылечим», слишком очевидной была бы эта «добрая» ложь. Они говорят: «поддержим, дорогой», — и, конечно, имеют в виду не ангину «особо злокачественной формы», а то, что от правого легкого осталось одно воспоминание, и сердце то замирает, то начинает колотиться так, что за числом ударов секундам и не угнаться. «Осложненьице, вызванное высокой температурой». — Говоря это, Опанасенко мог бы и не отводить в сторону глаза, потому что ему, Степану, известно настоящее имя этому «осложненьицу». А ведь так хочется увидеть хотя бы в общих чертах то, ради чего не раз смотрел смерти в глаза.

— Пусть гудят, — вздохнул он и, взглянув на отца, улыбнулся. — Вот ты у меня молодцом, батя, снять седину — и в пионеры.

— И то занятие, чем без дела трепаться. — Петр насупил брови и сказал: — Остановили фабрику.

Степан сел, да так резко, что листы соскользнули на край съехавшего одеяла и рассыпались по полу.

— Почему?

— Тебе это с колокольни-то, поди, виднее.

Сын отбросил простыню и, как был, в одном белье, кинулся к телефону. Сестру, преградившую ему в дверях дорогу, оттолкнул.

— Петр Прокофьевич, да объясните хоть вы ему...

— Оставь, — тихо сказал Петр. — Дело здесь такое, государственных масштабов. — Он прислушался — сына уже соединили с трестом, и тот требовал немедленно позвать к телефону главного инженера. — Государственных масштабов, — повторил старик, подбирая с пола листы сводок.

— Всеволод Никанорович? Объясните мне... — голос Степана звучал ровно, холодновато.

«А ведь выскочил из-под одеяла — себя не помня. Крепок!» — с гордостью подумал Петр. Он положил листы на стол и подошел к двери. Степан слушал, стиснув зубы, и трубка в его руке дрожала.

— Аварийный запас? Что-о?

Заметив, как побелело его лицо, сестра разгневанно посмотрела на отца.

— Нет, не понимаю и не пойму,—бушевал Степан,—

потрудитесь немедленно прибыть, да, немедленно. Если через полчаса не будете, я приеду сам. — Он бросил трубку, и та повисла на шнуре, раскачиваясь и стукаясь о стену.

— Степан Петрович, давайте, голубчик, ложитесь, — обняв его, умоляла сестра, но он стоял точно в столбняке.

— Ляг, Степа, — поддержал сестру отец.

Степан обтер рукавом рубахи лоб. Оказывается, фабрики уже несколько дней работали на аварийном запасе хлопка, а этот франт был вчера здесь — и ни слова.

— Степа, — ласково сказал Петр.

Сын невидящим взглядом скользнул по его лицу и, простонав, схватил все еще покачивающуюся трубку. Сестра положила руку на рычажок, но Степан вспыхнул и закричал:

— Подите все к черту с вашим лежанием и вашими микстурами! Долежался черт знает до чего, хватит! Станция? Базисный склад треста!

Заведующего складом в конторе не было, а его заместитель сказал, что рапорт о непоступлении плановой партии хлопка из ВТО был своевременно послан в трест и принят главным инженером. Степан потребовал установить по рассыльной книге точную дату — оказалось, это было еще до его болезни. Он повесил трубку.

— Я, кажется, вас обидел, сестра, извините.

— При условии, если вы сейчас же ляжете.

— Лягу, как только разберусь с этим делом. — Он нетвердой походкой подошел к столу и опустился на стул. Петр принес из прихожей шинель, накинул ему на плечи.

— Вы не обижайтесь, я должна посоветоваться, — сухо сказала сестра. Но, к ее досаде, Опанасенко ни в поликлинике, ни дома не оказалось.

— И обуйтесь, — она пододвинула к ногам управляющего домашние туфли. Степан молча надел их. Не проронил он ни слова и когда она проверяла у него пульс, — сидел и барабанил по столу пальцами.

Наконец послышался шум подъехавшей пролетки. Сестра выбежала на крыльцо и спросила поднимавшегося по ступенькам Успенского:

— Вы Всеволод Никанорович?

— Да, — сказал он, с удовольствием задержавшись

взглядом на ее лице. — Чем могу быть полезен вам, душечка?

— Я вас очень прошу, не говорите ему ничего плохого.

— А если хорошего сорока еще не принесла на хвосте?

— Шутки не к месту, товарищ инженер, у Степана Петровича опасное состояние.

— Ладно, постараюсь сочинить что-нибудь хорошее, — усмехнулся Успенский.

— И еще одна просьба: разрешите воспользоваться вашей пролеткой.

Он выжидательно промолчал.

— За доктором. Это не больше двадцати минут.

— Пожалуйста, можете и тридцать. — Инженер дотронулся рукой до края фуражки, прошел в дверь. На его приветствие Степан едва заметно кивнул и указал глазами на стул по другую сторону стола.

Успенский сел, по привычке достал из кармана часы с тяжеловесными золотыми брелоками.

— Вот-с какие сюрпризики выкидывает с нами это движение ударников. К слову, весьма подходящее наименование — действительно крепко ударяет: нас по голове, государство по карману. — Он щелкнул крышкой часов и, поигрывая брелоками, перевел взгляд на управляющего, показавшегося ему комичным в шинели, накинутой на плечи поверх нижнего белья. — Жду указаний, хозяин.

— Что сделали вы по рапорту заведующего базисным складом?

— Может быть, уточните, Степан Петрович: через мои руки проходит столько писанины...

— Рапорт о том, что хлопок своевременно не поступил на склад.

— Подождите, подождите... Действительно, припоминается, был такой рапорт.

— Что вы предприняли по нему?

— Что я мог предпринять? — Успенский пожал плечами. — У меня, уважаемый Степан Петрович, не имеется собственных хлопковых плантаций.

— Вы проверили, почему хлопок не попал к нам?

— Ну, вы, кажется, путаете меня с агентом по снабжению? — Всеволод Никанорович откинулся к спинке

стула, ногу на ногу положил. — Или... с управляющим трестом.

— Почему не передали мне этот рапорт, не информировали о положении с хлопком — ведь это было до моей болезни?

— Разве не передал? Не помню... А может быть, в самом деле не передавал... И ничего удивительного: ведь у меня, уважаемый Степан Петрович, своих хлопот полно.

— Почему вчера ни словом не обмолвились о том, что фабрики дорабатывают аварийный запас?

Успенский побагровел:

— Я прощаю вам этот тон из снисхождения к вашему состоянию и прошу всех собак на меня не вешать, не доведено мною до вашего сведения о расходовании аварийного запаса по приказу товарища Куницына.

— При чем здесь Куницын?

— Спросите сие у Куницына. В технических вопросах вмешательства не потерплю, а в остальном я уже привык к тому, что надо мной все — начальство, от управляющего до сопливого мальчишки, которому ваш сын вручит мандат «легкой кавалерии». Приказывают — исполняю.

— И скрыть рапорт заведующего складом вам приказали? — тяжело дыша, спросил Степан.

Успенский молчал.

— Отвечайте же!

— Благодарю за любезность. — Инженер встал. — И за приятные минуты. Я ведь знаю вашу хватку и о том, как вы в прошлом году с заместителем председателя ЦК союза текстильщиков обошлись, помню. Испытать на себе подобное не имею желания. — Он поклонился и взялся за фуражку, но, увидев в дверях сестру, вспомнил, что пролетки нет.

— Надолго я экспроприирован? А впрочем, ничего, погуляю.

— Сядь-те! — загремел Степан. Лицо у него было почти без кровинки, и только глаза горели.

Испугавшийся Петр приблизился к столу. Не взглянув на него, инженер перевел глаза на сестру и засмеялся:

— Вот и сестрица готова разодрать меня своими очаровательными гляделочками. Поистине, спец в нашей

стране стал тем Макаром, на которого все шишки летят. — Он сел и бросил на стул фуражку.

— Продолжайте допрос, Степан Петрович, только без крика: ваш покорный слуга не привык к повышенным интонациям.

— Я давно подозревал, что вы... впрочем, не это сейчас главное. Меня интересуют принятые меры.

— ВТО оповещено телеграммой-молнией, и уже получен ответ.

— Ну?

— Там разберутся.

— Когда?

— Не изволили доложить.

— Степан Петрович, прекратите этот разговор, — вмешалась сестра. Столь же резко она повернулась и к инженеру: — Я это приказываю вам.

— Только-только говорил: мне все приказывают, — рассмеялся Успенский.

Степан отвел от себя ее руку.

— ВСНХ известно?

— Не могу знать.

— Я спрашиваю — вы известили ВСНХ?

— Странный вопрос! Как будто ВСНХ — клуб открытых дверей.

— Не хватит ли шутовства? — Степан поднялся так, что шинель сползла с его плеч и упала к ногам. — Вы... понимаете, что такое продукция наших фабрик? Подсчитайте, сколько метров тканей по вашей милости не получит страна?

— Позвольте...

— Нет, не позволю! Пересчитайте эти миллионы метров на валюту!

Успенский взялся опять за фуражку, но Степан заступил ему дорогу. В расстегнутый ворот рубахи было видно, как вздымалась и опускалась его покрытая капельками пота грудь.

— Что же вам от меня угодно? — повысил голос и Успенский.

— Чтобы сегодня же фабрики были полностью обеспечены хлопком.

— Кажется, я уже докладывал вам, что собственных плантаций не имею. — Сестра встала между ними, но инженер оттолкнул ее со злобой — Оставьте ваши

намеки при себе, товарищ Орлов, я довожу до вашего сведения, что... — он покосился на зазвонивший телефон, — в общем, до свидания!

Петр снял трубку.

— Кто тут еще? — Он кашлянул и, не глядя на инженера, шагнувшего к двери, сказал: — Тебя требуют.

Успенский вернулся и нехотя взял из его рук трубку.

— Слушаю. Так... так. Что ж, передайте им, что я принимаю только по сугубо техническим вопросам. Да, инженер Успенский не намерен отдуваться за тех, кто дурацким соревнованием создал искусственное затруднение с сырьем. Что-о? Пусть обращаются к товарищу управляющему или к лицу, которым он изволит заменить себя. — Всеволод Никанорович помолчал, слушая, потом с усмешкой сказал: — Сие меня не касается, — и повесил трубку. — Вот так, уважаемые, — он вызывающе посмотрел в глаза Степану. — Кажется, все?

— Точнее, пока все!

Степан снял с аппарата трубку.

— Город? Москву.

По губам Успенского скользнула усмешка. Самое большее, что могут предъявить ему хозяева, — это... отсутствие сообразительности. Не сообразил вовремя проверить причину недостачи хлопка и не сообразил потом обратиться за содействием к правительственным органам. Что же касается акта со склада, то кто докажет, что инженер Успенский скрыл его от управляющего трестом? Подпись в разносной книге? Но конверт так аккуратно запечатан, что и самый придирчивый человек ничего не обнаружит.

— Номер? — переспросил Степан. — Подождите, сейчас. Отец, там у меня... — трубка выскользнула из руки, и сам он закачался. Петр подхватил его с одной стороны, сестра — с другой.

— Ничего, не беспокойтесь, я только в ВСНХ.

Успенский тоже подбежал. Втроем они подняли огрузневшего Степана и отнесли в кабинет. Сестра нащупала пульс, и от сердца ее немного отлегло: голубая жилка толкалась в пальцы, хотя и слабо, но бесперебойно.

— Подлец! — шепнула она в лицо инженеру.

— Никак я не предполагал, что наш деловой раз-

говор может вызвать такие последствия. Извините, — пробормотал тот.

— Дышит? — шепотом спросил Петр сестру.

Ничего не сказав, та выбежала в гостиную и загремела там жестяной коробкой со шприцами. Старик опустил руку на кудлатую голову сына, неловко погладил. Степан открыл глаза и шевельнул губами, но увидел Успенского — и по лицу пробежала судорога.

— Выйди отсюда! — приказал инженеру Петр.

— Хорошо, я уйду, я понимаю, конечно... Степан Петрович, я прошу извинить меня, чувствую, в чем-то я виноват перед вами, если желаете, я созвонюсь с ВСНХ.

— Уйди, говорят! — Петр почти вытолкал его из кабинета и, закрыв дверь, подошел к сестре, набиравшей у окна в шприц лекарство. — Доктора бы.

— Вызвала.

— Что с ним?.. Сердце?

— А что вам до его сердца — вас всех интересуют только «государственные масштабы».

Петр взглянул на нее с укором: разве не чувствует эта девчонка, что и без того он казнится, в бессчетный раз проклинает себя за то, что не удержался, но и как смолчать при таком деле?

В шприц набралось больше, чем надо. Сестра нажала поршень, из иглы ударила вверх тонюсенькая струйка, влажная пыльца попала Петру на лицо.

— К Анне как бы дозвониться.

— Это еще зачем? — донесся из кабинета слабый голос сына.

Старик просиял: «Приходит в себя!»

— Ох и напугал же ты меня, Степа, и поделом, — он шагнул к двери кабинета и остановился, услышав на крыльце торопливые шаги.

— Ежели опять этот, я его...

— Опанасенко, открывайте скорей.

Сестра не ошиблась. Широко распахнув дверь, в прихожую шагнул и, казалось, всю ее заполнил своим грузным телом и гудящим басом «генерал» Опанасенко.

— Ну, как мы тут живем?

А в глазах встревоженность.

Вчера состояние больного порадовало, и он почти уверился, что удастся-таки ему отодвинуть угрозу шока, если, конечно, сумеет убедить Степана вести более спо-

койный образ жизни. И вдруг эта история с хлопком! Не станет ли она для Степана тем роковым «до», после которого его не спасут никакие камфоры и кислородные подушки?

— Знает?

— Знает, — угрюмо сказал Петр.

Леонтий Петрович снял шляпу и подошел к Степану, который уже сидел на постели и, досадливо морщась, надевал носки.

— Далече ли собираемся, уважаемый?

Степан промолчал, а брови сомкнулись, приподняв на переносье упрямую складку.

— Температура?

Сестра подала Опанасенко листок и рассказала о том, что здесь произошло. Леонтий Петрович взял руку Степана, успевшего надеть штиблеты, пощупал пульс.

— Нуте-кось, ляжем.

Перебой в пульсе — и опять галоп.

— Я вынуждена пожаловаться вам, доктор, курит и вот... — Сестра возмущенно показала на груды бумаг.

Степан хотел подняться, но Опанасенко удержал его.

— Леонтий Петрович!

— Сними-ка рубаху.

— Да понимаете ли вы все... Не одна, остальные фабрики могут стать.

— Сними рубаху!

— Поверь, я же... ну, ничего со мной не случится.

— Посмотрим.

Степан подчинился, и пока Леонтий Петрович прикладывался к его груди трубкой, сидел с закрытыми глазами и зло слушал, как отсчитывали стенные часы уходящее попусту время.

— Глубже дыши! Еще.

В мембране фонендоскопа глухо расплывались толчки торопящегося сердца.

«Сколько служило оно у тебя революции, родной ты мой человек!» — Леонтий Петрович опустил трубку. И все теоретические обоснования и голос опыта предписывали ему приказать: «Лежи, Степа, не вставай, состояние твое — хуже нельзя быть!» Но трудно сказать, что травматичнее для изработавшихся клапанов — волнение, связанное с распутыванием этой истории, или вот

такая неизвестность, когда всполошенные мысли рисуют картины куда, может быть, чернее, чем есть на самом деле.

— Вызови для доклада тех, кто тебе нужен, я не возражаю против такого производственного совещания, если, конечно, оно будет в спокойных тонах.

Степан отрицательно покачал головой.

— Это не то.

Зазвонил телефон. Трубку взял Петр и встревоженно позвал:

— Сват!

— Звонили из треста, — шепнул он, когда подошел к нему Опанасенко. — Остановлена прядильная первая, ткацкие дорабатывают остатки утка. Сновальщики ткацкой первой уже не работают.

Из кабинета вышел Степан.

— Чего там?

— Успенский извинения просит. — Леонтий Петрович обнял его за плечи. — Степа, мне ведь ты можешь доверить? Я все разузнаю и подробнейшим образом доложу тебе. Ну что еще можно сделать? Давай сейчас же позвоню Куницыну, созовем бюро окружкома.

— Нет, я сам.

— Заладил, как ворона, навоз клевать,— сам и сам!— вспылил Опанасенко. — А что изменится, если заявишься ты сам? Или, может быть, у тебя в карманах тонны хлопка есть про запас?

— Ляг, Степан, — посоветовал и Петр. — Дрожишь весь.

— Чувствую, не простое здесь головотяпство — подстроено, я должен разобраться.

Леонтий Петрович прошелся по комнате, потрогал зачем-то шприц.

— А ты обещаешь вести это разбирательство спокойно?

— Да, — твердо сказал Степан.

Леонтий Петрович опять пробренчал шприцем.

«Рискованный шаг... В случае роковых последствий врачи, среди которых немало у него явных и тайных недругов, не преминут поднять шум. И формально они будут, конечно, правы. Может быть, это беспрецедентный случай, когда врач, зная, что человеку грозит инфаркт, не употребил свою власть, чтобы удержать больного в

постели. Куницын, давно подбирающий ключики, чтобы вывести его из состава бюро, может и персональное дело раздуть, и суд затеять — прокурор ведь дружок».

Но мысли эти прошли в сознании Опанасенко отдаленно, и не они хмуро шевельнули его брови.

— У тебя что же, Степа, есть серьезные основания для таких подозрений?

— Есть. И больше всего не хотел бы я, чтобы разбором занялся Куницын.

Леонтий Петрович вызвал больницу.

— Регистратура? Опанасенко говорит. Сегодня на прием ко мне не записывайте и в отделение передайте— пусть обход моих палат сделает доктор Гольдштейн. — Он положил трубку и повернулся к Степану.

— Я еду с тобой. Но ставлю непременное условие: в случае чего ты беспрекословно прекратишь это расследование, вернешься сюда и впредь будешь столь же беспрекословно вести себя так, как тебе будет предписано. В противном случае я помещу тебя в больницу. Согласен?

— Хорошо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прядильная № 1 остановилась в полдень, а еще через четверть часа замолчали станки двух ткацких. Рабочим объявили, что они могут идти домой. На ходу обирая с себя пух и нитки, прядильщики и ткачи толпами хлынули по Ленинской и перед зданием треста запрудили улицу так, что не хочешь, да остановишься.

— Допланировались, нечего сказать! — ликовал стоявший у ворот Двора стачки Митькин. Он еще зимой пропил свою лошаденку и теперь слонялся без дела.

Кто-то догадался открыть ворота сада клуба Профсоюзов, и часть народа подалась туда, другие сворачивали во Двор стачки.

— Пятилетку в четыре года, а хлопка на три дня — пряди из воздуха!

— Шахтинцы, поди, везде сидят, вот в чем дело!

Прижатая к забору, пестревшему театральными афишами, Марфа Каткова совала всем порожнюю кошелку и взвизгивала, зло округлив глаза:

— Ждите, детки, пряничков от пятилетки. У магази

нов с вечера хвосты, а полки пятые сутки пусты. Одной рыковки лишь вдосталь, чтоб ей...

— Ты, мать, зазря обижаешь Лексея Иваныча, — засмеялся Митькин, присаживаясь на мусорный ящик.— Он сам, говорят, выпить не дурак, ну, по сему случаю и остальному люду сочувствует. Чего же ты, голуба, хочешь?

— Детей моих накорми! Хлеба вдосталь хочу, без нормов.

— Вон что! О хлебушке теперь надо забыть, мать. Теперь другие кушанья будут... Доменку пусть детишки твои покушают, Днепростройчиком накорми, Днепростройчиком... Ха-ха-ха...

— «...парламента! — гулко раздалось над входной дверью клуба Профсоюзов. Голос диктора пропал было в шипении рупора и опять вынырнул.—Глава правительства Франции открыто призывает ко второй интервенции против Советского Союза. «Надо, — заявил Бриан, — за неделю покончить с этой страной и ее опасными экспериментами, пока большевистская зараза не охватила весь цивилизованный мир».

— А-а, не п-переваривает натура п-пролетарской диктатуры.

— Глаза мозолит!

— Пусть-ка попробуют сунуться!

Во Дворе стачки вокруг сквера и на дороге шумели рабочие ткацкой № 3, а сквером завладела молодежь. Вбежав по гранитным ступеням памятника, банкаброшница Надя Павлова откинула через плечо косу.

— Что же получается, товарищи?

— «На китайско-советской границе в районе КВЖД по-прежнему напряженное положение, — долетал и сюда с улицы голос радио. — Как передает агентство ГАВАС...»

Грудастая ткачиха, стоявшая у калитки сквера, вздохнула:

— Неужто опять война?

— Винтовки, тетушка, и там держат не Брианы, а такие же, как мы, Петры да Иваны, — сурово сказал старик в брезентовом плаще. — А Иваны да Петры всех стран еще в гражданскую кое-что поняли.

В толпе, разлившейся от ворот до стен хлебозавода, глаза Нади отыскали комсомольцев со своей фабрики.

— Подписали мы торжественным порядком договор и с Глуховской мануфактурой и с городом Богородском — я о социалистическом соревновании, и моя подпись под теми договорами есть. Что же, спрашиваю, получается? И еще я спрашиваю: что такое текстильщик? Рабочий класс Советского Союза, дорогие мои товарищи, опора Советской власти, заглавная фигура, значит. А раз мы заглавные, давайте по-заглавному и думать. Партия требует от нас больше продукции, так? Есть ей интерес, чтобы наши фабрики хотя бы на час встали, — нет такого интереса! Вот давайте и выявим тех подлецов, по милости которых мы без хлопка остались.

Взрыв одобрения заглушил ее голос. Кое у кого на глазах поблескивали злые слезы: ведь это они, комсомольцы Орехово-Зуева, в позапрошлом году первыми подхватили призыв ленинградской текстильной фабрики «Равенство» о социалистическом соревновании. А в ленинские дни этого года через «Комсомольскую правду» поклялись никому не уступать завоеванного первенства. Не только дня или часа, ни минуты нельзя было терять, и вот, пожалуйста, — остановка фабрик!

— Пошлем Илюше телеграмму!—крикнула Надя.— Он найдет, где собака зарыта. Голосую: кто «за»?

Над головами вырос лес рук.

— Обождите горячку пороть. — Ухватившись за сук тополя, Андрей Катков подтянулся, встал на ограду и отвел в сторону жесткие, упавшие на глаза волосы. Лицо широкоскулое, темное от загара. — Зачем тревожить Илью? Пусть спокойно сдает свои экзамены. А насчет хлопка надо сначала на месте все выяснить, к управляющему предлагаю сходить.

— Верно! — зашумели голоса.

— Так он же болен, — напомнил кто-то из девушек.

— Ребята наши видели его сейчас на складе. — Андрей спрыгнул с ограды. — Пошли!

Комсомольцы выплеснулись из ворот Двора стачки, и Андрей увидел свою мать. Подняв над головой кошелку, она наступала на Митькина, который крепко держался за край мусорного ящика, боясь, видимо, свалиться внутрь.

— Нет, ты мне все начистоту! Улыбочкой-то нечего светиться, я тебе не красна девица. Радуешься, пес, что

на нас француз грозится! Весело тебе, что поляк этот самый, Шпилька-судский, распустил свои усы да саблю нам панскую показывает... Смешно тебе, что бояре румынские на нас зубы скалят, а? Смешно, спрашиваю? Ликует, поди, у тебя душонка-то твоя холуйская, что в Китаянии все белая сволочь в осиное гнездо лепится. Ликуешь, спрашиваю? Да еще ты мне скажи, плешь бесовская, как такое ты посмел — на наши Днепрогэсы ощеряться, хихикать над ними, а?

Вокруг одобрительно подзадоривали:

— Так его, Марфа! Крой с горы, мало будет — подбавим!

— При Морозове зубы скалил, думает, и теперь позволено!

— Кошелкой его, кошелкой!

— Марфа Анисимовна, да ведь ты сама, голубушка... — вскрикнул не на шутку оробевший Митькин, — сама только что... кушайте, говоришь, детки, прянички...

Марфа даже сумку выронила.

— Во-первых, по такому голубю у меня душа сухотой не исходит, не присватывайся: «голу-убушка». Ишь нашелся, плешь бесовская! Это во-первых, а во-вторых, ежели в самом деле не хочешь, чтобы я тебя по рылу смазала, пятилетку не затрагивай, не смей! У тебя где пятилетка-то? Вот здесь? В печенку влезла, а у нас же, ежели с одного боку глянуть, — здесь! — она хлопнула себя по жилистой шее, — а с другой стороны — вот где! — ударила себя кулаком по высокой груди, перетянутой холщовым передником, и выпрямилась. — Явственно это тебе? Не твоя она, пятилетка-то, — наша! Мы ее в муках своих рабочих рожаем, и поэтому могу я про нее говорить без церемониев, как о дите своем, как, скажем, об Андрюшке.

Комсомольцы улыбчиво поглядывали на Андрея.

— Принеси он мне в эту получку на рупь меньше, чем в прошлую, — продолжала горячиться Марфа, — я его, черта безрогого, пропушу и выпушу, хотя он и секретарь комсомольский на своей фабрике. Жадность, скажешь? Врешь! Гордость материнская не позволит мне, чтобы сын мой по работе на рупь ниже стал. Жадность, а? А то тебе ведомо, что я для Андрюшки юбку вот последнюю сниму с себя и загоню, а голодным спать он у

меня не ляжет, нет! — Она всхлипнула, растроганная своими словами, и грозно придвинулась ближе к ящику. — Что это, жадность? Ну-ка, скажи мне, морозовский холуй!

— Ежели я элемент, это не значит, что можно меня... — Митькин расцепил пальцы и опрокинулся, сверкнув голыми подошвами, внутрь ящика. Вскрик его потонул в стонущем хохоте.

— Ишь ведь какой легкий! — уже без злобы удивленно проговорила Марфа, помогая Митькину вылезти из ящика. — Сидел, сидел — раз и нету!

— Пойдемте, — сказал Андрей товарищам, — чего доброго, заметит меня и тоже в ящик вгонит: я ведь несу сегодня не на рубль, а на два с полтиной меньше, чем в прошлый месяц.

В приемной управляющего трестом сидели директора фабрик, инженеры, мастера, профсоюзные работники. У дверей прямо на полу, к большому неудовольствию Зои Фроловны, разместились рабочие. Среди них были и Орловы — Петр и старший сын его Николай, работавший теперь помощником мастера на ОКФ.

Свертывая цигарку, Петр угрюмо поглядывал на Куницына, разговаривавшего с кем-то по телефону.

Увидев комсомольцев, Зоя Фроловна кинулась к двери.

— А вы зачем?

— Не к вам, к товарищу Орлову, — сказал Андрей.

— Управляющего нет.

— Но нам известно, что он...

— Мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой, — опуская на рычажок трубку, пошутил Куницын. — Здравствуйте, молодые товарищи! Тоже из мятежных? Управляющий ваш отбыл в неизвестном направлении, а мы все грешным делом сидим и ждем возвращения его величества. — На губах и в прищуренных глазах его играла улыбка.

Весной, выслушав о его намерении воспрепятствовать распространению призыва катковцев к выполнению пятилетки в четыре года, Угланов усмехнулся: «Зачем держать за штаны тех, которым во что бы то ни стало хочется выше своей головы прыгнуть? Пусть прыгают!»

Слова эти в расшифровке не нуждались: нормы поста-

вок хлопка строго лимитировались, и специальным постановлением ВСНХ за подписью Куйбышева воспрещалось нарушать этот лимит. Но никто, оказывается, не собирался перепрыгивать этот «стоп». Общий контроль за распределением и расходованием хлопка Степан держал в своих руках, а на местах следили комсомольские посты, да и каждый ударник был сам себе контроль: борьба шла за сохранение каждого грамма хлопка, каждой катушки ровницы, каждого початка пряжи. При следующей уединенной встрече с Куницыным секретарь губкома сердито буркнул: «Хватит отсиживаться в окопах», — признав этим самым, что весной был сделан крупный просчет. — «Надеюсь, ты понимаешь: глупо сейчас сидеть сложа руки».

И он, Куницын, не сидел: уже с полсотни коммунистов в округе исключены за этот месяц из партии, многие получили выговоры. Но под Степана трудно было подкопаться, и вдруг, видно, сам бог, как говаривали в старину, прислал к нему вот этого Успенского, доложившего, что на складе остался только аварийный запас хлопка.

«Орлов об этом знает?»

«Я и пришел посоветоваться с вами, Алексей Филиппович, надо ли волновать Степана Петровича?»

Это сразу насторожило: знал, что главному инженеру треста ненавистен Орлов, и вряд ли он стал бы тревожиться о здоровье управляющего. Но это было в мыслях, а с языка уже слетело:

«Да, да, Степан Петрович очень болен. А вы сообщили, куда надо, о том, что хлопок по плановым нормам не поступил к нам своевременно?»

Ожидал — «нет», но Всеволод Никанорович сказал «да».

«Понимаю, и, надо полагать, к тому времени, когда прядильные сработают аварийный запас, хлопок поступит на склад».

«Возможно, а возможно и нет».

«Д-да, история! Но допустить, чтобы фабрики стали, мы не можем, действуйте, товарищ Успенский».

«Даете санкцию?»

«А зачем вам санкция?»

«На себя взять не могу. Орлов и так смотрит на меня чуть ли... Ну да, как на шахтинца».

«Что за чушь!» — возразил он, пытливо вглядываясь в лицо инженера. Тот смотрел, не моргая.

Взять на себя? Но одобрит ли Угланов столь рискованную операцию?

«Подумаю», — пообещал он Успенскому и тотчас же выехал в Москву.

Угланов сказал: «Интересно», — и, пройдясь по своему кабинету, как бы между прочим обронил:

— Это, кстати, очень распространенное явление, когда коммунисты слишком доверяют спецам и спохватываются, когда уж слишком поздно. Понятно тебе это, Алексей Филиппович?

Чего ж тут не понять?

Вернувшись в Орехово, он позвонил Успенскому и сказал:

— Ладно, санкционирую.

Утром, когда ему доложили об остановке прядильной № 2, он перечитывал «Записки экономиста», в которых Бухарин откровенно возвращался ко всему тому, от чего вынужден был отказаться в прошлом году. Смело, дерзко, а если оглянуться на КВЖД, то и... безопасно. Наркоминдел явно переборщил в тонах, когда китайские власти захватили дорогу. Если бы там был только Китай... Но за спиной у того — пушки всех капиталистических стран, и этот Чан Кай-ши — маленький сам по себе человечишко — рассмеялся в ответ на громкую ноту Советского правительства. На всех должностных постах, которые до налета занимали советские работники, сидят там теперь русские белогвардейцы и китайцы; разгромлены кооперативные и профсоюзные организации. Обнаглевшие банды врываются в жилища советских людей. Сначала газеты сообщали: шестьдесят арестованных советских граждан, потом двести, а теперь число их перевалило уже за тысячу. Есть сведения о пытках и расстрелах. А грозное предостережение Наркоминдела так и повисло в воздухе. Конечно, если судить со стороны, то выступление Бухарина может показаться неуместным, но с точки зрения самой оппозиции выбранный им момент — всего-навсего стратегический и, следовательно, оправданный: если и в прошлом году большинство ЦК заставило Бухарина, Рыкова и Томского взять свои заявления об отставке обратно, то тем более не рискнет пойти на раскол теперь. Нет, лидеры оппозиции теперь

не склонят головы. Народ? Народ победителей не судит... Не исключено, что, когда пойдут насмарку все эти планы индустриализации и коллективизации, Китай и западные государства отведут свои войска от советских границ, и народ будет аплодировать тем, кого сейчас поносит... Но пока еще не поставлены все точки над «и», надо ли везде и во всем раскрывать себя?..

— Если есть настроение, присоединяйтесь, — пригласил Куницын комсомольцев. — А Зою Фроловну попросим, ради такого случая, сменить гнев на милость.

— Да мне пусть хоть весь город вопрется, — сказала та.

Успенский улыбнулся.

— Большего беспорядка от этого не будет.

— Но зато принципы демократии реализуются полностью, — с хохотком подхватил Стребулаев.

— Скользкая шутка! — одернул его Куницын.

Председатель окрпрофбюро предупредительно протянул севшему в кресло секретарю раскрытый портсигар. Куницын закурил.

— Неправильно поступают те товарищи, которые любую неполадку готовы отнести за счет партийного руководства.

— Да-да, партию не тронь, — вмешался было опять Стребулаев и смолк под взглядом родича.

— Мы не против соревнования вообще, — продолжал тот, любуясь колечками дыма, — мы против соревнования в текстильной промышленности, потому что...

— А кто это мы? — прервал его Петр.

— Члены партии, товарищ Орлов, которые не хотят вот таких событий, — Куницын кивнул на окно. — Соревнование в текстильной промышленности могло бы иметь место при наличии мощной хлопковой базы, а у нас ее кот наплакал. Отечественный хлопок — это журавль в небе, а для заграничного наша советская курочка еще золотого яичка не снесла.

Сидевшие в углу инженеры и мастера рассмеялись. К ним присоединился и Стребулаев, звонко отчеканивая: — Ха-ха-ха...

Рябоватое лицо вальцовщика с прядильной № 1 Максима Павлова залила краска:

— Не партийный разговор, товарищ секретарь.

Рабочие с лестничной площадки хлынули в дверь, продвинув комсомольцев на середину комнаты. Зоя Фроловна смолчала, но глаза ее гневно оглядывали опорки, сандалии и ботинки.

— Да ты кому это говоришь? — набросился на Максима опомнившийся Стребулаев. — Секретарю окружкома, не стыдно?

— О стыде в другое время поговорим.

— А тебе-то не стыдно? — рванулась к Стребулаеву женщина в выцветшем синем платке, повязанном назад концами. — Второй месяц не могу попасть к тебе на прием. Ишь какая фря занятая, бюрократ чертов! Вот как двинем из нашего города под зад коленкой...

— На грубости не отвечаю, но все же должен сказать — не вами поставлен.

— А составлен нами будешь, не у меня одной на этот счет руки чешутся.

— И вам не стыдно?

— Заладил одно,—сказал Петр,—чего это нам стыдиться-то тебя?

— Товарищи, да я ведь не за себя, за секретаря окружкома партии вступился, — пролепетал растерявшийся Стребулаев.

— И напрасно, — рассердился Куницын, — товарищ Павлов молодой член партии, и не стыдить его надо, а спокойно и толково разъяснить, что сила нашей партии в неразрывной связи с народом, в том, что она никогда и ничего не скрывает от своего народа. У некоторых наших товарищей слишком горячие головы, они забывают, что руководить промышленностью — это не на коне мчаться с саблей наголо. Вот в Твери досоревновались, сработали плановую норму хлопка, и теперь зубы на полку. Восемнадцать процентов рабочих пришлось сократить, остановилась Трехгорка.

— Что же вы предлагаете, товарищ Куницын, — свернуть соревнование? — хмуро спросил Андрей.

— Таким, как ты, товарищ Катков, бесполезно что-либо предлагать, а вот Степан Петрович...

— Приказ о развертывании соревнования подписан товарищем Куйбышевым. А Центральный Комитет партии принял на этот счет специальное постановление, — напомнил Максим. Стоявший у окна Воронин, технический директор ОКФ, обернулся — над высоким лбом

густая шевелюра, у глаз множество мелких морщинок.

— Не скажу, что я твердо уверен в том, что все записанное в пятилетнем плане, будет осуществлено, но мне понятны те люди, которые стремятся и выполнить и перевыполнить, — в этом высоком горении есть ясность цели, а вот цель, которую преследуют «правые», извините, не доходит до меня, беспартийного человека.

— Цель у всех нас, Иван Иванович, одна.

— Да пути-дорожки разные, — усмехнулся Максим.

Куницын вперил в него настороженный взгляд:

— Договаривай!

— Сам знаешь, яловая пеструшка и побелится, да все равно не отелится.

— То есть?

— Мы взяли твердый курс на тяжелую индустрию, на коллективизацию.

— Кто это мы?

— Миллионы, которые идут за ЦК ленинской партии.

— А вы пытаетесь нам под ноги клею плеснуть, не выйдет! — крикнул кто-то от двери.

— Товарищи, — запротестовал Куницын.

— Правду и партийному секретарю не грешно послушать,—осадил его Петр, а сам обернулся. — За дверью нечего геройство выказывать, на глаза выходи.

— И выйду. — В комнату протиснулся паровщик с ткацкой № 3, прозванный за свой рост Каланчой.

— Ведомо ли тебе, товарищ секретарь, что такое, к примеру, кулак? А мне ведомо. В разруху ездил в хлебородную сторону и за три года всласть набатрачился.

Петр одобрительно кивнул.

— Не дрогнет у Парамона-Каланчи рука, — продолжал паровщик, — а вот кое у кого из липовых коммунистов дрогнула, крик подняли: караул, держите, мол, Парамона-Каланчу, не то он нажмет на мироедов, а с мироедом надобно поласковей — не супротив, вдоль шерстки гладить, и тогда, дескать, он сам свою волчью шкуру спустит, как овечка, доиться придет. Доите, скажет, сколько душеньке угодно, хоть я и кулак, да... — Каланча защелкал пальцами и досадливо наморщил лоб.

— Всеми копытами в социализм врос, — подсказал Максим.

— Во-во, мирным путем.

— Товарищ Павлов, вероятно, забыл, что произошло на прошлой неделе? — еле сдерживая себя, спросил Куницын.

— Выговор? Не признаю я его.

— Он не признает! — захохотал Стребулаев. — Окружком утвердил, а? Скажи, утвердил?

— Есть инстанция и повыше окружкома. — Максим с прищуром посмотрел на закурившего Куницына. — Не к месту бы здесь вести этот разговор, но, раз уж так получилось, я объясню... — но оглянулся и умолк, увидев управляющего трестом и Опанасенко. Лицо Степана было бледно, а лоб казался рябым от испарины, и Леонтий Петрович поглядывал на него обеспокоенно.

— Досоревновались? — не без ядовитости осведомился Куницын.

Степан прошел к столику, за которым сидела Зоя Фроловна.

— Приготовьте машинку.

В приемной все стихло, лишь в окно вливался неумолчный гул тысяч людей. Степан смахнул рукавом шинели со лба пот, кашлянул.

— Печатайте: «Приказ по третьему государственному хлопчатобумажному тресту номер... поставьте очередной. Пункт первый. Виновника остановки фабрик гражданина Успенского Всеволода Никаноровича...»

Успенский соскочил со стула:

— Господа, простите, товарищи... это произвол, и я...

— «...считать с сегодняшнего дня...— не повышая голоса, продолжал диктовать Степан, — освобожденным от должности главного инженера треста».

Поднялся и Куницын.

— Это что же, многоуважаемый Степан Петрович, с больной головы да на здоровую? Стрелочников выискиваешь?

— «...Дело о нем передать, — Степан опять закашлялся, — следственным органам».

Лицо Зои Фроловны побагровело:

— Степан Петрович, по-моему, это несправедливо.

— А ваше мнение меня сейчас меньше всего интересует. Печатайте: «Дело о нем...»

— Нет, у меня и руки не поднимаются, лучше уж я пополню собой ряды безработных, чем... — Она встала.

Степан пристально вгляделся в ее злое лицо и, проговорив «вольному воля», обернулся к комсомольцам, смотревшим на него одобрительно и почти восторженно.

— Позовите, ребята, машинистку из расчетного отдела. Это хорошо, что ты здесь, — сказал он брату и, подойдя к Воронину, протянул ему руку:—Здравствуйте, Иван Иванович, придется вам принять на себя обязанности главного инженера.

Воронин растерялся.

— А ОКФ?

— Не беспокойтесь, дорогуша, — успокаивал Куницын расплакавшуюся Зою Фроловну, — без работы вы не останетесь, скорее всего кто-то другой отсюда уйдет— партия не допустит произвола!

— Это уж как пить дать, — подхватил Стребулаев.

Голоса их злили Степана, мешали сосредоточиться; голова и без того была тяжелой и жаркой.

— Подумайте и дайте свои соображения, — сказал он Воронину. — Партячейка тоже даст свои соображения, это, Николай, надо сделать сегодня же.

Брат кивнул.

— Ты что... и партийными делами уже командуешь? — Куницын подошел к нему, задышал прямо в лицо. — Окружком, значит, уж так себе, пятая спица в колесе?

— Если у окружкома будут какие-то веские доводы против наших кандидатур, заводоуправление, конечно, к ним прислушается, — устало сказал Степан. Леонтий Петрович взял его руку, но Орлов резко отдернул ее. — Не время заниматься подсчетами пульса! Не надо, — добавил он, догадавшись, что Опанасенко собирается просить набившихся в приемную людей выйти наружу.

— А ты почему здесь, доктор? — накинулся на Опанасенко Куницын.

— По врачебному долгу, а также... должен напомнить, очевидно, — я член бюро окружкома.

— К сожалению, — Куницын буркнул это себе под нос, но многие все же услышали, и там, где стояли рабочие, пронесся ропот.

Машинистка расчетного отдела, молоденькая комсомолка, прибежала встревоженная. Степан кивнул ей на стул и, когда она села, приказал:

— Печатайте: «...Дело о нем передать следственным органам. Пункт второй. С этого же числа исполнение обязанностей главного инженера треста возложить на инженера-технолога Воронина Ивана Ивановича, освободив его от должности директора ОКФ. Управляющий третьим хлопчатобумажным трестом Орлов.».

Он подписал один из экземпляров и передал Андрею Каткову:

— На доску. Роспуск рабочих, товарищи, и связанная с ним деморализация тоже гораздо больше, чем простое головотяпство. Иван Иванович, прошу вас вступление в новую должность начать с выправления этого промаха. — Степан посмотрел на часы. — Через пятнадцать минут время смены — гудок не отменяется. Сообщите сейчас же рабочим, что работа на фабрике продолжается. Пока не прибудет наш хлопок, а он прибудет, и скоро, на всех фабриках объявляется генеральная чистка станков и машин.

— Понимаю, — сказал Иван Иванович и направился к выходу. За ним, будто ошпаренный, кинулся Успенский, Зоя Фроловна плакала, уткнув покрасневший нос в платок.

— Степан Петрович, все? — спросила машинистка расчетного отдела.

— Пока все, девушка.

— Нет, многоуважаемый, только начало, — пригрозил задержавшийся в дверях Куницын.

Степан уловил в его голосе злобу, но это не воспринялось как нечто существенное. Главное сейчас был хлопок — найти его, а также и тех, которые черт знает куда загнали вагоны с хлопком. — Вызовите Москву, — попросил он.

— Может быть, это из дома можно сделать? — тихо сказал ему Опанасенко.

— Нет, отсюда.

Леонтий Петрович сам подошел к аппарату.

— Станция? Москву. Кого в Москве? — он зажал ладонью мембрану, — ВСНХ, Куйбышева?

— Да, — ответил Степан, слушая, как стихал и удалялся на улице гул. Вероятно, Воронин успел уже сообщить о том, что фабрики не закрываются. Заревел гудок, а когда он смолк, стал вдруг отчетливо слышен голос радио:

— «На советско-китайской границе...».

Опанасенко, выжидавший с трубкой возле уха, торопливо сказал в нее:

— Спасибо. Москва? Алло! Москва...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В раскрытые окна ЦК комсомола ветер забрасывал тяжелые запахи испарений асфальта и выхлопков автомобилей. Стекла розовато отсвечивали от лучей распаренного солнца, оседавшего за крыши дома по ту сторону Старой площади.

Илья толкнул дверь. В приемной Болышева, как и всегда в эти вечерние часы, было тесно и шумно. Русская речь перемешивалась с напевной украинской, перебивалась гортанными голосами кавказцев, узбеков, туркмен. Необычной, пожалуй, была здесь толкотня пионеров, но ведь и вся Москва в эти дни стала пионерской.

— А наших все нет, — взглянув на Орлова, вздохнула девушка с двумя длинными косами, кажется, туркменка. — Вся советская делегация прибыла, а наши... Поезд, что ли, запаздывает? — Она высунулась в окно и, радостно вскрикнув: — бар! — кинулась к двери.

Девушка-секретарь приподняла от бумаг голову.

— Товарищ Орлов! Здравствуйте, — улыбнулась она, когда он, кивая на ходу знакомым комсомольцам, пробрался к ее столу. — Шарада одна есть, не поможете ли разгадать? Что такое «К», черточка и на конце «я»?

— Фу, сразу есть захотелось, — рассмеялся Илья, — по-моему, кулинария.

— Согласна, если только она на двух ногах. — Порывшись в ящике, девушка дала ему открытку с двумя ветками сирени. На обратной стороне было написано:

«ЦК ВЛКСМ, Орлову Илье Степановичу», здесь же на полях бисерными буквами — «пишу на ЦК, потому что потеряла адрес твоего университета», а на второй половине всего полторы строчки:

«Авось когда-нибудь да вспомнишь
обо мне.

К-я»

— Ну что, кулинария?

— Мне, собственно, к Сергею Васильевичу, — вспыхнув, торопливо проговорил Илья.

Большев разговаривал по телефону. Кивком указав Орлову на кресло, он поморщился, точно от зубной боли, и резко крикнул в трубку:

— Оставьте рядиться в разные объективные причины, пора понять, что Турксиб — это не просто дорога из Сибири в Среднюю Азию.

Илья прошел к окну. Ветер дул с Москвы-реки. Вдыхая его полной грудью, он оглядывал алевшую флагами площадь, а сердце колотилось учащенно и, казалось, не переставая напевало:

«К-я... Ксения... Ксюшенька!»

«Значит, все, что думал я, — чушь... Ну, не пришла проститься — вероятно, нельзя было, а я уж черт знает что подумал! Но какой же ее адрес? Сокольники... А дальше?»

Гарди да табон
Тагай до гафле.

Из-за угла здания ЦК партии под звуки барабанов и карнаи выплеснулась на площадь пестрая колонна пионеров: узбеки, таджики, казахи, туркмены.

Хабат тажнайон...

Повинуясь флажку милиционера, по обе стороны перехода неподвижно застыли трамваи, автомобили, пролетки; извозчики в заплатанных кафтанах, подпоясанных цветастыми кушаками, сдерживали остановленных на всем скаку лошадей; из окон трамваев высовывались машущие руки и платки:

— Детям страны хлопка пролетарский привет!

— Бор-булинг. Уртак-лар. Москва-дан!

Колонна пестрела тюбетейками, лохматыми шапками. Среди плакатов и знамен выделялось большое красное полотнище. Цифры 5 и 4 делали понятным и весь смысл написанного на нем. Несли этот плакат мальчик и девочка в полосатых халатах и черных тюбетейках, расшитых серебристыми цветами. Илью поразило своим выражением лицо девочки — и восторженное и немного испуганное. Наверное, не только в действительности, но и на картинках не видела таких громадин, как дома в Москве. Он приветственно поднял руку, на какое-то

мгновение узбечка задержалась шустрыми глазенками на его лице и улыбнулась.

«Хабат тажнайон», — гремела на площади песня, а откуда-то издали под грохот барабанов донеслось: «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян...».

От Иверских ворот шли встречать гостей хозяева города — московские пионеры. В матросках и бескозырках с голубыми ленточками — шефы Балтфлота! Ой, сколько их — целое половодье! А давно ли ушло то время, когда пионерский галстук был в диковинку.

— Салам! Бор-булинг! — сминая песню, кричали гости в ответ на приветствие московских пионеров.

А голос Болышева умолк. Илья обернулся:

— Здравствуй, Сергей Васильевич! С кем это ты так?

— Из Средазбюро: говорят, что до Турксиба у них никак руки не доходят, культурной революцией заняты. — Глаза Болышева сузились. — Подзатыльников ждут. А ты о чем задумался? Я уже второй раз окликаю тебя.

— Да вот... — Илья подвинулся, чтобы дать ему место у окна. — Гляжу на них — и двадцать второй год, свое пионерство вспомнил. Было нас всего десять парнишек — оборванные, голодные, галстуки из старых платков пошиты, а в груди так и полыхало: даешь революцию во всем мире! О меньшем и думать не хотелось. Хулиганы, помнится, забрасывали камнями. — Он улыбнулся. — Да, тяжеловато было пробивать дорогу, а теперь смотри-ка, что... Годик-другой — и понятие «неорганизованные ребята» выйдет в тираж. Верно? Всеобщая пионерия перельется во всеобщую комсомолию и дальше... Понимаешь меня, Сергей Васильевич? Пробуешь заглянуть в это «дальше», и дух захватывает. Смотрел вчера из окна Свердловки, как проходили зарубежные пионеры, и подумалось: вот оно, марксистское, «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Никаким брианам и чемберленам не заморозить дыхание нашего Октября — ни расстрелять его нельзя, ни повесить, так ведь, товарищ Болышев?

— Так, Илюша, — сказал тот тепло. — Да что же я не поздравляю тебя — все благополучно?

— Угу, кругом на «вуды».

Они отошли от окна и сели за стол. Закуривая, Большев спросил:

— У тебя на осень какие планы?

— Дел хватает, но вообще-то... на коллективизацию.

На столе враскидку лежали газеты. Илья задержался взглядом на жирном заголовке в «Вечерней Москве»:

НАГЛАЯ ПРОВОКАЦИЯ КИТАЙСКИХ ВЛАСТЕЙ

Столкновение Н-ской пограничной части ОДВА с белокитайскими бандами

В утренних газетах не было этого сообщения.

Большев встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету.

В конце мая в ЦК пришло письмо с неразборчивой подписью:

«Товарищи комсомольское руководство! У комсомола, очевидно, на словах одно, а на деле другое. Сколько пишется и говорится о чистоте комсомольских рядов и коммунистической морали, но, похоже, вожаков это не касается. Вот, например, на Кашинском курорте отдыхает сейчас член ЦК ВЛКСМ Илья Орлов. Нет ему никакого дела до коллектива курортников, на рабочую молодежь и смотреть не хочет, потому что все свое время проводит со смазливой девицей сомнительного социального происхождения, некоей Ксенией Нефедовой».

В ком еще, а в Орлове Большев был так уверен, что в день возвращения того с курорта даже и не вспомнил об этой анонимке, а сегодняшняя открытка, которую показала ему секретарша, насторожила.

Илья поднялся с газетой в руке.

— У тебя нет более подробных сведений об этом столкновении?

— А что?

— Брат у меня там.

— Василий? — спросил Большев, хотя знал, что другого брата у Орлова не было, и как бы между прочим поинтересовался:

— А кто она, эта «К-я»?

— Она... — Илья смутился.

— Меня ждут, — отведя глаза, сказал Большев, — ты обожди здесь, поговорим.

Он вышел, а Илья опустился в кресло, перечитал тассовское сообщение о столкновении на КВЖД, потом вынул открытку.

Цветы... Бабочка с золотистыми крапинками на крылышках...

Ну да, это накануне отъезда... Был один из тех дней, непередаваемо прозрачных, какие бывают в средней полосе России только ранней осенью и в мае, когда блещут и светятся, с неторопливой беспечностью скользя по воздуху, каждая паутинка, каждое волоконце.

Перейдя через быстроводную Кашинку по шатающемуся на высоких козлах мостику, они пошли лугом. На руку Ксении присела нарядная бабочка, потрогала усиками кожу и, вспорхнув, долго кружила над лугом: опустится на цветок и тотчас же летит к другому. Их заинтересовало, какой же облюбует она? Ксения указала на островки колокольчиков, но бабочка облетела их стороной и села на цветок с желто-синей головкой.

— Запиши, Ксюшенька, один... — Он хотел сказать «один ноль в мою пользу» и стушевался из-за этого сорвавшегося с языка слова «запиши», но она взяла его за руку.

— Нет, говорите... говори мне «ты», я хочу этого, Илик, очень.

— Да нет, я только намеревался обратить ваше... ну, хорошо, твое внимание, что и у насекомых может быть безошибочное... — Кажется, он собирался сказать что-то о чувстве прекрасного, а взглянул на нее — и сразу забыл про луг, цветы и бабочек, пораженный красотой ее просиявших глаз. — Да, конечно, да! — вырвалось у него, как в бреду.

— О чем ты? — спросила она. И до чего же приятно было слышать от нее это «ты»!

Рассмеявшись, он взял в свои обе ее руки. Они шевельнулись в его ладонях и безвольно замерли, точно она хотела отнять их и не решилась или не нашла в себе на это сил.

— А бабочка все же ошиблась, — сказал он, любуясь ее зардевшимся лицом, — ...самый красивый цветок на этом лугу — это...

И опять он не договорил короткое «ты», кажется, потому, что подумал: а ведь это правда, стоявшая перед ним девушка и внешностью своей и душой, которую он

только что увидел в ее глазах, так и напрашивалась на сравнение с цветком, но не таким, как эти, привычным к ветрам и непогоде.

«Надо, чтобы между ней и жизнью не было оранжерейных стекол, разбить их, и тогда все будет хорошо».

До позднего вечера пробродили они в окрестностях города. О чем говорили — это не закрепилось в памяти, но, помнится, когда распрощались у ее дома и он остался на улице один, на душе было... Нет, словами это и не скажешь. Бывает так в саду, обрызганном звездным светом, — все столь чарующе, что сердце замирает, а деревья о чем-то грустят... Налетит ветер, зашепчут что-то они, точно разбуженные и охваченные тревогой, заволнуются ветками — и опять тишина. И вдруг запоют в ней, защебечут птицы, ярче разгорятся звезды, а где-то в глубине сада, в зеленой гуще его, чудятся вздохи...

Любовь? Помнится, он стеснялся этого слова, хотя знал уже, что это она вошла с ним вместе в санаторный корпус и не давала сомкнуться непривычно влажным, погорячевшим глазам.

В палате было темно. Слышалось спокойное дыхание соседей. В два боковых окна зеленовато-серыми рукавами протянулся свет луны, и на серебристом тополе, что дотрагивался до стекол трепетными тенями, какая-то птичка меланхолично насвистывала: «Фиють-фиють...»

Он надел пижаму и осторожно, чтобы не потревожить спящих, вышел на террасу.

За дорогой спал город — дома и зелень, зелень и дома. В мутной дымке вырисовывались пузатые купола церквей, а девичий монастырь на песчаной горе, казалось, уперся в проплывавшее над ним облако. Осыпанное звездами небо безмолвно смотрело на спящую землю, и звезды были похожи на живые глаза, сверкавшие слезами восторга. Смотрел он вокруг и чувствовал, что у него на глазах тоже слезы и что сами они светятся, как эти звезды. И можно ли было в те минуты допустить мысль, что все это мираж, за которым нет ничего, кроме черного и холодного обрыва! А ведь утром вышло именно так — последнее рукопожатие с кем-то из провожающих и грубый голос возницы:

— Н-но, трогай!

Лошадь бежала, неторопливо помахивая мочалистым хвостом. Горя на солнце златоглавыми куполами, медленно плыл девичий монастырь вместе с песчаной горой, на которой стоял. В крутых берегах, заросших непролазным кустарником, то исчезая, то вновь появляясь, сверкала Кашинка. Но в душе было какое-то тупое безразличие к этой дикой красе. Казалось, все замерло в ней на одном горьком слове «не пришла». Не упрекал ни себя, ни ее: видимо, взвесила все и не решилась разбить оранжерейные стекла.

«Ну что ж?..» Он смял бумажку, на которой Ксения написала свой адрес, и швырнул. Ветер забросил ее в выбоину, потом выгреб и покатил по лугу. А он лег на спину и устало закрыл глаза. Колеса гремели по ухабистой дороге с тягучим скрипом, словно вот-вот готовы были разлететься. Все представлялось конченным, и вдруг: «Авось когда-нибудь да вспомнишь обо мне!»

«Сокольники... Сокольники... Тринадцать», — подсказала память, и он кинулся к двери.

Болышева в приемной не было.

— Сергея Васильевича вызвал к себе Косырев, — сказала секретарша.

— Экая досада! — пожалел Илья и, прикрыв дверь, повторил про себя еще раз: «Зеленый переулок, тринадцать, дом профессора Нефедова».

Вечерние краски над Москвой блекли, в домах зажигались огни, вписывая в сгущающуюся сумрачность белесые квадраты. Кое-где они походили на строчки.

Над проносившимися трамваями вспыхивали и гасли синеватые огоньки.

«Дом тринадцать... тринадцать... тринадцать...» Илья выкурил вторую папиросу, а Болышев все еще не возвращался. На календаре его рукой были сделаны какие-то торопливые записи. Илья написал под ними: «Буду завтра утром».

На пути к трамвайной остановке его обогнала машина. Зимин! Отец просил обязательно побывать у него.

— Алексей Дмитриевич!

Машина не остановилась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Третьего дня, во время обыска в квартире Крамского, на глаза Зимину попал черновик письма профессора к какому-то агроному. За торопливыми строчками чувствовалась страстная горячность человека, влюбленного в свою профессию, и это тоже подтверждало не раз уже возникавшую у него мысль, что Крамской попал в «эпопею» на пограничных болотах по недомыслию и своей доверчивости, которыми ловко воспользовались, может быть, те же... Осадчий и Нефедов.

«Весть об обыске подкосит старика», — подумал он и уже сел за стол, чтобы оставить профессору записку с просьбой по возвращении позвонить ему, но из соседней комнаты окликнули:

— Товарищ Зимин!

Ковер в той комнате комом валялся у дверей, пол был разворочен. Пожилой чекист держал в руках красивую шкатулку с приставшими к ней комочками глины. Шкатулка была заперта, вскрыли ножом: бриллианты -- ожерелья, браслеты, кулоны. В пухлом свертке — франки, доллары, а в самом низу лежали три листочка: два испещренных цифрами, на третьем что-то написано по-французски. Группы цифр, дроби десятичные и простые, какие-то формулы, отделяющиеся друг от друга запятыми, и перед каждой буквы в алфавитном порядке.

Зимину вспомнилось, что товарищи из отдела еще весной засекли французскую рацию, передававшую набор цифр, записали несколько передач, но так и не смогли до сих пор ни одной из них расшифровать.

«Не ключ ли?»

Драгоценности, вероятно, принадлежали Крамской, а шифровки?.. Не верилось, что у истоков так тщательно замаскированной контрреволюционной банды могла находиться эта «стареющая дура», как мысленно окрестил он жену профессора в тот день, когда она поила его здесь кофе и, расспрашивая, что делает муж на границе, томно улыбалась и «строила глазки».

— Часто бывает в этой комнате профессор? — спросил он с любопытством таращившую глаза домработницу.

— Хозяйкина комната, а они...

— Что они?

— Чудно как-то живут, едят поврозь, в коридоре повстречаются — не смотрят друг на дружку, ровно чужие.

— Но бывает он в этой комнате?

— Чего не видала, того не видала, врать не буду, недавно я у них. Его-то всего с месяц и застала, а потом как уехали, так и нет их. Наведываются, правда, заночуют порой, день-другой побудут и опять нет. А вы ведь, сдается, приходили к нам, или я обознавшись?

— Возможно, — сказал Зимин, думая, если шифровки профессора, то сам факт, что они лежали вместе с драгоценностями Крамской и в ее комнате, говорил, что у того нет от нее тайн и, значит, она не так уж примитивна, как показалось, а сам Игорь Борисович, выходит, тоже куда коварнее и опаснее своего отрадненского братца: на Леонида Борисовича стоило лишь взглянуть— и сразу чувствовалось: враг, а этот... симпатичная личность с красивыми печальными глазами! Но Осадчий? Нефедов?

С лета прошлого года ОГПУ мало продвинулось в раскрытии контрреволюционной организации, хотя было уже достоверно известно, что она есть, знали и ее название — «Промпартия». Не больше продвинулся и сам Зимин в «расшифровке» Осадчего, хотя, чем дальше уходил в прошлое шахтинский процесс, тем больше крепло его убеждение, что из Колонного зала была передана тогда директива для промпартийцев: «Планируйте пятилетку так, чтобы одно предприятие мешало нормальной работе другого, но делайте это тонко, по-инженерски, и если доберутся до вас чекисты, разложите перед ними многотомные труды по экономике, десятки и сотни научных трактатов, любезно укажите коэффициенты, которыми вы руководствовались, — пусть разбираются! Не страшно, если где-нибудь технический фокус и раскроется, признайте — «ошибка», «недоразумение» — и исправьте. На общей картине это скажется не больше, чем один черный волос в седой голове. Обобщений быть не может: даже внутри одного треста у предприятий должны быть разные исходные для плановых норм... И, разумеется, своя «технология» и свои «коэффициенты». А во избежание преждевременных подозрений у большевиков ведите планирование с «отдушинами», например, в текстильной промышленности для некоторых предприятий

и снабжение сырьем и нормы выпуска продукции запланируйте без фокусов, пусть славословят их на всю страну, а нам будет на кого ссылаться: как видите, мол, нормы вполне реальные, решающее слово за культурой труда — эти предприятия ее имеют, другие нет. Но такое «планирование» — лишь один из образцов инженерского почерка во вредительстве. Для подлинной творческой фантазии просторы не ограничены. Сводите к нищете советскую экономику; под маркой нового социалистического стиля проектируйте заводы и фабрики-дворцы; создавайте «пробки» на транспорте и пустоту на прилавках магазинов; пусть чаще гаснут огни электростанций, на долгое время оставляя промышленные предприятия без энергии, — все это и многое другое и есть «инженерский почерк во вредительстве: никаких поджогов и взрывов, не разрушать, а нарушать». Таких подробностей в речи Осадчего, конечно, нельзя было вычитать, но их в изобилии давала жизнь.

Какие только комиссии не разбирались весной в плановой чехарде. Листали гроссбухи с техническими расчетами, но все цифры, утвержденные съездом партии, были на месте.

В чем же дело? «В культуре труда, товарищи!» Именно так сказал тогда Нефедов ему в НИТИ: «Культура труда решает, товарищи! Великое это дело! Спрашиваете, не занижены ли нормы поставок сырья? Нет, я лично проверил, все научно обосновано. Кое-где мы рекомендовали нормы поставок хлопка значительно большие, чем, например, в Европе и Америке. Очевидно, все дело в том же — в культуре труда. Да, вас интересует, можно ли увеличить находящимся в прорыве прядильным нормы хлопка? Вероятно, более правильно поставить вопрос иначе: надо ли? С точки зрения технологической... увы! Но если вас интересует не логика цифр и коэффициентов, а, так сказать, мотивы целесообразности и политики, то я тоже беру на себя смелость повторить— нет! Ибо это было бы далеко идущей уступкой вчерашнему дню, к тому же очень и очень дорогой. Наверное, вы знаете, не просто деньги, а бешеные деньги вынуждено было наше правительство в прошлом году уплатить за хлопок Кларкам и иже с ними. Простительно ли бросать его на ветер? Где выход? Я вижу его в том, в чем и вся советская общественность, — в равнении на пере-

довиков. Сравните проценты отходов у них и у тех, что поднимают вопль о заниженных нормах поставок хлопка, — не здесь ли добрая половина пряжи, так и не попавшей к ткачам?»

А проекты этих «текстильных фабрик — дворцов труда» в пограничной зоне вышли ведь тоже из недр НИТИ.

...Опечатав комнаты и распорядившись доставить Крамскую, как только появится, он поспешил на Лубянку.

Листки Ягода послал в отдел, а драгоценности долго перебирал в руках, любуясь их сиянием и блеском.

— Идеалист? Романтик?

— В деле этом еще много неясного, — проговорил Зимин, сделав вид, что не заметил откровенно издевательского тона зампреда.

— Да? — прищурился Ягода. — Пользуетесь, уважаемые, болезнью председателя и распустились, «бабами стали»! Ясность вот так добывается, — он распрямил ладонь и тотчас же сжал пальцы.

Трубку с зазвонившего телефона снял не вдруг.

— Ягода! А? Ага! — Лицо его залоснилось от улыбки. — Я этого и ожидал. Можете не сомневаться, товарищ Ягода не какой-нибудь там... В общем, раскрывайте и текст. Мобилизуйте всех, объявите: никто не выйдет из этих стен, пока не будет прочтен текст. Это приказ. Все! — Он положил трубку. — Цифровая шифровка — ключ к парижской рации. Дальнейшую ясность будешь ждать?

— Нет.

Ягода рассмеялся, а глаза его торжествовали, словно это лично он выявил Крамского и своими руками откопал шкатулку с драгоценностями и шифровкой.

— Товарищ заместитель председателя, какие будут ваши указания по делу Крамского?

— Никаких. Я сам поведу его. Разогнать бы вас всех отсюда к чертовой матери — «чекисты»! Иди... Хотя, выедешь в Оршу. Сигнал оттуда был, разберись. Дело, кажется, там пустяковое, по плечу тебе.

— Товарищ Ягода, кроме дела Крамского, я веду и другие дела.

— Извольте выполнять, что приказано!

— Слушаюсь. Дисциплину я знаю, но о нашем разговоре вынужден буду поставить в известность и товарища Менжинского и партийный комитет.
— Пожалуйста.

Из Орши Зимин прибыл сегодня на рассвете, и когда пришел в отдел, Зинченко положил на его стол папку: «Крамской Игорь Борисович».
— Он уже здесь?
— Два дня.
— А Крамская?
— Не появлялась в квартире.
К папке была пришпилена записка: «Можете нянчиться со своим идеалистом, но знайте меру». Подписи не было, но Зимин и без нее узнал размашистый почерк зампреда. На листках в «деле» не было ни одной записи.
— Никто не допрашивал?
— Ягода. Дважды.
— Менжинский все еще болен?
— Здесь.
Это вполне объясняло, почему зампред раздумал сам вести дело Крамского. Но, может быть, оно показалось ему бесперспективным? Однако занимать мысли Ягодой было недосуг: ждали своей разгадки дела куда значительнее.
Просмотрев и другие бумаги, Зимин распорядился вызвать Крамского.
Игорь Борисович вошел в кабинет, потупив взор.
— Вот и опять мы встретились, — сказал Зимин.
Профессор медленно поднял голову и вздрогнул:
— Вы?
— Я, Игорь Борисович.
— Следовательно, это я вам обязан?
— Себе, профессор. Садитесь.
Крамской остался стоять.
— Говорят, самое трудное слово — первое. Ну что же, я помогу, скажу его сам. С весны этого года, профессор, на польской стороне началось осушение болот. Военщина Пилсудского прокладывала там дороги. Но не это встревожило наших пограничников: и на советской стороне — болота, через которые без проводников, знающих редкие тропы, лучше в путь не пускаться. Да и

ожидать здесь вторжения вражеских войск было просто смешно. Крайне изумило и встревожило наших пограничников другое: с нашей стороны тоже начали дренажами осушать болота. Причина? Сооружение «текстильных фабрик—дворцов труда». Высокие этажи, широкие окна, колонны, мраморная облицовка, а хозяева — не Морозовы и Коноваловы — сами прядильщики, ткачи и красильщики. Граница и по сторонам ее — два мира. Кто чем живет, мол, то и показывает: они — пушки, а мы им... точно я передаю, профессор Крамской?

— Я уже понял, что попал в нехорошее дело, — тихо сказал Игорь Борисович, — понял и готов принять наказание за... ну, за свою глупую голову, что ли? А то, что пытаетесь вы приписать мне, — сверхвозмутительно. Больше мне нечего сказать, тем более вам. Все рассказал я вам на стройке.

— В общих чертах, — согласился Зимин,—здесь придется поподробнее, с именами, датами и даже... да, лучше всего начать издалека. Вы когда женились, профессор?

На лице у Крамского проступили розовые пятна.

— Я уже заявлял вашему начальству: ничего об этой женщине знать не хочу.

— Но мы хотим, — закуривая, возразил Зимин, — и, может быть, в прямых ваших интересах рассказать, кто она? Чем занимается?

Профессор молчал.

— Подследственный Крамской, чем занимается ваша жена?

— Я заявил так же вашему начальству — шкатулку с драгоценностями впервые увидел здесь.

— А шифровки?

Профессор отвел глаза в сторону.

— Хорошо, оставим пока вашу жену в стороне и продолжим разговор о болотной эпопее. Как возникла у вас эта идея — проложить в болотах дорогу для вражеских войск?

— Такой идеи не было.

— Хорошо, пусть идея «дворцов труда».

— Я рассказал вам все там.

— Когда мы с вами сидели у костра? Помню. Не потрудитесь ли вы повторить этот рассказ и для нее?— Зимин кивнул на секретаря — пожилую женщину, сидевшую за соседним столом.

Крамской молчал.

— Ждете, чтобы и это слово сказал за вас я? Ладно. В один прекрасный день приехал к вам профессор Нефедов... Кстати, когда и где вы познакомились с Нефедовым? Деятельность протекает у вас на разных полюсах — у него текстиль, у вас сельское хозяйство. Да вы сядьте все же.

Крамской продолжал стоять и молчать.

— Приехал Нефедов... Федор Ефремович, кажется? Поговорили о шахтинцах — это понятно; еще долго они всем нам икаться будут. Поговорили о них, и вдруг Федор Ефремович спросил: «Игорь Борисович, а вы, если память не изменяет мне, в молодости увлекались мелиорацией? — И пояснил: — Я вспомнил об этом потому, что услышал об одном очень интересном замысле». Вот здесь-то вы и услышали об этой идее? Так? Сначала она показалась вам несколько странной, да и далекой, и вы сказали Нефедову: «Это не для меня». — «А что для вас? Только кафедра?» — укорил тот. «Нет, — ответили вы, — за кафедру я не держусь, но думаю, в такой стране, как наша, и в такое время найдется настоящее дело и для почвенника Крамского. Жду его!» Нефедов больше не настаивал, а через три дня пришло письмо к вам из Госплана. Вызывал к себе сам профессор Осадчий. Зачем? Не поняли. Но фамилия Осадчий взволновала. Еще в дни процесса над шахтинцами влекло вас подойти к этому человеку и с благодарностью пожать руку за то, что так страстно и гневно поднял он свой голос в защиту чести русской технической интеллигенции. И вот теперь этот порыв сам по себе осуществился. Осадчий в кабинете не стал с вами разговаривать, повез к себе домой и там начал с вами разговор... о той же самой идее. Больше двух часов продолжалась эта волнующая беседа. Из квартиры Осадчего вышли вы окончательно очарованным заместителем председателя Госплана и плененным его идеей. Нигде я не исказил?

— Память у вас завидная, — усмехнулся Крамской.

— Но, может быть, теперь вам есть что добавить?

— Нет.

— А кто из ваших родственников или родственников жены бывает у вас в доме?

Крамской опять промолчал. Глаза его поблескивали и гневом и обидой.

— Кто ваши друзья, профессор? Кто может поручиться за вас, что вы не способны на то, что вынуждены мы вам «приписывать»?

Крамской молчал. Это начинало злить Зимина, и он чувствовал, что окончательно рассеивалось и уходило прочь все то, что невольно подкупало *там* в этом человеке и заставляло думать, что он, пожалуй, всего-навсего лишь орудие других; те, у кого совесть чиста, не держатся так на допросах. Брат Леонида Борисовича! Такой же нос с горбинкой и росчерк бровей знакомый.

— Достаточно ли отдаете вы себе отчет в своем положении, профессор? В вашей квартире найдены шифры, по которым Париж диктует свои приказы затаившимся внутри нашей страны единомышленникам шахтинцев. А вас арестовали среди болот, которые вы осушали, чтобы удобно было перейти нашу границу войскам пана Пилсудского.

— Ложь!

— Не перебивайте и не пытайтесь спрятаться за спину заместителя председателя Госплана СССР. Профессор Осадчий вас не знает, никогда в лицо не видел.

Крамской побледнел.

— Нечестно прибегать к таким методам.

Зимин спокойно встретил его возмущенный взгляд.

— Вы хотите, чтобы он вам сказал это в глаза?

— Да! — с вызовом ответил профессор.

— Хорошо.

Вот о том, что может дать ему эта очная ставка, и думал Зимин, когда не расслышал оклика Ильи Орлова.

«С Крамским, очевидно, теперь ясно, а Осадчий? Нефедов? Действительно ли те — случайные люди в этой «болотной эпопее»? Но почему же тот и другой сначала заметно растерялись? И если они все трое ягодки одного поля, то почему Крамской по собственной инициативе и так легко назвал имена своих единомышленников, а Осадчий и Нефедов столь же легко взвалили все на одного Крамского? Мотивы Осадчего еще можно было понять — его подпись на проекте осушения болот. А Нефедов?

«Конечно, я знаю указание партии, — говорил он позавчера, очинивая зачем-то карандаш: в стаканчике

на его директорском столе очиненных было не меньше десятка. — Ошибки прежних лет в практике нашего института теперь не имеют места, но здесь совсем другая статья. Насколько я понял нашу задачу, фабричные корпуса нужны там не столько для работы, сколько... нет, для работы, конечно, но главное... ну как вам сказать, батенька мой, — символическое звучание? Да, символическое. Граница и на ней два мира — два облика. Здесь уже не грешно было и перешагнуть за рамки нашей повседневности, то есть дать в этих фабриках образ социалистического будущего. Все новейшее — и оборудование и собственно корпуса, разумеется. Наши проектировщики работали с особым увлечением, как истинные мечтатели и художники. Вас интересует, кто автор этой идеи? Профессор Крамской, конечно. Изумительнейшая, между прочим, личность. Брат его оказался контрреволюционером, а Игорь Борисович... еще в дореволюционные времена ярко проявил себя демократом и мечтателем. Правда, выходя из сфер агрономии, в которой он считается довольно-таки крупной величиной, особенно как почвовед, Игорь Борисович может быть наивнейшим до анекдотов. И сначала эта идея показалась мне из того же плана, но, признаюсь, чем больше я в нее вдумывался, тем сильнее она увлекала меня. Смущало лишь одно «но»: средства! Вы, конечно, знаете, какой строжайший режим экономии проводится во всех отраслях нашей промышленности. На копейки счет ведем. А здесь осушение болот, да и возведение невиданных по своему облику фабричных корпусов сулило негрошевые затраты. «Но» это было такого порядка, что я не нашел в себе смелости сказать «да» без предварительной консультации в правительственных инстанциях. Докладная моя дошла до Совнаркома, Алексей Иванович сам наложил резолюцию. Вы, если желаете, можете увидеть эту мою докладную в ВСНХ. Резолюция Рыкова послужила для меня хорошим уроком. Очевидно, не всегда и не во всем следует держаться за копейку. Мечтатель Крамской оказался дальнозорче практика Нефедова!»

«Практик Нефедов...» Ведь он не знал ни слова из того, что говорил «мечтатель Крамской». Да и за проектировку «дворцов труда» мог не сильно тревожиться: рыковское «утверждаю» надежно ограждало. Отчего же

тогда юлил так этот «практик»? Может быть, в те минуты, пока он, Зимин, ехал от Госплана до НИТИ, Осадчий успел позвонить туда, и разглагольствования Нефедова о «мечтателе Крамском» не что иное, как выгораживание Осадчего?

Но при всей запутанности ситуации одно было бесспорно: двух правд не бывает. Шифровки, да и поведение Крамского утром не оставляли места для дум о нем как о человеке, случайно оказавшемся в одном стане с вредителями. И все же Зимин чувствовал, что хочет и ждет, чтобы в этом вопросе — кто автор «идеи»? — правда оказалась на стороне Крамского. Тогда Менжинский не стал бы интересоваться, «давно ли отдыхал». А возможность взяться за Осадчего и Нефедова вплотную и стала бы для неуловимой пока «Промпартии» началом конца. Интуиция? Да, пока это лишь интуиция. Но в чекистской работе без нее нельзя, тем более, если она далеко не беспочвенна.

— Нельзя, — вслух проговорил он, оглядывая Мясницкую. На тротуарах там и сям группами собирались люди.

— События на КВЖД весь народ взбудоражили,— сказал шофер, резко сигналя зазевавшемуся извозчику.

Да, то, что передали с Дальнего Востока, не назовешь простым пограничным инцидентом. Но на Западе ведь не менее тревожно. И эта попытка осушать болота в пограничной зоне свидетельствовала, что удар намечается отсюда. А на Востоке что же тогда? Отвлекающие маневры? Слишком крупно для маневров. И войск скопилось там не меньше, чем в Польше и Румынии.

— А когда вы были в ВТО , улицей англичане проехали, Москву оглядывали. Алексей Дмитриевич, как думаете, договорятся наши с ними?

— Не будем гадать, Семен.

— А ведь дюже худо у нас с хлопком-то, Трехгорка остановилась, слыхали?

Зимин кивнул: именно по этому вопросу и ездил он в ВТО.

— Пользуются случаем, гады! — Шофер, словно ища выхода злости, опять засигналил и только при выезде на площадь сбавил скорость.

До времени, назначенного Осадчему и Нефедову, оставалось еще двадцать минут.

Зимин напомнил коменданту о пропусках и поднялся по лестнице. У дверей его кабинета сидели военный с двумя шпалами в петлицах и белокурый парень с синими глазами. «Военный» был сотрудник отдела, занятый теперь наблюдением за квартирой Берзиных. Зимин поздоровался кивком и выжидательно задержал взгляд на парне. Тот поднялся.

— Из отдела кадров направили в ваше распоряжение.

— А, комсомольское пополнение! — улыбнулся Зимин, просмотрев его документы. — А что умеем делать, товарищ Родионов?

— Все, чему научите, товарищ Зимин.

Зимин рассмеялся.

— Идите к секретарю, она поставит вас на учет, а более подробное знакомство начнем завтра утром. Есть?

— Есть, товарищ Зимин!

В кабинете Зимин одобрительно оглядел прикрывшего дверь «военного».

— Приросли шпалы к воротнику?

— Приросли, Алексей Дмитриевич.

— Ну, рассказывай, какие новости привели тебя? Только сжато, временем сейчас не располагаю.

— Новость всего одна, но я счел нужным доложить вам о ней: у Эммы был ее отец.

— Это действительно небезынтересно, спасибо. Если будут какие-то последствия этого визита, мы должны их знать.

— Дайте нам, товарищ Зимин, на эти дни, пока здесь англичане, подкрепление, ну хотя бы двух-трех расторопных хлопцев.

— Поговорю с Зинченко. Ну, а ты как там — твердо стоишь?

— На всю ступню,—улыбнулся чекист. — Эмма Берзина не знает, где усадить, разговариваем только «дойче»... Об армейских делах не расспрашивает, но я, конечно, по-прежнему «пробалтываюсь», и тогда на лицо ее набегает скучающее, безразличное выражение... Он засмеялся и достал из кармана свернутую трубочкой тетрадь. — Здесь есть интересные сведения кое о ком из посетителей берзинских четвергов.

— Спасибо. — Зимин, не развертывая, положил тетрадь в ящик стола и позвонил секретарше.

— Я задержу вас, Серафима Васильевна, — сказал он, когда та вошла.

— Есть! Звонили из Орехово-Зуева и Твери — остановились фабрики. А вот только что принята телефонограмма из Иваново-Вознесенска: «Вторую неделю не можем получить свой хлопок, создалось катастрофическое положение. Через день-два фабрики могут остановиться. Просим вашего вмешательства. Секретарь горисполкома...» — фамилию я не разобрала.

— Так, так, — проговорил Зимин. И все еще в раздумье снял трубку с зазвонившего телефона. Комендант доложил: приехал заместитель председателя Госплана СССР.

— Можно. Распорядитесь о доставке ко мне Крамского.

Зимин положил трубку и протянул руку «военному»:

— Ребят подберем завтра утром. Фабриками, Серафима Васильевна, займется Зинченко. Родионов у вас?

— Оформляем.

— Пусть Зинченко подключит и его. Передайте и возвращайтесь.

— Пять минут, кажется, я просрочил, — входя, сказал Осадчий. — Добрый вечер, товарищ Зимин.

— Добрый вечер.

— Понимаете, словно эпидемия: везде вдруг начали останавливаться текстильные фабрики. Знаете?

— Знаю.

— Ультиматум англичан и остановка фабрик... Трудно допустить, чтобы это совпадение было чисто случайным.

— А мы и не допускаем.

— Да, конечно, Но какая наглость у этих Томми. Концессии им! — Осадчий высморкался в платок. — Я вам надолго нужен? Дело в том, что через час состоится последний разговор с этими ультиматчиками.

— Несколько минут, товарищ Осадчий.

— Догадываюсь, опять в связи с тем злополучным болотом?

— Да, Крамского сейчас приведут.

— Хорошо, — спокойно сказал Осадчий. — Свежие газеты? С вашего разрешения... День выдался такой сумасшедший, что я не успел ни в одну газету загля-

нуть. — Он взял «Правду», развернул ее. — Частичное свертывание работ на заводах Рено. Очень интересно!

Крамского ввели два молодых чекиста. Следом за ними вошла Серафима Васильевна. Чекисты вышли, а секретарша неслышно разместилась за соседним столом. Осадчий продолжал читать, лица его не было видно. Над газетой вился дымок папиросы.

— Гражданин Осадчий, встречались вы с этим человеком?

Осадчий опустил газету, обернулся.

— Это и есть Крамской? Признаться, затрудняюсь сказать; ко мне ведь много народу приходит, не припоминаю. — Он встал, подошел к Крамскому. — Так вы утверждаете, что были у меня?

Игорь Борисович молчал, глядя на него большими, словно застывшими глазами.

— Нет, не встречались, — твердо сказал Осадчий и отвернулся. — Я еще нужен вам здесь, товарищ Зимин?

— Нет, спасибо. Только распишитесь под своим показанием.

— Это обязательно?

— Да.

— Тогда, пожалуйста.

Осадчий прочел указанное Серафимой Васильевной место, расписался. Выходя из кабинета, еще раз мельком взглянул на Крамского.

— Такое лицо не могло бы не запомниться.

— Гражданин следователь, разрешите и мне... удалиться, — лицо Крамского было мертвенно бледным, и весь он стоял как бы пришибленный и одряхлевший.

Серафима Васильевна поправляла рукой седеющие волосы и смотрела на Зимина, а он рассеянно комкал в руке какой-то листок. «Где подлинная и где мастерски сыгранная роль? Ничто не дрогнуло в лице Осадчего, ни одной минуты замешательства, если не считать пустяковой заминки перед подписанием протокола. Именно так и должен был вести себя человек, уверенный в своей правоте; ушел, как и должен уйти человек, честно выполнивший свой гражданский долг. Значит, «играл» Крамской? Но можно ли так играть, чтобы на глазах у зрителей состариться чуть ли не вдвое?

— Сядьте, Крамской.

Игорь Борисович покачал головой.

— Я прошу извинить меня за то, что я плохо подумал о вас утром. Вы, конечно, правы и в своих обвинениях и в том, что не верите мне. Я сам теперь не знаю, чему и кому можно верить. И во что?!

Опять зазвонил телефон.

«Профессора Нефедова можно к вам?» — спросил голос коменданта.

— Да, пожалуйста.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Илья оглядел заросшую травой дорогу — очень уж удивительно это было для Москвы!

За палисадником, на который указал ему постовой милиционер, в темной зелени акаций и тополей затаился розовый домик с одним освещенным окном. На посыпанную желтым песком дорожку падала бледная полоска света. Окно было открыто, и сквозь легкий, как дымка, тюль проглядывали вазы с цветами, полки книжного шкафа, голубые стены.

«А удобно ли?» — уже войдя в калитку, забеспокоился Илья. Пока добирался сюда, ему почему-то ни разу не пришла мысль, что над Москвой нависнет ночь. Но уйти, не повидав Ксению, когда всего несколько метров вот этой волнистой дорожки отделяют его от нее!..

На двери мерцала фарфоровая кнопка. Илья осторожно ступил на крыльцо и позвонил. Минута... Вторая... Дом оставался безмолвным. Нет, кажется, шаги?

В приоткрывшуюся дверь высунулась женская голова в ночном чепце.

— Извините, Нефедовы здесь живут?

— Нефедовы? Здесь. А вам кого — барышню или самих?

Слово «барышня» неприятно царапнуло слух.

— Нет... То есть, да.

— Обождите.

Ксения выбежала на крыльцо в капоте, с распущенными и, видимо, наспех перехваченными ленточкой волосами.

— Ждала, — сказала она, улыбаясь, —правда, не в столь поздний час. Здравствуйте, Илюша!

Он подал ей руку. Задержав ее в своей, она поежилась.

— Бр-р! Ветер какой! Пошли скорей в комнату.

— А удобно ли?

— Я одна. Тетя Вика еще в Кашине, а дядя... я и сама не знаю, когда он дома бывает. Ну не упрямься.

Так, за руку, ввела она его и в зал, щелкнула выключателем.

«Пусть! Не в люстрах дело», — попытался смягчить он впечатление от бьющей в глаза роскоши. Но в памяти невольно вставали рабочие казармы с тусклыми лампочками, подслеповато освещавшими голые стены. Здесь же, куда ни кидал он взгляд, видел свое отражение: в паркетном полу, в стенах, в трюмо, в расписных изразцах камина, — будто нежданно-негаданно попал на сцену под свет рампы, и это было неприятно.

Не заметив на его лице хмури, Ксения весело сказала:

— Садись, Илька, сейчас чаевничать будем, — и побежала.

— Не беспокойтесь, Ксения Владимировна.

Она обернулась.

— Почему Владимировна и почему не беспокойтесь? Мы ведь, если память не изменяет, кажется, на «ты»?

— Поздно уж, ночь.

— Хозяйка здесь я, уважаемый Илья Степанович, прошу подчиниться.

Илья сел на диван. Взгляд задержался на портрете поручика, смотревшего из дубовой рамки, в презрительной улыбке сощурив глаза.

— Кто это? — спросил он Анфису, уже без чепца вышедшую с подносом, на котором стояли две чашки и ваза с печеньем.

— Они-с, Геннадий Федорович.

— Анис? — не удержался Илья от каламбура. — А кто он, этот «Анис»?

— Сыночком приходится Федору Ефремовичу, в безвестях с самой войны.

— Понятно, — сказал Илья, хотя ничего ему не было понятным: о чем только не рассказывала ему Ксения в Кашине — и о своем детстве, и о дяде, и о тетке, а об этом «Анисе» ни словом не обмолвилась. Почему?

— Понятно, — повторил он, чувствуя, как уходит

радость, с которой спешил сюда. На полочке дивана лежал пухлый альбом. Илья взял его. Одна из фотографий, когда раскрывал, выпала: Успенский!

— Всеволод Никанорович, — шепотом пояснила прислуга, — в женихах сюда ходят.

— К кому?

— К барышне, вестимо, да, видать, попусту.—Анфиса обтерла краем фартука губы. — А вы, молодой человек, в каких отношениях с нашей Ксюшенькой будете?

— В курортных.

— В каких?.. Ой, никак, уж идут. — Она метнулась к дверям и столкнулась в них с Ксенией, успевшей надеть платье и подобрать волосы. На Илью пахнуло знакомым ему по Кашину ароматом фиалки.

— Почему мрачный? — присев с ним рядом, спросила она тихо. — Сердишься? За то, что проводить не пришла?

— Нет.

— Неправда, я вижу. Ой, если бы знал ты, как я бежала, думала, сердце выскочит, и все равно опоздала.

Ей хотелось рассказать, как все для нее в Кашине потускнело после его отъезда, как не находила она себе места от тоски и наконец уехала оттуда, разгневав этим дядю так, что тот целую неделю с ней не разговаривал. Но Илья кивнул на портрет:

— Брат?

— Да, двоюродный.

— Жив?

— Неизвестно.

— А вы читали, Ксения Владимировна, в сегодняшней «Вечерке» о столкновениях на КВЖД? — Илья встал и, ероша свою шевелюру, прошелся по ковру. — Скажите—только прямо, — допустим, этот, — он опять кивнул на портрет, — жив и мой брат убьет его, а вы об этом узнаете и... сможете после этого?..

— За что же вы опять так со мной, Илья Степанович? — побледнев, Ксения тоже встала и снова села, безвольно уронив на колени руки. — Я немало знаю бывших его товарищей по полку, они бывают... Нет, не у меня, у тети и дяди, — тоже в таких погонах ходили, а теперь служат в Красной Армии, носят на воротничках шпалы и даже ромбы.

«Такой не перешел бы в Красную Армию, — убежденно подумал Илья. — А сам профессор?.. Не оставь ему власти этого комфорта, стал бы он советским?»

Прислуга принесла чай и коробку с конфетами, молча поставила и ушла.

— Ксюша!

Ксения не отозвалась.

Нет, свое чувство она еще не решалась назвать любовью, но оно было очень дорого ей, а сейчас вот подумалось: что, если ошиблась — сама украсила душу этому комсомольскому вожаку огнями и блеском, как новогоднюю елку, и любовалась ею, была в восторге от нее, словно наивное дитя, а он, может быть, первый посмеется, когда узнает об этом, — что тогда? Нет, это было бы ужасно! Жить и чувствовать себя, как в пустыне. Ведь он первый, с которым захотелось подружить близко-близко, чтобы делиться с ним каждой мыслью, каждым сомнением, и радостью, и горем.

Илья увидел на ее глазах слезы... Нет, раскаяния не было: или она обрубит все нити, связывающие ее с прошлым, или... но и в этом последнем случае он сможет при прощании открыто посмотреть ей в глаза: чувство, которое она пробудила в нем, не будет запятнано ни лицемерием, ни трусостью. Да, он готов был повторить свои слова, и в то же время...

«И жалеть нельзя и не жалеть нельзя», — вспомнились ему слова писателя Неверова, и он осторожно погладил ей руку.

— Сыграй что-нибудь для меня, я еще не слышал, как ты играешь.

— Хорошо, — не сразу согласилась она, потом порывисто поднялась и села за рояль.

Он стал позади ее кресла. Ксения не оглянулась. Вытянутые руки ее были неподвижны, и только пальцы, лежавшие на клавишах, чуть вздрагивали, словно пробегал по ним электрический ток. Но вот они встрепенулись, и вслед за глухим ропотом в комнате заговорили десятки, а может быть, сотни голосов — мужские, женские... Бурно о чем-то умоляли они, а густой бас, сминая их хор, сурово и непреклонно твердил: «Нет! Нет!». И вдруг — стон, да такой, что Илья вздрогнул, а рояль простонал еще раз и умолк... Нет, опять... Но рояль ли это?

У него было странное ощущение, будто эти звуки, полные тягостной скованности и бунта против нее, зарождались в его груди. Так же тесно и душно было ему... Ну да, когда уезжал из Кашина!

Какое-то время слышалось лишь гудение дрожавших басовых струн, потом...

Словно ликующий вихрь закружил по комнате, и перед ним, Ильей, была уже не дорога, а небо... звезды! Сверкая слезами восторга, они смотрели на спящую кашинскую землю. Но черт возьми, если это не волшебство: мертвый инструмент из дерева и металла звучал, как живая человеческая душа, и не чья-то вообще, а его... Кто и когда мог заглянуть в нее?

«Ксения, Ксюшенька! Радость моя...»

Кто сказал, что в их взаимоотношениях есть какое-то «или—или»? Вздор! Никому он ее не отдаст, никому не уступит.

А Ксения в последний раз опустила на клавиши руки, и, когда обернулась, лицо у нее было бледное-бледное, но глаза смеялись — и тоже сквозь слезы.

— Ксенюшка, да ведь ты — талантище! Ты... — Она замерла в его сильных руках, но тотчас же вспыхнула и попыталась вырваться. Илья не отпустил.

— Что ты играла, скажи?

— Илья Степанович!

Он теснее привлек ее к себе.

— Моя? Да? Только моя?

Что было сначала — взлет ее ресниц, шепот — «Да! Родной!» или это порывистое сплетение горячих рук на его шее? Почувствовав на своих губах губы любимой, Илья поднял ее, дрожащую, и опустил. «Нет, сейчас эту грань переступать нельзя!» С усилием разжав пальцы, он спросил:

— Так что же ты играла?

— Фантазию, — отдышавшись, прошептала Ксения.

— О чем?

— Это, Илюшенька, очень старая и, по-моему, очень красивая легенда, — сказала она, еще не решаясь взглянуть на него. — Рассказывается в ней, как бог смотрел на землю, и ему стало грустно, что среди людей столько вражды, ненависти, разврата и равнодушия друг к другу. «А где же любовь?» — удивился он. И ангелы сказали ему, что она ушла от людей потому,

что они на каждом шагу оскорбляли ее и забрасывали грязью. «Нет, я верну этим несчастным любовь!» — Бог приказал принести ему человеческое сердце, разрезал его и половинки кинул в разные стороны: пусть ищут друг друга, не зная покоя, а когда соединятся, то вспыхнут, как солнце, и это будет знаком, что к людям вернулась любовь. И случилось, Илюшенька, так, что одна половина разрезанного сердца упала в грудь юноши, другая в грудь девушки... В тот вечер, накануне твоего отъезда, когда мы попрощались, я вдруг вспомнила эту легенду, и так она меня захватила, что я прямо от двери — и за рояль.

— Так это... твоя музыка?

С улицы донеслись гудки и шум машины.

— Дядя!

Илья встал.

— Ничего, — Ксения покраснела, потому что не была уверена, что это действительно «ничего», и все же хорошо, что они встретятся сейчас и познакомятся. Дядя ведь умница, он сразу поймет, что Илья Орлов не «какой-то там», а единственный... — К нам приходят разные люди и часто засиживаются, дядя привык к этому, — добавила она уже на ходу.

А через минуту в обнимку с ней в комнату вошел Нефедов. Поцеловав племянницу в щеку, он отстранил ее от себя и повернулся. Конечно, узнал, но не подал виду, лишь мелькнувшая в глазах усмешка как бы сказала: «если уж довелось встретиться в моем доме, не лишне и познакомиться». Илья подошел и протянул руку.

— Орлов.

— Имел уже честь слышать о вас, батенька, от своей проказницы, очень рад. Меня Федором Ефремовичем зовут. — Нефедов взглянул на стол. — Чай? Великолепно!

— Холодный, — засмеялась Ксения, — я... товарища Орлова вместо чая роялем угощала, сейчас подогрею.

Федор Ефремович замотал головой.

— Нет, нет, я же на минуточку заскочил, опять уезжаю.

— Куда? Ведь ночь!

Старик хмыкнул, похоже, недовольный ее вопросом, и опять повернулся к Илье.

— Очень рад видеть вас у себя, молодой человек, Илья..?

— Да просто Илья.

— Нет, батенька, человек я старого воспитания, сынками любоваться, а папаш уважать, не забывать их. Так как же вас по батюшке?

— Степанович.

— Очень рад видеть вас у себя, Илья Степанович,— экий богатырь! Из Орехово-Зуева? Знакомый мне город, близко знакомый.

— Дядя, а куда вы все-таки? — допытывалась Ксения.

Федор Ефремович похлопал ее по спине.

— Чем не следователь по особо важным делам? За «куда» у нее всегда — «зачем?» Потом — «почему?» А если сие государственная тайна? Ну не куксись, в ВСНХ еду, певунья, в ВСНХ, дела есть. А чайком и холодненьким обойдусь. Перцовочку, пожалуй, поставь, мы с Ильей Степановичем по рюмочке осушим в знак приятного знакомства, не повредит, хе-хе-хе... Поклоняетесь Бахусу?

Илья хотел сказать «нет», но с языка помимо воли слетело:

— Можно.

— Вот и прекрасно!

Федор Ефремович жестом пригласил его сесть в кресло, а сам подошел к трюмо, потеребил седенькую бородку и старательно зачесал назад редкие белые волосы.

— Рояльчиком, значит, угощались? — засмеялся он, усаживаясь за стол. — Молодость — времечко неповторимое!.. «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни»... А ведь были они когда-то, честное слово, были, молодой человек! И мне красавицы играли на рояле, а я слушал и на седьмом небе пребывал, а там, известно, про такую прозу, как чай, и не вспомнится, а? Хе-хе-хе... Давно это было, теперь, бог с ними, с роялями, душа отяжелела, к земле, грешную, притягивает. Да и проза житейская не такая уж плохая вещь, вот яблочки, например. — Он достал из вазы два яблока — одно для себя, другое положил перед Ильей. — Угощайтесь. — И сочно разгрыз свое хорошо сохранившимися зубами. — Великолепная проза!

Ксения сияла. Радостно было и оттого, что знакомство дяди с Илюшей хорошо началось, да и сам он радовал — в дом вошел, напевая что-то, давно уже не видела его в таком чудесном настроении.

— А вот перцовочку не стоило бы давать, — сказала она, поставив на стол графин и две рюмки. — Обещали ведь приехать сегодня засветло, а завтра поехать со мною за город.

Федор Ефремович вздохнул.

— Опять закон притяжения, Ксенюшка! Земля вращается вокруг своей оси, а не наоборот, — человек полагает, а объективная вещичка, которую мы называем стечением обстоятельств, располагает. Прием англичан-хлопковиков намечен был ровно в восемь, но Куйбышева задержало в Кремле энное совещание-экстра. В результате сего вашему слуге покорному, молодой человек, головомойка от родной племянницы и в перспективе — отлучение от перцового напитка. Как сие вам нравится, Илья Степанович?

— Федор Ефремович, если это не в секрете пока, — удалось договориться с англичанами?

— Ну какой же секрет, когда полным-полно журналистов было. Наглецы эти англичане, батенька, любят под шумок руки погреть... Но и товарищ Куйбышев достойно ответил им, я не мог удержаться, записал. — Нефедов достал из кармана блокнот, полистал. — Вот. Владимир Ильич Ленин еще в 1922 году сказал таким ультиматистам: «Угроз мы видали достаточно и притом более серьезных, чем угрозы торговца, который собирается хлопнуть дверью, предлагая свою, самую что ни на есть последнюю, цену. Мы видели угрозы пушками со стороны союзных держав, в руках которых находится почти весь мир. Угроз этих мы не испугались».

— Хорошо!

Нефедов кивнул.

— По-русски, сплеча. Этим... — он ткнул пальцем в свою запись, — думается, кого угодно можно на свое место поставить, только... не англичан. Наглецы, батенька! Один из них, кажется, сэр Томпсон, кинул прямо в лицо товарищу Куйбышеву: «А на что вы надеетесь, может быть, на Турксиб?» — и заржал, подлец, жеребец рыжий.

— Разрыв, значит, окончательный?

Нефедов взял графин и, наклоняя его над стопкой, сказал:

— Пока еще нет. Они заявили, что будут ждать ответ на свой ультиматум, а товарищ Куйбышев поехал в Кремль. Там, надо полагать, будет сказано последнее слово. Берите стопочку! За жизнь молодую, Илья Степанович, и за то, чтобы молодые... Стоп! А грибочков, Ксюшенька. Да, — вздохнул он, когда Ксения вышла,— хорошо сказал товарищ Куйбышев, твердо, но в верхах, пожалуй, могут этого и не одобрить.

— Почему? — удивился Илья.

— Выхода нет у нас иного, как извиниться и принять их ультиматум.

— То есть... отдать наш Туркестан им в концессию?

— Да.

— Кто это так полагает?

— Называть имена ни к чему.

— А вы?

— А я уже сказал, — наглецы, но бьют наверняка. Турксиб, молодой человек, в самом деле сейчас не козырь — сквозь уральские скалы, сквозь зыбкие пески... а строители — юнцы без опыта, без закалки.

— Такие строители воздвигают и Днепрогэс.

— Знаю.

— А Турксиб, полагаете, силами молодежи построить нельзя?

— Нельзя, говорят, лишь штаны через голову надеть. Энтузиазм — это хорошо. Я старик, но я за энтузиазм, да, к сожалению, одного его недостаточно, нужна инженерная мысль. Возложить всю стройку на иностранцев— слишком начетисто для нашей казны, а свои, отечественные, специалисты... бедны мы пока ими, молодой человек, да и все наличие, как показало «шахтинское дело», не может быть использовано нами со спокойной душой. Да, Илья Степанович, нельзя только штаны через голову надеть. Разумеется, Турксиб построим, но когда? А хлопок нужен сейчас — как крылья, как воздух. Англичане это знают и пользуются, мерзавцы, к стене прижали, нож к горлу приставили.

Вернулась Ксения с тарелкой маринованных грибов.

— Поднимем за мечты нашего времени!

Они выпили. Закусывая, Илья оглянулся на Ксению, придвинувшую кресло, и вздрогнул, встретившись в трюмо глазами с профессором: они были такие же враждебные и презрительные, как у поручика на портрете! Он обернулся, но Федор Ефремович уже склонился над тарелкой, а поднял голову — в глазах все та же добродушная и приветливая улыбка.

«Показалось?»

Выпив еще стакан чаю, Нефедов сказал:

— Делу время, потехе час, — и поднялся. Илья тоже встал.

— Вижу, моя Ксения рада вашему визиту, так что... прошу не забывать дорогу в мой дом.

«Показалось», — решил Илья, с удовольствием ощутив крепкое рукопожатие желтой, как пергамент, профессорской руки.

— Кстати, вы знаете о положении дел на ваших фабриках? — спросил Нефедов.

Илья улыбнулся.

— Думаю, что и в этом году красные звезды будут наши.

— Я не о звездах... Знаете вы, что сейчас стоят ваши фабрики?

По лицу Ильи разлилась бледность.

— Как. то есть. стоят?

— Из-за хлопка, молодой человек. И не только ваши. По всей вероятности, здесь какое-то недоразумение или... Во всяком случае, для англичан это оказалось неожиданным подспорьем в достижении цели. Нехорошо!

Профессор вышел и едва прикрыл за собой дверь кабинета, как выражение грусти и озабоченности сошло с его лица. Великолепный денек! В ВСНХ Джимми Томпсон улучил минуту и шепнул, что его коллеги в должной мере оценили «помощь»—оплачено будет за каждую остановленную текстильную фабрику. Что ж, лишние фунты стерлингов для карманов никогда не в тягость! Но ликование на душе было главным образом от другого — КВЖД. Еще в прошлом месяце, когда в печати появились первые сообщения о переброске русских белоэмигрантов из Парижа и других европейских городов на восток, Рамзин после заседания ученого

совета Госплана сказал: «Будьте начеку, Федор Ефремович, это начало!»

Весной перестрелки на востоке мало чем отличались от таких же стычек на границах с Польшей, Румынией и в Прибалтике. И терпение Советов можно было объяснить нежеланием идти на обострение. Но сегодняшнее столкновение — это уже откровенный вызов на войну, и не принять его, не послать войска на выручку арестованных семей советских служащих будет равносильно выдаче перед всем миром расписки о своем бессилии. Предупреждающую ноту можно послать раз, два, а в третий раз это будет похоже на анекдот: «Собака, ты что лаешь?» — «Волков пугаю». — «А чего хвост поджала?» — «Волков боюсь».

Профессор рассмеялся и, сняв с телефонного аппарата трубку, назвал номер.

— Минутку, — сказала телефонистка.

— Хорошо, — любезно согласился он и шумно вздохнул, вспомнив, что не все ведь было сегодня «хорошо»: Крамской!.. С самого начала он, Нефедов, считал эту затею на болотах рискованной до глупости. Но что поделаешь — Париж требовал, а если ставить кого-то под удар, то, конечно, лучше не из своих. Родственник? Ну какое здесь родство — так, недоразумение. И в молодости этот Игорь Борисович «демосом» попахивал — так что бог с ним! Но что-то еще было? Да, Успенский... Позвонил утром и сообщил: управляющий трестом — отец вот этого парня, что кружит голову Ксении, — снял его с работы и, кажется, отдает под суд. А перед вечером в институт заявилась Тоня, опасается, что в Москве чекисты ее найдут, и надумала ехать в Кашин. Отказал. Запретил и Всеволоду искать с ним сейчас встречи: осторожность и еще раз осторожность, особенно в столь решающие дни, часы и минуты! Мало контроля только за своими словами и поступками, надо держать под надзором и мысли. А вот за столом, видимо, что-то проступило у него на лице, — как посмотрел Орлов!

— Повторите номер, — сказала телефонистка. Она соединила, и почти тотчас же раздался в трубке настороженный голос Маричева:

— Кого вам?

— Это я.

— Федор Ефремович?

— Да.

— Ну, слава богу, а я только что собирался звонить вам — Леонид Константинович будет с минуты на минуту.

— Выезжаю, коллега.

Федор Ефремович положил трубку и прислушался: уходит.

Ксения вышла проводить Илью на крыльцо. Сообщение профессора спутало все его планы. Ведь задержался в Москве он сегодня потому, что намеревался быть завтра на открытии всесоюзного слета пионеров, но теперь нечего и думать об этом, надо скорее к себе. Поэтому и на вопрос Ксении — когда же они встретятся, он не мог сказать определеннее, чем «при первой возможности».

Сердце билось встревоженно — ведь только вчера разговаривал и с отцом и с товарищами из окружкома. «Недоразумение...» Непонятно. А может быть, профессор что-то путает? Хотелось поскорее выяснить это, а ноги словно приросли к крыльцу — не хотелось уходить от нее, такой прекрасной и волнующе близкой. По глазам ее видел — любит, и не мог поверить, что это не сон.

— Ксения! — позвал из дома профессор.

— Сейчас, дядя. — Она обняла Илью за шею и шепнула: — Жду тебя, милый, очень, — и, поцеловав, скрылась за дверью.

«Если профессор напутал, тогда... Вместе с Ксюшей поедем завтра на стадион и оттуда в Кремль, а на вечер раздобуду билеты в Большой театр».

Редкие фонари едва освещали дорогу. Пробиваясь сквозь клочковатый туман, вдали вырисовывались хаотические очертания Москвы.

КВЖД? В конце концов и это не что-то из ряда вон выходящее. Вот уже два года редкий день проходит без пограничных провокаций, и, наверное, так взволновало его сегодняшнее сообщение ТАСС потому, что в районе столкновения — Василий.

Трамваи еще ходили. Илья вспрыгнул на подножку и минут через двадцать уже стоял в здании телеграфа, нетерпеливо прижав к уху трубку.

— Вы слушаете? — раздался голос орехово-зуевской телефонистки. — Квартира управляющего не отвечает.

— Не может этого быть. Позвоните, пожалуйста, еще раз.

Гудки, и опять голос телефонистки:

— Не отвечает.

— Послушайте, это говорит Илья Орлов, — что с фабриками?

— Стоят, товарищ Орлов, нет хлопка.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

До Орликова переулка он добрался уже за полночь. Дверь открыла Лукерья.

— Наконец-то! — укорила она и, оглянувшись, предостерегла: — Тише!

Весь пол был застлан матрацами.

Учтя, что школы и клубы Москвы не вместят всех делегатов, Центральный Комитет комсомола через фабзавкомы обратился к рабочим с призывом приютить у себя на дни слета посланцев всесоюзной пионерии. И еще неделю назад привезли к Перовым матрацы, одеяла, простыни и подушки. Ждала тетка гостей каждый день, и утром, когда он уходил в университет, с обидой спросила: «Уж не забыли ли? Может, и не приведут?»

Под одеялами вырисовывались контуры детских фигур.

— Узбеки, — шепнула Лукерья и тяжело вздохнула. — Беда ведь ждет тебя дома, Илюша.

— Фабрики? Знаю.

— Да нет.

— А что еще?

— Тс-с... Разбудишь ребяток.

Она провела его во вторую комнату и там достала из-за пазухи смятую телеграмму.

— И со здоровым сердцем не легко, а тут уж...

Илья вгляделся в ее обветренное, густобровое лицо, и в груди будто оборвалось что-то.

— Отец?

Лукерья отдала ему телеграмму.

«Отцом плохо. Сообщи Опанасенко, поспеши сам. Анна».

— И я как на грех ребятишек приняла... Ну, да ничего, с утра соседка побудет, потом Наташа. Поедем с владимирским поездом? Это через полтора часа.

Илья кивнул, хотя не понял, да вроде и не слышал, что она ему говорила.

«Сообщи Опанасенко...»

— Разминулись вы... Только-только ушел, а через полчаса телеграмма эта... Я про Леонтия Петровича — заскочил, спросил, нет ли тебя, и назад — не присел даже. С хло́пком дела приехал выяснять... Да, с англичанами-то как, не слышал?

— Нет, — рассеянно проговорил Илья, потом вскинул на нее глаза: «О чем ты?»

— О хлопке, — пояснила Лукерья.

— А что Леонтий Петрович?

— С хлопком вашим, говорю, дела приехал выяснять... послала следом за ним Наташку, да час-то уж вон какой поздний... Никак, идет?

Лукерья поспешно вышла из комнаты.

— Саад нечада?[1] — сонно спросил кто-то из пионеров.

— Спите, ребятки, спите.

Шаги на лестничной площадке замерли, наверное, этажом выше кто-то прошел.

Лежавшая с краю пионерка разметалась во сне, высунув из-под одеяла смуглую ногу. Лукерья подошла, поправила на ней одеяло.

«Делегаты!»

Вспомнилось, как изумленно они таращили глаза на трюмо, и под ее нахмуренными бровями мелькнула усмешка: то ли еще здесь было, когда в губчека дали ей ордер на эту квартиру. Переступила порог и ахнула: потолки будто в храме, мягкая мебель под голубыми чехлами, на стенках картины, и некоторые до того бесстыжие, что посмотрела и сплюнула. В Наташкиной комнате стояли пианино и девки и мужики голые из мрамора и гипса. Открыла зеркальную дверцу гардероба — одежды всякой битком, на виду мундир с золотыми эполетами. Пятясь, нечаянно положила руку на клавиши рояля и скорей отдернула, а по комнатам еще долго

---

[1] Сколько времени? *(узб.)*.

плыл гул, словно спрашивая: зачем ты здесь, вдова расстрелянного царизмом большевика и сестра сражающегося с белогвардейщиной комиссара?

Пошла опять в губчека. разузнать, куда девать все это имущество.

«Боже мой, да берите и пользуйтесь на здоровье», — сказал чекист, вручивший ей ключ и ордер.

Москва жила и дышала по-фронтовому — не до тряпок и диванов. А ей они зачем? Посрывала картины, кинула их в угол, туда же сволокла все статуи, прикрыла чехлом и только тогда впустила ожидавшую на лестнице Наташку. А та вбежала, и аж дух занялся у девчонки:

— Ой, мамка! — и стояла и присаживалась перед трюмо, запрыгивая в высокие кресла, бесенком крутилась на диване с податливыми пружинами. А рояль совсем заставил ее обо всем забыть. Крикнула: «Перестань барабанить!» — не огорчилась. Еще бы: куда ни глянь, столь всего, никогда не виданного! А забежала во вторую комнату и даже взвизгнула:

— Мамочка моя, гляди-кось!.. Кинжалы... сабля... медвежья шкура... Ой, да поди-ка сюда скорее, что я тебе покажу!

Она, Лукерья, слышала все это, но словно во сне. Наяву же перед ней, стоявшей вот здесь, где спали сейчас пионеры, проходила вся ее жизнь — горькое недолье. Нет, хранила память и светлые минуты поманившего, но не давшегося в руки женского счастья! Тогда не роптала, знала, на что шла, а сердцу и до сих пор горько вспомнить те дни. Будто зарница, сверкнули — и нет их. Тот в губчека сказал: «Чего растерялась? Даем как вдове погибшего за счастье народа революционера-большевика».

Словно хоромами можно возместить в сердце этакую утрату! «Пользуйтесь». А кто знает, может, жил здесь и сидел в этих креслах убийца мужа, может, не раз потешался он здесь, рассказывая каким-нибудь шлюхам, как упал расстрелянный по его приказу Максим Перов.

— Мамка, да поди же сюда, ну! На одну минуточку, — звала уже с балкона Наташка. — Вся Москва как на ладошке — смотри!

Взяла ее за руку: полюбовалась, хватит! Но девочка

побледнела, прижалась к углу балкона, пальцами судорожно за фигурные прутья уцепилась.

— Не пойду отсюда!

Вытащила, на улице дала еще подзатыльник, чтобы не ревела. Ордер хотела вернуть поутру, да ночью... только дремота к глазам, а в памяти вдруг голос Максима:

«И Наташка будет смотреть на жизнь уж не из казарменного окошка, нет!»

Взглянула на окно — да, и неба даже не видно: все заслонила глухая кирпичная стена соседнего корпуса.

Так и не заснула в ту ночь, а утром, вместо губчека. пришла в фабком и сказала:

— Клуб-то открыли, а в комнатах пусто, — забирайте из моей новой квартиры буржуйскую имущественность, мне она ни к чему!

Себе решила оставить одну кровать — не нары же тащить сюда из казармы! Раза три ошпарила кипятком, промыла с песочком, чтобы никакого духу не осталось от прежних владельцев. Статуи оттащила на помойку, картины в печь, а насчет белья старьевщик подоспел — чего и сколько было, не пересчитывала — мужские рубашки из тонкого полотна и шелка, сорочки для баб, расшитые бисером, лифчики — и все это новое, только раз-другой и надевано.

У старьевщика глаза на лоб полезли, а когда приволокла мундир с эполетами, он совсем оторопел: и карманы никак не найдет, и пальцы не слушаются, и ноги дрожат.

— Какими предпочтешь взять — николаевскими или советскими?

Сорвалась сердцем, закричала:

— Волоки живее ко всем чертям, не то другого кликну!

Пуховые подушки, перины, одеяла снесла в детдом на Басманную, а поглядела там на сирот — рубашонки заплатанные — и охнула про себя: сюда бы надо все, не старьевщику, да уж аук! С шубами и медвежьими шкурами помогло ей распорядиться объявление о сборе теплых вещей для фронтовиков, бивших в Сибири Колчака.

Наташка не перечила. Кресла и кровати даже помогала выталкивать в дверь, рояль понесли — отвернулась, но только стали грузчики примеряться к трюмо, заслонила его собой, в лице — ни кровинки.

— Ни за что не отдам! Хочу себя во весь рост видеть.

— Что ж, по-моему, Лукерья Петровна, ничего зазорного в том нет, ежели пролетарская дочь себя во весь рост хочет видеть, — сказал председатель фабкома. — Не трогай, ребята!

Так и осталось на своем месте это изумившее пионеров трюмо. Первое время и самой было как-то диковато, а потом свыклась, и сейчас исчезни оно — и вроде осиротеет квартира. Все ведь отражалось в этом стекле — и как Наташка росла, с каждым годом все больше и больше становясь похожей на отца, и как самой ей трудные времена оставляли на лице морщинки и вкрапливали в волосы седину. Годы? Но так ли уж они велики? Только позапрошлым летом свой пятый десяток разменяла, а Степану, значит, сейчас сорок четыре.

Лукерья провела пальцами по глазам. И то, что вспомнилось о квартире и об этом трюмо, прошло у нее, не задевая тревожных мыслей о брате, фабриках, хлопке. Одно за другое здесь цепляется: не остановись фабрики, глядишь, и не стряслось бы этой беды. Перенемог себя и волнения большие, конечно, а со здоровьем и без того было не ахти как!

Она оглядела еще раз спящих пионеров, прикрыла поплотнее дверь на балкон и вернулась к Илье, уже заталкивавшему в портфель свои бумаги.

— Долго еще до поезда-то, не торопись. Да и не волнуйся, может, еще... Температура, слышь, у него была, когда с постели поднялся, вот она и сказалась, а спадет... — Лукерья замолчала, почувствовав, что сама не верит тому, что хотела сказать: Анне-то там виднее, не будь очень плохо со Степаном, разве прислала бы она такую страшную телеграмму.

— Не стряслось ли, Илюша, еще чего, кроме останова фабрик. Леонтий Петрович... я спросила его: как Степан-то сейчас? Сказал: «Пока. вроде обошлось». Ежели он что опасное чуял, навряд уехал бы, другого кого сюда послал бы.

Илья обернулся.

— Стучат?

Стук повторился, и они разом вышли из комнаты. Увидев, что дочь одна, Лукерья растерялась.

— Не нашла, значит?

— Нашла. В ВСНХ, — Наташа бросила берет на туалетный столик трюмо, расстегнула жакетку. — В больнице дядя Степан... Инфаркт.

— Что-о? — Илья схватил ее за руку. — Что ты сказала?

— Работка вашего Куницына! — всхлипнула Наташа. — Оказывается, сразу же после отъезда Леонтия Петровича он вызвал в окружком дядю Степана и... В общем, у дяди Степы строгий выговор и, кажется, он снят с работы.

Разбуженные их голосами пионеры и пионерки приподнимали от подушек головы. Две девочки сели, сбросив с себя одеяла, но Лукерья и не заметила этого, ошеломленная словами дочери. Не замечал устремленных на него детских глаз и Илья.

Университет... пионерская Москва... остановившиеся фабрики — все это если и было, то где-то далеко, оттесненное и заслоненное леденящей кровь пеленой, — «у отца инфаркт...»

— Опанасенко сказал, что это не просто издевательство — убийство! — тоже как бы издалека дошел до него голос Наташи.

— А где он?

— Уехал. Товарищ Куйбышев распорядился отвезти его в Орехово на своей машине.

* * *

Степан был без сознания.

В четыре часа Опанасенко, не отходившего от его постели, позвали к телефону — звонили из Москвы. Женский голос извинился за беспокойство и поинтересовался состоянием здоровья Степана Петровича.

— Скверное состояние, — устало проговорил Леонтий Петрович.

— Так и передать товарищу Куйбышеву?

— Кому? — оживился он на миг. — Да, скверное состояние, но я все же... Передайте, пожалуйста, товарищу Куйбышеву... Нет, сейчас ничего определенного сказать не могу, извините.

Леонтий Петрович положил трубку и выжидательно посмотрел на появившуюся в дверях кабинета сестру из приемного покоя.

— Секретарь окружкома товарищ Куницын, — доложила она.

— Нет! — резко отказал Опанасенко.

— Сейчас пока еще нельзя, — смягченно передала сестра его отказ ожидавшему под лестницей Куницыну.

— В палату нельзя? — раздраженно переспросил тот, скосив глаза на группу рабочих и работниц, тоже пришедших сюда разузнать о Степане. — Хорошо, пусть этот Опанасенко ваш выйдет сюда, скажите ему — я жду.

Сестра вернулась минут через пять, но не с Опанасенко. Опередив ее, по коридору к растерянно заморгавшему Куницыну шел Илья в накинутом на плечи белом халате.

— Приехал, дорогуша? — Куницын протянул руку, а взглянул на бледное, словно окаменевшее лицо парня и невольно подался назад. — Сожалею, дорогуша, очень сожалею... Но, ничего не поделаешь, не было иного исхода. Народ волновался, толпа собралась перед Домом Советов.

— И ты решил отыграться на моем отце?

— Потише со словами, Илья, я ведь тоже не святой, тоже могу не сдержаться. Не отыгрывались мы, а справедливость восстановили в своих правах.

Толпившиеся рядом рабочие зашумели, и Куницын повысил голос:

— Не уволь твой отец Успенского, то есть не пытайся он свалить с больной головы на здоровую, может быть, мы и не поспешили бы с оргвыводами. Он сам принудил нас.

— Кого это нас?

— Бюро окружкома партии.

— И я и Леонид Петрович — члены бюро, ты, вероятно, забыл об этом, Алексей Филиппович?

— Зря кипятишься, дорогуша, мы ведь не враги твоего отца, учли его состояние и сделали все, чтобы смягчить ему этот, к сожалению, неизбежный удар. Только выговор и отстранение от непосильного при его болезни поста управляющего — это, честное слово, если

учесть международную и внутреннюю обстановку, проявление гнилого либерализма с нашей стороны. Боюсь, что МК нас поправит, намылит шею за мягкотелость. Сам понимаешь, время почти военное, со дня на день может открыться фронт, и в свете этого остановка фабрик... впрочем, не будем сейчас об этом. Как Степан Петрович?

— А что... добить хочешь?

— Илья Степанович!

— Уйди от греха, — тихо сказал Илья.

— Хорошо. — Куницын повернулся к двери и остановился. — Я хотел сказать... Да, завтра в городе демонстрация протеста против... ну, в общем, о КВЖД речь.

Илью обступили рабочие.

— Ну, как там? — спросил Максим Павлов. — Надежда-то есть?

— Не знаю, — сказал Илья и торопливо зашагал обратно.

В палате, где лежал отец, двое больных спали или делали вид, что спят, а третий... Илья заметил, как тот закрыл глаза при его появлении.

Медсестра все еще держала у рта отца трубку, локтем надавливая бока кислородной подушки. Мать и дед Петр сидели по другую сторону кровати, а за спинкой ее стояли тетя Лукерья и дядя Николай, не сводя глаз с Опанасенко, проверявшего пульс на потной, с синими жилами руке отца.

— Возьми-ка у нее, — сказал тот Лукерье, а сестре приказал: — Камфору и стрихнин!

Лукерья поспешно перехватила подушку.

Илья пробовал совладать с собой и не мог. В горле стояла теснота, и глаза туманились.

— Мама, ты была дома, когда они вызвали отца? — спросил он, забыв, что уже спрашивал об этом.

— Нет, меня перед этим вызвали в горисполком.

— Да, ты говорила... готовить якобы срочный отчет. Все предусмотрел и рассчитал, подлец!

— Тс-с, — предостерег Леонтий Петрович, — здесь больница, товарищи.

Лицо Степана чуть порозовело, и он открыл глаза.

— Отец! — вскрикнул Илья.

Степан не повернул головы, глаза мутные с красно-

ватыми прожилками. Не выпуская его руку, Леонтий Петрович заглянул в них.

— Степа!

Степан закрыл глаза.

— Пульс прощупывается отчетливее и стал ровнее... — Леонтий Петрович кивнул Лукерье: хватит!

Та отняла от синеватых губ брата трубку.

Тишину нарушали только бульканье и посвисты в груди Степана. Пять пар глаз смотрели на Опанасенко, и во всех он читал: «Скажи... Да скажи же!»

Оглянувшись на соседние койки, Леонтий Петрович поднялся.

— Вот что, дорогие: когда мне станет ясно, что надежд нет, извещу вас, а пока... у всех вас дела есть, товарищи.

— Я тоже буду здесь, — сказала Анна.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Продавцы давно уже ушли. Принимая от кассирши чеки, Наташа посмотрела на часы. Днем она подбежала к телефону и сразу признала по голосу: мамка!

«Когда приехала?» — «Только-только. Как у тебя дела?» — «Дома расскажу. Дядя Степа как?» — «В беспамятстве все был, на уколах и кислородных подушках, а утром ныне... Демонстрация была в Орехове-то, поди, весь город на улицу вышел — и мал и стар — ну, против этих бандюков, что на границе. Шли мимо больничного сада, и Степа вдруг спросил: «Прибыл хлопок?» Думали, обратно бредит, а он повернул голову и явственно так: «Что за шум?»

И на этом их разъединили. Ждала, но мать, видимо, решила: «Чего званивать, коли до перерыва осталось десять минут!» А то не учла, что сегодня с самого утра на одетых в цветы и зелень трамваях замелькало слово «Пионерский».

— На «одиннадцатом», товарищи, надежнее и бесплатно, — говорили на остановках друг другу москвичи. Ей бы тоже надо на «одиннадцатом», да подумала: туда путь и обратно — вот и нет двух часов, и решила пообедать в столовой, а мать так и не позвонила.

Из дверей кинотеатра «Форум» выходил народ.

Поворачивая в замке ключ, Наташа услышала, как кто-то сказал:

— А может быть, теперь и англичане пойдут на попятную, когда узнают.

Что узнают англичане и почему пойдут на попятную, не поняла, но вспомнилось — «ЦИК и СНК Союза ССР постановляют: Первое. Прервать дипломатические, консульские, торговые и иные отношения с Китайской республикой».

Это говорило радио, когда она вышла на улицу проводить посетивших магазин австрийских кооператоров.

Взвывший на разбеге мотор приглушил радио, а когда автобус отъехал, говорил уже другой диктор, и не о Китае, что-то о хлопке.

«А что второе? Только ли разрыв отношений?»

Москва окутывалась в дымку тумана.

«Теперь для всех», — улыбнулась Наташа, проводив взглядом обогнавший ее трамвай.

Хорошо! И даже немножечко грустно было оттого, что в те дни, когда появились на улицах первые пионерские галстуки, ей шел уже семнадцатый год, а теперь... «Ух ты! — сказала в прошлом году Маша Орехова и удивилась: — Почему же ты до сих пор не в партии?» В самом деле, почему?

На остановке было людно и шумно. Похожий на Тараса Бульбу толстяк отмахивался от подступивших к нему двух женщин:

— Хиба я пэршый раз це слухаю!

— Правду говорит человек, — поддержал его старик в засаленной кепке. Поставив перевязанный бечевой чемодан, он обернулся к парню в майке: — Все войны, Митрий, с этих слов начинаются — порваны, мол, дипломатические, а бывает и так: сначала пушки вдарят, а потом уж и про отношения народу скажут.

— Думаешь, дядя Ермил, по-настоящему там война сейчас?

— А кто ее знает!

— В войну праздники не справляют.

— Это верно, — согласилась Наташа с парнем.

Старик что-то хотел сказать и ей, но глянул в сторону, и у глаз его собрались веселые морщинки:

— А ну, юные пионеры, готовьсь!

К остановке подходил трамвай с надписью по кума-

човой ленте «Пионерский», но из окон его сейчас смотрели бородатые лица, и это в самом деле было смешно. «Тарас Бульба» схватился за поручни.

— А галстук где? — крикнул ему кто-то.

— На иншим свити шукать трэба.

Смеялись и те, что сидели в трамвае. На передней площадке Наташа увидела женщину, которую знала еще по Трехгорке. Та тоже приметила ее и голосисто, как все ткачихи, крикнула:

— Обращение слышала?

— Какое обращение?

Трамвай тронулся.

— ЦэКа, — сказал старик, — о хлопке...

«Так вот, значит, что передавалось после Постановления ЦИК и СНК о разрыве с Китаем!»

Наташа вплотную пробралась к старику:

— И что?

— Вот Митрий слушал радио.

— Наш идет, — сказал парень, вскидывая через плечо мешок. Старик тоже поднял свой чемодан, затянулся напоследок ожегшей губы цигаркой.

— Не вышло, девка, ни фига из переговоров с англичанами, и один исход теперь у нас: на отечественный хлопок весь текстиль перевести.

— Отечественный, — усмехнулся парень, — читал я, у нас его с гулькин нос, да и тот...

— Чего «и тот»? — нахмурился старик.

— Сам знаешь — идет он лишь на выработку низких сортов: засорен, и волокна короткие.

— Засорить чего хошь можно, — возразила женщина с подвязанной щекой. — А никакого нет — лучше разве?

— Чего тут хорошего, — вздохнул старик. — А волокна, — сказал он парню, — это еще надо прояснить, почему они короткие, может, семена дрянь, может, достоять не дают, а может, и обработка сказывается. Чем землю-то там вспахивают?

— Омачом, — сказала Наташа.

— Вот-вот, — подхватил старик, — а знаешь, что это такое?

— И про омач слышал, потому и сомнение. Ежели и в наших губерниях темь да нищета, то там, поди, и вовсе.

— А в правительстве, думаешь, не знают это?

— И не вдруг переход мыслится. На две пятилетки расчет, — вмешалась опять в их спор Наташа, — хватит времени и от нищеты избавиться.

— Мыслилось, — угрюмо поправил ее старик, — когда по перваку плановали. Мыслилось, поди, тогда и это самое — до своего хлопка на заграничном продержаться, а заграница-то эвон какая — с ножом в руке торгуется, тут уж не до растяжек на десять лет.

— Сейчас на свой хлопок переходить надо.

— Как то есть сейчас? — Наташа удержала за плечо шагнувшего к линии парня, — Турксиб-то мы еще года через два построим, не раньше.

Он стряхнул ее руку и уже с подножки трамвая, держась за поручень, крикнул:

— И Турксиб надо сейчас.

— Чего-о?

Трамвай звякнул, двинулся.

— Как же это сейчас? — растерянно проговорила Наташа. Но люди вокруг были заняты своими разговорами. «Напутал чего-то парень».

Подошел и ее трамвай. Мест в вагоне не было, и она, взяв билет, прошла на переднюю площадку.

Москва сияла огнями. Окна, балконы — в гирляндах цветов, кумачовых лент — пионерская Москва! Пушки— где Василий, но где-то там недалеко и Турксиб, Илья три дня назад показывал письмо, полученное от сестры. Лена жалуется на нехватку людей. Не все выдерживают зной тех песков, разбегаются. Когда-то проложат эту дорогу, но и это ведь только полдела. Одного жаркого солнца для того, чтобы родили те земли хлопок, мало. Пионеры рассказывали — повсюду у них там арыки, вроде канав, вода в них из каналов поступает, да в том и беда, что каналы-то эти где пересохли, где запущены так, будто кисельная жижица по дну бежит. Не земля — камень! Сколько новых каналов надо от рек протянуть, чтобы всю ее размягчить водой от края и до края! На все силы и время нужны, а парень брякнул — «сейчас»! Но если и впрямь с англичанами все отрезано? На это в мыслях тоже не находилось ответа.

На Садово-Спасской, как всегда, было оживленно. Наташа скользнула взглядом по восьмиэтажной стене

Орликова дома и, увидев на своем балконе свет, подумала: «Не ложится, ждет».

— «К хлопкоробам среднеазиатских республик», — донеслось от Красных ворот.

«Обращение ЦК».

Трамвай замедлил ход. Не дожидаясь, когда он остановится совсем, Наташа спрыгнула. Люди наскакивали на нее, задевали локтями, а она стояла, как завороженная, не отрывая глаз от радиорупора.

«...Не только обеспечить советский текстиль отечественным хлопком, но и создать запасы его для дальнейшего развертывания текстильной промышленности...»

Нет, не сейчас, как сболтнул тот парень, а к концу пятилетки, хотя... конец-то этот ведь не за горами — через два года, и выходит, почти «сейчас», то есть разом, потому что нынешний год был уже не в счет.

Радио говорило о срочном ремонте старых ирригационных систем. Слушая их перечень, Наташа встревоженно думала: «А Турксиб? Если по весне будут засеяны хлопком земли Туркестана, надо чтобы к осени был там и сибирский хлеб...»

Вот и о строителях Турксиба. Обращаясь к ним, Центральный Комитет выражал уверенность, что они пересмотрят свои планы и нарастят темпы так, чтобы сдать дорогу в эксплуатацию не позже конца будущего года.

Заиграла музыка. Передача закончилась, а Наташа все еще стояла, как в полусне. Осмотрелась вокруг, потом увидела на часах, что уж половина двенадцатого, и заспешила, но у Лермонтовской библиотеки, не замечая, опять замедлила шаг. Что-то вроде недовысказанным осталось в обращении ЦК. Нет, она понимала — не с бухты-барахты предлагает такие сроки партия. Все, поди, взвешено и семь раз примерено. И про то, что омачом там землю пашут и что без воды Туркестан, известно ЦК. Каких бы трудностей это ни составляло, но для хлопковых районов выделят трактора, и первая очередь их прибудет туда уже к будущей весне. Вода? Центральный Комитет обязывал руководителей среднеазиатских республик не только восстановить и капитально отремонтировать все старые ирригационные системы, но и немедленно приступить к сооружению новых. Все взвешено! Не совсем ясным было, пожалуй, только одно —

о чем не сказали ей ни тот парень, ни прядильщица и что взволновало ее сильнее всего: партия обращалась и лично к ней — Наталье Перовой. Так и сказано было диктором, что ЦК ВКП(б) надеется, что пролетариат центральных губерний России и в первую голову текстильщики помогут крестьянству среднеазиатских республик и Закавказья с честью разрешить эту трудную и неотложную задачу. Правда, она все еще кооператорша, но с райкомом комсомола уже есть договоренность — дают ей путевку на курсы по подготовке в вуз, потом, конечно, в текстильный институт, а оттуда обратно на родную Трехгорку. Да если бы и не было этой договоренности, разве мыслимо ей остаться в стороне? Пособить непременно надо!

«Но как и чем?» — продолжала раздумывать Наташа, поднимаясь по лестнице.

Дверь ей открыл пионер Юсуп. Мальчонка был без рубахи, с полотенцем в руке.

— Салам! — улыбнулся он белозубо, а из кухни с намыленным лицом выбежала черноглазая Халима Рахимова, свободнее других объяснявшаяся по-русски.

— Ой, Наташа-апа!

— Почему не спите до сих пор?

Девочка с налета обняла ее, мокрой щекой прижалась к руке.

— Открытие слета, да? Большой впечатлений! После демонстрация — к Моссовет... Ой как было, Наташа-апа, ой как! Один вспомнил — рассказал, другой вспомнил, все вспомнили...

Из кухни выбежали и остальные, обступили Наташу.

— И Луша-оим разрешила вам вспоминать до этих пор?

— А ее нет.

— Как нет? — Наташа торопливо прошла во вторую комнату — пусто: — Где же она?

Ребята заговорили по-узбекски, а Халимы среди них уже не было, наверное, побежала смывать с лица мыло. Наташа прошла на кухню.

— В газету ушла, — привертывая кран, сказала Халима.

— Чего-то ты путаешь.

— Честное пионерское! — Вытираясь, девочка рассказала, как пришли они, как ели пироги, которые дала

им Луша-оим, рассказывали о слете, пока Луша-оим не сказала: «Идите-ка, ребята, спать». Легли они, а сами видели: Луша-оим сидела и все на часы поглядывала, потом встала, оделась... «Не спите, делегаты?» Они, конечно, промолчали — будто спят, Луша-оим засмеялась: «Заприте кто-нибудь за мной дверь и не бойтесь, сейчас ваша апа придет». Встала закрыть дверь она, Халима, ей Луша-оим так и сказала: «Наташе передай, ужин в духовке, а я пошла...»

— В газету? — недоверчиво спросила Наташа.

Девочка утвердительно кивнула.

— Только она не газета сказала, другой слово есть.

— В редакцию?

— Ага! — обрадованно подтвердила Халима.

Наташа пожала плечами.

Может быть, с дядей Степаном что-нибудь связано? Илья попросил?

Она обняла Халиму, которая уже обтерлась и стояла, накручивая на руку полотенце.

— Когда Луша-оим опять приехала, вы дома были?

— Лестница есть, да? Там встретилась, апа.

— Ничего не сказала она о дяде Степане?

— Больной ака? Я сама спросила: Луша-оим, якши, то есть хорошо ли вашему брату?

— Ну?

Халима смутилась.

— Обожди, пожалуйста, Наташа-апа. — Вернулась она с тетрадкой. — Непонятный русский слово есть, да? Я скорей записать, потом спросить. Вот, апа, «отдубит».

— Отдубит? Опять что-то путаешь.

— Нет, апа, и еще она... предрассудок есть? Его сказала.

— Какой предрассудок?

— Бог даст.

— Бог даст, отудобит? — предположила Наташа.

— Ага. А что такое отудобит, апа?

— Поправится, выздоровеет.

— А почему бог даст?

— Поговорка старая, спасибо тебе, Халима. Иди спи.

— Сейчас, апа. Я тоже вопрос, можно? Такой вопрос, апа: что радио говорил? Я мал-мала с балкона слышал: наши земля хлопок, арык, Турксиб — не знаешь, апа?

— Завтра расскажу.

— Ну, хоп, — огорченно согласилась девочка, а вышла и уже весело закричала: — Делегатчи ухламак![1]

Раздеваясь, Наташа услышала удививший ее стук в дверь. Мать никогда не стучит так.

— Апа, открыть?

— Спите, спите. — В накинутой на голые плечи жакетке она подошла к двери, повернула ключ.

— Наталья Перова? — Незнакомый паренек подал ей конверт и листок. — Распишись.

Наташа расписалась против своей фамилии, и паренек исчез столь же поспешно, как появился.

— Ухламак! — шепотом прикрикнула на кого-то из пионеров Халима.

— Да, ребята, спать! — Наташа погасила в их комнате свет, прошла на кухню и там вскрыла конверт. «Мобилизационная повестка? Куда?»

Прочла и, то ли не поняв, то ли не поверив, перечитала еще раз.

«Товарищ Перова!
Настоящим предписывается Вам явиться сегодня к пяти часам утра в походной одежде, имея при себе комсомольский билет, две смены белья, миску или котелок, кружку, ложку и запас продовольствия на двое суток. Сбор у Райсовета.

Да здравствует наша Родина! Спасем жизнь тысячам советских граждан, томящихся в харбинских застенках! Отстоим наши восточные рубежи! Все, как один, в ряды Красной Армии!

Секретарь Краснопресненского райкома
ВЛКСМ (подпись)
Военком (подпись)».

Сердце стучало, и, казалось, не только в груди — и во всей кухне и за ее стенами. Значит, все же война?

«С этих слов об отношениях всегда начинается». Наташа согласно кивнула: нельзя дольше терпеть то, что происходит на востоке!

«А хлопок?» — но мысль эта была мимолетной: бу-

---

[1] Делегаты, спать! (*узб.*)

дет и хлопок... позже. Не время думать о рытье каналов, когда надо брать винтовку в руки, — «все, как один». Да, все, как один!

Комсомольский билет — в кармане. А вот котелка нет...

Она достала с полки новую, недавно купленную матерью мисочку и ложку, рядом поставила граненый стакан: кружка имелась, но слишком большая. Запас продовольствия? А чего и сколько нужно ей на двое суток? Она-то, пожалуй, и одним хлебом обошлась бы, но если товарищи будут сдавать в общий котел пшено, муку или еще что?.. Позвонить, может быть, в райком, посоветоваться? И как на грех мать где-то застряла! Расстроится? Наверное... Но должна же она понять — не просто ее Наташку призывают — комсомолку, дочь Максима Перова.

А сердце вдруг заныло, и Наташа провела пальцами по затуманившимся глазам. И самой ей, конечно, нелегко будет в эти минуты прощанья... Может, не надо их? Уйти прямо сейчас, оставив записку: «Обнимаю, не тревожься за меня. Что бы ни случилось, твоя дочь...»

Наташа покраснела, устыдившись своей слабости. До пяти утра еще долго, а мать должна прийти с минуты на минуту. Вместе, в обнимку просидят они эти короткие часы расставания.

«Две смены белья...»

Она на цыпочках, чтобы не потревожить, похоже, уже заснувших пионеров, вышла из кухни и, так же тихо прикрыв дверь своей комнаты, прошла на балкон.

Москва! Такая родная, до слез близкая, она затихла. Гасли в домах огни, а на небе — ни луны, ни звезд...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Таким же слепым было оно и над Орехово-Зуевом в час, когда из Дома Советов вышли парни и девушки, держа в руках стопки конвертов с отпечатанными на гектографе и еще не успевшими просохнуть повестками.

У казарм, которые старожилы по старой привычке называли морозовскими и «Мызой», редкие тополя стояли без шелеста, словно тоже погрузившись в ночную

дремоту. В тишине гулко отпечатывались торопливые шаги, но тишина эта держалась недолго, а в предрассветном часу, когда Андрей Катков в сапогах, куртке и с рюкзаком за плечами вышел из дверей казармы, вся «Мыза» была уже полна говора, криков, причитаний, а кое-где и плача. Шумевшие у крыльца соседней казармы люди расступились, и он увидел шорника Михайлова, рванувшегося вперед так, что лямки от его мешка лопнули, а сам мешок остался в руках матери, разъяренно кричавшей:

— Отдай им этот комсомольский билет, слышишь? Из некомсомольцев никого не берут!

Андрей через плечо скосил глаза на свою мать, спускавшуюся по ступенькам крыльца за ним следом.

Где-то в стороне, похоже, у 30-й казармы, взметнула голоса гармонь, и оттуда тотчас же донеслось:

Вихри враждебные веют над нами...

— Ладно, где-нибудь по пути куплю вещишки, — справившись с дрожью губ, сказал Михайлов.

Андрей кивнул:

— Поделимся.

Марфа взяла его за руку, Андрей ответил на ее пожатие и, оглядывая пробиравшихся к нему парней и девушек, шепнул:

— Давай здесь попрощаемся.

Мать промолчала. Рука у нее была горячая и... тяжелая. Других и ремень так не припекал, как его в детстве эта жесткая от мозолей ладонь. Правда, с той поры, как стал работать, мать уже не пускала в ход руки, но чуть что не по ней, такой крик поднимет, хоть на край света беги. Вчера утром из-за того, что фабрики все еще стоят, разбушевалась так, что на всех этажах казармы был слышен ее голос: «Ударники чертовы, молокососы сопливые! Досоревновались, оставили фабрики без хлопка и разгуливают... И Катька в тебя, черта, пошла. У народа эвон что, а ей и горя мало — затянула свой красный ошейник и в Москву, всесоюзный слет у них, видишь ли, делегатка, дерьмо такое! Вот приедет, я ей такой слет устрою, что задница румяней галстука станет. И попробуй мне только вступиться, я и тебя, дьявола кудлатого, — ух! Глаза бы не смотрели на вас на обоих. Вскормила, вырастила на свою шею душегубов».

А сейчас она стояла перед ним такая непохожая на себя — притихшая и вроде оробевшая. Впрочем, это, может быть, только для соседей в диковину; не раз случалось ему ночью видеть ее около себя — осторожно проверяла ласковыми руками, хорошо ли одет, не съехало ли одеяло, потом, думая, что он спит, проводила рукой по его волосам и шептала: «Спи, родненький, спи». Однажды — это еще в пионерскую пору— открыл он глаза и взял ее руку. Вздрогнула, сердито заворчала: «Чего ты ворочаешься, вроде на камнях лежишь, соседей перебудить хочешь? Спи, дьяволенок!» Такой уж характер — норовистый. Даже перед теми, кого любит, таится, словно стыдясь своих истинных чувств, прячет их за напускной грубостью, прикрывает бездумной руганью. Вот и о Катюшке вчера кричала, а в душе ведь гордится, что дочь удостоилась такой чести. Видел, с каким усердием разглаживала ее пионерскую форму и улыбалась при этом. Мать!

Андрей хотел обнять ее, но Марфа отвела его руки.

— Небось я не Михайлова... — и отвернулась, чтобы скрыть затуманившиеся глаза. — До места провожу.

Подбежала Мокеевна с третьего этажа.

— Андрей, ты ведь в комсомольском начальстве, член окружкома, что ли?

— Ну?

— Вот тебе и ну! Я понимаю, дать как следует бандюгам и в хвост и в гриву надоть, сама требовала вчера на митинге и сейчас требую, весь народ требует. Только зачем берут девчонок и мальчишек, которым и винтовку-то, поди, не под силу тащить?

— У тебя же, Мокеевна, ни девчонок, ни мальчишек, — улыбнулся Андрей.

— И что? У меня нет, так у других есть — вот они, смотри-кось!

— В семнадцатом и такие стреляли, — сказал кто-то на крыльце, но большинство шумевших явно держали сторону Мокеевны, да и сам Андрей, честно говоря, присоединился бы к этому мнению, если бы оно обсуждалось на бюро.

В сестры милосердия девчат еще туда-сюда, а чтобы с винтовкой... Но решалось это без бюро, где-то выше, в войну не до дискуссий.

— Разрешите, товарищи, — сказал он обступившим его соседям, — время у нас на исходе.

У всех казарм стояли люди, высовывались они и в распахнутые окна, махали руками.

— Как же с хлопком-то, Андрюша? — скользнув взглядом по бездымным фабричным трубам, спросил Михайлов.

— Доставят сегодня обязательно, и сегодня же заработают фабрики.

— Я не об этом...

Андрей промолчал, а кустистые брови его вплотную сошлись на переносице. Выслушав по радио вчера вечером обращение ЦК ВКП(б), он решил, что надо подсказать Илье провести повторную мобилизацию на Турксиб, а самому первому мобилизоваться, и, засыпая, чувствовал на губах улыбку, потому что подумал, какая это будет неожиданность для Лены.

«Границу перешагнули, гады? Ну, что ж!» Но рядом с этой злостью на сердце ощущалась и тихая грусть: видно, не суждено скоро увидеться с Ленкой. А, может быть, не только «скоро», может быть...

Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной радой, —

донеслось издали.

В раздумье он и не заметил, как прошли они Двор стачки и вышли на Ленинскую.

— Крутовцы, — сказала Павлова Нина.

«Крутовцы» шли и тротуарами и по дороге.

Кто паровозы оставлял...

— Эх, многое видела эта улица, — поправляя на себе юнгштурмовку, задумчиво улыбнулся Михайлов.

— Многое, — согласился Андрей. И в стачку 1885 года и в пятом году вот так же, наверное, спешили здесь к вокзалу Степан Орлов и другие дружинники, чтобы до последнего патрона биться с царизмом на баррикадах Красной Пресни, а после Октября шли на битву с Колчаком, Деникиным и войсками интервентов те, которым сейчас за тридцать и около тридцати и которые сами о себе сказали словами песни:

Мы юности не знали
В тенетах рабских пут.

Теперь этой же улицей по призыву окружкома спешат к Красной казарме они, представители поколения, у которого было и детство, озаренное пионерскими кострами, а юность пришла с комсомольским билетом. И какая юность! Сколько накала повсюду, сколько манящих далей! Но все это неотделимо от двух слов, простых и близких, — Советская власть! И если на нее нацелены жерла вражеских пушек... Да, только вернувшись с победой, сможет он открыто посмотреть в голубые глаза Лены, и она, конечно, поймет, что ее Андрей ни на минуту не изменял ей, ибо, заслонив грудью Родину, он заслонял от вражеских пуль и ее. А как же иначе? Родина — это ведь не только земля, огороженная со всех сторон полосатыми столбиками, но и все то, что было, есть и будет на этой земле. А будет, конечно, тоже многое, и в том числе его, Андрея Каткова, сын или дочь с ее голубыми глазами. Это уже решено: загс — после окончания стройки Турксиба. Думалось прежде, что это страшно далеко — через целых четыре года, а партия в своем обращении вчера сказала ему: «Нет, Андрей батькович, гораздо раньше, уже будущей весной.» Не от случая, от них самих — и от Лены и от него зависит приближение часа их радостного слияния в одно неразрывное целое. Кто может помешать им?

У поворота на мост через Клязьму, кажется, митинговали или ожидали кого-то. Андрей увидел светловолосую голову Ильи и ускорил шаг, но толпа уже двинулась на мост, а выбравшийся из нее Илья в кожаной расстегнутой куртке заспешил по тротуару.

— Илюша!

Орлов обернулся и, не поняв, кто его окликнул, второпях сказал:

— Я скоро приду, идите, товарищи.

В калитке палисадника Дома Советов его остановил Куницын.

— Не объяснишь ли мне, Илья Степанович, что сие обозначает?

— Что именно? — холодно спросил Илья.

— Массовая мобилизация комсомола, а секретарь

окружкома партии узнает об этом случайно из повестки, которую ночью принесли его дочери?

— Приказ МК о проведении мобилизации был получен поздно вечером.

— А тебе разве не известен мой домашний телефон?

Илья промолчал.

— Черт с тобой, не считайся: я вот постарше тебя, да считаюсь, сам прибыл сообщить, чтобы не было после кривотолков — вот, мол, дочь секретаря окружкома партии уклонилась от мобилизации, — заболела моя Тая, Илья.

— Что вдруг? Вчера я видел ее на Ленинской.

— А пришла и слегла, температура сорок.

Илья достал из кармана куртки стопку комсомольских билетов.

— Вот тоже внезапно «заболели», как только получили повестки о мобилизации. Самим совестно, так прислали в окружком отцов и матерей — нате вам, мой или моя и без комсомола великолепно проживет. Ты, Алексей Филиппович, тоже, может быть, билет своей дочери принес?

Куницын побагровел:

— Я говорю, что она заболела.

— Хорошо, пришлем врача.

— А при чем тут врач? — возвысил голос Куницын. — Ты что же, моему слову не веришь?

— Нет, — сказал Илья и взглянул на часы. Стрелки показывали уже половину шестого.

— Зачем вызывал, Алексей Филиппович? Меня ждут.

— За отца все сердишься — напрасно. МК рассмотрел и утвердил наше решение.

— Кроме МК, есть ЦК, — не глядя на него, сказал Илья.

— И ЦК скажет то же самое. Лично я верю Степану, — черт его знает, как это получилось: приехали англичане, и у нас — извольте радоваться и изумляться — останавливаются фабрики в поддержку их домогательств. ЦК, взвесив это, скажет...

— Не торопись, Алексей Филиппович, решать за ЦК и извини, я должен быть уже там.

Илья отнял от своей руки его пальцы и прошел в калитку.

Сквозь серую дымку неба уже пробивалась голубизна, и на востоке оно чуть зарумянилось. Там, где находился Василий, сейчас... Да, что там? И что с Василием? Вышел ли он невредимым из боя, о котором третьего дня писали газеты? Чертяке и в голову, наверное, не придет известить о себе телеграммой, а путь письма оттуда долог — не меньше месяца.

Ветер дул с востока, и Илье вдруг почудилось, что в нем улавливаются запахи дыма и пороха, и хотя он знал, что это нелепо, чтобы за добрых десяток тысяч километров дошли они сюда, но все же глубже втянул в себя воздух. Нет, в утренней прохладе был лишь едва уловимый аромат цветов с клумб городского сада.

В памяти мелькнуло видение кашинского луга, и Орлов нахмурился. Комсомольский рейд выявил, что хлопок орехово-зуевских фабрик был переадресован в Тверь и что сделано это было по указанию профессора Нефедова, но в Тверь хлопок тоже не попал, словно сквозь землю провалившись в пути. Вызванный им к телефону Федор Ефремович оказался далеко не таким любезным, как у себя за столом. Вгорячах сказал старику, что придется спросить более ясный ответ через «Комсомольскую правду». Разговор этот был позавчера утром, а вечером позвонила Ксения:

— Илюшенька, дорогой мой, неужели это правда? Дядя говорит, что ты угрожал ему и вообще вел разговор в недопустимо грубой форме.

Попытался объяснить суть дела, но она не захотела слушать.

— Дядя говорит, что, возможно, и был такой случай, хотя он не помнит. Ведь ему нередко приходится решать дела, далекие от его прямых обязанностей. Но допустить мысль, что с его стороны был здесь какой-то злой умысел, — это чудовищно! Федор Ефремович честнейший человек и к тому же... Я рассказывала тебе, милый, ты знаешь, я не помню своих родителей. Заменил их мне дядя Федя. До встречи с тобой он был для меня самым большим и, если хочешь, единственным другом. Единственным! Пойми меня: любая неприятность, доставленная дяде, — это неприятность, доставленная лично мне. И на этот раз она будет вдвойне чувствительна, потому что нанесена тобой — человеком, которому я сказала люблю, — моим Илюшей.

— Ксюша, отдаешь ли ты себе отчет в своих словах? Дело это государственное, и вмешивать в него личные мотивы и чувства...

— Я далека от политики, Илик, но я люблю тебя и люблю дядю. Узнаешь его поближе, и ты полюбишь, просто немыслимо не любить его — это же изумительнейший человек, большой души. Не будь к нему жестоким. Ну не ради него, так ради меня, ради нашего общего будущего. Нет, я не прошу от тебя ничего непосильного, позвони завтра дяде и извинись. Я знаю, что ты гордый, и люблю тебя такого, но ведь здесь речь идет не об ущемлении твоей гордости, а просто... Понимаешь меня? Ты, как снимешь телефонную трубку, подумай, что тебе всего-навсего двадцать лет, а он седой. И еще подумай, что он не только крупный ученый и советский работник, но и мой дядя, а в будущем и твой...

— Хорошо, — сказал он, — если Федору Ефремовичу показалось, что я был груб, я готов извиниться, Ксюшенька, но и профессор должен помочь нам найти исчезнувший хлопок; если он откажется, я сделаю так, как говорил, — это мой долг.

— Только так? — спросила она, и таким упавшим голосом, что у него сжалось сердце. В трубке что-то шуршало, попискивало, а он видел ее раскрасневшееся лицо с сияющими сквозь слезы глазами — таким, каким было оно в тот миг, когда она кончила играть свою легенду и он обнял ее. Волнение, пережитое тогда, не надо было и припоминать — оно не уходило. Но не выходил из памяти и злой тон, которым разговаривал с ним по телефону профессор. Дядя Ксении? Да, но и родной отец того поручика. И, может быть, не померещился, а в самом деле был тот мимолетный враждебный взгляд, когда они сидели за столом?

— Только так, Ксюшенька, — сказал он твердо. Трубка щелкнула и зачастила гудками.

И ночью, у постели отца, он несколько раз ловил себя на том, что слышит ее голос. «Только так?..» Эти частые, как удары сердца, гудки — они содержали в себе ультимативное «или—или». Но разве в любви может быть диктат? Это и порождало сомнение в искренности ее чувства. Может быть, он для нее своего рода экзотика, ее «авось когда-нибудь да вспомнишь обо мне» шло... от жажды каких-то новых, щекочущих нервы ощу-

щений? А может быть, и не ей, а дядюшке ее нужен он для каких-то своих целей? Разве мало случаев, когда нэпманы искали дружбы и даже родства с партийными работниками, чтобы легче обделывать свои противозаконные дела и делишки. Но вспоминались ее чистые, сверкающие слезами глаза, и все в нем протестовало против столь нелепых предположений.

Вчера все утро он ждал ее звонка, но звонка этого не было, хотя Москва вызывала трижды. Третий звонок был из МК перед началом демонстрации протеста против провокационных действий китайских милитаристов.

Вместе с приказом провести пробную мобилизацию на фронт всей комсомольской организации секретарь обкома сообщил, что «легкая кавалерия» железнодорожников обнаружила вагоны с хлопком в тупиках на различных магистралях, причем в таких районах, где не было никакого текстиля. Объяснить это случайностью, конечно, было невозможно. Очевидно, на транспорте орудуют вредители. Но только ли на транспорте? Хлопок ушел со складов ВТО, все ли благополучно в этом ВТО? «Нет, Ксюшенька, в дни, когда уже заговорили пушки, нельзя быть мягким».

В полночь, когда посланцы окружкома разошлись во все концы города с мобилизационными повестками, он сел в своем опустевшем кабинете за стол и написал открытое письмо профессору Нефедову. Письмо это, адресованное в «Комсомольскую правду», лежало еще в кармане. Завтра, как только откроется почта, оно будет отправлено, и завтра же его получат в редакции и, наверное, уже послезавтра оно будет прочитано Ксенией. Расплачется? Или гневно сверкнет глазами, а сердце ее забьет отбой, как вчерашние гудки в телефонной трубке! Ну что ж, может быть, это и к лучшему: на востоке— гром пушек, враг силится смять советские рубежи, буржуазная пресса полна недвусмысленных угроз, а внутри страны, очевидно, ждут сигнала неразоблаченные собратья шахтинцев. Не время для лирических элегий, не время щекотать сердце легендами о любви.

Из дверей Дома Советов вышел военком Миронов.

— Так в самом деле всеобщая мобилизация? — угрюмо спросил его Куницын.

— Пробная.

Илья пожал плечами — не следовало бы этого говорить, а взглянул на Куницына — и усмехнулся: немножечко преждевременно поднялась температура у Таи!

Отвязывая от стойки крыльца коня, военком сказал:

— Пятнадцать минут в вашем распоряжении, товарищи.

— Разве? — испугался Илья: ведь только что было половина шестого.

Куницын предложил:

— Садись, подвезу.

Лучше бы, конечно, отказаться, но если действительно уже без пятнадцати шесть...

Он сел в пролетку. Военком козырнул им и пустил своего коня галопом.

На тротуаре—полно торопящихся людей, но девушек и парней с рюкзаками и мешками уже не было среди них, вероятно, все в сборе.

«Все?» — Илья потрогал стопку членских билетов и невольно обтер ладонь о коленку, словно коснулся ею чего-то липкого, гаденького. Неважно, что мобилизация пробная, проверка стойкости возглавляемой им организации — настоящая: двенадцать переданных ему членских билетов — это двенадцать дезертиров. Очевидно, с приемом в ряды комсомола далеко не во всех ячейках округа благополучно, если могли получить билеты трусы и шкурники. Правда, в почти двухтысячной организации двенадцать человек и одного процента не составляют. Но двенадцать ли? Только там, на площади у Красной казармы, узнает он точное число тех, которым свои шкуры дороже Родины. Двенадцать, и в числе их...

В ушах его до сих пор звенел пронзительный голос матери Любы Архиповой: «Нате, дочь велела отдать... Ишь, чего надумали — девок на войну гнать, а сами тут будете командовать? Ловко!»

Не жаль, что придется выкинуть из комсомола Валерия Дроздова — этого «поэта» с бантиком, считающего себя чуть ли не богом на том основании, что один из его стишков был опубликован в «Голосе текстилей». Первым проголосует он и за исключение Таисьи Куницыной, когда врачи установят ее симуляцию. А что болезнь ее выдумка, в этом он был уверен.

«Чище станет комсомол, избавившись от подобных сорняков. Но Люба!» — Илья даже губу прикусил. Гордился он всегда этой боевой комсомолкой, сам на прошлых выборах выдвинул ее кандидатуру в окружком комсомола.

Куницын курил, искоса поглядывая на его лицо со стиснутыми, словно окаменелыми, челюстями, а когда пролетка завернула за угол и затарахтела колесами по дощатому настилу моста, не выдержал:

— Зря, говорю, за отца сердишься.

На повороте к Красной казарме лошадь чуть не наскочила на бежавшую по дороге девушку в юнгштурмовке с темно-зеленым рюкзаком на спине. Она отскочила и обернулась: Архипова!

«Одумалась все же!» — обрадовался Илья. Но радость эта была мимолетной: факт оставался фактом — струсила, отдала комсомольский билет, и то, что теперь одумалась, не снимало вопроса о возможности ее дальнейшего пребывания в рядах комсомола.

Кучер придержал лошадь. Огромный пустырь перед Красной казармой кишел народом — и молодежь, и пожилые, вероятно, родственники мобилизованных.

Не ответив ничего Куницыну, Илья выпрыгнул из пролетки.

— Товарищ Орлов! — на бегу окликнула его Люба.

Он остановился.

— У меня беда: я без комсомольского билета, — растерянно проговорила запыхавшаяся девушка. — Глупо как-то получилось, товарищ Орлов. Когда я одевалась, мать все время была около меня — плакала и грозилась, потом схватила мой билет... Мне бы сразу за ней, а я растерялась, и только когда щелкнул ключ, кинулась, а дверь не поддается. Ломлюсь в нее, кричу — в коридоре шум, а никто не открывает. Из окна? Высоко! Ведь мы на третьем этаже. Если бы хоть водосточная труба чуть поближе была... Да будь что будет! — пробралась к ней с подоконника... В общем, как видишь, ничего, только вот... — Люба показала расцарапанную, вымазанную засохшей кровью коленку. — Но это пустяки, конечно.

Илья улыбнулся, а на сердце ощутилась грусть, — может быть, оттого что Ксения не такая, как эта Люба, хотя внешне они даже похожи — такой же росчерк бро-

вей, обе смуглые, и в сиянии глаз есть что-то общее. Но... никто и ничто не удерживает Ксению, никто не замыкает ее на замок, добровольная пленница старых условностей и понятий, она не только сама не хочет освободиться от связывающих ее пут — думает спеленать ими и его, Илью, коммуниста, комсомольского вожака.

— Пустяки, — рассеянно повторила Люба. — А вот билет — как же я без него приеду на фронт?

Он достал из кармана билеты. Архипова сразу узнала свой, и у нее радостно вырвалось: «Ой!» А в больших черных глазах проступило изумление, но у Ильи не было времени рассказывать, как попал к нему её билет: вокруг уже образовалась толпа. В ней он увидел деда Петра и рядом с ним мать. Мелькнуло лицо дяди Николая. «Зачем?» — удивился он, забыв, что даже члены бюро окружкома ВЛКСМ не знают, что мобилизация пробная, и явились сюда по-походному.

Военком Миронов стоял возле дверей и показывал на часы. Илья кивнул.

— Построиться! — раздалась команда.

* * *

Больше часа длилась перекличка.

«Здесь!» «Есть!» «В строю!» — отзывались голоса.

Марфа стояла, придавив ладонями грудь с колотящимся в ней сердцем, и всем своим существом была рядом с Андрюшкой, затерявшимся где-то от ее глаз среди этого моря голов. «Война!» То ли слезы туманили глаза, то ли в самом деле видела она мыслями и пороховой дым и падающих парней в красноармейских шинелях. Сердце рвалось, словно кто-то схватил его железными пальцами и тянул к горлу, а кричать нельзя, потому что слово сыну дала, и не кричать нельзя: единственный сын-то, материнская отрада в ее исковерканной жизни с отнятой, поруганной девичьей любовью.

— Слово имеет товарищ Орлов! — сказал военком Миронов.

Илья неторопливо поднялся на обитую кумачом трибуну, позади которой на стену только что легла бледная полоса солнца. Осветило оно и его лицо с невыбритой щетиной на подбородке и осунувшихся щеках. Глаза на

утратившем румянец лице стали вроде вдвое больше, но ушли куда-то вглубь, синевой обвелись.

— Комсомольцы и комсомолки!

Услышав позади вздох, Марфа оглянулась, и всю ее обдало жаром. Анна! Откуда-то налетел ветерок, и словно это он зашептал: «Ну и что ж из того, что Анна. Не грешно ли в такой час старые обиды вспоминать? Ныне все жизнь перепахала и спутала — не Илька ли спас десять лет назад Андрюшку, когда тот тонул, провалившись в прорубь? Не с ним ли поедет парень и сейчас туда, где первый сын Степана и этой Анны, где гром пушек и где смерть каждому смотрит прямо в глаза, а оттуда бог весть кому он первую весточку пришлет— тебе или этой девчонке Ленке? Все перемешалось. Да и сам Степан... Отступила, говорят, от его поседевшей буйной головушки костлявая, а далече ли?»

Анна! Золотистые брови, веснушки на щеках и носу. Она и не знала, что жена Степана с веснушками. Видела ее только издалека, и потому, наверное, казалось, что «стерву эту рыжую» и старость не берет, ровно двадцатилетняя со своим портфельчиком носится. А это ведь не так—и морщинки есть, и седина... И возле губ вон какие складки залегли!.. Из-за Степана или раньше были? Старший сын т а м и дочь за тридевять земель. Этак кто хошь поседеет! И почему «стерва»? Народ о ней хорошо отзывается, а то, что так случилось...

Анна почувствовала на себе ее взгляд, и глаза их встретились.

— Здравствуйте, — растерянно проговорила Марфа. Орлова молча кивнула и опять устремилась взглядом к Илье, выжидавшему, когда стихнет гул так некстати появившегося в небе самолета.

Ночью он мысленно набросал план своей речи, а сейчас, оглядывая притихшие ряды, усомнился: нужно ли столь подробно о последних событиях на КВЖД — только вчера говорилось обо всем этом.

— Мобилизация, товарищи, пробная!

Гул пронесся не сразу. Сначала то, что вырвалось в нем, проступило на лицах — где нерешительными улыбками, где хмурью, которую не смягчало и солнце, заливавшее все это живое людское море. Пробная? А они ведь видели себя уже т а м.

«Пробная!» — нежданное-негаданное слово это раз-

жало тиски, сдавливавшие сердце Марфы, но вместе со вздохом облегчения ее бросило всю в пот, а глаза полыхнули гневом, и слезы обиды струйками ринулись из них на горячие щеки:

— Да что же это такое, а?

— Тс-сс, — зашикали вокруг.

— По всему Советскому Союзу этой ночью шли комсомольцы и комсомолки на призывные пункты... — сквозь гул прорывался голос Ильи: — Нет, это не военная игра, мы уже вышли из того возраста, когда играют в войну...

Кое-кто из провожающих стал выбираться из толпы. Выбрался и Петр.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Гудок с того берега настиг его возле дома.

«Хлопок, похоже, привезли, наконец-то!».

С девяти на этой неделе работал Никита. «А ну-ка, чего не поладится у него там?» — нахмурился Петр, хотя знал, что не поладиться в паровой нечему, подумал же так просто потому, что за четыре дня стоянки соскучился по фабрике. — «Посмотрю, потом к Степану наведаюсь, перекусить чего-нито можно будет у Анны или Николая».

Комсомольцы еще не разошлись от Красной казармы — голосовали за что-то.

На Ленинской повстречался с Иваном Каланчой.

— Война, стало быть, Прокофьевич? — спросил тот, поздоровавшись, а под усами дрожала улыбка.

«Знает уж, что пробная», — догадался Петр и промолчал.

— Степан Петрович-то как?

— Ничего. Рассерчал вчера на меня.

— А?

— Из-за той грамоты, что по рукам ходит.

— Знаю: и читал и подписывал. Более пяти тысяч, сказывают, подписали уже...

— Я сказал три — и то... — вздохнул Петр. — «Кто затеял?» Как будто я... На уколах держится, вроде ни в одном пальце силы еще нет, а глазами как стеганет!

— Орел! — восхитился Каланча. — А ведь все вы,

Орловы, такие, Прокофьевич, гордые, что ли?.. Сами, мол, за себя постоим!

— Война, говоришь? — переменил Петр разговор. — Есть, конечно. То, что англичане нам в хлопке отказали, думаешь, не война? Свой хлопок одним махом, ровно как Василиса Премудрая города строила? Так это сказка, а тут жизнь. Каналы там эти — и старые и новые, на все деньгу подай. Пятнадцать тысяч тракторов — шутка сказать! А две тысячи с лишним уж по весне — Сивка-Бурка, вещая каурка, — где их взять-то? От хлеба — нельзя, стало быть, опять деньги, а их где брать? Дыру пустым местом не прикроешь! Надобно откуда-то еще лоскуты отдирать и, глядишь, с мясом...

— Не без этого, — согласился Каланча, — а чего это народ из-за газет дерется?

Люди и в самом деле чуть ли не с дракой лезли к окошечку у киоска.

— «Голос текстилей»! И мне «Голос текстилей»!

Уловив в говоре имя дочери, Петр остановился. К нему подбежала девушка, ватерщица с его фабрики:

— Посмотрите-ка, Петр Прокофьевич.

Портрет Лукерьи! На первой странице...

— Чего это ее?

— А здесь написано. Вот, смотрите, и подпись ее отпечатана, призывает всех текстильщиков Советского Союза собрать деньги на трактора для хлопкоробов.

— Ишь ты! Возьму газетку-то я, дочка.

— Возьмите, — согласилась ватерщица.

Петр бережно свернул газету трубочкой и хотел засунуть в боковой карман, но Каланча попросил:

— Дай-кось, и я гляну.

— Не помни. Да руки-то чистые у тебя, Иван?

— Чистые. — Каланча, прищурясь, вглядывался в портрет. — Похожа. Я ведь ее с девчонок, Прокофьич, помню. С Марфунькой Серегиной мимо нашей каморки постоянно шмыгали, другой раз аж злость разбирала. — Он замолчал, шевеля губами.

— Чего ты?

— А тут про нее писано.

— Ну?

Каланча рассердился...

— Не подгоняй, я ведь, знаешь, тоже не шибко грамотный, спервачка про себя.

Петр закурил.

Поперек улицы протянулся плакат, натянутый вчера перед демонстрацией:

К ОТВЕТУ ЗАРВАВШИХСЯ КИТАЙСКИХ МИЛИТАРИСТОВ!

«Как-то там сейчас? — Илья говорил, что его газета будет по телефону разговаривать с частью, которая вела бой, и ему обещали разузнать о Василии. А может, и зря все это! Граница большая, почему Василий обязательно должен там быть, где бой шел?»

Уже на повороте в фабричный двор Каланча сказал:

— Одним словом, тут рассказывается, Прокофьич, как пришла она в газету, стало быть, узелок на платочке развязала и выложила на стол рублевку помятую. Раз в платке завязана, как же ей не помятой быть, чудаки!.. И тридцать копеек мелочью — это, дескать, все, что у меня теперь, — немного, само собой, но ежели каждый даст столько же, вот и станется, чем уплатить американскому Форду за трактора для хлопкоробов.

— Ишь ты! — удивился опять Петр и покачал головой: трешка у нее всех капиталов было, когда вчера уезжала, — за билет отдала, на трамвай потратилась, булку, глядишь, купила — вот они, рупь тридцать, и остались.

Он протянул за газетой руку.

— Погодь, самая суть дале. Газета, стало быть, присоединяется к ее призыву и объявляет, что этим ее вкладом открыт в Госбанке счет... Цифра тут стоит такая, что я не знаю, как и сказать ее, нумер в общем, по нему и следует сдавать деньги — кто уж сколь сможет или пожелает; вот теперь все, возьми. Хорошие, скажу я, детки у тебя, Прокофьич: о Степане Петровиче и говорить не след, Николая тоже не похаешь, и Лукерья гляди-кось!

— Тебе, Иван, на своего Максима тоже не приходится обижаться.

— Да я и не в обиде, — улыбнулся Каланча. — Рябоват малость, так это не от меня, от воспы. Ты не на фабрику разве?

— Пожалуй, нет, не моя ведь смена. Пока, Иван! — Петр приподнял картуз и зашагал по узкоколейке.

У Дома искусств присел на скамейку, смотрел на лицо дочери и не знал, как решить, — дельно придумала

Лукерья или пустяком все обернется и народ после посмеиваться будет над этой ее затеей, да и его всяк зубоскал остановит и спросит: «Много ли, Прокофьич, твоя Лукерья на рупь тридцать тракторов закупила?..» Нет, надо думать, на ее рубле дело не замрет — и другие внесут, но много ли? Рупь тридцать, конечно, деньги. На четырнадцать копеек боле, чем за весь день получают те, что в труде по первому разряду идут, — разнорабочие, сторожа. И если действительно. каждый по стольку, глядишь, и получилось бы. Да где там! Мало разве люда, норовящего у государства лишнюю копейку урвать, а чтобы в обратную сторону, — нет, мы, мол, нищи, сто лет без пищи! Попробуй-ка взять что-то с Никиты, особенно в час, когда он выпить мерекает! Да что там Никита, и не пьяниц — прижимистых хватает. Марфа вон как в день останова фабрик на Митькина кричала, а сама в прошлом году, когда на заем подписка шла, что сказала? «Пускай, у кого кошельки от денег лопаются, тот и одалживает, я сама еле концы с концами свожу». И не подписалась, а все вроде из-за того, что ее талончиком на мануфактуру обидели. Хорошо еще Андрюшка поправил дело: все писались — кто на двухнедельный заработок, кто на месячный, он сразу на полтора месяца подмахнул — и за себя и за мать. «Концы с концами» — ишь ты! И утром-то ныне кто хоть и со слезами, да сам снарядил девок, а кто и за хлястик цеплялся своему парню или девке: наша, мол, хата с краю. Вот как!

Одна дура так и кричала: «Пущай Илюшка Орлов воюет, кулаки-то у него пудовые!»

То ли со слепинкой люди, то ли в чердаке у них паутина... Петр разгладил на газете складку — Лукерья с портрета смотрела как живая.

«Тридцать копеек могла бы и при себе оставить», — проворчал он, опустив руку в карман. В кошельке было несколько медяков и четыре рублевых бумажки. Давал вчера две Лукерье, отказалась: «Обойдемся, тятя». Рубля хватит на хлеб и табак до получки, остальные можно отдать на трактор. Все, конечно, не закупишь, а на один-два, глядишь, насобирается — и то большая подмога государству.

Он поскреб пальцем лохматую седую бровь, припоминая слово, очень уж кстати подходившее к этой

газете с портретом дочери. Припомнил и засмеялся:

«Сагитировала!»

Железнодорожное полотно почти до самого вокзала было заполнено людом: от казарм спешили на фабрики, а встречь им из проезда механического завода, со Двора стачки и со школьного двора шли парни и девушки с мешками и рюкзаками.

Илья с Анной тоже, наверное, придут сейчас в больницу: глядишь, и Степан какой совет подаст — большая голова-то, умная. Трактор-два хорошо, а с остальными как? Может, не пожертвование — отработку? Скажем, полдня, а то и весь день — почему ж нельзя? На оборону отрабатывали, можно и на хлопок. Тут уж не на копейки счет пойдет!

Петр спрятал газету в карман. Встречные люди справлялись о Степане, спрашивали, знает ли он о призыве Лукерьи.

У забора механического завода дорогу заступили комсомольцы. Некоторые жевали, благо было чего, — у каждого в мешке продовольственный запас на двое суток!

Паренек, у которого из-за голов проглядывал лишь козырек кепки, напирал на соседа:

— Ясно? Таких, кто ежится — «тяжело» да «справимся ли», — к Турксибу за версту не допустим!

«Похоже, опять мобилизация на Турксиб будет», — подумал Петр, обходя эту толпу. Два парня с котомками обогнали его на переезде, но проскочить не успели — опустился шлагбаум.

— Сказано «А», так надо было и «Б» сказать — сразу подписку открыть.

— Может, правительство не даст своего согласия?

— Как это не даст?

«Займ? А ведь верно! — заволновался Петр, следом за ними перешагнув рельсы. — Понадежней Лукерьиной затеи... Можно и без всяких выигрышей — так на так—и для каждого это будет не дюже заметно: в рассрочку ведь!» — Он замедлил шаг. Думай не думай, а вернее ничего не отыщешь, и просто удивительно, как сам он, перебирая все в уме, на мысль о займе не натолкнулся... Наверное, это потому, что с вычетами по прошлогоднему займу только месяц назад закончено.

Ну и что из того, раз такое дело с англичанами и с Китаем! Комсомольцы это поняли, и некомсомольцы поймут. Весь рабочий класс должен потребовать. Надобно подсказать фабкому, растормошить его, и не когда-нибудь, сейчас же — планы-то вон как передвинулись — чего время попусту терять?

Но тревога за Степана не оставляла сердце, а больница была уже в каких-нибудь пяти минутах ходьбы.

«Взгляну — и назад».

— Петр!

На крыльце казармы, мимо которой он шел, стоял красильщик Андрей Селивановский.

— Что твоя дочка с народом делает, а?

— А что?

Селивановский, погладив седую, заправленную в жилет бороду, засмеялся:

— Зайди глянь.

— Спешу, Андрей.

— Да зайди, говорю, — красильщик сбежал со ступенек и потянул его за руку.

Дверь закрылась за спиной, как все казарменные двери, с гулким хлопком. Из каморок выносили самовары, одежду, коврики. Босоногая ребятня путалась в ногах у взрослых, многие женщины бежали с малышами на руках — можно было подумать, что идет переселение.

Селивановский шутливо подтолкнул озадаченного Петра. В общем потоке они прошли мимо кухни, обдавшей их лица жаркой духотой, поднялись на последний этаж. У винтовой лестницы на сушилку кто-то охрипшим голосом уговаривал напиравших людей.

— Товарищи соседи, которые только из любопытства, — повремените! Красный уголок, чай, не резина!

— Нуте-кось! — решительно потребовал Селивановский. Петра заметили, зашептались. Рядом кто-то крикнул:

— Эй, впереди там, дайте Прокофьевичу пройти!

Ни ступеней, ни ног своих Петр не видел: перед глазами — сивый затылок Селивановского, а в спину толкалась чернявая раскрасневшаяся бабенка. Она несла на плече самовар и нет-нет да выкрикивала:

— Не прите, черти, выроню!

Над дверью в красный уголок парнишки прибивали плакат:

С букв стекали извилистые забеленные ручейки. Селивановский покачал головой.

— Просохнуть надо бы дать!

Один из прибивавших, держа в зубах гвозди, невнятно сказал:

— И мокренькое понятно!

Потолок в красном уголке был как раз по Петру, — если бы чуть ниже, пришлось бы наклонить голову. Люди теснились к стене с кумачовым полотнищем:

НА ТРАКТОРЫ ХЛОПКОРОБАМ

Под ним на маленьких гвоздиках держалась газетная страница с портретом Лукерьи.

«Ишь ты!»

— Нуте-кось, — требовал Селивановский. — А теперь гляди, Прокофьич, — сказал он, повернувшись.

Но Петр и так уже взволнованно оглядывал большой стол, накрытый красной материей: медяки, гривенники, пятиалтынные, двугривенные, полтинники, бумажные рубли, обручальные кольца, цепочки, кресты, брошки, царские медали... А рядом второй стол, и на нем — отрезы мануфактуры, чья-то швейная машина, медные тазы, вазы, подсвечники. Женщина, что поднималась по лестнице следом за ним, пробралась к этому столу и стояла в растерянности: некуда ставить ей свой самовар!

— На пол, — посоветовал кто-то.

— Вон и еще с самоваром.

— Становьте на пол!

Люди подходили и подходили. Сидевшие за столом,— наверное, комиссия, среди них и Андрей Катков все в той же тужурке, в которой был у Красной казармы, — пожимали жертвователям руки, благодарили.

— Кто сообразил-то? — вымолвил наконец Петр.

Селивановский за плечи повернул его лицом к стене:

— Без очков разглядишь, Прокофьевич?

Грохнувший вокруг смех рассердил Петра:

— Про Лукерью знаю и насчет денег не спрашиваю, я про вещи.

— А-а! Это вон моего тезки родительница.

— Марфа?

— Она, — подтвердила чернявая, пристроившая все же свой самовар на видное место, — ее машинка.

— Нет! — возразил кто-то от двери, — первым Саблин мануфактуру принес, тот вон отрез, что внизу, ситчик в полосочку.

Вмешались в спор и другие:

— И не Саблин, а Коржиков.

— А насчет крестов Матрена Чистова. Своими ушами слышала, как она спросила: а крестики нательные можно?

— Так это она уже комиссию спрашивала, — не сдавалась хозяйка самовара, — а Прокофьевич пытает, кто сообразил. Она, Петр Прокофьевич, сообразила, Марфа. Не при деньгах она сейчас, вот и вскипела: а почему, мол, только о деньгах речь? Можно и вещами— сдадим в комиссионный, они там теми же деньгами и обернутся. Вот ведь оно как было!

— Правильно, так было.

— А то крестик! И крестики, конечно, в цене — серебро, а то и золото, — но все же крестики, а тут машина швейная — вот ведь какое дело! Все так и ахнули, когда она притащила. Мое дело вчуже, и то в груди екнуло: Марфуша, говорю, опомнись! Она сплеча как пульнет матюгом — вот ведь какое дело!

Селивановский, довольный, поглаживал бороду.

— Что скажешь, Прокофьевич?

Петр достал кошелек, пальцами захватились все четыре рубля, прятать один обратно показалось неудобным — положил на стол все.

— Спасибо, Петр Прокофьевич, — Катков протянул ему руку.

— Чего на дню по два раза здороваться! — буркнул Петр и чуть отстранился, пропуская старушку, которая, что-то шепча, бережно положила на край стола серебряную ложечку.

— Еще в девках нашла на Англичанке и с той поры берегла, ан и пригодилась. Пригодилась, спрашиваю?

— Спасибо, бабушка Настя! — сказал сидевший рядом с Андреем сын Селивановского Сергей.

— Хлебай, внучек, на здоровье! — Не обращая внимания на вызванный ею смех, старуха позвала:—Лиза!

— Туточки я.

Петр оглянулся: Елизавета Комарова, подружка покойной жены. В тот день, когда родился на фабрике

Степан, вместе с ней везли они метавшуюся в беспамятстве Наталью в родилку, а там показали от ворот поворот, и они уже пешком зашагали в Зуево: он нес на руках жену, а она—Степку, тогда еще безымянного. Шла и все тревожилась за Натальей. Тихая в девках была, вроде и неприметная, но в стачку восемьдесят пятого года за первого коновода стала у баб: куда она, туда и они все. И в революцию... где только не мелькала ее красная косынка! Потом враз как-то сдала: легко ли—и мужа и сыновей потеряла на фронтах, а голод с холерой внуков подобрали. Когда пустили в ход фабрики, с год только и постояла за станком.

— Туточки, — повторила Комарова, придерживая съехавший с головы платок. Ни одного темного волоска! — Сию минуту я. — Подернутые старческой слезой глаза ее обежали стол, и рука с бугорками синих жил застыла в воздухе. -- Вот ведь по сколь кладут. — Она нерешительно разжала пальцы: на желтой ладони сбились в кучку копейки, семитки, потертый пятак.

— Чего сиротишься! — осердилась на нее бабка Настя. — Аль не знаем мы, у кого что есть, — и твоя копейка, Лиза, может, поболе другого рубля весит.

— Правильно! Спасибо, бабушка Лизавета, — послышалось вокруг, а Сергей Селивановский сказал:

— Не надо, бабушка Лиза.

Рука старухи дрогнула, едва не рассыпав медяки.

— Не принимаете, стало быть, столько? — Слезы шариками заскользили по гармошке морщин. — Что я была бы и как... побиралась бы, где-нито под забором спала, а я вот и в тепле, пенсия есть, свой кусок хлеба— и все это рабоче-крестьянская. Слышу — туго ей пришлось, помогай, говорят, кто сколь может. Ежели бы в день пенсии, а то... пошарила вот в комоде... ежели бы в день пенсии, говорю, — и вдруг в голубых водянистых глазах ее блеснуло оживление: — А в долг ежели, соседушки? Запишите недостачу за мной до пенсии.

Сергей замахал руками.

— И на этом земное спасибо, — сказал Андрей.

Лицо Комаровой просияло.

— Стало быть, можно? Ну, благодарствую, — и она подала Андрею свои медяки. — Рабоче-крестьянской от пенсионерки Комаровой.

Петр глотнул подступивший к горлу комок и нахму-

рился, сердясь на себя: пожалел вроде о случайно прихваченном четвертом рубле, а ведь дома в столе еще трояк, правда, на калоши отложен, но сырые дни еще впереди — когда подойдут, и получка новая подоспеет.

— Коли мало кажется, Лизавета, я доложу. — Под одобрительный гул он высыпал из кошелька задержавшуюся «мелочишку»: — Еще от Лизаветы на тракторы хлопкоробам.

— Никак, Петр! — обрадовалась та. — Спасибо, Петр, а то уж я толкалась к соседям, да все сами понесли. В пенсию я верну. Сколь доложил-то?

— Рабоче-крестьянская подсчитает, — засмеялся Петр.

А к столу тянулись и тянулись руки — мужские и женские, ребячьи и девичьи, разжимались ладони, и вдруг — гармошка... Вальс! Парень в юнгштурмовке,— наверное, тоже на рассвете был у Красной казармы, — растягивая меха, перешагнул порог:

Все стихло вокруг,
лишь ветер на сопках рыдал...

Это же там! Маньчжурией называется станция, на которой три дня назад пролита кровь советских воинов.

Притихли и те, что устанавливали потеснее на полу вещи, но гармонист уже снял с плеча ремень и сомкнул протяжно охнувшие меха:

— Пусть пашет!

Петр скосил глаза на стену, и опять, как у Дома искусств, ему показалось, что дочь на газетном листке словно живая, — вот-вот строгие глаза ее из-под густых, таких же, как у него, бровей блеснут улыбкой, а губы шевельнутся и скажут: «Я же знала, отец, не могут не поддержать это текстильщики, смотри-ка, что делается!»

— Зайди к нам, дедушка Петр, — крикнул Андрей, когда он повернул от стола, — мать рада будет.

— Дела, Андрюша, ждут, дела, — сказал Петр, а спустился до третьего этажа и не устоял перед соблазном — шагнул в коридор и минут через пять уже входил в каморку Катковых.

За столом, покрытым клеенкой, сидели две женщины — молодая и с сединой в волосах, наверное, соседки.

а сама Марфа пристроилась у постели на низенькой скамейке и штопала чулки.

— Дядя Петр! — вскрикнула она в самом деле обрадованно и поспешно встала. Поднялись и соседки.

— Иль вы куры, а я на ястреба похож, — пошутил Петр, — чего всполошились?

— Да уж и так засиделись, — певуче сказала та, что постарше. Марфа воткнула иголку в грудку фартука, повязалась платком.

— Не суетись, говорю, не в гости — случаем забрел.

— Там был?

— Там.

— И спасибо, что забрел, — она прикрыла за соседками дверь. — Садись, дядя Петр. От Степана идешь?

— К нему, а ты делай свои дела. Штопала и штопай, будто нет меня.

— Так чайку хоть, дядя Петр?

— Штопай, а я покурю. — Петр достал трубку, не спеша продул ее. — Не жаль?

Марфа насторожилась.

— Чего?

— Машинку-то.

— И ты, дядя Петр! — Она взяла недоштопанный чулок и швырнула обратно. — Эти, что ушли сейчас, тоже: сунула, мол, бог весть кому. Ничего и никому я не совала, так и знайте! Что почнет твориться, ежели фабрики насовсем остановятся, сам это, дядя Петр, не хуже меня понимаешь: клади все зубы на полку — и это еще цветики. Здесь аукнется, а повсюду все зашатается и вверх тормашками полетит. Вот тут-то и поспеют ягодки! Ежели и сейчас всякой твари по паре на наши границы кидаются, а тогда уж они. как пить дать перешагнут их, и не пробная мобилизация, как давеча, а настоящая будет. Так что мне дороже-то: машинка или Андрюшка мой? «Сунула»... Выходит, за машинку я должна обеими руками держаться, а сунуть Андрюшку своего на штыки буржуйские? Да провались она в тартарары вместе с этими бабами! — Марфа вся дрожала, лицо заревом полыхало. — Понадобится, и все оттащу, при всем честном народе сдеру с себя сорочку. Стыдно, скажешь, голяшом объявиться? Ничуть! — Она отвернулась, вытирая глаза фартуком, вымолвила стих-

шим голосом: — Стыдно-то мне было, дядя Петр, ноне утром, когда комсомольцы за новый займ голосовали. Аж насквозь будто пропекло.

— Понимаю, — сказал Петр, посасывая до вспышек разгоревшуюся трубку.

— Что же это я? — спохватилась Марфа. — В кое время раз заглянул, и слезами угощаю! Да все эта мобилизация, а потом Андрюшка, чертов сын. Вот я его, гада ползучего...

— А что он?

— Как что! Пятерка у меня была отложена — на костюм для него берегла... Жених ведь! Ну, а раз мобилизация — тут не до костюма, на, мол, — сгодятся в армии. Должен был, ежели путный, прийти и положить ее в комод, а он, чертов сын, взял и сунул ее целиком на стол хлопкоробам этим.

Петр поперхнулся дымом.

— Не пойму я тебя, Марфа.

— Да чего тут не понять? — И вдруг улыбнулась:— А я и сама не всегда понимаю себя, дядя Петр. К Степану, значит? Поди, все еще спит?

— Откуда знаешь?

— Да мы с Анютой были, прямо от Красной казармы прошли. В изолятор его перевели, чтобы поспокойней. Пот на лице, а дышит ничего. Хотелось посидеть, да Опанасенко не подпустил. Знаешь ведь, какой он, и Анюту вытурил.

— Какую Анюту?

— Вашу, какую же, Анну Леонидовну.

Петр даже встал.

— Помирились?

— А? Да как тебе, дядя Петр, сказать? Она же для меня не Чан Кай-ши, и я для нее не Шпилька-судский.— Марфа оглянулась на скрипнувшую дверь.

Мальчонка лет десяти, просунув голову, крикнул:

— Тетя Марфа, а у соседей что! Два граммофона принесли.

— В шестнадцатой? — спросил Петр.

— Не, в четырнадцатой, а в шестнадцатой народищу... мы так и не пролезли. — Он захлопнул дверь, и уже откуда-то издали донесся его голос: — Федька, пошли в тридцатую.

— Везде, значит, — улыбнулся Петр. А взглянул на

часы и свистнул: — Двенадцать. В фабкоме теперь перерыв... Не подпускает, говоришь, Леонтий Петрович?

— Гонит.

— А все же наведаюсь.

У больничного крыльца стоял автомобиль.

— Кто это? — проходя в калитку, спросил Петр сторожа.

— Начальство какое-то военное.

В палате у Степана сидел Зимин.

* * *

Около сотни казарм в Орехово-Зуеве, и во всех красных уголках, а то и прямо в коридорах, появились в тот день плакаты:

НА ТРАКТОРЫ ХЛОПКОРОБАМ

Зуевцы и жители Новой стройки несли деньги и вещи в фабком, в клуб Профсоюзов, в окружком. Но текстиль — это ведь не только Орехово-Зуево, и всюду на рубль Лукерьи Перовой нарастали десятки и сотни рублей, а имя самой Лукерьи, не сходившее с газетных полос, дошло уже до всех среднеазиатских республик. Подхваченное «длинным ухом», оно летело в глубинные кишлаки, аулы, стойбища и где-то там сливалось с жившим в народной памяти именем Абду-Селима. Да, того самого Абду-Селима, который когда-то поднял в Уч-Кургане народ против баев. Но об этом рассказ впереди.

В эти дни сентябрьские, когда далекая Средняя Азия подошла к порогу каждой рабочей каморки и ребятишки на улицах увлеченно играли в «текстильщиков» и «хлопкоробов», в Орехово-Зуево приехала комиссия ЦКК и РКИ. Выговор со Степана был снят.

В тресте на двери его кабинета бросался всем в глаза белый прямоугольничек с дырочками от шурупов: висевшая здесь дощечка с фамилией Степана по указанию Куницына была снята и неизвестно куда девалась еще в день останова фабрик. Максим Павлов тушью старательно вывел на фанере:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ОРЛОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ —

и пришел в комнату, где принимали члены комиссии.

— Можно пока эту повесить?

Члены комиссии сказали «можно», и под одобрительный гул толпившихся на лестничной площадке рабочих фанерная дощечка была приколочена к двери.

Узнав об этом, Куницын оставил почти нетронутым обед и побежал на вокзал, а к вечеру в окружком доставили переданную из Москвы телеграмму:

«Заболел. Путевке МК выезжаю лечение. Куницын».

В тот же субботний вечер неизвестно куда исчез и Стребулаев, а во вторник с утренним поездом приехали Мельчинский и заместитель председателя облпрофсовета с каким-то Лисицыным, но у орехово-зуевцев на пост председателя окрпрофсовета уже имелась своя кандидатура — Анна Орлова.

Мельчинский разыскивал ее по всему городу и только за полчаса до собрания профактива увидел на Ленинской. Анна шла из окружкома, где Опанасенко, на поддержку которого она рассчитывала, резко сказал ей:

«Свой довод, что твой муж управляющий трестом, побереги, Анна, до того дня, когда Степан выйдет из больницы и приступит к своим обязанностям, а пока... может быть, уже завтра в трест на руководящую работу придут люди, которые с тобой ни в каких родственных отношениях не состоят. Новые люди... Как воздух, нужна будет им поддержка профсоюзных организаций. А ты знаешь, до чего захламил их этот Стребулаев. Фабзавкомовцы правильно считали, что нужна ломка во всех звеньях, боевая перестройка всего и всех. Не каждому это по плечу. Народ называет тебя, Анна, бюро окружкома одобряет их выбор — чего же ты нос воротишь?»

— На пару слов, товарищ Орлова, — растолкав стоявших у тротуара рабочих, Мельчинский заступил Анне дорогу. — Дело вот какое: я допускаю мысль, что как человек высокой идейности вы не разменяетесь до того, чтобы семейный интерес взял у вас верх над общественным, но это не меняет положения, мы ведем беспощадный огонь по семейственности и кумовству везде и всюду, а как смогут вести этот огонь ореховские профсоюзы, когда... да что там говорить! Любой черт иванович ткнет в глаза: у самих что? Муж управляющий, жена в профсоюзах, а муж, мол, и жена — одна сатана.

— Я приводила этот довод — окружком отклонил его, — помолчав, сказала Анна.

Мельчинский рассмеялся.

— Не окружком, дорогая, собирается стать во главе окрпрофсовета, кто-то другой... беспринципность это! — визгливо взлетел его голос. — Я считаю своим долгом, долгом коммуниста, напомнить вам...

К ним подошел красильщик Селивановский, извинился за вторжение:

— Товарищ из ЦК союза, с какого года ты в партии?

Мельчинский отвернулся было, но, заметив, что рабочие у тротуара настороженно притихли, нехотя буркнул:

— С двадцатого, дед.

— Без году неделя, значит, — уточнил Селивановский, — а мы, кто постарше, знаем Анну еще с той поры, когда она в нашем городе большевистским подпольем руководила. — Он взял Орлову под локоть. — Пошли, Аннушка, народ ждет.

Собрание было бурным. Мельчинский кричал, зло сверкая по сторонам очками, но это никого не запугало. За Лисицына поднялось семь рук и тотчас же опустилось, остальные — а в зале было около пятисот человек! — проголосовали за Анну. Она смотрела на этот лес поднятых рук и вдруг подумала: «А в гороно как же?» Вроде и тяготила в последнее время ее работа там — то ли канцелярщина заедала, то ли уставала от суетни, зачастую и мелочной и ненужной. Один раз, помнится, даже Степану на это пожаловалась: «Думаю вот, Степа, об Илюше, Васе, Лене, Андрее; и кажется, что они где-то далеко впереди на конях скачут, а я на обочине дороги осталась. Ты-то нет, вместе с ними, а я словно споткнулась: заседательской толчеи много. И дела, конечно, есть, но какие-то они тихие — не летят, так себе...» А сейчас вот остро ощутила: сжилась со школами, трудно будет оторвать себя от них. И что-то похожее на обиду шевельнулось в душе, но задержалась взглядом на Леонтии Петровиче, высоко державшем поднятую руку, и смутилась: а ему разве легко было оторвать себя от больницы? Когда еще будет партконференция, которая снимет — а может и не снять! — возложенные на него обязанности секретаря окружкома партии.

Председательствующий сказал:

— Нет надобности считать.

Вскочивший Мельчинский крикнул в грохнувший аплодисментами зал:

— Все равно ни облпрофсовет, ни ЦК союза не утвердят этого избрания.

— Посмотрим! — Анна не уловила, кто это сказал.

— В больницу? — на выходе спросил ее Леонтий Петрович.

— Да, — ответила она, думая, правильно ли поступила, не настояв на отводе.

У трестовского подъезда стоял член комиссии ЦКК. Анна подошла к нему и стала рассказывать, что было на собрании, но он остановил ее:

— Комиссия в курсе, товарищ Орлова. Боитесь, «семейственность» пришьют? Ничего, принимайте дела, а дальше... видно будет. Привет мужу.

— Спасибо.

У Степана, когда она вошла в палату, сидел молодой человек в вельветовой гимнастерке.

— Откровенно сказать, трушу, Степан Петрович, — говорил он, поглаживая лежавший на коленях желтый портфель. — Что у меня за спиной? Вуз и два года практической работы. Но ведь то были цех, фабрика, а здесь...

Гость поднял голову, и на Анну очень уж знакомо блеснули его серые глаза. Крутой лоб, вьющаяся шевелюра, — определенно где-то она встречала этого парня. Но о чем это они?

— ...и пока вы в больнице, придется мне не только свои дела вести.

Степан утвердительно кивнул.

— Громаднейшая ответственность...

— Хорошо, что сознаешь это. Чем выше стоит человек, Евгений, тем хуже и опаснее самонадеянность. Но, конечно, и без своего «царя» в голове нельзя... — обтирая вспотевшее лицо, Степан посмотрел на жену, тихо присевшую на табуретку, и устало сказал: — Знакомься, Анна: главный инженер треста Евгений Григорьевич.

Инженер поднялся и крепко пожал ее руку. Фамилия его была Волков, но этого он мог и не сообщать. Анна уже вспомнила: да, вылитый отец, только ростом повыше. Григорий маленький, худощавый. В целях конспирации товарищи-подпольщики придумали ему кличку, вызывавшую улыбку у всех, кто сталкивался с ним тогда впервые: «Великан». Вместе воевали и против Деникина, и в Крыму. После разгрома Врангеля Григорий

тоже хотел в чекисты, но командование не отпустило. От кого-то — не то от Степана, не то Зимина — она слышала, что Волков с Блюхером был в дни китайской революции у Сун Ят-сена, а сейчас он в ОДВА — комиссар полка, в котором служит Василий. Но радость мелькнула в глазах Анны и погасла: главный инженер и на время болезни Степана его заместитель!

Степан лежал, сомкнув в хмуром раздумье брови. Анна взяла его руку. Только вчера разговаривали они о трестовских делах, и он надеялся, что в должности главного инженера ВТО утвердят Воронина. Да, у Воронина многие годы инженерной практики, большие технические знания, а это как раз то, чего так остро недоставало Степану.

«Евгений Григорьевич... — Анна скосила глаза на инженера, все еще стоявшего по другую сторону койки. — Совсем ведь еще мальчишка этот Евгений Григорьевич».

— Илья вернулся из Москвы? — спросил Степан.

— Нет. Звонил. ЦК командирует его в Среднюю Азию и, кажется, надолго. Степан! Я теперь председатель окрпрофбюро.

Забыв, что врачи не разрешали ему резких движений, он приподнялся на локтях. Анна ласково отклонила его голову к подушкам, провела ладонью по волосам, сильно побелевшим за дни болезни.

— До того дня, когда ты выйдешь на работу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Абду-Селим! Было это в прошлом веке. Жестоко расправился андижанский губернатор с повстанцами, но вожак уцелел и не сдался. Во главе небольшого отряда он скрылся в уч-курганской степи, чтобы добыть для народа нарынскую воду.

Вода! Из-за нее и началось восстание... Птице нужно просторное небо, бутону цветка — солнце, человеку — вода: где вода, там жизнь.

Яростно застучали на скалах кетмени, но время шло, и одни умирали, другие разбегались, не выдержав суровых лишений, сломленные силой диких стихий. Абду-Селим остался один. Восемь лет рубил он затупившимся

кетменем каменную целину — обезумевший, в лохмотьях, уже не прикрывавших наготу. Предание говорило, что богатырь так и остался на тех изрубленных его кетменем скалах, и даже в последние минуты степь и горы слышали его крик:

«Воды для дехканских полей!»

Умер? О нет! Ашулачи рассказывали: когда пал он, бездыханный, закружившиеся хищные птицы услышали гневное: «Прочь!» Это крикнула девушка с косами до самой земли, глаза, как звезды, сама как солнце... Много песен и сказок сложено о женской красе, но все они увяли бы рядом с ней: такую красоту нельзя придумать!

Рдея от смущения, солнцеликая опустилась на колени, приподняла безжизненную голову Абду-Селима, поцеловала его в губы, и он открыл глаза.

— Кто ты, прекрасная кыз?

— Твоя невеста, мой богатырь, — сказала она, гладя его впалые, седым волосом поросшие щеки. На нежные пальцы ее из глаз Абду-Селима скатились две горячие слезы, а потрескавшиеся губы его тронула горечь усмешки:

— Я уже не способен быть для тебя мужем, прекрасная кыз: я мертв.

— Нет, — сказала она, — ты просто сильно устал и хочешь уснуть. Спи, полыан-джан, а я за то время пойду по всей земле собирать для тебя помощников и друзей, которые тебя ни в какой беде не покинут. Спи, отрада души моей! Ты проснешься в тяжелый для твоего народа час, и где бы ни была, я услышу твой вздох и приду к тебе вместе с тысячами богатырей. Спи полыан-джан, спи, радость сияющих очей моих. Спи, мой Абду-Селим!..

Глаза богатыря закрылись. Он слышал, как она поцеловала его второй раз, и собрал остаток сил, еще не охваченных мертвым сном:

— Имя твое?

— У меня их много, а сердце одно, и в нем одна любовь, к тебе, мой Абду-Селим, — сказала девушка и исчезла.

Беркуты и вороны кружили в отдалении от недвижно распростертого Абду-Селима. Постелью ему была родная земля, одеялом — родное небо, и родной ветер шеп-

тал, шевеля спутавшиеся волосы: «Спи, полыан-джан! Где бы ни была, я услышу твой вздох и приду».

— Товба![1] Имя ее, люди, — Лукерья.

Кто первый сказал так, попробуй-ка узнай: не легче это, чем на взлохмаченных барханами песках отыскать след прошедшего вчера человека.

По дорогам и бездорожью в облаках пыли скакали верховые, и вместе с другими волнующими новостями «длинное ухо» оповещало:

— Слушайте, слушайте, московская ткачиха Лукерья-апа — это и есть невеста Абду-Селима.

— Товба!

Сказка? Но разве волнение, охватившее весь советский Восток, не похоже на вздох пробудившегося Абду-Селима? И разве не тотчас же откликнулся на него голос Лукерьи-апа?

— Слушайте, слушайте! Она идет: глаза как звезды, лицо как солнце...

— Рубль Лукерьи-апа волшебный: что ни минута — слетаются к нему тысячи других.

— Рубли Лукерьи-апа не из золота, а из слез ее сердца, и когда они соединятся, родится машина, которая сама идет, сама пашет.

Обо всем этом рассказывал Илья в своей первой корреспонденции из Средней Азии. Статью его, опубликованную в «Комсомольской правде» под крупным заголовком «Лукерья-апа», перепечатал «Голос текстилей». Лукерья прочла и после смены даже домой не зашла, разгоряченная, примчалась в редакцию. Секретарша сказала — редактор занят, но Лукерья отстранила ее и еще от порога гневно сказала:

— Да что же это такое? Я требую, чтобы газета внесла в дело полную ясность.

Растерявшийся редактор сдвинул в сторону мокрые, пахнущие краской гранки, поднялся.

— В чем дело, товарищ Перова?

— В трепотне. Ну, когда по работе имя мое мелькает в газетах — пусть, за это можно даже спасибо сказать: почему не погордиться, если твой вклад в общее рабочее дело замечен и достойно оценен! С Илюшкой я сама по-свойски поговорю, а вы-то за какие грехи меня

---

[1] Возглас изумления (*узб.*)

перед всей страной на смех выставляете? Лукерья-апа, ишь ты!.. Правда, к тому первому рублю мы с дочерью добавили трюмо, вещь по деньгам, конечно, веская, да без него обойтись можно, к тому же дуриком оно нам досталось, а вот, скажем, Марфа Каткова из Орехово-Зуева швейную машину отдала! Не один год на нее от трудовых заработков откладывала, мелькнуло об этом раз в вашей газете и все. Других и вовсе не упоминаете—коллектив, фабрику, казарму, улицу, город, про одну Лукерью Перову и газеты и радио без отдыха трезвонят на весь свет. Стыдно ведь людям в глаза смотреть.

Редактор наконец понял, в чем дело, и очки его весело блеснули.

— Не беспокойтесь, Лукерья Петровна, народы Средней Азии обо всем хорошо осведомлены. Я сам был там и слышал эту красивую песню-легенду об Абду-Селиме. В ней ведь говорится, что у невесты его тысяча имен и она одновременно живет повсюду. Кроме Лукерьи, ни одно из этих имен не называется? Не беда: искусство не адресная книга. Не в рублях и не в именах дело, товарищ Перова. Марфа Каткова? Знаю. В том же Орехово-Зуеве парнишка отдал ботинки, может, босиком сейчас ходит. Разве ради того он это сделал, чтобы его имя в Средней Азии стало известным? Понимаете меня? Не все можно измерить и взвесить. Попробуйте-ка назвать в рублях, сколько стоит призыв к социалистическому соревнованию девушек с фабрики «Равенство»? Или такой пример: за Марфу Каткову обиделись, а сына ее, Андрея, знаете? Тысячи ударников комсомольцев, — разобраться, так все герои, но многие ли из них даже в Орехове известны по именам? Андрея хорошо знают и за пределами родного города. Катковцами называют многих орехово-зуевских ударников, первым парень начал. Немало из тех, что откликнулись на его призыв, обогнали его, и все же... мы до сих пор с гордостью произносим и будем произносить: катковцы! Понятно, Лукерья Петровна, почему стали вы «невестой Абду-Селима»?

— Понятно-то, может, и понятно, да ни к чему мне в героях ходить, не для того пришла я к вам летом с тем рублем, будь он неладен.

А вышла из редакции, оглядела шумную торопящуюся Москву и улыбнулась:

«Апа, так апа, пусть! И пионеры так звали».

Так и продолжали они лететь в обнимку по среднеазиатским просторам — быль и легенда, а джигиты уже оттачивали кетмени, старики шли к засыпанным песками каналам и в горы, к истокам рек: ведь партия Ленина звала в поход и за новой водой! Газеты рвали из рук в руки, хотя грамотеев — раз-два и обчелся, у репродукторов собирались толпы. Это отсюда, из Ферганской долины, писал Илья брату Василию:

«Проснулся я от рева ишаков — здесь они вместо будильников. На гранатовом дереве попискивала какая-то птаха, возле него арык журчал. Вышел со двора — пыль, слепые дувалы. Арба проехала — два колеса, но зато каждое росточком с добрый деревянный дом! Женщины в парандже... Все как будто чужое, непонятное и вдруг: «Говорит Москва!» — это из рупора над дверями кишлаксовета. Так и дрогнуло все во мне. Ну, ты, думаю, поймешь меня без комментариев: подальше, чем я, от родного Подмосковья стоишь. И вдруг: говорит Москва! Огромное сердце огромной страны, такой огромной, что, когда в одном краю ее люди желают друг другу доброй ночи, в другом уже слышится — «с добрым утром, товарищи!». Если бы можно было все советское небо распрямить, как ковер, на нем одновременно сияло бы солнце и сверкали звезды, и под этим неохватным ни глазом, ни мыслью ковром в одночасье гуляли бы седые бураны, громыхали бы громами летние грозы, осыпала бы с деревьев желтые листья осень».

Над Узбекистаном стояло затянувшееся лето, пахло оно дынями, сверкало в садах ожерельями из виноградных гроздей. Людям, собравшимся в поход за большой водой, не было нужды засиживаться в чайханах. Раскалывали они арбузы и на ходу пили из этих полосатых пиал прохладный розовый сок.

В полуденный час зноем дышали и пески Казахстана, и только с наступлением сумерек, стиравших очертания холмов, студеные порывы ветра, а затем и холодный блеск звезд напоминали, что пришел уже октябрь и недалеки дни, когда к слепящим глаза, забивающим рот и ноздри песчинкам примешаются «белые мухи», засвистят, взвоют и пойдут гулять в припляску седые, до костей пробирающие поземки.

Но об этом мало кто думал.

— Слушайте, слушайте! — не умолкало «длинное ухо».

А послушать было чего! Второй месяц, словно бойцы несметно великой армии, шли и шли по барханам комсомольские отряды. Может быть, никто не заметил, как радостно просияло запыленное лицо Лены Орловой и как горячо обнялась она со своим Андрейкой: все обнимались — и знакомые и незнакомые — и с ходу брались за лопаты, молотки, топоры, пилы... Пески не ждали, накрывали мутным пологом, сбивали с ног, а надо было сказать им: стоп!

— Слушайте, слушайте! — Это уже о караванах верблюдов с громадноколесыми арбами.

— Турксибга![1]

«Длинное ухо» подхватило и это слово. В кишлаках, аулах и стойбищах джигиты стягивали на бедрах бельбоги[2].

— Турксибга!

Москва... Партия Ленина... Лукерья-апа...

Радио и газеты оповещали: текстильщики Москвы и других городов России вызывают хлопкоробов Средней Азии на социалистическое соревнование.

— О-о-эге-ей!

Но ошибется тот, кто подумает, что осень 1929 года была здесь сплошным ликованием народа. Змеями ползли вдогонку и встречь караванам дехкан слова баев и мулл:

— Рис и хлеб с земли сгонят — все помирать будем!

— Турксиб — обман: по пескам не пройдет чугунная шайтан-арба, все заметут барханы.

Плеснешь на огонь водой — шипит, наступишь змее на хвост — ярью вспухнут ее глаза.

— Чем вам уши позатыкали, что вы не слышите даже шагов войны? Китай идет, Польша идет, Румыния, Франция, Англия, американцы — весь мир на нас идет... не верите? Газеты надо читать. Радио слушайте — Китай уж на нашей земле.

Да, говоря о Китае, им не было нужды изощряться на выдумки. Китайские милитаристы наглели все больше и больше: со второй половины октября не проходило ни одного дня без обстрела советских границ в При-

[1] Турксибга! — На Турксиб!
[2] Бельбог — набедренный платок *(узб.)*

морье и Забайкалье. Гулял красный петух по крышам домов пограничных станиц и сел. Центральные газеты и московское радио сообщали:

— Отряд белогвардейцев, переодетых в красноармейскую форму, переправился на конях через реку Аргунь.

— На Амуре обнаружены плавучие мины.

Вести эти как бы прикрывали собою солнце, темнели от них лица.

Но Советское правительство уже сказало: хватит!

Двенадцатого октября корабли Амурской военной флотилии с десантом пехотинцев в сопровождении бомбардировщиков вошли на рассвете в устье Сунгари, а в середине дня бойцы Второй Приамурской стрелковой дивизии гнали по улицам Лахасусу толпу пленных, казалось, чудом уцелевших среди дымящихся развалин.

Все укрепления города были разрушены, остатки разбитых белокитайских войск во главе с адмиралом Шеном бежали в Фугдин, но это не отрезвило китайских генералов: провокации продолжались, и командарм ОДВА Блюхер приказал тем же частям «разгромить гарнизоны противника, расположенные по берегу реки Сунгари от Лахасусу до Фугдина включительно, и уничтожить адмиральский крейсер и остальные уцелевшие корабли Сунгарийской флотилии в районе города Фугдина».

* * *

На землю Приморья падали пушистые хлопья снега. Забайкальские сопки еще не забелило, но в воздухе уже ощущалась колючая студеность приближающейся зимы. В пограничных селах и станицах заканчивалась молотьба, убирали картофель. Вместе с крестьянами на токах, в поле и на перевозках работали бойцы и командиры Забайкальской группы ОДВА. Детвора ватагами взбиралась на высокие сопки: с них видны были лагеря красноармейских частей, дымки походных кухонь. С той поры, как вышвырнули отсюда японцев и банду Семенова, не знали здешние места такого скопления войск: стрелковый корпус под командованием кавалера четырех орденов Красного Знамени Вострецова, кавалерийская бригада Рокоссовского, бурят-монгольский кавалерийский дивизион, артиллеристы, летчики, танкисты...

Из лесных чащоб, лугов и полей сходились к перевалу проселочные дороги и тропки, чтобы отсюда широкой петлистой лентой мимо оголенных сучковатых дубов и опутанных паутиной зарослей орешника сбежать к заставе. Серебристо переливалась там Аргунь.

С высоких сопок виделся и другой, словно ставший на дыбы, берег: от него и начиналась китайская сторона, каждую ночь гремевшая ружейной, пулеметной, а то и орудийной стрельбой.

К стрельбе на границе забайкальцы настолько привыкли, что почти не обращали на нее внимания, но сегодня из мыслей у всех не выходило Приморье, плывущая там по Сунгари Амурская флотилия. Ожидая ее в двенадцати километрах от Фугдина, противник устроил на реке затор, утопив шесть барж, разбитую канонерку и железные козлы.

Под вражеским огнем, подавление которого взяли на себя летчики, моряки с тяжелыми тросами ныряли в ледяную воду, крепили их к баржам, а потом сотни окровянившихся рук тянули эти баржи в стороны, чтобы открыть в заторе «ворота».

«Шесть часов ушло на эту адову работу», — последнее, что отчетливо расслышал командующий Забайкальской группой комкор Вострецов. Правда, прежде чем голос командарма совсем растворился в гуле, вое и свисте, бушевавших на линии, удалось разобрать: «первым пришел...» «батареи...» «шквальный огонь...», и уже не Хабаровск, а Чита сказала: «Порван кабель, возможно, ураганом вырваны столбы, выясняем».

Китайцы, конечно, могли за это время подтянуть к Фугдину большие силы, а наши?..

Семьдесят километров! Пройти их форсированным маршем по земле врага — это уж... большая война! Начаться она может *там*, но аукнется тотчас же и *здесь*... Вот почему, когда от заставы до Абагайтуевской станицы донеслись звуки винтовочных выстрелов и пулеметной стрельбы, притихло собрание коммунистов Первого стрелкового батальона. Закончилось оно в полночь.

Небо над станицей было чистое, а там, где начиналась китайская сторона, его заволакивал дым, то выпуская, то хороня в себе пугливые точечки звезд, которые тоже казались похожими на застрявшие в толще золы искорки и еле тлеющие угольки. Костры! Летом при их

свете толпы полураздетых людей строили там укрепления.

По крутой тропинке, петлявшей в зарослях сучковатого кустарника, Василий поднялся на гребень перевала.

В сизом ночном воздухе костры проступали желто-оранжевыми пятнами, дым от них шел ввысь покачивающимися столбиками, и было их сотни! Словно в разлившейся мгле выросли рощи черных деревьев без сучьев и макушек... Чуть ближе мелькали огоньки погранзаставы. Позавчера он побывал там еще засветло. От сопки, с которой смотрел на китайский берег, до Санчагоу не меньше двух километров, но сильные оптические стекла скрадывали расстояние настолько, что чудилось — протянуть руку, и он схватит за сивые усы рябого генерала, стоявшего среди офицеров и каких-то штатских возле распахнутых настежь тройных ворот — входа в Санчагоу.

За высокой крепостной стеной—глинобитные фанзы, магазины с округленными, как раскрывшиеся зонты, крышами; перед дверями раскачивались бумажные фонарики и полосы — то ли бумажные, то ли матерчатые — с черными столбиками пятен. Улочки как щели, и перед ними — линии блиндажей, окопов, пулеметных гнезд; ничем не замаскированные, тупорыло выставляли свои жерла орудия, и куда ни кинешь взгляд — солдаты, гул их крикливых голосов доходил и до заставы.

Не только этот Санчагоу или Маньчжурия, по данным разведки, и весь Джалайнор закован в бетон, а он ведь не на границе... Боятся, что советские войска войдут в глубь Китая? Но когда «боятся», не лезут в драку, не напрашиваются на нее. Знают ли они о Лахасусу? Генералы, конечно, знают, а солдаты? Может быть, до сих пор думают, что «у красных одна винтовка на десятерых»?

На дороге возникло какое-то пятно. Оно приближалось... Всадник! Конь белый... С той стороны? Вряд ли это было возможно: пограничники начеку, а позади застав на всех дорогах и тропках — конные патрули, но все же Василий положил руку на кобуру.

На повороте, где дорога огибала остроконечную сопку, всадник попал под свет луны, блеснула кожаная куртка.

«Митрич!» — Василий поправил чуть перекосившиеся на шинели ремни портупеи и светло улыбнулся.

Как-то сразу, с первых же минут прибытия в полк, стоявший тогда на лагерном положении около Перми, этот невысокого роста, худощавый, с седыми бровями человек легко вошел в сердце:

«Сын Степана? Как не знать! Текстильный бог теперь — тоже знаю. А ну-ка, повернись: орел! В отца выпер! Не лицом, ростом... А лицо от Аннушки — и брови, и глаза ее, и веснушки, так же обсыпан ими, чертяка рыжий. Ну садись, рассказывай...»

Тогда думалось: столь живой интерес к нему и всей его семье вызван тем, что отец и Митрич, как между собой называли красноармейцы комиссара полка, были фронтовыми друзьями, но... таким же Григорий Дмитриевич был и с другими. Обмолвится красноармеец, что вот-де не дают покоя думки о доме — продырявилась крыша, и руки приложить к ней некому: мать больная, братишки и сестренки мал мала меньше, а прошло какое-то время — и он получает от своих радостную весточку: пришли из сельсовета, обновили кровлю и даже дровишек на зиму завезли.

Не всегда, правда, комиссарские письма оказывали столь магическое воздействие, и об этом можно сразу угадать по тому, как комкал он полученный ответ.

«Черт знает что такое — обложили неправильно семью красноармейца налогом, признают это, а ошибку, мол, может теперь исправить лишь высшая инстанция. Вон как! Напакостил, подлец, а подтирала чтобы за ним высшая инстанция. Ну что же — напишем и в высшую, но так, чтобы тебе, сукину коту, сразу замяукалось. А как же иначе? Власть-то наша, народная...» И, еще продолжая ругаться, он доставал из стола чистый лист и принимался писать в «высшую инстанцию».

— Григорий Дмитриевич, это мог бы сделать кто-нибудь из политруков, — сказал ему однажды командир полка.

— И политруки делают. А как же иначе?

— Не знаю, когда спишь ты!

А этого никто не знал в полку. На стол комиссара каждое утро делопроизводитель «сгружал» увесистую стопку газет, и когда забирал их для подшивки, не находилось ни одной без подчеркивания чернилами или

красным карандашом. А ведь днем он в каждой роте побывал, с каждым политруком побеседовал. Совещания, собрания, митинги... И все уже привыкли, что раз в десятидневку на общем полковом собрании делается доклад о международном и внутреннем положении, и если с таким докладом выступал кто-то из политруков, знали: Митрича нет в полку — вызван или в штаб дивизии или на какое-нибудь армейское совещание.

О себе рассказывать он не был охотником, но во время бесед к случаю вспоминал что-нибудь из былого, да с такими яркими подробностями, что у слушателей невольно вырывалось:

— Товарищ комиссар полка, вы тоже там были?

— Не в этом суть, — отмахивался Григорий Дмитриевич. Но иногда и признавался, добавляя к слишком уж короткому «да» свое привычное «а как же иначе?»

«Встречезары» — бытовало в полку слово, изобретенное, наверное, самим комиссаром как производное от «вперед, заре навстречу». Оно могло употребляться им и в ироническом смысле, когда он сталкивался с фактами, возмущавшими его. Но чаще за этим словом было открытое восхищение, и нередко светящиеся улыбкой глаза его устремлялись куда-то вдаль, и здесь уж однополчанам оставалось только гадать, где его мысли — с армейской молодежью или на лесах новостроек и в цехах заводов, где задорно гремит комсомольское «даешь». А может быть, и рядом с сыном.

Волков уже на последних метрах подъема заметил стоявшего наверху Василия.

— Опять, наверное, кустами к заставе подкрались, гады? — поздоровавшись, спросил его Василий.

— Да, Матвеева ранили. — Комиссар сдержал коня. — Подожди, разве сейчас твои на постах?

— Нет, через час заступаем. — Василий ожидал вопросов о партсобрании, но комиссар полка спросил о другом:

— Из дома не получал писем?

— От матери, привет вам большой шлет.

— Спасибо. — Волков погладил коня, насторожившего уши. — Ну как там они?

Василий понимал, что в это «они» у комиссара входил и его Евгений. В своем сентябрьском письме мать две страницы исписала о главном инженере треста, в

этом же фамилия Евгения мелькнула всего раз и то вскользь. «Сегодня разругалась с Волковым — не хотел давать комсомольцев на уборочную».

— Пишет: «Похоже, Леонтий Петрович останется в окружкоме». Отец на днях выходит из больницы, а впрочем, правильнее, наверно, сказать вышел: ведь письмо матери целых три недели добиралось.

— Вышел, — подтвердил Волков, — сейчас он в Кисловодске.

— Евгений сообщил?

— Степан.

Василий положил руку на гриву коня: не терпелось узнать, что написал Митричу отец, но комиссар молчал.

Еще в сентябре написал он Степану:

«Вот как опять повстречались мы с тобой на дорогах жизни: у меня твой сын, у тебя — мой. Василием я доволен, хочется верить, что со временем услышу такое же и от тебя об Евгении. Меня вот что беспокоит, Степа: помню, в характере твоем было — молодым армейским кадрам путевку в жизнь давать, словно с берега в воду — хлоп и пошел: если, мол, утиной породы — поплывешь, а цыпленок — не подходи к воде близко. Ты и в тресте такой же? Не подумай, что я в твой монастырь со своим уставом лезу. И по-отцовски и по-партийному помышляю: рано еще Женьке на таких высотах стоять. Надумаешь столкнуть в воду — дело твое, но на правах старого друга прошу тебя, Степа, сам от берега не отходи. Нет, такой мысли не имеется, что парень цыпленком окажется, и все же... Вузовские знания есть... А знание жизни?.. Тревожит это: как бы парень сгоряча дров не наломал».

Не наломал! По графику работают фабрики, хлопка расходуется меньше, чем прежде, а выпуск продукции растет.

«Молодцом оказался твой Евгений, Григорий. Это мнение и окружкома и окрпрофбюро. Да и весь инженерно-технический персонал, кажется, уже признал, что «мальчишка» не из тех, которых можно водить за нос: рука у него твердая.

Рабочие не торопятся свое слово высказать, но чувствуется: многое в парне им по душе. Очень хорошо, что он совсем редко вспоминает, что есть в русском языке местоимение «я», а его «мы» — это и оба окружкома,

партийный и комсомольский, профсоюзы, штабы ударников, ИТСы[1]».

Волков вздохнул: не только об этом писал Степан.

— Да, отец сейчас в Кисловодске.

Василий понял, что комиссар полка не хочет говорить о письме.

— И тяжело ранен начальник погранзаставы?

— На носилках унесли.

— Опять белогвардейцы?

— И китайцы были.

Василий устремился взглядом к китайской стороне, и пальцы его стиснулись.

— Что ты шепчешь? — улыбнулся Волков.

— Я о Приморье, Григорий Дмитриевич. Если бы поближе был этот Фугдин.

— Тогда ты поднял бы свою роту и повел?

— Конечно.

— И даже без приказа?

— Приказ, я думаю, был бы, — смутился Василий. — Григорий Дмитриевич, я о крайнем случае: если наша флотилия столкнется в Фугдине не только с гарнизоном...

— С главными силами? Они в Мишань-фу. Не прикидывал по карте, на каком это расстоянии до Фугдина? Прикинь!

— Значит, вы считаете...

— Ну, мало ли, Вася, кто и чего считает! Не будем гадать на кофейной гуще. Пока. Завтра буду у вас.

Комиссар полка тронул коня.

— Григорий Дмитриевич, а что пишет о себе отец? Со здоровьем как?

— Ничего... О работе думает.

С китайской стороны не доносилось ни звука. Только в порывах свистящего ветра ощущался горьковатый привкус дыма. Да, трудно изо дня в день жить со стиснутыми зубами, но надо.

Волков оглянулся — Василия на перевале уже не было.

«Хороший командир, да горяч...» В Степана? Может быть, хотя и Анна в молодости была не из хладнокровных. Да и теперь, судя по тому, что пишет о ней Степан, такая же.

[1] Инженерно-технические секции.

Это еще в первом письме, в котором об Евгении не было ничего, кроме скупой фразы: «На тебя похож», — и это не могло не понравиться. О себе тоже был не щедр на слова, об Анне же написал: «Седина и у нее вплелась в волосы, и все равно ты сразу узнал бы ее, по глазам. Мне она в эти дни живо напоминает ту Анну, которая — помнишь? — умела зажигать и вновь и вновь поднимать на врага измученных непрерывными боями красногвардейцев. Забежит и о чем только не расскажет! А я гляжу на ее разрумянившееся лицо и с удовольствием думаю, что она еще очень молода, моя Анка, хотя и мать троих взрослых детей. И еще, Гриша, думаю: вот что значит, когда человек находит, наконец, в жизни свое место, — и сама земля под ним бежит, и крылья у него отрастают, если их не было, а если были и почему-то опустились, — опять распрямляются».

Но только ли об Анне были эти строки? Между ними так и читалось, что инфаркт не снял и не мог снять крылья, которые в годы гражданской войны вихрем несли на врага комиссара Степана Орлова, что мыслями и всей душой ощущает он, конечно, как бежала бы под ним земля и теперь, если бы не предало сердце, уложив на больничную койку. Что это именно так, подтверждало и сегодняшнее письмо.

Волков опустил руку в карман куртки, под пальцами шелестнул конверт:

«Лежу в палате, брожу среди этих гор с побеленными макушками, а в голове... Что же произойдет, когда я вернусь из Кисловодска? Евгений снимет со своих плеч большую часть своих теперешних обязанностей. Но не расточительство ли это, чтобы коммунисты работали меньше, вполовину своих сил и возможностей? Оставить за Евгением все, чем загружен он сейчас? Но что тогда останется в тресте для меня? Нет, я еще ничего не решил — думаю».

Чего хочет он: уйти из треста, уступив свое место Евгению, или, говоря о половине сил и возможностей, думает в первую очередь о Евгении? Наверное, о Евгении. А Евгений ведь успел сродниться со всем, чем живет и дышит сейчас этот город текстиля: «наш город», «наши фабрики», «чудесный народ у нас, отец, с таким народом любые горы можно свернуть».

Нет, что-то не то в твоем письме, друг Степан, что то не то!

Конь перешел на рысь, Волков не сдерживал. В вышине дрожали и перемигивались чистые, как слезинки, звезды. Забайкальская ночь! В Орехово-Зуеве, да и в Кисловодске сейчас еще день, а в Приморье... что там? Двенадцать километров оставалось до Фугдина, но каких! И как некстати эта ранняя зима, затягивающая Сунгари льдом, еще слишком хрупким, чтобы по нему идти, и достаточно прочным, чтобы создать дополнительные трудности для высадки десанта.

Волков повернулся лицом туда, где, по его предположению, раскинулось Советское Приморье, словно за сотни километров можно было разглядеть, что сейчас происходило на этой Сунгари, обозначенной на обыкновенных картах тоненьким безымянным хвостиком.

Впереди дорога раздваивалась.

В штабе полка его ожидали непрочитанные газеты, да и ответ Степану не следовало откладывать, но, может быть, уже исправлена линия, и Вострецов созвонился с Хабаровском?

Волков посмотрел на часы — «поздновато», — а рука уже натянула поводья, направляя коня по дороге, тянувшейся вдоль границы до станции Маньчжурия и чуть дальше ее. Однако, не проехав и ста метров, остановился.

От станицы ехал командир второго стрелкового батальона Мелентьев.

— Григорий Дмитриевич, наши в Фугдине!

Комбат осадил коня так, что тот запрокинул голову.

— Корабли Шена приказали долго жить, а сам он сдался в плен. Приморцы шутят: был флот надводным, стал подводным.

Волков перевел дух, улыбнулся.

— Куда спешишь?

— В Абагайтуевскую. Телефон у них что-то барахлит, а надо друзей порадовать.

Звонко отдался в темноте и замер цокот комбатовского коня, а улыбающийся комиссар полка еще долго стоял посреди дороги, не замечая колючих порывов ветра.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



Когда заговорили пушки

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сообщив, как идет в Орехово-Зуеве подготовка к Первому Всесоюзному слету ударников, Анна дальше писала:

«Позавчера получила письмо от Илюши, не поняла— не то из Коканда, не то из Маргелана. Он жалуется, что ты в своих письмах скуп на подробности, спрашивает меня, как у тебя со здоровьем. Ответила ему так: готовлю исподволь к сдаче свои дела в окрпрофсовете».

Степану показалось, что со следующего абзаца, где жена делилась с ним своими мыслями о Китае, почерк ее стал другим — крупным и торопливым, наверное, вздохнула и долго о чем-то размышляла, потом спохватилась, что времени ушло много, и спешила наверстать. А может быть, и не раздумье было, просто вспомнила... ну хотя бы тот день, когда он вышел из больницы и они ходили по фабрикам. Глаза ее, словно бросая вызов моросившему дождем октябрьскому небу и резкому ветру, срывавшему с деревьев последние желтые листья, сияли такой радостной голубизной, что было досадно, что рядом шел Евгений, — привлек бы к себе и расцеловал.

— Скачешь? — засмеялся он, вспомнив, как жаловалась ему Анна, что «на обочине дороги осталась».

Она догадалась, о чем речь, и тоже рассмеялась:

— Во весь дух, Степа! Понимаешь, это очень здорово, что мне дали поработать в профсоюзах, будто в освежающие волны окунулась и вся насквозь ершистым задорцем пропиталась. Теперь я и в школах по-новому разверну работу, когда в ОНО вернусь.

— Зачем же тебе возвращаться в ОНО?

— А как же?

— Мы ведь коммунисты, Анка, на работе можем и не помнить, что не случайно одну фамилию носим. Если, скажем, я допущу какой-то заскок, ущемляющий интересы рабочих, разве ты в рот воды наберешь из-за того, что я муж твой?

— Сначала по хорошему поговорим, — улыбнулась Анна.

— А если не поможет это?

— Поцарапаемся.

— Ну вот, видишь! Но, думаю, до царапанья у нас не дойдет: дело-то одно и цели одни.

— Вообще-то это было бы здорово, но положение обязывает.

«К сожалению», — мысленно согласился он с ней, тогда еще далекий до теперешнего вывода, что трест без всякого для себя ущерба обойдется и без него.

На стол легли бледные пятна солнца. Степан повернул голову. В окно палаты виден был угол террасы, притихшие в снежном наряде деревья, и вдали — горбы гор. Пятнавший их снег искрился.

Да, сначала он думал: уйти должен Евгений. Нет, не просто уйти... даже не сам. Он считал это своим долгом — поехать в ВСНХ, может быть, прямо к Куйбышеву и добиться, чтобы Евгению предоставлено было поле деятельности не меньшее, чем теперь. Но уже в тот день, когда писал Григорию, в душе было сомнение: «а почему Евгений?» Опыта работы с народом у него правда, маловато, и при Куницыне и Стребулаеве парень, действительно, мог растеряться и оказаться не на высоте. Но ведь это «при Куницыне и Стребулаеве». Теперь же в окружкоме — Опанасенко, в окрпрофсовете — Анна...

Нелегко это осознать, что там, где многое поднято на твоих плечах, твоей волей и нервами, твоими напряженными трудовыми днями и бессонными ночами, присутствие твое стало не обязательным, и другой человек, еще ничего не создавший здесь, — нужнее тебя. Но все же у него хватило мужества взглянуть этой правде в глаза и сказать себе: да, Волков нужнее, у него есть то, чего нет у тебя, Степан, — инженерные знания и молодость, а опыт работы с людьми при-

дет, особенно в таких условиях, когда есть на кого опереться. Перебросить же сейчас Евгения куда-то еще — это все равно, что человеку при разбеге дать подножку. По-коммунистически ли это? А оправдание какое? Мое место? Но пристало ли коммунисту держаться за какие-то свои места, когда в воздухе опять пахнет порохом? Да если бы и не было этого порохового запаха, место коммуниста всегда там, где он нужнее, где без него трудно обойтись.

Григорию позавчера уже отвечено: «Уйти из треста должен я». Куда? Это решит партия. Но сам-то знал, конечно, что нужнее, чем где-либо, он будет там, откуда в начале прошлого года прибыл в Орехово-Зуево, однако не скажешь ведь так в окружкоме, а затем и в МК. Если бы это слово «нужен» было произнесено Менжинским!

«Не забывай, Орлов, из чекистов я тебя не списываю, отпускаю как бы в длительную командировку...» Этими словами председателя ОГПУ он и начал свое только что запечатанное письмо, адресовал его на Зимина, а тот уж вручит самому.

Степан сунул конверт в карман пижамы и хотел встать, но на глаза попала чистая открытка. Придвигая ее к себе, вспомнил, что и на предыдущее письмо жены еще не ответил.

«Волков ждет не дождется, когда ты вернешься»,— это из того письма.

На перо прицепилась гуща, Степан счистил ее.

«Славная моя Анка!

Не торопись со сдачей дел, смелее начинай новые...»

Почему — решил не объяснять: в двух словах ведь не расскажешь, что передумано здесь за месяц.

«Дела фабрик радуют. Передай сердечный привет Евгению, пусть отвыкает от мысли, что ему няньки нужны. Впрочем, я сам напишу ему об этом».

Чего-то еще надо... да, о Китае. Тревожно, конечно. Удар по Лахасусу, помнится, очень порадовал. А Фугдин... в тот день прежде всего подумалось: «Если китайские генералы не совсем утратили рассудок, то должны теперь понять: нет у них никаких надежд решить конфликт в свою пользу силою оружия». Но Чан Кай-ши упорно молчит, будто и не было ноты

Советского правительства, в которой Нанкину и Мукдену еще раз предлагалось разоружить русские белогвардейские части и отвести свои войска от советской границы, а конфликт на КВЖД и другие связанные с этим конфликтом вопросы разрешить путем мирных переговоров. Правда, в Приморье после Фугдина — тихо, а в Забайкалье? Еще напряженней стало, и до чего обнаглели — даже днем открывают стрельбу.

Но обо всем этом Анна и сама знает — те же газеты читает и на два дня раньше, чем он. Вероятно, хочет узнать его мнение о том, к чему даже здесь, в курортной тиши, неизменно сводятся теперь все разговоры: будет или не будет война? Не верится, что будет, хотя страна и летит навстречу своему будущему под прицелом пушек, и не только белокитайских... Те, что расставили их на границе, и хотели бы выхватить из ножен шашки, да руки связаны страхом перед своими собственными народами. А там черт их знает: говорят, когда страх перерастет в отчаяние — это уже начало безумия.

«За Восток я не боюсь, Анка, вероятно, ты и сама читала — Блюхер сказал: «Особая не подведет!» А мы с тобой знаем: он не бросает своих слов на ветер».

В палату вошел сосед, ленинградский учитель, из-за пазухи выглядывали свернутые трубочкой газеты.

— Свежие?

— С учетом расстояния от Москвы до Кисловодска — самые-самые свежие. — Спустив с плеч заснеженное пальто, учитель положил газеты на стол. — Пожалуйста, Степан Петрович.

— Спасибо, я несколько позже, на почту сейчас иду, — сказал Степан, а рука его уже протянулась к «Известиям», — разве только взглянуть...

Передовая «В дни свершения народных чаяний» — о предстоящих съездах Советов (курултаях) в среднеазиатских республиках, материалы о районных слетах ударников, подборка «На новостройках страны».

— О Китае на четвертой странице есть, — раздеваясь, подсказал учитель.

Степан перевернул газету, и глаза его сразу отыскали:

«ЧАН КАЙ-ШИ ВЫЛЕТАЕТ В МУКДЕН»

* * *

Это было правдой, но не для того, как утверждало агентство ГАВАС, чтобы обсудить с Чжан Цзо-лином и представителями командования Приморской и Забайкальской армий ноту Советского правительства, да и не по своей инициативе поспешил на аэродром глава Центрального правительства Китая. Разнесшееся по всему миру эхо Лахасусу и Фугдина всполошило тех, что стояли за спинами Чан Кай-ши и Чжан Цзо-лина: так ли уж слабы эти большевики? Советские моряки и пехота показали себя очень впечатляюще, но столь же неприятным фактом было открытие, что у большевиков есть своя военная авиация. И все ли продемонстрировано Блюхером в Лахасусу и Фугдине?

Ясности снова как не бывало, а тиски кризиса сдавливались все сильнее.

— Каждый промедленный день — сражение, выигранное коммунизмом, — сказал новый глава французского правительства мосье Тардье, и эти его слова стали как бы эпиграфом к мукденскому совещанию, на которое прибыл сам Чан Кай-ши, а Париж, Лондон и Вашингтон прислали своих чрезвычайных представителей.

Последним в зал вошел низкорослый коренастый генерал с реденькими усами, издали казавшимися зеленоватыми, — Лян Чжу-цзян. В Маньчжурии не знали, когда он спит и отдыхает. Это по разработанному им плану дни и ночи воздвигались там мощные укрепления. Деньги и инженеров давали мосье, мистеры и сэры, и давали безотказно. Но они, кажется, видели в этих укреплениях лишь средство для испытания силы и оснащенности Красной Армии, а он... оборону? Да, хотя тоже... только стратегическую: и не поседевшим в боях воинам, вероятно, ясно, что большой урон терпят не защитники крепости, а те, которые берут ее приступом. Не раз, любуясь бетонными и железобетонными сооружениями, испытывал он радостную уверенность: не меньше половины своей армии придется уложить Блюхеру у стен Маньчжурии, прежде чем остальные смогут проникнуть за крепостную стену, и это опять-таки в том случае, если генерал Лян захочет их туда допустить. Но генерал Лян готов

был оказать красным такую «любезность», потому что в самой Маньчжурии каждая улица, каждый дом и каждый метр земли могут теперь стрелять.

Однако возраст его был уже не тот, когда гоняются за славой, не считаясь с риском. И в начале военной карьеры он не склонен был очертя голову бросаться навстречу неизвестности, а теперь и вовсе армии смело могли вручить ему свою судьбу.

— Одна Маньчжурия решит войну, — докладывал он в июне на военном совете, созванном Чан Кай-ши.— В этом можно не сомневаться. А вдруг? Трудно допустить это «а вдруг», но во избежание нежелательных осложнений давайте допустим... На случай такого «а вдруг», господа, надо нам иметь вторую Маньчжурию, пусть будет ею Чжалайнор. Если допустим, что произойдет маловероятное, то есть какие-то силы красных минует смерть в Маньчжурии, они найдут ее у стен Чжалайнора.

Сколько положено было сил, и все теперь должно полететь кобыле под хвост: русских не удалось пока спровоцировать на штурм Маньчжурии, а Париж, Лондон и Вашингтон после Лахасусу и Фугдина не хотят больше ждать. И ни Чан Кай-ши, ни Чжан Цзо-лин, похоже, не осмелятся им возразить. Так и есть! Чан Кай-ши согласно наклонил голову, а Чжан Цзо-лин поднялся, чтобы огласить план наступления, разработанный, конечно, вот этими чужеземными советниками.

— Начнем в Приморье, — сказал он, близоруко согнувшись над картой. — В Мишань-фу у нас в полной боевой готовности...

Командующий Мишаньфунской армией с улыбкой потер руку об руку.

— Первая Мукденская кавалерийская дивизия, первая пехотная бригада и семь русских полков.

— Не считая гарнизонов, размещенных на всем сорокакилометровом протяжении до советской границы?

Командующий подтвердил.

— Прекрасно! Ваша задача: захватить на советской территории станцию Иман. Этим мы отрезаем Хабаровск от Владивостока, и тогда наш испытанный полководец, дорогой Лян, наносит главный удар. —

Чжан Цзо-лин оторвался от карты. — Мы все огорчены, дорогой Лян, что ваш стратегический замысел останется неосуществленным.

— В конце концов, речь идет лишь о величине жертв, стоит ли из этого делать трагедию? — ворчливо сказал американский советник Хэлл.

Чан Кай-ши опять согласно кивнул и, держа веки опущенными, хрипловато спросил:

— Сколько у тебя солдат, Лян?

— Шестнадцать тысяч.

— У них?

Лян Чжу-цзян помедлил с ответом.

— Семь с половиной, максимум восемь тысяч?

— Да.

— Соотношение оптимальное.

Это сказал тот самый француз с распушенными усами, что позавчера в Маньчжурии постучал тростью по накату блиндажа и, щурясь, обронил: «Золотой материалец». — «Железобетон», — пояснил ему один из его, ляновских, адъютантов. Француз усмехнулся: «Вы уверены? А по-моему, это чистейший сплав из франков, долларов и фунтов стерлингов. И какому «умнику» пришла эта идея?» А знал ведь, наглец, чья идея!

— Я согласен с майором Хэллом. Вопрос о цене победы второстепенный, и вас он не должен смущать, дорогой Лян, если даже... — Чан Кай-ши помолчал, — почти вся ваша армия поляжет, прорываясь к Байкалу. Мы приступили в Хайларе к формированию третьей армии, которая... В общем, можете рассматривать ее как свой резерв, дорогой Лян.

— Страна великих возможностей, — улыбнулся Хэлл. Чан Кай-ши не понял, что хотел сказать этим американец, но на всякий случай согласно кивнул.

Генерал Лян слушал, что говорили другие, и впускал в ладони ногти, чтобы сдержать к самому горлу подкативший гнев и казаться спокойным и бесстрастным: от его стратегического плана действительно оставался пшик — все наоборот. Не станут его укрепления мясорубкой для Блюхеровской армии. Своих солдат предстоит кинуть под огонь красных. Правда, по данным разведки, на той стороне не воздвигнуто никаких укреплений, но сама природа соорудила там высокие сопки и

путь к ним — по открытому месту, а дальше — лесные дороги, где каждое дерево — укрытие и каждый овраг— засада. Нет, разумеется, и мысли такой не было, что его может ожидать поражение, и дело даже не в численном превосходстве...

«Умный воин всегда найдет между строк врага полезное для себя», — поучал он своих офицеров, и, следуя этому правилу, сам просматривал доставляемые разведкой красноармейские газеты. Однажды — это еще до переезда в Маньчжурию,—листая их, обратил внимание на статью, обведенную офицером-информатором красными чернилами.

«Что здесь?»

«Думы пограничников, ваше превосходительство!»

Изумился и взял с собой газетный листок. Да, думы... и даже не о семьях, о политике! Думающие солдаты, думающая армия... Ха! А в другой статье под заголовком «На уровне великих задач» рассказывалось о каком-то сборище, на котором рядовые осмелились вступать с командирами в спор, не соглашаться с их мнением, делать им замечания... И те не вскакивали, как ужаленные, не кричали: «Как ты смеешь, собака!», не выхватывали револьверов, чтобы разрядить их в морды наглецов. Нет, они начинали оправдываться! Офицер, оправдывающийся перед солдатом, каково? В помещение, где происходило это дикое сборище, вошел командир корпуса, и солдат, стоявший у дверей, сказал ему: «Здравствуйте, товарищ командир корпуса». Не «ваше превосходительство», не «господин генерал», а «товарищ»!

Лян хохотал тогда до слез, а дальнейший ход событий показал ему, что этот сброд, утративший всякое понятие о воинской дисциплине, к тому же и трусы. В открытую бросал им вызов — молчат...

Но Лахасусу и Фугдин? Что ж, вероятно, Советы ожидают главный удар в Приморье и там у них отборные части?.. Могут перебросить их в Забайкалье? Конечно, смяты будут и отборные, однако какой ценой! «Если даже почти вся ваша армия поляжет...» А во имя чего? Отрезать от красной России кусок территории по самый Байкал! В случае успеха это, конечно, упрочит политическое положение Чан Кай-ши и Чжан Цзо-лина, но что от этого генералу Ляну, в душе которого еще со

школьной поры живет мечта повторить Чингисхана, и не только повторить, но и затмить собой тень великого монгола.

В мире много несправедливости, и одна из них — взлет к диктаторской власти Чан Кай-ши: чем тот лучше генерала Ляна? Так позорно проиграть два похода против китайских Советов! Отказаться от мечты всей жизни на пороге ее осуществления и стать чем-то вроде плеча, на которое обопрется этот Чан! Но что можно поделать? Конечно, теоретически он мог бы сказать — я против, но уже на этом совещании, наверное, услышал бы имя другого генерала, назначенного командующим Северо-Западным фронтом.

— Хорошо, — согласился он, а ярости дал выход уже в самолете: кажется, все ругательства, которые знал на всех языках, выпустил в пасмурное ноябрьское небо, однако облегчения не почувствовал.

С высоты, когда самолет пошел на посадку, виден был край советской земли с сизоватыми дымками красноармейских кухонь.

«Жалкие трусы!»

Железными считал свои нервы генерал Лян, а едва проскочил его автомобиль в ворота аэродрома и понесся мимо бастионов, оковавших Маньчжурию, глаза застлало горячим туманом, и себя он ощутил вдруг старым и смертельно усталым. Если бы Особая, как задумано было, полегла здесь, и он, генерал Лян, предавая все на своем пути огню и мечу, триумфально прошел бы в глубь России до самого сердца ее, растоптал бы Москву своим сапогом, тогда Чан Кай-ши сам поспешил бы убраться со своего поста, а вздумай упираться — вылетел бы от пинка носком сапога генерала Ляна.

Китай с присоединенной к нему Россией — это же полмира! Кто тогда смог бы или посмел поставить себя рядом с Лян Чжу-цзяном? Другим языком заговорил бы тогда он и со всеми этими мосье, мистерами и сэрами.

Ветер покачивал ленты и полоски, свисавшие над дверями домов. Прежде на них были надписи: «Русские хотят отобрать у Китая железную дорогу».

Для оборонных целей, может быть, большего и не требовалось. Он приказал заменить эти столбики иеро-

глифов другими: «Красные хотят захватить весь Китай и истребить всех китайцев», «Китайский солдат! Разгромив красного дракона, ты спасешь свое отечество, себя и свою семью!»

Ложь? Лян Чжу-цзян искренне возмутился бы, вздумай кто-либо обвинить его во лжи. Ведь сам-то он намеревался придавить сапогом Россию и пустить в расход всех красных, почему же не предположить, что то же самое в мыслях и у противника?

Багровые на домах пятна — это плакаты с изображением гигантских костров, пожиравших курганы наваленных людей — стариков, женщин, детей. Иероглифы поясняли: вот что сделали эти красные с китайским народом в Лахасусу и Фугдине.

«Прелестно! Умнее «золотых» укреплений», — сказал мосье с распушенными усами. Нет, не о кострах, о тех новых картинках, которыми люди из отдела пропаганды оклеили стены внутри блиндажей и других солдатских помещений: нагие красавицы на разобранных постелях, столы, заставленные яствами, амбары с зерном, крестьянские дворы с коровами, овцами, свиньями, курами... И на каждой из этих картинок одинаковые иероглифы: «Это ждет тебя там, китайский солдат!» Утверждая их, он, Лян, невольно поморщился, но возражать не стал: в конце концов что-то должны иметь от войны и солдаты. Чингисхан щедро разрешал своим ордам в завоеванных городах и селах брать все, что им заблагорассудится. Ну что же — генерал Лян не скупее Чингисхана!

«Дома и магазины на три дня будут в полном распоряжении солдат», — обронил он на прошлой неделе мимоходом, но это мгновенно разнеслось по Маньчжурии и Чжалайнору. Ликующие толпы солдат обступали его машину, желали ему тысячу тысяч лет жизни, а наиболее экспансивные целовали следы, которые оставлял на земле он, Лян Чжу-цзян.

Русские и те преобразились: нельзя было не залюбоваться, как лихо козыряли они и замирали, словно статуи, а когда он, Лян, встречался с ними, марширующими в строю, и приветствовал их, такое громовое «ура» в ответ раздавалось, что по сердцу пробегал приятный холодок. А как красиво салютовали саблями их кавалеристы! И такую армию бросить под огонь красных,

«положить почти всю» — своими руками сжечь свою мечту.

Из дверей и окон офицерского кафе «Роза» вырывались звуки музыки.

— Стоп! — тонко вскрикнул Лян Чжу-цзян.

К автомобилю подбежали два офицера, блеснули полковничьи эполеты, на лица командующий не взглянул. Он намеревался разъяснить им, что здесь линия фронта, а не увеселительные заведения, но сказал всего лишь одно слово:

— Прекратить!

И, уже выйдя из автомобиля, добавил:

— За малейшее нарушение воинской дисциплины — расстрел без суда. Это и к офицерам относится!

Маньчжурия притихла.

Погасли и костры. Утром и днем советские пограничники разглядывали в бинокли улицы Маньчжурии и Санчагоу: промелькнут небольшие группы солдат, и опять пустынно.

Спокойно прошла и следующая ночь, а если не считать завывания и свиста ветра, сметавшего с сопок пыль и первые снежинки, безмолвием началась она и 13 ноября, но в третьем часу Аргунь перешли два конных отряда — белогвардейцы и маньчжуры.

Советские пограничники пропустили их мимо своих пулеметных гнезд, но когда непрошенные гости нарвались на залпы стрелковой роты и повернули обратно, пулеметы встретили их кинжальным огнем, лишь отдельным конникам удалось доскакать до ближайших сопок и рассеяться за ними.

Разведка? За Китайской стеной по-прежнему было темно и тихо. Вероятно, Лян Чжу-цзян и не подозревал, что командованию ОДВА уже *все* известно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В этот день, когда старший комсостав Забайкальских воинских частей ОДВА совещался с прилетевшим из Хабаровска командармом, на сторожевые посты станицы Абагайтуевской еще с вечера заступили бойцы 1-й стрелковой роты. Обойдя их, Василий и политрук Сидорин остановились на околице.

— Опять костры? — сказал политрук, глядя на подсвеченные снизу черные разводья, плывшие по небу с восточной стороны.

— Похоже, — согласился Василий.

На крыльце сельсовета, в котором уже третий месяц размещался КП батальона, их поджидал комвзвода Терещенко.

— А у нас «гости», — доложил он с усмешкой, — кавалерийский патруль доставил: два китайца, наверное, из тех, которых пограничники два дня назад «хлебом-солью» встретили.

— А почему не в штаб? — удивился Василий.

Терещенко пожал плечами.

— Я созвонился с комиссаром, приказано передать вам, товарищ командир роты: коль рядовые, то провести беседу с ними и проводить до границы.

— А рядовые?

— Ну, это по рукам видно: ведь офицеры у них... если имеют мозоли, то на других местах.

Они прошли в дверь.

Китайцы, низкорослые, в замызганных куртках, сидели на лавке и таращили вкось разбежавшиеся глаза на красноармейцев. Кроме связных роты, были здесь и два кубанца — связные штаба кавбригады.

— Переводчика комиссар обещал — будет, а когда— шут его знает. Смотреть же на них... Рахим пробовал по-своему — тоже не понимают, дрожат, как овцы, и все.

— Есть, наверное хотят, — предположил Сидорин.

— Послали на кухню. — Терещенко сплюнул. — Не война, а малина сукиным сынам — встретят, накормят и с доставкой на дом: стреляйте опять в нас. Ну, чего щелками-то водите! Черт... есть у вас такое слово?

— Должно быть, товарищ комвзвода.

— Где такой пережиток нет? — поддержал его Рахим Заде, сидевший за столом с наушниками. — У каждый народ свой шайтан есть, только имя разный.

— Не в именах соль, — отмахнулся Терещенко, — на черта, спрашиваю, нам ваши земли? Своих, что ли, у нас нет?

Китайцы не шелохнулись. Они были похожи друг на друга, а может быть, это казалось так; у одного под левым глазом подергивалась синеватая полоска шрама.

«Наверное, с удовольствием всыпали бы», — поду-

мал Василий, скользнув взглядом по насупленным лицам красноармейцев.

Конечно, все они понимали, что мешать в кучу китайских генералов и китайский народ нельзя. Свежи в памяти дни китайской революции. Кто не радовался успехам НРА, кто не ликовал, когда над Шанхаем взвились красные флаги? «Наши в Шанхае!» И это слово «наши» вбирало в себя не только советских полководцев, но и тружеников Китая, взявших в руки винтовки. И поэтому совсем еще недавно думалось: если суждено развязаться здесь большой войне, то бить предстоит генералов, офицеров и белогвардейщину, а с китайскими солдатами сразу начнется братание. Но Лахасусу и Фугдин показали иное: белогвардейцы — и те поднимали руки, китайцы — нет, отказывала винтовка — руками и зубами отбивались, на свои же штыки бросались, последнюю пулю пускали в себя... И не генералы, не офицеры, а рядовые, вот такие же, наверное, как эти двое.

— Ой, — вскрикнул Рахим, — товарищ комроты!

Василий подошел к столу. Взметнув на него ресницы, Рахим Заде поднялся, но наушники снял с сожалением.

— Разрешите слово, товарищ комроты! — сказал он, сияя черными, как маслины, глазами. — Такой приятный сообщений. Товарищ политрук, вспоминай, пожалуйста: ткачиха товарищ Перова говорил, да? Хлопкоробам трактор давай, другую помощь давай — так? Радио сказал: сейчас весь Средний Азия курултай, Ташкент, Алма-Ата, Ашхабад... Мой Таджикистан тоже курултай. Выборы есть, да? Московский ткачиха Лукерья-апа народ выбирал член правительства Таджикистана.

— Что-о? — из газет Василий знал о призыве тетки, а из письма Ильи и легенду о Лукерье-апа, и все же... членом ЦИКа Таджикистана?

— Так точно, товарищ комроты! — Рахим Заде протянул руку. — Разрешай поздравить!

Василия не удивили улыбки на лицах Сидорина, Терещенко и красноармейцев: обмолвился как-то Митричу, что Лукерья Перова ему родная тетка, тот сказал об этом в беседе с политруками, и разнеслось по всему полку.

— Не меня же членом правительства избрали, —

смущенно отшутился он и, вспомнив о подозрительно затемненном небе над китайской стороной, позвонил на заставу.

— Жгут, — подтвердил начальник и спросил: — Не знаете, правда это, что сам командарм объезжает сейчас границы?

— Не знаю.

— А мы ждем. О кострах не беспокойтесь, спокойной ночи!

— И вам спокойной.

В помещении запахло борщом и гречневой кашей с салом. Василий через плечо оглянулся на красноармейца, стоявшего у порога с котелками и непочатой буханкой хлеба, кивнул ему, и тот поставил котелки на лавку. Рахим тронул за плечо китайца со шрамом.

— Кушай, шайтан.

Пленный прижался к стене. По щекам второго струйками побежали слезы. Красноармеец перочинным ножом молча отрезал от буханки два больших ломтя, положил их на котелок с кашей и отошел. Пленные не притрагивались, закрыли глаза, а кадыки у обоих так и ходили — слюну глотали.

Рахим рассмеялся.

— Не верят, что ли, а?

— Думают, с отравой, — предположил Терещенко.

— Как отрава? — вспыхнул Рахим. — Он откусил от ломтя и, жуя, сунул остальное в руку китайцу со шрамом. Тот что-то вскрикнул по-женски тонко.

— Ешь, говорю!

Китаец положил крошку в рот, глотнул и цепко ухватился за ломоть.

— Поняла, — усмехнулся Рахим, а кубанец сказал:

— Не спеши, никто у тебя не отнимет.

— Семенов, а ложки? — спросил Сидорин, когда и второй столь же отчаянно накинулся на свой ломоть.

Красноармеец, доставивший еду, покраснел: о ложках он забыл.

— Обойдется и без ложек! — вспылил Василий. — Не гостями ведь к нам пожаловали.

— Подумаешь, ложка! — пожал плечами и Рахим.— У нас, Таджикистан, всегда без ложка. — Он взял коте-

лок с борщом и поставил его на коленки китайцу. — Кушай, шайтан!

— Покурим, — предложил Василий политруку и, не дожидаясь ответа, вышел на крыльцо.

На дороге возле привязанных к ветвистым кедрам коней прохаживался с винтовкой красноармеец Акишин. Не оглянувшись на звук открывшейся двери, Василий отбросил горящую спичку и сказал:

— И жалко вроде, и зло на душе.

— Д-да... — разминая папиросу, проговорил Сидорин. Раздумье на его по-мальчишески моложавом лице всегда начиналось с бровей, вздрагивающих, словно сердясь на что-то. — Шила в мешке не утаишь, — по признанию самих китайских генералов, массовое дезертирство солдат — бич ихних армий. И если человек только и смотрит — нет ли где лазейки, чтобы удрать, такого человека, понятно, по доброй воле трудно поднять в атаку, и тем не менее... Страх? Да, надо отдать должное этим генералам: изобретательны на мерзкие выдумки, гады! Что там ад церковников по сравнению с «большевистским адом», изображение которого подстерегало в Лахасусу и Фугдине забитых, темных людей на каждом шагу. И так, надо полагать, у них повсюду. Верно?

Василий промолчал.

Часовой остановился в нескольких шагах от крыльца, оперся на винтовку.

— О чем задумался, товарищ Акишин? — поинтересовался Сидорин.

— О солдатской душе, товарищ политрук.

— И какая она?

— А это какой солдат! — медлительно, словно взвешивая свои слова, сказал Акишин. — Вот отец мой до унтеров в царское время дослужился. Да что отец? С полсотни, а может, и поболе наберется у нас в селе таких, что при царе солдатскую лямку тянули. Чудно, скажем, нам слышать, чтобы человек без дум жил. А ведь было такое! — «Марш!» — шагают. «Стоп!» — станут, как вкопанные. «Пли!» — стреляют. А зачем? В кого? Чего ради? — В этом-то, я так понимаю, и была царева сила, что солдатам думать не положено. А сила нашего брата, красноармейца, как раз обратная — в думах о том, что за спиной осталось, а за спиной-то у меня не

только село и в том селе моя хата — вся жизнь наша новая у меня за спиной. Как же могу я попятиться? Верно, товарищ комроты?

— Верно, товарищ Акишин, — тепло сказал Василий.

— Вот и выходит, что с думами мне носить солдатскую шинель легче, чем отцу, и в тысячу раз тяжелее.

— Почему же? — заинтересованно спросил Сидорин.

— А вон дым по небу плывет — что там, товарищ политрук? Наше добро рушат, людей наших захватили— пытают, расстреливают, вешают, почитай что на глазах у тебя, ты вроде и слышишь их крики, а сам молчишь. Товарищ комроты, разрешите спросить?

— Опять о том же?

— Да, — хмуро подтвердил Акишин. — Амурцы вон как, а мы... железные нервы нужны!

— Амурцам был приказ командования, нам — нет.

— А почему?

— Потому что не только мы с тобой думаем. И командование думает. И правительство думает. И, надо полагать, не только об этом Санчагоу.

— Я понимаю.

— Нет приказа в гости идти, ну а если «гости» сами пожалуют — на угощение не поскупимся, — сказал Сидорин.

— Это уж как пить дать.

Близко послышалось тарахтение колес, из переулка по левую сторону от сельсовета выехала подвода. Акишин шагнул к дороге.

— Стой! — приказал он пареньку в нагольном полушубке, но тот уже сам натянул вожжи.

С телеги спрыгнул старик в форме железнодорожника.

— Доброго здоровья. Переводчик здесь нужен?

Василий при свете карманного фонарика посмотрел пропуск, подписанный комиссаром полка, и спросил документы у прибывшего.

— При мне. — Старик полез во внутренний карман куртки. — Только собрался на боковую, а из штаба посыльный. Не за мной, за дочкой: она у меня переводчицей у самого Вострецова работает, минут пять всего, как вернулась, и снова, выходит, в путь, а дело-то нехитрое, и я справлюсь. Комиссар ваш согласился.

Политрук тоже заглянул в книжечку, которую развернул Василий.

— На КВЖД работали?

— Еще с царских времен.

— И свободно владеете китайским языком?

— Разговариваю.

Василий вернул ему документы.

— Пойдемте.

Но сам задержался на крыльце, глядя на гривы дыма над китайской стороной. Просто так или... затевают что-то там?

«Ну что ж... пусть сунутся!» — зло подумал Василий и толкнул дверь.

Успев уже управиться с борщом и кашей, китайцы курили длинные самокрутки. Один из них что-то быстро говорил, а второй оглянулся и мгновенно спрятал руку с цигаркой за спину. Тотчас же так сделал и первый.

— Солдаты шестого Мукденского кавполка. Крестьяне, — сказал политрук.

Железнодорожник показал на китайца со шрамом.

— Ван Юй-лин. А этот — Чжан Ши-люй.

— Чего они попрятали цигарки? Пусть курят.

Переводчик произнес какое-то короткое слово. Китайцы испуганно замотали головами.

— Солдатам у них не положено курить в присутствии офицеров.

Запахло паленым, Терещенко схватил Ван Юй-лина за руку, разжал его пальцы, на пол упала смятая цигарка, а на ладони все еще дымились комочки непогасшего табака. Хлопнув по этой черной ладони, командир взвода приказал второму:

— Разожми руку, дура!

Выронив цигарку и не сводя округлившихся глаз с Василия, Чжан Ши-люй опустился на колени.

Красноармейцы подняли его, Василий отвернулся.

— Проводите беседу, товарищ политрук, и ко всем чертям их отсюда! Вояки!

Собираясь с мыслями, Сидорин прошелся по комнате.

— Говорят, что с самого рождения живут голодные, — переводил железнодорожник торопливый говор пленных. — Здесь, у Ляна, им дают по горсти риса в день — хочешь, сразу, хочешь, по зернышку растяги-

вай. Украдкой от офицеров за счет своих коней из фуражных норм питались, ну и воровали у населения, а за переход нашей границы им было обещано: по возвращении каждому разрешат съесть риса столько, сколько захочется.

— И надеялись все вернуться? — удивился Терещенко.

Железнодорожник перевел его вопрос. Пленные молчали.

— Что они знают о нашей стране? — спросил Сидорин.

Китайцы и на этот вопрос отмолчались, а в глазах у обоих было столько отчаянной тоски, что Терещенко тоже отвернулся и стал крутить цигарку, хотя и не курил.

— Спросите: знают ли они, что у них в Китае есть Советы и Красная Армия, отряды «Красных пик»?

На лице Ван Юй-лина мелькнуло что-то похожее на улыбку.

— Сун Ят-сен, — сказал Сидорин.

Пленные опять оживились.

— Ленин, — продолжал Сидорин.

— Ле-нин... — повторил за ним Ван Юй-лин и посмотрел на товарища.

— Скажите им, что Ленин — вождь всего трудового и порабощенного человечества. Нет, обождите, надо проще... — политрук снял шлем, поерошил волосы. — Скажите им так: Ленин — отец нашей страны. Он сказал: хозяин фабрик — рабочий, хозяин земли — крестьянин. Русские белогвардейцы, вместе с которыми вы захватили КВЖД, это и есть русские помещики и фабриканты, которым Ленин и наш народ дали под зад коленкой. Переводите!

Красноармейцы напряженно прислушивались к звукам чужой речи, и по их лицам было заметно, что они не уверены — так ли передает старик, как сказал товарищ политрук, но когда тот согнул ногу в колене и двинул ею вперед, по комнате разнесся гул одобрения. Китайцы растерянно молчали.

— Переводите фразу за фразой, — поторопил Сидорин, — скажите им, что Ленин был другом Сун Ят-сена и когда Сун Ят-сен поднимал китайский народ на борьбу за свободу, он попросил помощи у нас, и наш народ

дал вам эту помощь. Наши полководцы вели за собой китайские революционные армии. Знаете вы, кто у нас командарм? Должны знать! С ним вашими войсками был взят Шанхай. Для нас он товарищ Блюхер, у вас его называли генералом Галиным. Когда началась наша революция, товарищ Блюхер был рядовым солдатом. В огне революционных битв он стал полководцем, не знающим поражений. О нем песни поет наш народ. Каховка... Перекоп... Не знаете? Но эхо штурма Спасска и Волочаевки не могло до вас не дойти, это же рядом, в Приморье. Наш командарм вел красногвардейцев и партизан. Вот каких полководцев посылала наша страна Сун Ят-сену. И сейчас все бы вы имели — и свободу и землю, если бы не гадина, которая предала дело Сун Ят-сена и затопила весь Китай кровью народной. Имя этой гадины Чан Кай-ши, которому вы служите.

Сидорин развернул «Тревогу» и, подойдя к китайцам вплотную, сказал:

— Слушайте, что говорит партия нам, воинам ОДВА: «Отвечайте на удар сокрушительным ударом и помогайте тем самым нашим братьям — рабочим и крестьянам Китая разбить ярмо помещиков и капиталистов». Слышали? Братьями вас называет, и все мы, весь советский народ, считаем вас своими братьями. Слушайте дальше: «Да здравствует Октябрьская революция! Да здравствует Особая Дальневосточная Армия! Да здравствуют рабочие и крестьяне Китая!»

— Поняли что-нибудь? — спросил он, когда железнодорожник перевел и это, для большей выразительности взмахивая стиснутым кулаком. Китайцы молчали, по лицам струился пот — то ли страх все еще держал их в своих тисках, то ли от тяжелых раздумий. Ван Юйлин что-то прошептал. Василий уловил слово «Фугдин» и сказал политруку:

— Ну, это я им разъясню. — Он раздвинул китайцев и сел между ними. Те так и застыли. Василий не подал вида, что заметил это, не спеша достал из кармана папиросы.

— Курить хотите?

— Нет-нет, — перевел железнодорожник их испуганные вскрики.

— Меня или себя обманываете? — рассмеялся Василий. — На картинках-то у вас как нас рисуют? В шку-

рах, волосом поросли, как обезьяны, в зубах — нож, под мышкой — дубинка, с пальцев кровь капает. Так?

Китайцы выслушали переводчика и нерешительно подтвердили.

— А видели вы хоть одного такого?

Василий сунул в рот папиросу и протянул пачку Ван Юй-лину. Тот посмотрел ему в глаза и, взволнованно проговорив что-то, взял папиросу. Взял и Чжан Ши-люй.

— Что он сказал? — спросил Василий.

— «Спасибо. Это как в сказке».

Василий закурил и, заметив, что пленным уже поднесли для прикурки свои цигарки красноармейцы, бросил спичку.

— Слово «ребята» в китайском языке есть?

— Похоже можно перевести, — подумав, сказал железнодорожник.

— Переводите: голод, ребята, не тетка, но если бы вы знали, что не вернетесь, пошли бы через нашу границу?

— Мы думали, что вернемся, — сказал Чжан Ши-люй.

— Понятно. Страшна дубинка в руках дикаря-людоеда, но винтовка сильнее, а вам ведь говорят, что у нас одна винтовка на десятерых?

Китайцы заговорили разом.

— Они удивляются, откуда все это известно господину советскому капитану?

— Переведите: господ у нас нет, а известно от пленных, которых взяли наши в Лахасусу и Фугдине.

Опять что-то сказал Ван Юй-лин и насторожился.

— Спрашивает: не прогневается советский капитан, если он осмелится задать один вопрос?

— Пожалуйста.

Ван Юй-лин побледнел, и голос его перехватило хрипотой.

— Спрашивает, зачем ваши войска напали на Лахасусу и Фугдин? В городах этих не было китайских войск.

— Скажите им: жаль, что они не прихватили с собой тех, которые пичкают их этой брехней, мы бы спросили их: откуда же у нас взялись тысячи пленных?

Красноармейцы рассмеялись, а Василий достал записную книжку и, проведя на листочке извилистую линию, пояснил:

— Границы нашего Советского Приморья. Здесь устье Сунгари. Кружочек, который я сейчас нарисовал, — Лахасусу. Войск хватало там — и китайских и русской белогвардейской сволочи, да еще вдобавок к этому там же стояла флотилия вашего адмирала Шена. Крепкий был орешек! — Василий вскинул глаза на замолчавшего железнодорожника. — Успеваете за мной?

Тот кивнул.

— Спросите их, как бы они поступили, заведись у них в деревне сосед, который каждую ночь бросал бы в окна домов горящие головни, резал скот, убивал спящих людей и был глух ко всем предупреждениям? Таким соседом был для нашего Приморья Лахасусу. Стерпеть можно раз, два, но без конца-то терпеть нельзя. И командарм наш отдал приказ расколоть этот орешек так, чтобы от него и скорлупок не осталось. Вот и раскололи. И не дубинками, конечно.

— У меня есть вырезка из «Тревоги» об этом бое, — сказал Сидорин, — может быть, зачитать им?

— Не надо.

Василий поставил на своем чертежике крестик.

— Отсюда рано утром... точно переводите, товарищ, рано утром вышли корабли нашей Амурской флотилии.

— Товарищ комрота, о летчики не сказал, — напомнил Рахим. Василий кивнул. Он как раз в это время над силуэтами кораблей хотел нарисовать летящую эскадрилью, но это ему не удавалось.

— Да, и корабли и авиация. Ливень бомб и снарядов. Эта «дубинка» три часа молотила ваш Лахасусу и с воздуха и с бортов кораблей. Те, которым посчастливилось уцелеть и попасть к нам в плен, в один голос утверждали, что в часы той «молотьбы» им казалось, будто вся земля перевернулась.

— И в Фугдине так было? — вырвалось у Ван Юйлина.

— Было. Но там было и другое — радостная встреча населением наших войск. Натерпелись, в каждом доме обида, у каждой семьи к военщине свои счеты. Успеваете за мной, товарищ?

— Да, — сказал железнодорожник.

— Тридцать первого к вечеру полностью овладели наши амурцы Фугдином, а утром к командиру дивизии

пришла делегация ваших рабочих. Подчеркните им это слово — пришли, не привели их, а сами пришли.

По удивлению на лицах пленных понял, что переводчику удалось подчеркнуть.

— А знаете, зачем?

Железнодорожник перевел вопрос, но Василий не торопился, стряхнул пепел.

— С просьбой, — курнул и, выпуская дым, договорил: — разрешить им поделить запасы муки бежавших купцов и помещиков. Что сказали бы ваши генералы, если бы обратились вы к ним с такой просьбой? Я не требую на этот вопрос ответа, просто хочу, чтобы вы подумали над ним, прежде чем услышите, что сказал наш комдив. — Переводчик умолк, и стало слышно, как говорил что-то женский голос в наушниках, лежавших на крышке радиоприемника. Все не отрывали глаз от пленных, замешательство которых красноречивее слов свидетельствовало, что представить такую невероятность выше их сил. Нет, похоже, представили. Ван Юй-лин невольно сжался, будто ожидая удара.

— Наш комдив сказал: «Мука ваша — забирайте ее, нам она не нужна».

— О!

В переводе это «О!» не нуждалось.

— Слова «большого капитана», как ветер, разнеслись по рабочим кварталам Фугдина и по окрестным селам. Оттуда в город хлынули толпы вот таких, как вы, — всем хватило. А когда корабли Амурской флотилии снимались с якорей, на пристань сбежались тысячи китайцев, которые утолили в этот день голод тоже, может быть, впервые за многие годы. Тысячи наших китайских друзей. Такова, ребята, правда о Фугдине, которую наверняка скрыли от вас ваши генералы.

Железнодорожник перевел, а Василий все молчал, не замечая, что папироса его догорела до мундштука, столбик пепла изогнулся — вот-вот упадет и рассыплется на коленке. Что-то еще было недосказано.

«Огромное сердце огромной страны», — вспомнились слова из письма Ильи. Хорошо о небе! Но сейчас это будет вряд ли к месту: суть ведь не в размерах! У царской империи небо было такой же величины и даже большей: небо Польши и Финляндии тоже считалось тогда российским.

— Вопросы, ребята, есть?

Дрогнули губы у Ван Юй-лина и сомкнулись. Чжан Ши-люй сказал:

— Нет.

Василий встал, поблагодарил железнодорожника.

— Ты будешь еще говорить? — спросил он политрука.

— Не мешало бы рассказать им о вашей тетке, Василий Степанович.

— А это зачем?

— Надо же дать им почувствовать наше время.

— И Турксиб и Комсомольск-на-Амуре, встречные планы, пятилетка в четыре года — наше время, но мы не на отдыхе, товарищи. — Василий повернулся к пленным:

— Встать!

Железнодорожник не успел перевести, а китайцы — или знали это слово, или по тону догадались, что оно обозначает, — испуганно соскочили с лавки и заюлили глазами.

«Согласно распоряжению командования пропустить через границу», — написал Василий на листке.

— Скажите, что освобождаем их.

Он расписался, листок отдал кубанцу.

— Проводите до заставы.

Китайцы опять грохнулись на колени.

— Просят пощадить их.

— Встать! — разозлился Василий. — А как вы им сказали?

— В точности. Вероятно, не поверили.

Василий вздохнул.

— Скажите: отпускаем потому, что считаем китайских рабочих и крестьян своими братьями, однако, если они еще раз перейдут нашу границу с оружием, тогда о пощаде не будет речи.

Лица китайцев посветлели. Но у двери Ван Юй-лин остановился.

— Капитана...

— Просит оставить его здесь, — сказал железнодорожник, — говорит, понял, какой большой обман был; стыдно ему, что шел он с разбоем на людей, которые его своим братом считают Не хочет стрелять в людей, которые бедным китайцам хлеб богачей отдают. Поме-

щик за долги родителей взял его сестру в наложницы. Если бы можно, он своими руками задушил бы этого помещика.

По лицу Ван Юй-лина струились слезы, а гнев, полыхнувший в глазах, раздул и ноздри широкого, слегка приплюснутого носа. Василий подошел к нему, обнял за плечо.

— Понял, значит, друг? Это хорошо. А другие китайские рабочие и крестьяне, которых ваши генералы заманили к себе, кто им откроет глаза?

Ван Юй-лин потупился и, помолчав, прошептал:

— И это я понял. Прощай, капитана!

Василий улыбнулся.

— До свидания, товарищ...

— Можно просто Ван, — подсказал переводчик.

— Смотри-ка, почти как наш Иван, — удивился кубанец, — а второго покороче как?

— Чжан.

— Тоже на Ивана смахивает.

Красноармейцы рассмеялись.

— До свидания, товарищи Ван и Чжан, и, может быть, до скорого, — сказал Василий. Он протянул руку. Ван Юй-лин схватил ее обеими своими и сквозь спершееся дыхание проговорил:

— Шинго, капитана.

— Обожди. — Василий сунул ему в руку папиросы. Ван Юй-лин взял одну для себя и еще одну для товарища, а пачку вернул.

— Там спросят, где взял, — перевел железнодорожник.

— Переведи, отец, что я скажу, — попросил красноармеец, ходивший за едой для пленных. — Шел, мол, и по дороге нашел вот этот кисет. — Он тряхнул своим кисетом и затолкал его в карман Ван Юй-лину.

— Держи, Ваня, я тоже Иван.

Чжан Ши-люй шел, то и дело оглядываясь, словно все еще не веря, что свободен и в спину не ударит винтовочный выстрел, а Ван Юй-лин повторил «спасибо, капитана» и легко зашагал по дороге.

Протарахтели и замерли в переулке колеса подводы, на которой уехал старик-железнодорожник, а Василий, политрук, Терещенко и красноармейцы все еще стояли

на крыльце сельсовета. На дороге прохаживался Акишин.

— Два человека, — вздохнул оставшийся кубанец. — Если бы со всеми ими так же побеседовать.

Связной Семенов сказал:

— Двух человек мы отпустили, двух-трех человек, я к примеру говорю, на соседней заставе, а сколь их, наших застав, по всей границе? Вот и наберется. Товарищ командир роты, а тех, что в Лахасусу и Фугдине взяли, тоже ведь отпустили?

— Офицеров и белогвардейцев — нет, — ответил за Василия Сидорин.

— Об этих я и речи не веду, товарищ политрук, я о трудовом народе.

— Да что ты, не читал в «Тревоге»? — вмешался опять кубанец.

— Читал: и в баню сводили и на экскурсии — это я знаю, да думаю, вряд ли они в свои части вернулись?

— Конечно, по домам брызнули.

— И я о том.

— Ну и что ж, что по домам, — задумчиво сказал Терещенко. — Один в село пришел — все село правду узнало... От села до села молва правду довела.

— Длинное ухо, — подсказал Рахим Заде.

— А от сел и сюда вернется. Ты получаешь от своих письма? Ну и они, поди, получают.

— Навряд ли, товарищ командир взвода: китайская азбука-то, я слышал, такая, что ее и до седой бороды доживешь, а всю не изучишь — где уж тут трудовому человеку к грамоте тянуться. Правда, товарищ политрук?

— Трудная письменность, — подтвердил Сидорин, вглядываясь в показавшегося в конце улицы верхового.

Рахим первым узнал.

— Митрич! — и тотчас же поправился: — Комиссар полка!

— В помещение, товарищи! — распорядился Василий, а политрук уже сбежал со ступенек и заторопился к дороге.

— Не ждали в гости?

— Здравия желаю, товарищ комиссар полка, — взяв винтовку на караул, отчеканил Акишин.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Волков спрыгнул с коня и, держа руку на гриве, повел вокруг взглядом. С крыльца смутно виделось его лицо, но Василию почему-то подумалось, что комиссар не то взволнован, не то встревожен чем-то.

А было и то и другое. На что уж славится выдержкой командир бурят-монгольского дивизиона, и тот, когда выходили из штаба, забыл, что во рту у него дымится папироса, полез в портсигар за второй. А комкор сказал Рокоссовскому на его пожелание «спокойной ночи»: «Конечно, еще до рассвета твои кубанцы должны быть у стен Джалайнора».

Мысленно в эти минуты прощания все были уже за Китайской стеной, на тех дорогах, которые командарм, развивая свой план разгрома белокитайских армий — и в Приморском крае и здесь, — жирными красными линиями обозначил на штабной карте. Невольно вспоминался 1918 год, когда он, Блюхер, тогда еще председатель Челябинского ревкома, слил воедино разрозненные красногвардейские и партизанские отряды и повел за собой в легендарный поход по Уралу. Сметая на своем пути вражеские заслоны вооруженных до зубов колчаковцев и разрастаясь день ото дня, блюхеровцы с боями прошли свыше полутора тысяч верст. Руководство партийной организации Урала в своем ходатайстве о высшей награде героям подчеркивало, что это «неслыханный в истории нашей революции подвиг», а в письме реввоенсовета третьей армии говорилось: «...Переход войск тов. Блюхера в невозможных условиях может быть приравнен разве только к переходам Суворова в Швейцарии».

Сам Василий Константинович на вопрос, что было решающим, ответил тогда так: «Высокий революционный накал сердец красногвардейцев и комсостава». Сегодня командарм не говорил об этом, но... Как изумленно блеснули его глаза на командира 2-й стрелковой дивизии, когда тот высказал опасение: «Удастся ли удержать Ляна в тисках: солдат у него вдвое больше».

Да, Блюхер не был бы Блюхером, если бы в своих решениях учитывал лишь арифметическое соотношение численности войск и боевой техники.

О предстоящей битве думалось как об экзамене на право открыто смотреть в глаза своей революционной отчизне, но экзамене особом, в котором заранее исключалось, что он может быть кем-то не выдержан.

Дым от костров на китайской стороне Волков заметил еще у 86-го разъезда и усмехнулся: «Опять! Ладно, ждите. Завтра ночью будет вам уже не до костров».

Тревогу внесла мысль: «А что, если они перенесли на сегодня»? Ведь в Приморье кавбригада Вайнера сейчас, наверное, на китайской земле. Там же обрушивают на вражеские укрепления свой смертоносный груз советские летчики.

Уже на виду Абагайтуевской он повернул было коня к заставе, но вокруг стояла такая тишина, что слышался и шорох песка под ногами коней патрульных, спускавшихся с соседней сопки, а костры... разве они впервые заволакивают небо над китайской стороной? Лян хоть и не блещет умом,—если до последних дней лелеял надежду на то, что советское командование бросит свои войска на воздвигнутые им укрепления!—однако не новичок в военном деле и должен понимать: чем меньше противник ожидает нападения, тем больше шансов на успех. После стольких вызывающе шумных ночей с кострами и стрельбой наступившее за крепостной стеной безмолвие было грубым тактическим просчетом. Китайское командование это сообразило, отсюда и костры: все, мол, у нас по-старому, никаких изменений не предвидится. «Наверное, так оно и есть», — решил Волков, но встревоженность все же осталась. Надо было позвонить на заставу, да как пройдешь мимо человека, смотрящего на тебя такими радостными глазами?

— Доброго здоровья, товарищ Акишин! Отсоветовал своим выходить из колхоза?

— Отсоветовал, товарищ комиссар полка.

— И не скребут на душе кошки?

— Да как сказать... беспокойство — оно еще есть, но я понимаю, дело новое, не без этого, значит, должны и непорядки и обиды быть.

— Не должны, но могут быть, — поправил Григорий Дмитриевич, — от нас самих зависит, чтобы их не было.

— Я понимаю.

Удивленный Василий посмотрел на политрука, при-

вязывавшего комиссарского коня: о какой обиде шла речь? Нет, и политрук, похоже, ничего не знал.

— Родители и соседи просят передать вам поклон.

— Спасибо, товарищ Акишин, и от меня поклон им.

Увидев, что конь уже пристроен, комиссар поблагодарил Сидорина и шагнул к крыльцу. Василий отрапортовал:

— Посты и пикеты, товарищ комиссар полка, на местах.

— Видел.

— Пленные китайцы после беседы с ними по вашему указанию отправлены на заставу.

— Звонков оттуда не было?

— Нет, товарищ комиссар полка.

Волков поднялся по ступенькам и, уже взявшись за дверную ручку, спросил:

— О тетке своей знаешь?

— Знаю, Григорий Дмитриевич.

— Замечательно ведь, а? Китайцам о ней рассказал?

— Нет.

— А чего же? Небо наше перед ними ковром расстилали?

Василий смутился.

— Эх вы, встречезары! — комиссар кинул быстрый взгляд на Сидорина и, как показалось Василию, сердито потянул на себя дверь.

— Доброго здоровья, товарищи! — ответил он на приветствие Терещенко и красноармейцев. — Товарищ командир взвода, вызовите заставу.

Рахим смотрел так влюбленно, что Григорий Дмитриевич не смог не задержаться около него.

— Сеем, значит, хлопок, товарищ Заде?

— Обязательно сеем, товарищ комиссар полка. Надо больше — больше сеем. Товарищ комиссар полка, радио есть, да? Родной тетка наш комрота член правительства Таджикистан избирал.

— Знаю, товарищ Заде, большое дело это!

— Очень большой.

— А есть товарищи, которые не понимают этого. Раньше, говорят, мужик в трех соснах блуждал, а эти товарищи бог знает у кого научились живых людей, а

вместе с ними и суть нашей жизни в масштабности терять. Небось еще в пионерах кричали: «Да здравствует мировой Октябрь! Даешь мировую революцию!» Хорошо? Неплохо. И то, что «мыслью не охватить», тоже можно увидеть, но не через всю масштабность, товарищи, не через абстрактность. А Лукерья Перова — это не абстрактность, в ней и вокруг нее во весь рост встает быль наших дней. Здесь и единение города и деревни, здесь и дружба народов, и закон нашей жизни «один за всех и все за одного», — он оглянулся на Сидорина. — Понятно, товарищ политрук?

— Товарищ Сидорин подсказывал мне эту мысль, — сказал Василий, глядя на затылок Терещенко, который, склонившись над телефоном, вполголоса выкрикивал:

— Волна! Алло! Волна!

— Да? — оживился Григорий Дмитриевич.

— Застава у телефона, — доложил ему Терещенко. Комиссар взял трубку.

— Кто? Приветствую. Волков. Да. Как у вас там сегодня?

— Что-о? Это точно? Так-так... — Он вздрогнул и отнял от уха трубку, но тотчас же опять приник к ней. — Застава? Фу ты, черт! — Григорий Дмитриевич подул в трубку и громче крикнул: — Застава? — Потом прислушался и спросил: — Вы ничего не слышите, товарищи?

Василий выбежал на крыльцо. Для глаза ничего не изменилось — вокруг сгущенная темная ночь, прикрытая сверху холодным звездным небом, и тишина стояла та же, но это лишь вблизи, а издали отчетливо доносился гул нарастающей артиллерийской канонады.

— Акишин!

— Есть! — Акишин вскинул винтовку и выстрелил, а выскочивший из помещения Рахим подбежал к колоколу. В открытую дверь слышался голос комиссара, разговаривавшего по телефону с командиром полка.

Батальон построился за десять минут и еще через десять уже взбирался на перевал.

Оставив своего коня в станице, комиссар шел впереди рядом с комбатом. Земля гудела под ногами, а вдали таяли в небе облачки шрапнельных разрывов — это в стороне Маньчжурии, наверное, над 86-м разъездом.

* * *

Орудийный гром поднял с постели всех жителей Маньчжурии. Из домов выбегали полураздетые: — Наступление?

Офицеры и солдаты отмалчивались. Да и что могли они сказать, если и начальник штаба фронта генерал Ляо не знал толком, что это такое: Лян Чжу-цзян приказывал, не давая никому никаких объяснений.

Сорок минут длилась пальба, и еще грохотали орудия, а от крепостных стен поползла вторая дымовая завеса, и под ее прикрытием двинулись конница и пехота — русские белогвардейцы, маньчжуры, китайцы, студенты из «Союза уничтожения».

Нет, генерал Лян не отбирал поименно. Он сказал: «Пятьсот штыков и сабель».

Столько же выплеснулось из тройных ворот Санчагоу.

И конники и пехотинцы невольно оглядывались на белогвардейцев с изображением черепа и скрещенных костей на рукавных повязках — это были «заградители», или, как чаще называли их здесь, «нефедовцы».

Появились они во всех частях вскоре после принятия Ляном командования Забайкальским фронтом. Отдел пропаганды штаба армии к тому времени уже на широкую ногу поставил свою «работу». Во всех солдатских помещениях красовались плакаты, на которых звероподобные красноармейцы распиливали пленных китайцев, выкалывали им глаза и так далее, и на всех улицах можно было увидеть, как от одного китайского солдата, словно зайцы, толпами улепетывали красноармейцы. Однако плакаты о зверствах воздействовали явно сильнее.

Мрачнее тучи объезжал тогда Лян Чжу-цзян воинские части. Да, безупречная выправка, четкое выполнение команд офицеров, а выражение лиц... Смотрел он в ошалелые, с бездонной тоской глаза, и пальцы его яростно сжимались в маленькие кулачки: когда солдат предпочитает смерть плену — это, разумеется, не плохо, но если причина такого предпочтения — дикий страх перед врагом, то этот страх может подсказать солдату и другие пути избежания плена — уклоняться от атак,

бросать окопы и оружие и бежать без оглядки назад при первом же возгласе: «Красные!»

— Убрать эти картинки! — взорвался он. — Мне нужны не трусы, а тигры, чтобы каждый солдат знал, что это у красных душа уходит в пятки, когда они видят: идет солдат генерала Ляна! Разгоню! Другие части потребую.

Может быть, командующий и осуществил бы свои намерения, не вмешайся казачий атаман генерал Семенов.

— С пропагандой, конечно, переусердствовали, — сказал он, улыбаясь. — Но минус этого сверхмерного усердия, ваше превосходительство, легко стереть и даже превратить в плюс, если выделить специальные части, которые будут стрелять в тех, что вздумают бежать или попятиться.

Мысль эта пришлась по душе Ляну. Да, именно такая армия ему нужна, в которой каждый солдат будет знать: для того, чтобы сохранить себе жизнь, путь один— стать победителем. Формирование отряда «заградителей» было поручено капитану Нефедову, а по всей армии и гарнизонам разослан приказ, в котором говорилось:

«Красные — звери, но они не способны на сколько-нибудь упорное сопротивление. Дрогнувший перед ними — еще больший трус! Такого не сможет терпеть на себе китайская земля! Он будет тотчас же уничтожен своими, тело оставлено без погребения, а имя предано вечному проклятию там, где этот постыдный человек родился».

Нефедовцы шли, держа в руках новенькие маузеры.

На советской стороне взметнулась ракета. Уловив трескучий гул пулеметов, Лян закурил, и еще до половины не сгорела его папироса — зазвонил телефон. Тонкий с хрипотой голос Чан Кай-ши издалека спросил:

«Календарь есть у вас, командующий фронтом?»

Лян Чжу-цзян не смутился.

— Я и без календаря отлично помню: сегодня только шестнадцатое ноября.

«Что же там у вас?»

— Разведка боем, господин председатель, уточнение сил, которые восемнадцатого предстоит сокрушить.

«И только?»

— Да.

«Ну, хорошо, желаю успеха, дорогой Лян».

— Спокойной ночи, господин председатель.

Лян положил трубку. То, что он сказал Чан Кай-ши, было, конечно, лишь полуправдой. Начало наступления? Нет, но и не только разведка боем... Что здесь разведывать? Считанные часы оставались до большой войны, и он хотел использовать их на последнюю попытку затронуть большевиков так, чтобы те перешли в контрнаступление. Надежда на это была весьма призрачная. А вдруг? Но если этого «вдруг» и не произойдет, он все равно останется не в проигрыше, потому что по сигналу из Мишань-фу бросит войска в наступление уже с тех позиций, которые возьмут до утра его тысяча штыков и сабель, то есть сразу же начнет бить, а не выбивать, а это, разумеется, не одно и то же.

— Надо выяснить, кто соединил город с Мукденом и по чьему приказанию? — сказал он начальнику штаба, а повернулся от окна и резко спросил: — Вы, кажется, собирались что-то доложить мне, генерал Ляо?

— Хорошие вести, ваше превосходительство.

— Да?

— Наши теснят красных с восемьдесят шестого разъезда. Вторая группа тоже в окопах противника — идет рукопашный бой.

Чувствуя, что стены как бы давят его, Лян вышел на улицу. В глубине ее виднелись неподвижные колонны пехоты. Шофер торопливо распахнул дверцу автомобиля, но внимание командующего привлекла группа кавалеристов, гнавшая двух безоружных солдат в грязной, изодранной одежде.

Он шагнул им навстречу.

— Кто такие?

Кавалеристы остановились, и один из них, задрожав от мысли, что смотрит на него и слушает его сам Лян, путано доложил, что они — мукденцы, а солдаты, которых по приказу своего офицера конвоируют в особый отдел, их однополчане, были в плену у красных.

— Из плена красных честные воины не выходят живыми. Вздернуть на фонарь!

Чжан Ши-люй упал на колени. Приблизиться к командующему мешали два коня, он прополз под их животами, но припасть к ногам генерала Ляна не успел,

кто-то схватил его сзади, кто-то ударил прикладом по лицу. Ван Юй-лин кинулся поднять товарища, но тоже попал в тиски солдатских рук.

— Мы не бежали из плена, — закричал он звонким от напряжения голосом, — отпустили нас, накормили и отпустили, впервые за всю свою жизнь я был сытым в плену у русских! Войны они не хотят, они братья простым китайцам.

Лян Чжу-цзян едва не задохнулся:

— Молчать!

Но Ван Юй-лин даже не взглянул на него.

— Картинки неправда! Ничего этого у них нет! Все это ложь. Ты лгал нам, Лян! Скверный ты человек!

Грохнул выстрел, но, видимо, рука у генерала дрожала — пуля попала в щеку, и окровавленный Ван не упал, а схватился за гриву коня и повел вокруг печальным взглядом.

— Такие же они, как и мы, только лучше нас.

Вторая пуля навылет пробила горло. Брызги алого фонтана попали в лицо Ляну. Он разрядил остальные пули в Чжан Ши-люя и пошел к автомобилю. Дверцы захлопнул за собой с досадой: напрасно не сдержался! Выстрелы не опровергли, а лишь оборвали голос солдата. Надо было его в особый отдел или к капитану Нефедову, пусть бы рвали на части до тех пор, пока негодяй публично не отрекся бы от своих слов и не сказал, что подкуплен большевиками, а то ведь вышло так, что солдата нет, а слова его остались.

Автомобиль на полном ходу подкатил к западным воротам — они были полуоткрыты. Мимо застывших офицеров и солдат Лян прошел к молчавшим орудиям.

Сквозь ночной сумрак, еще пахнувший пороховым дымом и, кажется, кровью, смутно проглядывала легендарная арка Чингисхана. За ней еще смутнее — советская станция Пограничная, дальше был 86-й разъезд. Гул боя доносился оттуда.

Услышав за спиной осторожные шаги, Лян догадался — подоспела свита. Кто-то из адъютантов сказал:

— Откатывается красная сволочь!

Гул действительно отдалялся чуть ли не с каждой минутой, а вместе с ним отдалялась и таяла надежда на «вдруг». Трусы! Восемь тысяч штыков и сабель от-

ступают перед тысячью штыков и сабель, даже не попытавшись перейти в контратаку.

Неподвижной громадой высилась арка. Когда-то этой дорогой хлынули орды Чингисхана, чтобы подмять под себя всю Русь. Обмозговывая план своего вторжения в красную Россию, он, Лян, думал об этой арке, но его собственный бросок рисовался ему куда ослепительнее чингисхановского, потому что по всем расчетам выходило, что уже от этой арки его солдаты будут идти по трупам врага.

И вдруг... Глаза Ляна застлало чернотой, и он едва устоял, а земля все еще дрожала, плыла под ногами.

— Наконец-то! — увидев в стене громадный клин, сказал он подбежавшим офицерам. Но в улыбке его была и растерянность: то, что у противника есть артиллерия, знал, однако не предполагал, что она столь дальнобойная. В воротах появился генерал Ляо, а в вышине опять свист.

— Ваше превосходительство!..

Снаряды перелетели стену. Один разворотил дорогу, второй — нет, на перекрытии блиндажа — лишь вмятина.

Лян Чжу-цзян рассмеялся: пусть хоть вдвое дальнобойнее будут — это ничего не меняет, стену они могут покрошить — пожалуйста, а остальное...

— Отбой или введем новые силы?

Командующий фронтом с сожалением посмотрел на генерала. Он ценил в начальнике штаба исполнительность, а насчет его воинского ума всегда был невысокого мнения, и вопрос этот лишний раз подтверждал, что оно справедливо.

— Ни то и ни другое, дорогой Ляо.

Начальник штаба помялся, вздохнул.

— Ведь тысяча...

— Пешек, — закончил за него Лян и пожал плечами. Он был страстным шахматистом, и слово «пешка» в его устах отнюдь не звучало оскорблением для солдата. Правда, на шахматной доске он дорожил ими и долго размышлял, прежде чем передвинуть на новое поле или отдать на съедение, но там ведь их всего шестнадцать, и теоретически каждая может стать ферзем, здесь же в его распоряжении пешек было великое множество —

шестнадцать тысяч, и каждая из них знает: ферзь в армии один — генерал Лян.

— Играете вы в шахматы, генерал Ляо?

— Весьма посредственно.

— Но, полагаю, достаточно для того, чтобы знать: пешки назад не ходят. Это на шахматной доске. Здесь, в данной ситуации, могут быть исключения.

— Я это и имел в виду, — обрадованно проговорил начальник штаба.

— Исключения такого порядка: могут повернуть, не отрываясь от противника, на плечах своих увлекая его под наши орудия и пулеметы. Если противник остановится, немедленно поворачиваться к нему лицом и вновь атаковать. Там, где контратаки противника нет, пешки стоят на своих местах. Отрыв от противника исключается, это будет уже не маневр, а бегство. Бегающих от противника солдат в армии Лян Чжу-цзяна нет. Распорядитесь, генерал Ляо. Можете для этого воспользоваться моим авто.

Канонада нарастала. Уже три бреши зияли в знаменитой Великой Китайской стене. И город осветился пожарами. Ляо незамедлил воспользоваться дозволением — кинулся к автомобилю. Командующий фронтом проводил его взглядом не без зависти: самому хотелось поскорее выбраться из пределов досягаемости русских снарядов — и никто, разумеется, не посмел бы посчитать это за трусость — ферзь в армии один и в интересах всей армии обязан позаботиться о своей безопасности. Но по лицам офицеров свиты он видел, какое впечатление производила артиллерия красных. Следовало развеять это.

Конь начальника штаба стоял у ворот. Лян вскочил на него. Давно уже не ездил верхом и забеспокоился: красиво ли сидит в седле? Но визг очередного снаряда пронесся над самой головой, да еще кто-то подхлестнул вскриком: — Ваше превосходительство! — Лян взмахнул нагайкой и зажмурил глаза. Ахнуло за спиной. Осыпанный крошками земли, он посмотрел через плечо. Кого-то поднимали — блеснул на плече офицерский погон, — не столь важно, чтобы останавливаться.

Впереди толпились солдаты, голоса веселые — здесь тоже снаряд попал в бетонную толщу окопа и хоть бы что!

— Не родились еще зубы, которые смогут разгрызть наши орешки.

По оживленным возгласам Лян понял, что слова его оценены должным образом.

У пагоды, цветной пирамидой плоских крыш устремившейся к небу, стоял конный отряд «заградителей», готовый пойти в «дело» по первому сигналу. С ними был и их командир, капитан Нефедов. Снаряды сюда не долетали, и командующий, сдержав коня, доброжелательно улыбнулся замершему в седле капитану. Какая-то доля этой полководческой улыбки пришлась и на остальных «заградителей». Испитые звероватые лица.

— Здрав... жел... ваш... дитьство! — дружно ответили они на его приветствие.

— Халасо! Я забиваль васе имя, капитана.

— Геннадий Федорович, ваше превосходительство.

— Генадь Федлич, — повторил Лян Чжу-цзян. — Васа лодной бивать на та столона?

— Много, ваше превосходительство, отец, мама и дальние родственники.

— Они пальсевик?

И при ночном освещении было видно, как вспыхнули глаза капитана.

— Я не называл бы их тогда родственниками, ваше превосходительство.

— Халасо. Не пальсевик ми не тлогай. Сколо, Генадь Федлич, ви повидать своя папа-мама. Хотель совельсить это в чин польковник? Сталайся, капитана. — Генерал Лян милостиво улыбнулся.

К отелю подъехал он в окружении всей своей свиты.

Начальник штаба доложил: пехота красных пошла в атаку, застава напротив Санчагоу уже отбита ими.

— Хорошо, — сказал Лян. — По своим частям, господа! — приказал он ожидавшим его командирам воинских соединений.

Гул канонады нарастал и нарастал. Ясно, что это подготовка к штурму. Лян Чжу-цзян потер рукой об руку. Не следует в первые минуты встречать красных шквальным огнем, чтобы не отпугнуть сразу. Может быть, даже роте-другой для большей затравки дать проскочить в ворота?

Хотелось музыки... Он подошел к радиоприемнику и

повернул выключатель. Нанкин. Кто-то торопливо говорил о происках коммунистов, спровоцировавших шанхайцев. Да, не только в Европе и Америке, в самом Китае тоже идут манифестации с криками: «Руки прочь от Советской России!» Но думать об этом сейчас не хотелось. В конце концов, это дело Чан Кай-ши, полиции, тыловых войск.

Поворот рычажка настройки — певица! Кажется, англичанка... голос слишком уж тонкий, и мелодия тоскливая, будто плач по кому-то. Лян резче повернул регулятор.

Ага, походный марш! Он закрыл глаза, но музыка умолкла. Громкий голос торжественно объявил:

«Говорит Москва!»

— Москва? О чем может говорить сейчас Москва?

«Товарищи радиослушатели, наш микрофон установлен на площади трех вокзалов...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Над Москвой еще догорал день, где-то за крышами домов затопив в вишневом соку круг солнца. Словно в танце, медлительно опускались снежинки — первые в этом году! — на трамваи, автомобили, извозчичьи пролетки, головы людей...

Поднимаясь по ступенькам парадного, Степан прислушался: духовой оркестр!

«На вокзальной площади», — догадался он и толкнул дверь. То ли чемодан был тяжелым, то ли отвык взбираться по лестницам — в пот бросило. Степан расстегнул крючок у воротника шинели и постучал в дверь. Никто не отозвался.

По укоренившейся привычке — чуть что, и за папиросу — Степан опустил руку в карман, под пальцами шелестнула жесткая бумажка. Телеграмма: «Что случилось? Телеграфь, выеду немедленно. Анна». Это из-за его открытки, в тот же день получил от нее телеграмму и главврач санатория: «Телеграфьте молнией здоровье Орлова».

Хотел успокоить, а вышло наоборот... поскупился на слова!

Идти на Лубянку с чемоданом было нежелательно,

да и на сестру взглянуть хотелось: член правительства Таджикистана, «Лукерья-апа»!

Степан посильнее толкнул дверь — заперто.

«Надо было сдать в камеру хранения на Курском»,— подосадовал он, спускаясь по лестнице.

Еще перед дверью услышал нарастающий шум. И на крыльце и на тротуаре теснились люди, бежали они с Ново-Басманной и от Красных ворот... Степан посмотрел вправо и понял, в чем дело: из Орликова переулка выходила и широким потоком разливалась по Садовой разноязыкая толпа, пестревшая халатами всех цветов и оттенков. На одних головах тюбетейки были с белыми цветами по темному фону, на других щедро сверкали бисером, на третьих покачивались огромные лохматые шапки. А были головы и в чалмах, словно горки снега возвышавшиеся над бронзой лиц.

«Хлопкоробы!»

Пересекая улицу, они оглядывались на высоченный Орликов дом, показывали друг другу на Сухареву башню, а несколько человек вышли из переулка и застыли, словно завороженные.

— У вокзала человек тридцать их обступили трамвай и галдят что-то по-своему, под низ заглядывали, — сказал парень в ярко-зеленом галстуке, проглядывавшем в отвороты франтоватого демисезонного пальто.

— Нашел над чем смеяться, — возмутилась женщина с кожаной кошелкой, — небось и сам заглянул бы, ежели впервые увидел.

— В ватных-то халатах хорошо, а тем, что легонько одеты, холодно, поди, — посочувствовал кто-то из стоявших на тротуаре.

— А куда они, мамк? — допытывалась у худощавой, болезненной на вид женщины девочка в пуховой шапочке.

— В мавзолей. Отдохнем, говорят, после, сначала Ленина повидаем. И от автобусов отказались.

— А чего?

— Пешком пройдешь по улицам — больше увидишь. Смотри, как все оглядывают!

— Потешные, говорю, они, эти сарты, — опять фыркнул парень в зеленом галстуке.

— А ты говори, да не заговаривайся, — одернул его Степан. Многие из стоявших на тротуаре обернулись:

— Правильно!

— Сам ты сарт, черт сопливый!

— Дайте ему там по затылку, пижону мокрохвостому. — Седоусый железнодорожник повернул к себе парня за плечо.

— Слышал, что пел старик с гитарой?

— С дутарой, — поправил кто-то.

— Ну, с дутарой.

— А я поодаль стояла. Голос переводчика слышала, а слов не разобрать, — посетовала женщина с кошелкой. — Что он пел-то, товарищ?

— О жизни своих народов, — сказала ей девушка в белом полушалке. Лица ее Степан не видел, а голос был очень знакомым. Бай, бек, эмир, царь Николашка со своей сворой сановников — все они держали свои жирные руки на горле бесправного бедняка-дехканина.

Девушка чуть повернулась: Наташка!

— Ничего не имел в царской России узбек, кроме цепей, — говорила она уже всем, — даже само слово узбек было растоптано и заплевано. В глазах царских властей народы нашей Средней Азии ничем не отличались друг от друга, и всех их именовали тюрками, а то и еще пренебрежительней — сартами.

— Понял? — спросил железнодорожник парня.

— Да я ничего, — пробормотал тот, пятясь с крыльца, а Наташа повела взглядом, и глаза ее радостно изумились:

— Дядя! — Она пробралась к нему, ткнулась губами в щеку. — И не предупредил? — а глаза пытливо вглядывались в его бледное лицо.

— Подштопали, Наташка! — улыбнулся Степан, пряча под полушалок выбившуюся прядь ее волос. — А мать где?

— Наверное, с ними пошла. Сошла с трибуны и сразу, как иголочка в сене.

— Хороша иголочка!

— Она ведь теперь, дядя Степан...

— Знаю.

— А сказать, чего не знаешь?

— Непременно.

— Не знаешь, как рада я видеть тебя... вот такого, посвежевшего.

— Ну, это я тоже узнал еще до того, как ты на всю

Садовую крикнула «дядя!», — рассмешив соседей, сказал Степан. — А хочешь, я скажу тебе, чего ты не знаешь?

— Очень!

— Вдвойне рад, что повстречался здесь с тобой.

Она засмеялась:

— Почему же вдвойне?

— Есть куда грузик пристроить — держи-ка, — он передал ей чемодан. — Привет матери передай.

— Дядя Степан!

— Дела, Наташка, дела. Попозже загляну. Непременно.

— В ВСНХ? — огорчилась Наташа.

— Может быть, и в ВСНХ. Разрешите, товарищи.

На мостовой в ожидании зеленого сигнала стояли извозчичьи пролетки и автомобили. Степан пошел между ними и, выбираясь на свободное место, услышал:

— Степа!

Из-за газетного киоска к нему выбежала Лукерья. Платок съехал у нее на затылок, и снежинки садились на гладко зачесанные волосы.

— Хорош! И минутку не мог обождать. Поворачивай-ка у меня безо всякого!

— Ого! Сразу чувствуется: член правительства.

— И ты туда же! — нахмурилась Лукерья.

— Шучу, Луша.

— Граждане хорошие, не то место выбрали, чтобы обниматься! — крикнул им осадивший коня извозчик.

Не снимая со спины сестры руку, Степан отошел с ней к киоску.

— Знаю, что шутишь, — поправляя платок, сказала Лукерья, — в растерянности большой я, Степа. Какой из меня правитель? Расплакалась вот сейчас. Слово мне уже предоставили, говорить надо, а тут... всего-то, что кричали, конечно, я не поняла, каждый по-своему, но везде в криках этих: «Лукерья-апа... Лукерья-апа!» Одни в ладоши бьют, другие, гляжу, руки к груди прижали, бородачи лохматые шапки снимают. Речь-то у меня— вот... — она достала из кармана смятый листок. — Уртаклар! Юлдашлар! — это так мне в ЦК союза подсказали, чтобы, значит, обращение было и по-ихнему и по-нашему, и я весь день твердила эти слова, а сказалось

совсем по-другому, как на душу легло: «родные вы мои» — и больше уж ничего не смогла. Брызнули слезы, и не остановишь. Это ведь правда, Степа, — гляжу на них и всем нутром чую: родные!

— Но почему же тогда ты в «растерянности большой»?

Лукерья посмотрела на него удивленно.

— А цех-то разве не родной? — Она вздохнула. — Еще в тот вечер, когда услышала по радио, до утра пролежала с открытыми глазами. На фабрике-то... сам знаешь, кажется, всеми жилками к ней приросла, и вдруг порви все и езжай бог знает куда, да еще... членом правительства. А какой, говорю, из меня правитель? И языка-то ихнего не знаю. Неладно, думаю, получилось, — с этим утром и в фабком пришла. Да что я все о себе, — твои дела как?

— Откурортничал.

— Ладно ли? На лбу-то вон мокро — пот или от снега?

— От снега, наверное, — Степан взглянул на часы. — Ну, рад я за тебя.

— Так и не зайдешь?

— Попозже.

Лукерья пошла с ним до остановки. Что-то новое, незнакомое для Степана появилось у сестры, но то ли в лице, то ли в походке — он так и не понял.

— А в фабкоме?

— На мою голову там оказался секретарь парткома — не тот, говорит, запев, Лукерья Петровна! Избрали не москвичку Перову, а ткачиху Перову, представительницу рабочего класса России, — надо понимать эту разницу. Не одна ты поедешь туда, за спиной весь советский текстиль, от имени всех нас примешь этот мандат. Чувствуешь, мол, какая высота и ответственность?

— Хорошо сказал.

Снег насыпался Лукерье на воротник, она смахнула его.

— Потому и боязно, Степа, что чувствую. И поздравления эти, и письма... изо всех городов идут. Понимаю, не мое личное дело, всех касаемо, но все-то остаются на местах, а я, как войду в цех... Знакомо все чуть не с пеленок — и грохот батанов, и хлопки приводных ремней,

и щелканье челноков, а я... веришь ли? вслушиваюсь и наслушаться не могу, и горло перехватывает, и в глазах горячо. Ведь с думой об этом цехе, о своих станках понесла я и тот рубль в газету, а он вон куда теперь меня уводит. Нет бы кому из молодых, которые еще не успели так сжиться с рабочим местом, открыть счет «на тракторы хлопкоробам».

Степан засмеялся, улыбнулся, и Лукерья махнула рукой — что, мол, теперь об этом?

— Заночуешь-то у меня?

— Не знаю.

Впереди стояли человек десять, ожидая, когда пройдут трамваи.

— Пускай пообсмотрятся, в других городах побывают, запросто со всеми текстильщиками поговорят, а потом уж и договор о соревновании, — степенно говорила похожая на Марфу Каткову женщина молоденькой краснощекой девушке, наверное, еще школьнице. — Через неделю, не раньше.

— Через неделю, — подтвердила Лукерья.

На площадке она оглянулась. Хлопкоробы уже пересекли Садовую, и улица успела принять свой обычный вид: торопились по делам люди, ехали извозчики, обгоняли их автомобили.

— Значит, не можешь?

По лицу брата поняла — нет, и в глазах опять проступило выражение растерянности.

— Ведь через час ко мне приедут мандат правительственный вручать. Если бы ты рядом — спокойнее бы мне было.

Степан обнял ее.

— Ну чего ты волнуешься, чудачка?

— Не шутка!

— А знаешь, Луша... Ты другая какая-то стала.

— Отец это говорил.

— Приезжал?

— На второй же день.

— В голубой рубашке?

— В голубой.

Степан опять рассмеялся: голубую тиковую рубашку отцу торжественно вручили в день его шестидесятилетия, и надевал он ее лишь в самые большие праздники — Первого мая и в Октябрьскую.

— Хороший он у нас, старикан наш.

— Конечно, хороший, — согласилась Лукерья, задумчиво глядя вдаль. — А я... с чего же другая? Какая была. Но, правда, порой смотришь и чуешь, как жизнь вокруг тебя вроде раздалась и небо будто не то, что прежде, — и выше оно и просторней, Степа. А там, сказывают, еще не выпадал. Я о снеге...

— Думами-то, значит, ты там?

Лукерья кивнула, потом, глядя все так же вдаль, тихо обронила:

— И здесь.

«Да, чтобы завтра *здесь* было хорошо, надо сегодня *там* быть», — хотел сказать Степан, но подошел его трамвай, и он уже с подножки крикнул:

— Все правильно, Лукерья.

Вероятно, она не слышала, постояла и пошла — высокая, прямая, широкоплечая.

— Лукерья-апа! — улыбнулся Степан.

Взяв билет, он прошел вперед и за Чистыми Прудами еще раз увидел хлопкоробов. Заполонив и тротуар, и мостовую, они шли, приветственно махая руками. Степан тоже помахал им с площадки и вдруг подумал: «А не поспешил ли с письмом?»

Нет, не трест имел он в виду, а вообще текстиль, сама жизнь делала поля Средней Азии острейшим фронтом. Но смущение это было мимолетным. Лукерья — другое дело, ей еще не доводилось выслушивать от врачей: «Ведите поспокойней образ жизни, больше времени для сна и отдыха, и сердце ваше еще постучит».

Да, он и без них знал, что сердце его в любой день может подвести. Сегодня стучит, завтра умолкнет, но это отнюдь не означает, что Степан Орлов должен, как советуют медики, забиться в некую тихую гавань, подальше от битв и волнений, и встречать там каждый новый день, держа пальцы на пульсе. Да лучше один день жизни, но в атаке, чем год в обозе! Совсем не считаться с тем, что сердце изработалось, нельзя: это было бы глупо! Именно считаясь с этим досадным фактом, что остановка сердца не отменена, а лишь отсрочена, он и стремился на Лубянку: здесь не придется ему затрачивать время на вживание и накопление опыта... Только Менжинский не сказал бы: «Нет!»

Вот и Лубянская площадь со знакомым на память желтым домом в глубине ее.

В комендантской было все так же, как полтора года назад, но люди новые.

— По личному делу? — дежурный удивленно оглядел подступившего к нему армейского комиссара. — К Менжинскому? На сегодня это фантастическое желание. А вы к кому, гражданин?

Решив, что лучше сначала увидеться с Зиминым, Степан сказал:

— Третий отдел.

— Вызов?

Степан подал ему свои документы.

— Прошу вас позвонить к товарищу Зимину.

— Минуточку, вы... тот самый Орлов?..

— Вероятно, тот самый.

Дежурный скрылся за дверью.

— Степан Петрович!

Орлов оглянулся: с лестницы спускался улыбающийся Крамской.

«Зачем он здесь опять?»

— Рад поздравить вас с выздоровлением, от души рад.

— Спасибо, Игорь Борисович! — Степан пожал его руку.

— К Алексею Дмитриевичу наведывался, — пояснил Крамской и, увидев, как приподнялись брови Степана, торопливо добавил: — Нет, с тем глупым делом, слава богу, вчистую разделался, хотя... — Улыбка сбежала с его лица, и сразу стало заметно, что оно очень постарело, и в глазах... не то настороженность, не то боязнь. — Пятно-то осталось, Степан Петрович. Спасибо Алексею Дмитриевичу, он сам приезжал в Академию, и мне кафедру вернули, но... все ведь знают, где я был. Разговаривают коллеги, подойду — умолкают, вхожу в аудиторию, опять чувствую — не то, что прежде: и смотрят на меня студенты не так, и слушают по-другому. Швейцар и тот...

Одно из окошечек в стене открылось, и женский голос сказал:

— Орлов Степан Петрович.

Получив пропуск, он вернулся к Игорю Борисовичу.

— Вероятно, я задержусь недолго, и если вы не торопитесь...

— Нет, нет, куда мне спешить! — обрадованно возразил Крамской. — Я в сквере посижу.

Степан кивнул.

На площадке второго этажа часовой потребовал пропуск, возвращая, сказал:

— До конца коридора, потом налево.

Знакомые стены, знакомые двери...

Вот и кабинет, в котором проработал он не один год. Степан постучал и услышал:

— Да!

За столом сидел молодой человек с белесыми бровями и очень уж голубыми и улыбчивыми глазами. Степан догадался, что это и есть новый помощник Алексея, из числа тех, что приняли весной с комсомольскими путевками.

— Товарищ Орлов? — спросил тот, поднявшись. — Алексея Дмитриевича только сейчас вызвали, — он гостеприимно кивнул на стул, — пожалуйста, товарищ Орлов, располагайтесь. Если надолго вызвали, Алексей Дмитриевич позвонит.

Степан сел.

— Вы ведь в этом кабинете работали, товарищ Орлов?

— В этом.

Молодой человек снял трубку зазвонившего телефона.

— Кабинет начальника третьего отдела. Плохо слышу. Алексей Дмитриевич? Да. Сию минуту. — Он протянул трубку Степану. — Вас.

— Здравствуй, Леша, я слушаю, — сказал Степан.

— Рад тебя слышать, топай сюда, — тихо отозвался в трубке голос Зимина.

— Куда?

— К самому.

Коридором шли группами и стояли у стен чекисты: видимо, совещание у самого закончилось.

У окна говорили что-то о Блюхере, о Забайкалье.

— Друзи, а ведь це Степан.

«Михаил!» — обрадовался и Степан, узнав следователя Штуду. Сзади кто-то обнял его за плечи.

— Представителю советского текстиля!

Шпалы в малиновых петлицах... Неужели Крестинский? Степан обернулся, но Крестинский отступил, и он чуть не столкнулся с Ягодой.

— Зачем ты здесь? — спросил тот, не ответив на его приветствие. Степан растерялся, но, к счастью, заместитель председателя не стал дожидаться ответа.

— Извините, товарищи, тороплюсь, — сказал Степан Штуде и Крестинскому.

Зимин ждал его у дверей кабинета.

— Ни пуха, ни пера, — шепнул он.

Председатель сидел за столом и что-то писал.

— Вячеслав Рудольфович!

— Приветствую.

Степану вспомнилось, что этим словом встретил его Менжинский и в тот день, когда он, Степан, впервые переступил порог ВЧК. Тогда Вячеслав Рудольфович был первым заместителем Дзержинского и терпеливо возился с ним, Штудой и другими армейцами, шаг за шагом вводя их в «арифметику» чекистской работы. Кажется, не так давно это было, а вон как густо посыпало серебром эту крутую, низко склонившуюся над столом голову; тогда он еще не носил бороды, ни одной召 сединки не проглядывало в густых черных усах, и от улыбки, выбегавшей из-под них, молодо светлело все его лицо. Да и полтора года назад инеем припушены были лишь виски... Болезнь не красит!

— Садись, — чуть скосив глаза, сказал Менжинский, и, когда Степан сел, он так же коротко, не отрываясь от бумаг, бросил: — Я слушаю.

Усы и борода тоже заиндевели, на щеках синеватые и красные веточки прожилок.

— Дела в тресте идут хорошо, Вячеслав Рудольфович, и я думаю...

— Что ты думаешь, мне известно из твоего письма, о здоровье рассказывай. — Менжинский положил ручку, глаза под припухшими веками устало и вроде недовольно скользнули по лицу Степана.

— В порядке, Вячеслав Рудольфович.

«Кого пытаешься обмануть — себя или меня?» — почудилось Степану в его усмешке.

— Сердце? Если говорить начистоту, оно, Вячеслав Рудольфович, и зовет меня сюда.

— Нашел Кисловодск. В Забайкалье, товарищ Орлов, белокитайцы перешли границу.

— Опять?

— Что опять? Провокационный налет? Нет, — Менжинский поднялся и, выйдя из-за стола, прошелся по кабинету. — Открытые военные действия, артиллерия конница, пехота, а за несколько часов перед этим белогвардейские радиостанции в Париже и Харбине передали зашифрованный приказ... О «Промпартии» знаешь?

«Промпартия»? — Степан отрицательно качнул головой.

— Такое имя носит то, что еще и ты искал в дни следствия над шахтинцами. Где-то мы наступили на нее, где-то вырвали из нее мелкие звенья, вся она где-то близко и все же пока не в наших руках. — Он остановился у окна, раздвинул портьеру.

Степан смотрел на его сутуловатую спину, слышал тиканье лежащих на столе часов, а в мыслях мелькало: Забайкалье, Василий, война... И только ли там, на востоке?

— Большевики — люди особого склада, — не оборачиваясь, сказал Менжинский. — Это верно, но все же они люди, а не машины. Хотя, может быть, историки в будущем скажут о многих из нас: отличались от машин тем, что бывали, если это надо, несоизмеримо выносливее. У чекистов, ты знаешь это, «если надо» — почти всегда, а теперь, как и в восемнадцатом году, оно бескрайне. — Он задернул шторку, обернулся. — Не тебе объяснять, товарищ Орлов, биться без отказа и без осечки... для этого мало желания, пусть самого неудержимого. Понятно я говорю?

Степан кивнул. «Отказ!» Это было уже ясно, и зачем столь длинное предисловие?

— Я требую от тебя одного, товарищ Орлов, — сказал Менжинский, хмуро глядя на свои руки с припухлыми на суставах пальцами. — Почувствуешь, что больше не тянешь, немедленно доложишь об этом мне.

Степан поднялся, пытаясь казаться спокойным, но волна жаркой крови захлестнула голову так, что он невольно оперся рукой о спинку стула.

— Берете, товарищ председатель ОГПУ?

Менжинский пожал плечами.

— По совести говоря, не должен бы этого делать. Ты

не из тех, у кого легко развивается опухоль самомнения. Могу сказать тебе прямо: много раз сожалел, что отпустил тебя в этот трест, и все же, — он резко повысил голос, — отказал бы! Когда можешь приступить?

— Сейчас же иду в МК, Вячеслав Рудольфович.

— В МК и ВСНХ я согласую сам.

Менжинский нажал звонковую кнопку.

— Зимина! — сказал он показавшемуся в дверях секретарю.

Тот, не прикрывая дверей, позвал:

— Алексей Дмитриевич!

Менжинский кивнул на вошедшего Зимина.

— Принимай его отдел.

Степан растерялся.

— Да, сейчас, события не ждут.

С чувством невольной вины Степан посмотрел на друга, но тот стоял совершенно спокойный.

— С квартирой, товарищ Орлов, устроишься завтра, но помни, о чем мы с тобой договорились. — Председатель ОГПУ повернулся к Зимину: — Вылет ровно в два.

— Есть, товарищ Менжинский!

Менжинский посмотрел на часы и махнул рукой:

— Идите.

— Если не секретно, далеко? — спросил Степан, когда они вышли за дверь.

— В Хабаровск. А ты прямо с вокзала сюда?

— Почти. Занес чемодан к сестре.

— Надо бы подкрепиться. Как думаешь?

— Признаться, я переволновался и скорее пить хочу, чем есть.

— Возьмем пиво.

— Подожди, Леша, скажи начистоту — тебе обязан я этим назначением?

— Стечению обстоятельств, — засмеялся Зимин.

В столовой все столики были заняты, и они прошли в буфет. Степан от пива отказался.

— Непьющий и некурящий.

— Да ну? Отрубил и все?

— Отрубил и все.

— А я вот не могу, — сказал Зимин, разминая в папиросе табак.

— Отрубишь и ты, когда дело дойдет до подтягива-

ния в себе всех резервов. Да, Леша, я на минутку выбегу — меня в сквере Крамской ожидает.

— Зачем же тебе бежать? — Зимин вышел, а, вернувшись, коротко сказал: — Порядок. — Он отпил из кружки несколько глотков, разломил сыр. — Хорошо, Степа, что ты напомнил мне об Игоре Борисовиче, надо о нем поговорить... и лучше всего с товарищем Куйбышевым. Я собирался сделать это завтра, а теперь ничего другого не осталось, как переадресовать на тебя.

— Большое дело?

— С какой колокольни смотреть... Игорь Борисович хочет ехать на работу в Среднюю Азию.

— И обратился к тебе за содействием?

— Нет, он пришел лишь узнать, к кому обратиться.

— А что думает он делать в Средней Азии?

— Ну, человек, который осушал болота, не лишним, думаю, окажется и там, где прокладывают каналы. Мелиорация и ирригация — это же рядом; тем более, ирригаторов у нас нет, их надо создать. Но орошение — это частность... специалистов по хлопку у нас тоже нет. Вопрос идет о срочной организации в республиках Средней Азии сельскохозяйственных институтов, так что работы для такого ученого, как Крамской, хватит.

Степан согласно кивнул. Зимин сдвинул в сторону тарелки и, поднимаясь из-за столика, взглянул на часы.

Машины выехали со двора в час, когда на Красной площади разносился полуночный бой кремлевских курантов. Степан смотрел на них из окна кабинета. Товарищи, с которыми ехал сейчас на аэродром Зимин, возьмут под свой контроль все станции, все железнодорожные узлы Приморья и Забайкалья! «Промпартия»! Концов нитей, ведущих к ней, нащупано уже изрядно, но ни одной целой, и Зимин прав, конечно, может быть, именно оттуда потянется цепочка к головке «Промпартии»?

На подоконнике тикал будильник, кажется, тот самый, который он принес сюда, когда шло распутывание шахтинского клубка. На час-другой ложился он тогда вот на этот обшитый черной кожей диван, а чтобы не проспать лишнего, заводил будильник.

Тикал будильник громко и торопливо, очевидно, попрежнему намного забегая вперед. Лукерья будет бес-

покоиться — чего доброго, кинется на поиски. И в Орехово надо позвонить. Там ведь тоже ждут его сегодня.

Степан посмотрел на часы: полночь, а в Забайкалье и Приморье... там начиналось утро.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Задолго до рассвета, сразу же, как сметены были огнем артиллерии и штыковой атакой те, что потеснили советских пограничников с 86-го разъезда, выполняя приказ командарма, Кубанская кавалерийская бригада Константина Рокоссовского и бурят-монгольский кавдивизион столь тихо, что в китайских окопах ничего и не слышали, перешли Аргунь; за ними по наведенной переправе двинулись полки пехоты, танки, гаубичные полевые орудия, а в небо взвились и поплыли в заоблачной высоте самолеты.

Ничего не знали об этом и в Маньчжурии: обстрел советской артиллерией города прекратился еще в те минуты, когда генерал Лян стоял перед радиоприемником, и слышна была лишь далекая ружейная стрельба, когда начальник штаба армии докладывал ему, что красными отбиты 86-й разъезд и станция Пограничная. Город не штурмовали.

«Примитивная военная хитрость!» — с усмешкой расценил Лян наступившее безмолвие. И еще стлался за крепостными стенами пороховой дым и к воротам доносились стоны неподобранных раненых солдат и офицеров, а по его приказу войсковые соединения были уже выстроены со знаменами на улицах города.

Большое сражение могло начаться и до сигнала из Мишань-фу, буквально с минуты на минуту. А если не начнется... Ну что же, тогда сам Лян перейдет в наступление, и уже не тысячью, а двумя или тремя тысячами штыков и сабель: если в Хайларе формируются резервные армии, можно закрыть глаза на какие-то две-три тысячи солдат! В конце концов, это ведь не «почти вся армия», а победителей не судят!

— Наступление? — смущенно допытывался генерал Ляо. Лян молчал, улыбался.

«Наступление? Может быть...»

В белогвардейских полках духовенство в потрепан-

ных ризах возносило к мглистому морозному небу мольбы о даровании победы доблестному русскому воинству над исчадиями антихриста. «Доблестное воинство» осеняло себя двуперстием, а глаза косило на цистерны со спиртом.

На забитой составами станции выпрыгивали из вагонов парни в черном обмундировании, перевитые лентами патронов, увешанные гранатами. Это еще один отряд мукденских студентов из «Союза уничтожения СССР»— «золотая молодежь» Китая! С ходу они рассыпались по китайским частям:

— Братья фронтовики! В настоящее время, когда от одного момента зависит—жизнь или смерть, вы должны положить все силы на защиту государства. Поэтому мы идем к вам, братья! Мы хотим затушить красное пламя России, мы хотим потоптать ногами русскую землю, истребить красных русских. Пусть наши войска пройдут всю Россию и ударят по Москве. Храбрые братья, напрягайте все силы!

Мелькал черный автомобиль со скачущей следом за ним кавалькадой офицеров... Приветствуя войска, генерал Лян подносил руку к козырьку.

Вот среди этих «ура» и пожеланий «ста тысяч лет жизни» его и настигла весть о наступлении ОДВА. Адъютант, доложивший об этом, и сам толком не знал, как оно началось: километрах в трех от Санчагоу он неожиданно врезался в толпу бегущих солдат и от них узнал: в Санчагоу — красные.

— К Южным воротам!

В ложбинах между сопками еще таилась предутренняя синева, клочья тумана, как порванные облака, цеплялись за круглые вершины. Где-то там и частили пулеметы.

— Они?

— Нет, ваше превосходительство, нефедовцы.

— Хорошо, — весело сказал Лян, — не прошла все же даром ночная атака, решились на контрнаступление большевики, а то, что избрали они для штурма не западную, а южную сторону города, ничего не меняет. Тысяча погибших ночью солдат? Но это же пустяк — не больше, чем одна пешка на шахматной доске!

Пулеметы стихли.

Лян ждал — войска Блюхера не появлялись. Гул—

это французский самолет из числа тех, которых прикрепили к его армии для патрульной службы. Если бы иметь еще бомбардировочную авиацию!

С докладом прискакал сам Ляо.

— В Санчагоу только несколько советских танков. Конница и пехота красных покинули город. Нет, не отступили. С высоты летчик видел сплошной полог пыли над дорогой. Кое-где его разрывали вспышки снарядов, искры летящих пуль. Этот полог пыли перерезает железную дорогу где-то на полпути к Чжалайнору. Очевидно, красные думают нанести удар по Маньчжурии с тыла.

Глаза Ляна превратились в округлившиеся шарики.

— Повторите!

И когда Ляо повторил: «где-то на полпути к Чжалайнору», командующий расхохотался — нет, и в мечтах своих не мог он допустить подобного! Из горла его с иканьем и визгом вырвалось:

— Жернов!

Забыв, что на него смотрят, он хлопнул себя по ляжке и едва в пляс не пустился:

— Жернов!

Слово это мгновенно облетело город. Из быстро мчавшегося автомобиля Лян видел, как офицеры и солдаты сдвигали ладони, и кивал: да, да, именно так — одно мокрое место останется, и путь на Москву открыт!

«А откуда же взялись у большевиков танки?»

Но это тоже скорее удивляло, чем смущало: что могут сделать против таких укреплений танки? Снаряды же крепостных батарей спокойненько превратят бронированные машины красных в факелы.

К отелю, чтобы узнать у командующего коррективы в связи с изменившейся обстановкой, в окружении своих адъютантов мчали бригадные генералы, начальники штабов, командиры русских белогвардейских частей. Но Чжу-цзяну было сейчас не до них: надлежало срочно связаться с Мукденом и потребовать, чтобы удар Мишаньфунской армии, запланированный на утро 18 ноября, был нанесен немедленно, ибо уже через несколько часов, в крайнем случае к полудню, забайкальская группа советских войск прекратит свое существование.

С телеграфа ответили:

— Линия Маньчжурия—Мукден не работает.

— Повесить вас всех!

Впрочем, вспышка эта была короткой: к полудню, когда все будет кончено, заработает и телефон. Но вспомнилось, что часа два назад ему докладывали о выходе из Чжалайнора офицерского поезда. В Маньчжурию поезд не прибыл. Следовательно, одно из двух— повернул назад или отбивается от красных там, где они перерезали железнодорожную ветку.

— Капитана Дорио! Полковника Гао!

Спустя полчаса с аэродрома поднялись два самолета. А из Восточных ворот города на рысях вырвался 3-й Мукденский полк. Не покачают самолеты крыльями, значит, поезд не обнаружен, и коннице надо будет вернуться; покачают — значит, офицеры ведут бой, и надо спешить им на выручку. Однако еще до возвращения самолетов, не далее двух километров от города мукденцы попали под шквальный артиллерийский и пулеметный огонь, что окончательно убедило Ляна в намерении Блюхера штурмовать Маньчжурию с тыла.

Офицерский поезд летчиками на путях не был обнаружен. По их сообщению выходило, будто кавалерия и пехота красных продвигались к Чжалайнору и даже дальше него. Бред какой-то!

Но если командующий отказывался понять это, то, можно представить, как были ошеломлены его чжалайнорские генералы, когда один за другим стали прибывать к ним гонцы из окрестных гарнизонов с невероятным известием:

— Красная кавалерия!

«А Маньчжурия? Что произошло?»

Телеграф молчал. Была послана конная разведка, но ее смели свои же солдаты, стадно бежавшие к городу. А следом за ними с винтовками наперевес и оглушающим «ура», будто волны моря, шла советская пехота. В вышине рев и гул журавлиных стай краснозвездных бомбардировщиков.

Это верно: и в Чжалайноре полевые и гаубичные орудия не пробивали даже верхних перекрытий окопов и блиндажей, но... бомбы разметали их на осколки и пыль.

Это верно: числом укрывшиеся в городе-крепости превышали атакующих больше чем вдвое. Но...

Лихорадочно строчили пулеметы осажденных.

Василий видел, как бежавший впереди него комиссар полка споткнулся и рухнул плашмя.

— Митрич!

Комиссар приподнялся. С шевельнувшихся губ его слетело какое-то слово. Не расслышал, но понял: «Вперед!»

«Да, конечно, вперед! Но как же Митрич?» — Василий оглянулся: к комиссару бежали бойцы из санбата.

— Вперед!

Где-то близко это же слово подхватил... Терещенко? Нет, комвзвода бежал рядом... «А-а, Сидорин!»

Где бежал политрук, не увидел.

— За Митрича, товарищи, ура-а!

— А-а-а-а... — неслось по-над сопками.

«Митрич, милый, родной, как же мы не уберегли тебя? Как же?..»

Закачался, выронил винтовку Терещенко, а из-за остроконечной сопки вылетел автомобиль, в нем стоял командир корпуса Вострецов и рядом с ним с полевым биноклем сам Блюхер.

— Вперед!

— А-а-а-а...

Метались белокитайские генералы, а красноармейское «ура» гремело уже и с севера, и с юга, и с востока, и с запада горящего, черными столбами взметнувшегося к небу Чжалайнора. Рота Василия ворвалась в траншеи у Южных ворот. Из-под шлема Василия текла кровь, размазываясь по виску и щеке, но он даже и не знал, что ранен. В траншее отстреливались белогвардейцы.

Смело мы в бой пойдем!

Рахим Заде! С перебитой ногой... Винтовка валялась рядом, наверно, расстреляны уже все патроны, а выйти из боя не мог, продолжал его песней:

За власть Советов
И, как один...

В горле остро защекотало, горячим туманом застлало глаза.

— Вперед!

— Ур-ра-а-а...

А Лян Чжу-цзян все еще ждал первого удара, но, уже не зная теперь, откуда. Сколько красных осталось

на границе и сколько просочилось в тыл? Летчики, которые должны были доставить эти сведения, улетели и не вернулись. Четыре самолета! Это тоже было непонятно. Особенно беспокоило командующего, что не вернулся и тот самолет, с пилотом которого он передал приказ войскам чжалайнорского гарнизона перейти в контрнаступление и гнать красных на Маньчжурию.

Вечером с аэродрома поднялись еще три самолета и так же, как первая четверка... наскочили в воздухе на советских бомбардировщиков. Один был тотчас же подбит, два ускользнули за облаками.

— Почему не долетели до Чжалайнора? — бушевал Лян.

Французы отмолчались, но на лицах их так и читалось: «Нашел дураков рисковать головой!»

— Трусы!

Если бы это были китайцы или русские белогвардейцы, конечно, пристрелил бы на месте.

Ночь прошла в тишине. Телеграф продолжал молчать. В полдень радистами была принята шифрованная радиограмма из Харбина. В ней сообщалось, что Советы опередили: Мишань-фу окружен.

Для выяснения обстановки и установления контакта с Чжалайнором вылетел сам командир эскадрильи Дорио. Вернулся он с поврежденным крылом и пробитым бензобаком, с трудом посадил самолет.

— Чжалайнор — в огне! На одних улицах еще идут бои, а по другим красные уже гонят пленных. — Он положил на стол так и не переданное письмо командующего. — Аэродром занят красными, ваше превосходительство!

Губы Ляна прыгали, силясь сказать, что теперь ему понятен замысел командарма Блюхера: окружить Маньчжурию и Чжалайнор и разбить их поочередно. Наконец ему удалось глотнуть воздух, и из груди стоном вырвалось:

— У-у-у!

Подвернувшегося под руку начальника разведки ударил по лицу. Город огласился тревожным ревом труб. В блиндажах и окопах не оставлено было и половины войск — кавалерийские и пехотные полки выплескивались через Восточные ворота:

— К Чжалайнору!

— Спасать чжалайнорцев!

Это было похоже на живое море, нырявшее в низины и перехлестывавшее через сопки. И вдруг оно, словно приподнятое, взметнулось темными фонтанами. Небо сыпало жутко свистящие бомбы. И не успела опростаться от них первая волна краснозвездных самолетов, а за облаками рокотали уже моторы второй.

Конница и пехота перемешались. Кони давили солдат, и солдаты давили друг друга, а навстречу тем, что прорвались вперед, вспорхнули белые облачка: на сопки, утюжа их, выползали приплюснутые громады танков.

В задних рядах орущей людской пучины заговорили было маузеры нефедовцев и смолкли: то ли «заградители» сами пустились наутек, то ли были подмяты и растоптаны.

Из-за танков с обнаженными шашками вылетели бойцы бурят-монгольского дивизиона. Кто-то из них, чтобы лучше рубить, сбросил с себя полушубок, и вот уже десятки и сотни бойцов неслись на конях по шарахнувшемуся назад людскому морю в одних гимнастерках — коренастые, ловкие. Широченные ворота не были рассчитаны на такой поток. Солдаты Ляна лезли на стену и падали с нее, срезанные пулями подоспевших советских пехотинцев.

Багровый от стыда и злобы Лян Чжу-цзян укатил в своем автомобиле в штаб-квартиру. Радио молчало, но позднее выяснилось, что это было в тот же самый час, когда по улицам полыхающего Мишань-фу бойцы Первой Тихоокеанской дивизии и Девятой Отдельной кавбригады гнали пленных китайцев и белогвардейцев, а начальник штаба ОДВА Лапин писал Блюхеру:

«Преодолев большое расстояние и неоднократные бои, наши войска выбросили противника из осиного гнезда — Мишань-фу с большими для него потерями».

Захвачены были здесь штабы первой Мукденской кавдивизии и первой бригады, семь полковых белогвардейских знамен, много оружия.

Чжалайнор забайкальцы взяли вечером 18 ноября. Атаки на Маньчжурию все еще не было. Вероятно, Блюхер дал своим войскам отдых, а может быть, шло уничтожение воинских частей, не входивших в гарнизон Чжалайнора, но самолеты прилетали, сбрасывали бомбы.

Мукден и Харбин молчали. Молчал Нанкин. Ни одной вести из Хайлара. На рассвете 20 ноября Лян Чжу-цзян предпринял еще одну отчаянную попытку спасти остатки своей армии. Думая — «если и остались на границе заслоны красных, то немногочисленные», он решил снять их, советской территорией обойти Санчагоу и в степной глубине обождать, когда подойдет Хайларская армия. Но от советской заставы тоже двинулись танки, а позади них ждали команды к атаке и конница и пехота.

Лян молча смотрел, как сломя голову бежали его солдаты мимо охваченной пламенем станции, мимо горящих домов: все кончено!

Заклубила дымом взорванная водокачка, и он махнул шоферу рукой.

— Куда, ваше превосходительство? — спросил тот испуганно.

Командующий пожал плечами: не все ли равно! Но шофер резко затормозил: над городом опять показались самолеты.

Однако отделились от них на этот раз не черные, с каждым мигом разрастающиеся «капли», а стаи белых листков. В штабе, еще на лестнице, Ляна обступили офицеры. Почти у каждого был листок. На русском и китайском языках маньчжурскому гарнизону предлагалось во избежание лишних жертв и бессмысленного кровопролития сложить оружие. Обращение было подписано командармом ОДВА Василием Блюхером.

Генерал Лян растолкал офицеров и прошел к окну. Армии уже не существовало. Побросав свои части, офицеры-строевики суматошно бегали по улицам, не зная, что предпринять. Растерянные солдаты гнались за ними, молили о спасении. Где-то стреляли, но в кого и зачем — неизвестно. Если бы можно было улететь, да эти подлецы французы еще ночью взмыли с аэродрома в небо — и след их простыл. Угнали свой самолет и черномундирные студенты из «Союза уничтожения СССР».

— Ваше превосходительство! — взволнованно и требовательно окликнул кто-то из дышавших в затылок офицеров.

Лян, не оглянувшись, махнул рукой: поступайте, мол, как знаете. Скажи нет, все равно ведь не послушают.

Вон кто-то уже тащил белую занавеску, сорванную с окна кафе «Роза».

— Кого уполномачиваете, ваше превосходительство?

— Вас, — сказал Лян, не зная, кто именно спрашивал. И вдруг круто обернулся:

— Стоп! Пусть они дадут нам... ну хотя бы два часа.

Офицеры изумленно переглядывались: не новую ли попытку прорыва замышляет командующий фронтом? Какими силами?

— Надо навести порядок, — Лян указал на улицу.

Командарм Блюхер дал согласие, и вокруг города воцарилась тишина, а в самом городе... один за другим прибегали в штаб генералы, полковники, штабные офицеры и докладывали: паника разрастается. Не было уже ни одной целой воинской части — все перемешалось на улицах, солдаты ломились в двери, били окна, поджигали дома, брошенные на произвол судьбы кони табунами носились по городу, сбивая и топча людей и сами разбиваясь о загромоздившие дороги повозки и орудия.

— Господа!.. — доложил заскочивший с окровавленным лицом офицер. — Разгромлен штаб семнадцатой бригады.

Побледневший Лян шагнул к двери.

— Ваше превосходительство!... Вы рискуете жизнью... Убито уже несколько офицеров, — зашумели наперебой штабисты.

Лян Чжу-цзян не ответил, а, спускаясь по лестнице, ощутил, что ему, наверное, уже за двести лет.

У отеля цепью лежали пулеметчики: только этим, наверное, объяснялось, что не ворвались еще в него бушующие толпы. Ноги подгибались, и Лян чуть не упал у своего автомобиля.

— Ваше превосходительство! — попытался предостеречь его и шофер.

— Полный ход!

Но уже на следующей улице шофер без разрешения застопорил машину.

Из дверей и окон летели зеркала, посуда, стулья, ковры. Со штыка на штык перекидывались подушки и перины, метелицей несся по воздуху пух. Особенно многолюдно и озверело было у магазинов с разбитыми витринами. Выволакивалось там все, что под руку попадало, и тут же бросалось, а обезумевшие глаза искали,

что еще можно бить, ломать, крушить. Истошно голосили где-то женщины.

Шофер хотел повернуть назад, но было уже поздно. Орущая толпа обступила автомобиль. Перекошенные злобой лица — и китайцы и русские.

— Полный ход!

Кто-то был опрокинут, и сама машина едва не перевернулась. Вдогонку грохнули выстрелы, вдребезги разлетелось стекло, — к счастью, не от пули: задев локоть, булыжник упал к ногам Ляна.

Шофер оглянулся и зло спросил:

— Куда?

— Полный ход! — неслышно слетело с губ командующего.

Куда? Этого он и сам не знал, все равно куда — лишь бы побыстрее и подальше от этих страшных лиц. Шофер свернул в боковую улицу, но здесь чуть ли не все дома лизало пламя, а треск его тоже тонул в реве толпы. Генерал недоуменно смотрел на людей в костюмах и шубах, в зимних шапках и летних шляпах. Но вот взгляд его задержался на усатом русском и двух китайцах в форме Мукденской кавалерийской дивизии, с ожесточением рвавших друг у друга какую-то одежду, и он понял, что это вовсе не штатские, а солдаты его армии.

Мужскую одежду, похоже, всю расхватали. Из дверей горящих домов выскакивали фигуры в женских пальто, на бегу кутая головы в шали и платки так, чтобы не проглядывали небритые лица.

От стыда слезами закипали глаза Ляна.

— Пол... — он хотел крикнуть «полный» и осекся: шофера не было! Вероятно, тоже кинулся добывать себе «штатское».

Нет армии! Ни одной части нет!

Прямо на машину бежал кто-то окровавленный, в нижнем белье. То ли раздели его, то ли не успел переодеться.

Лян взвел курок, но поднести дуло к виску не нашлось решимости. Так и сидел он, держа в руке револьвер и закрыв глаза. Не вывел его из этого оцепенения и вопль, пронесшийся по улице. Будто смерчем завихрило людей, и кинулись они — «штатские» и в солдатском обмундировании — кто прочь, кто в дома... ничего что из

окон их валил дым вперемежку с языками пламени, — подвалов огонь еще не достал.

На обезлюдевшей улице повисла тишина, нарушаемая лишь треском огня, и вдруг — хохот. Он-то и заставил вздрогнуть Лян Чжу-цзяна.

В нескольких шагах от автомобиля человек в нижнем белье смотрел на плакат, изображавший удиравших от китайского солдата косматых красноармейцев, и хохотал. Генерал Лян выстрелил. Нет, тишина была лишь здесь, вокруг машины, а за домами нарастал гул моторов. Рядом трескуче грохнуло. Лян выскочил из автомобиля. Не они — рухнула крыша соседнего дома, но унять шевеливший волосы страх он уже не мог и побежал. А гул приближался... Танк, второй... и за ними четкими рядами шли бойцы ОДВА.

Лян Чжу-цзян обмер, однако мозг его еще никогда так лихорадочно не работал. Искать убежища в подвалах? Переодеться? Нет, что-то еще мог он сделать в эти последние минуты. Наконец вспомнил и, вздохнув, поднял руки.

Так в морозное утро 20 ноября закончился его поход на красную Москву.

В плен забайкальскими частями Особой было взято 8 тысяч солдат, не считая раненых; вместе с Ляном и весь его штаб — двести пятьдесят офицеров различных чинов и рангов, взяты были также почти вся артиллерия, два бронепоезда, большое количество военного имущества, снаряжения, боеприпасов, оружия...

Впрочем, все эти подсчеты тоже сделаны позже. 20 ноября Особой было еще не до трофейной бухгалтерии: в Хайларе стояла третья армия, туда же бежали отряды и части белокитайцев, находившихся в дни битв вне стен Чжалайнора и Маньчжурии.

— Не давать ни минуты передышки, пока и правители эти — Чан Кай-ши и Чжан Цзо-лин не поднимут руки, — сказал командарм. И еще входили оставленные на границе войска в затихшую, словно вымершую Маньчжурию, а кубанцы уже двинулись в глубь Китая.

Пески и пески до самого горизонта, и среди них стаи волков, шакалов и одичавших собак рыскали в поисках коней и раненых солдат, брошенных на произвол судьбы белокитайскими отрядами.

Чужая земля! Но небо было свое, в нем рокотали

краснозвездные самолеты, и позади родной, согревающий сердце гул: сквозь песчаные вихри продвигались своя артиллерия и своя пехота.

Где-то в этих песках шел и Василий.

Первые селения — первые выстрелы. Но теперь в атаке была уже вся Забайкальская армия. 23 ноября ею была занята яростно защищаемая противником станция Цаган, а еще через четыре дня...

Помните, друзья? В московском Большом театре, где в этот вечер продолжалось обсуждение пунктов договора о социалистическом соревновании между текстильщиками и хлопкоробами, вместо очередного, уже названного оратора к трибуне шагнул командир с ромбами в петлицах:

— Товарищи! Политуправление РККА уполномочило меня сообщить вам: сегодня войсками нашей доблестной Особой занят Хайлар. В ходе боев за него разгромлены последние силы противника на Дальнем Востоке.

* * *

Китайское правительство запросило мира, но глаза Чан Кай-ши с надеждой продолжали косить на Париж, где Бриан совещался с послами Англии и Америки, а в военном министерстве собрались представители командований всех стран антисоветской коалиции.

Думали там и за себя и за Советы, и выходило так, что ОДВА, безусловно, пойдет и дальше Хайлара, а с юга Китая следует ожидать отрядов «Красных пик». От Хайлара марш ОДВА будет триумфальным лишь до поры до времени: где-то в центре Маньчжурии армия Блюхера встретится с соединенными силами Франции, Англии и США. Встреча эта и станет началом большой войны, но стороны поменяются местами: большевики — агрессоры, войска союзников — армии-освободительницы.

И это был не просто вариант, поставленный на обсуждение. Уже со дня падения Мишань-фу и Чжалайнора Франция и США начали подготовлять к нему мировое общественное мнение, вложив факел в руки самого папы Пия XII.

— Во имя Христа, во имя бога отца, во имя духа святого!

В ватиканских воззваниях говорилось, что экономический кризис, потрясающий мир, — знамение божие.

«У кого в душе еще жив бог, — опомнитесь, беритесь за освященное церковью оружие! Племя антихристово идет по земле. Сегодня они на Востоке, завтра повернут на Запад. К оружию!»

В набат ударили тысячи колоколов, но... ОДВА не пошла дальше Хайлара. Ее командование заявило: Советскому Союзу не нужны китайские земли. Как только будут восстановлены на КВЖД порядки, бывшие там до захвата дороги белокитайцами, советские войска отойдут на свою территорию.

Дела Чан Кай-ши были на редкость скверными. В хозяйстве страны полная разруха, а «Красные пики», действительно, уже дали о себе знать. Натянуть еще туже поводья, и на карте мира плечом к плечу с красной Россией может стать красный Китай. Верховному главнокомандующему Китая было разрешено ответить согласием — и его генералы и дипломаты выехали в Хабаровск для подписания с Советским Союзом соглашения о КВЖД. Так, вслед за советским оружием, побеждала советская политика мира и добрососедских отношений.

Если бы можно было замолчать этот факт! Но у больших дел большое и эхо. Звонили еще колокола, выходили из церковных оград толпы «крестоносцев» во главе с кардиналами, епископами, аббатами, ксендзами, монахами и монахинями, а подлинными хозяевами улиц были уже другие шествия — с плеском красных полотнищ:

РУКИ ПРОЧЬ ОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Затомились «Промпартия» и войска интервентов на западной границе СССР в ожидании команды из Парижа — команды не было.

Послы Англии и США заявили Тардье: момент для начала войны с большевиками неблагоприятен для их стран. Но столь же, если не больше, был он неблагоприятен и для самой Франции. Летом она еще крепилась, а некоторые отрасли ее промышленности, подкармливаемые правительственными военными заказами, давали даже скачки вверх, теперь же... полиция и войска расстреливали демонстрантов, кидали в них бомбы со слезоточивым газом, однако безработные все же проры-

вались к парламенту, и ни закрытые окна, ни тяжелые портьеры не могли оградить залы от вторжения их гневного и многоголосого рева:

— Работы! Хлеба!

Нет, и самые горячие головы в генштабе Франции не мыслили теперь покончить с СССР одним ударом. Война обещала быть упорной и долгой, и поэтому страны Малой Антанты ко дню ее начала должны стать не только плацдармами и поставщиками живой силы, но и мощнейшими арсеналами. И общим было теперь мнение, что интервенции обязательно должны предшествовать парализация экономики СССР и массовые выступления всех внутренних контрреволюционных сил, что в свою очередь деморализовало бы и Красную Армию, — иначе не исключена опасность повторения на западном фронте китайского варианта! Допустить, чтобы сражения шли не на советской земле, значит, самим привести коммунизм в Европу, и без того революционизированную кризисом. Справится ли с этой задачей «Промпартия»?

Англичане настойчиво советовали подумать о «немецком варианте», центральной фигурой в котором был со всеми потрохами закупленный Берлином Лев Троцкий. По утверждению немцев, его сторонники в СССР вступили в контакт с другими оппозиционными лидерами внутри ВКП(б), и речь в их «варианте» клонилась к тому, чтобы вложить средства в государственный переворот в СССР. Когда же он осуществится, «Промпартии» будет предоставлена полная возможность без помех и риска завершить остальное, и на долю войскам останется лишь пристукнуть нечто, находящееся в смертельной агонии.

Пуанкаре, продолжавший держать в своих руках многие нити международного антисоветского заговора, был «за» — что ж, вариант, бесспорно, заманчивый, но ведь вместе с ним надо было принять и немцев на правах союзников, а Тардье и сам с беспокойством оглядывался на соседа, пугающе быстро восстанавливавшего свою военную мощь с помощью английских и американских займов. Сегодня в Берлине шум о пересмотре границ с Польшей, а завтра эти фон папены, брюнинги и круппы кинут свои реваншистские взоры за Рейн. Англию это не смущало: с той самой поры как она вынуждена была уступить Франции роль гегемона в Евро

пе, ее явно устраивал сильный Берлин. Нужен он был и США. Не секрет ведь, что там обещана Брюнингу поддержка его притязаний на увеличение численности войск вермахта.

Вот если бы Лев Троцкий без немцев — это было бы чудесно, но с какой стати боши сделают такой подарок Франции? Однако ненависть к Советам, царские долги, суммы, затраченные на поддержку Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, интервенции в Архангельске и на подготовку этой интервенции, были так велики, что Тардье не решился сразу сказать англичанам — «нет». «Торгпрому» заданы были четыре вопроса: «Сможет ли «Промпартия» парализовать всю промышленную жизнь СССР? Сможет ли она вызвать в стране голод? Сможет ли подготовить вооруженное восстание? Сможет ли уничтожить важнейшие военные заводы?»

Денисов встретился в Лондоне с Рамзиным, и на Кэ д'Орсэ, кроме Бриана, ждали его доклада военный министр и сам Тардье.

Не требовалось быть психологом, чтобы по лицу председателя «Торгпрома» определить, что прибыл он с хорошими вестями.

— Ваше превосходительство, господин премьер и господа министры! — сказал он, усевшись в кресло, на которое кивком указал ему Бриан. — На все ваши вопросы, кроме последнего, «Промпартия» говорит «да».

Но другого ответа их превосходительства и не ожидали. Тардье, разглядывая свои короткие пальцы, ворчливо обронил:

— Нельзя ли поконкретнее?

— Постараюсь, ваше превосходительство, передать дословно доводы господина Рамзина. Железнодорожный транспорт, без четкой работы которого немыслима нормальная жизнь любой промышленной страны, уже доведен до такого состояния, что в любой момент может отказать: свыше восьмидесяти процентов паровозов нуждаются в капитальном ремонте; мосты содержатся в состоянии, близком к аварийному.

— Дороги следует выводить из строя так, чтобы немного понадобилось времени на их восстановление нами, — сказал военный министр.

— Учтем это, господин министр. Голод? Выход из строя транспорта может привести его в города. Но

«Промпартия» располагает и другими возможностями длительное время держать на замках магазины с пустыми полками: Наркомснаб, Центросоюз, «Союзмясо», «Союзрыба», «Союзконсервы»... «Промпартия» — хозяин положения в этих организациях, и, не имей такого козыря, она все равно может сказать «да» на ваш прямо поставленный вопрос. Ее люди из группы Кондратьева и Чаянова не смогли в прошлом году противоборствовать колхозному перерождению деревни, но поле битвы они не покинули, нет. Дело в том, ваши превосходительства, что львиная доля хлеба, круп и молочно-мясных продуктов до сих пор шла в государственные фонды Советов и на рынки из так называемых кулацких хозяйств. Наши люди кладут этому конец. Кулаки, то есть богатые крестьяне, режут свой скот, гноят свой хлеб, поджигают колхозные амбары и фермы. Господин Рамзин рассказал, что перед отъездом в Лондон у него была встреча с профессором Кондратьевым. Профессор Кондратьев, как известно вам, возглавляет работу на нас в сельском хозяйстве. Этот почтенный человек, в свое время видный деятель кадетской партии, потирая руки, доложил господину Рамзину, что некоторые из «товарищей» вольно или невольно работают с ним заодно — насильно загоняют людей в колхозы, «раскулачивают» середняков, обобществляют все вплоть до кур. Стон и ропот прокатывается по всем республикам и областям. Мужики, по его образному выражению, словно дрова, облитые керосином, поднесите спичку — и пожар восстания метнется от деревни к деревне. В Сибири, на Дону, Кавказе и в Средней Азии, заверяет он, приходится сдерживать казаков и крестьян.

— А как с выводом из строя военной промышленности? — прервал военный министр.

Денисов смутился.

— На это профессор Рамзин по-честному ответил — «нет».

— Что значит нет? — спросил Бриан.

Этот мосье, похожий на белого ангорского петуха, все время не отрывал взгляда от часов, то ли торопился, то ли для того, чтобы подчеркнуть, что у «их превосходительств» нет времени на пустопорожние разглагольствования.

— «Промпартии», господин министр, лишь кое-где

удалось зацепиться в этой отрасли и то не на решающих постах.

— Военная промышленность СССР должна быть уничтожена, — жестко сказал военный министр. Тардье согласно наклонил свою голову с небольшим кружочком лысины.

— Постараемся, ваше превосходительство, но...

Три пары глаз удивленно уставились на мясистое багровое лицо русского промышленника, и тот стал совсем кумачным, потому что понял —допустил бестактность: ведь позван сюда он был лишь для доклада. И ждали от него здесь, как ждут повсюду хозяева от своих слуг, безоговорочного — «слушаюсь».

Однако Денисов не мог легко взять назад свое «но». Белогвардейские воинские части перебиты в Китае... «Промпартия»—единственный капитал, который остался у «Торгпрома» и давал ему какие-то союзнические права в большой международной игре, ведущейся «их превосходительствами». «Капитал» этот целиком ставится ими сейчас на карту, и если банк будет сорван большевиками, что тогда?

— Ваши превосходительства, господин премьер и господа министры! Я считаю своим долгом быть откровенным перед вами до конца. «Но», которое я сказал, произнесено было профессором Рамзиным. Одно дело, если все эти взрывы идут в условиях открытых военных действий, и совсем другое, когда... Здесь риск.

— А господин Рамзин намеревается стать главой Российского государства без риска? — усмехнулся Бриан.

— Риск риску рознь.

— Это верно, — сощурив и без того заплывшие глаза, согласился Тардье и встал. При всей своей полноте он довольно молодо выглядел по сравнению и со своим предшественником, и с хозяином этого кабинета. Тем было: одному семьдесят, второму без двух лет столько же, а ему только пятьдесят четыре, для политического деятеля на первых ролях — самая золотая пора. — Неоспоримо, — уточнил он, — мы рискуем миллионами и миллиардами франков. Что в сравнении с этими величинами чьи-то там... понимаете меня, господин Денисов?

— Да.

— Солдаты, за спинами которых вы вернетесь к своим заводам и поместьям, рискуют жизнью, и риск этот оплачивается солдатскими медяками, — сказал военный министр. — А вашей «Промпартии» из кассы нашего министерства мы ежегодно отчисляем миллион франков. Пора показать, что это не на ветер выброшенные деньги. Военная промышленность СССР должна быть уничтожена до начала интервенции. Или вы это сделаете, или...

— Мы обойдемся и без вас, — закончил Тардье мысль своего министра.

Денисов побледнел и чуть слышно прошептал:

— Слушаюсь.

Выйдя на улицу, он долго не мог сообразить, почему так нарядно сверкали витрины магазинов.

Резкие сирены автомобилей, вспышки фар, океан рекламных огней. Занятые какими-то своими хмурыми думами, торопились бедно одетые люди. Прошли солдаты, четко отбивая шаг, и всюду — полиция, жандармы. Над расцвеченными иллюминацией дверями ресторана вспыхивали, гасли и вновь вспыхивали светящиеся слова:

«С Новым годом, с новым счастьем!»

«А!» — вспомнил Денисов и посмотрел на часы — времени оставалось в обрез, чтобы переодеться и поспеть к первому новогоднему тосту в зал, где соберутся торгпромовцы.

Новый год! 1930-й!

Да, шли последние часы и минуты обманувшего надежды 1929 года. Последние часы и минуты, в которые он сделал последнюю ставку на всю «Промпартию» — последний капитал «Торгпрома»: все остальное заложено и перезаложено. Будет ли новое счастье или... пуля в лоб? Рамзин обещал — «да». Но о военной промышленности он сказал «нет», а надо, чтобы и здесь было «да».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Зимин вернулся в Москву в первых числах февраля.

— Ну как тут? — спросил он. когда они со Степаном вдоволь потискали друг другу руки.

— Разматываем понемножечку. А у тебя?

— Да как сказать, — Зимин еще раз оглядел Степана, стоящего в расстегнутой шинели и шапке. — Сына встречаешь?

— Да. Так что у тебя, Алексей?

Зимин взглянул на часы: через полчаса ему надо было идти с докладом к Менжинскому.

— В двух словах не расскажешь. Между прочим, сынок уважаемого профессора Нефедова здравствует.

— Взяли в плен?

— К сожалению, только шинель его, а сам выскользнул... по-змеиному. Мало кому помогло там переодевание, а этот исчез — и среди убитых не опознан и среди пленных нет. Контрразведчик, командир «заградителей».

Зимин достал из кармана замызганный листок. Сверху сохранилась дата — «3 августа 1929 года» и два слова: «Мой Гена». Посредине — «Хранит тебя Бо...». И еще через строку — «Нас много...». И в самом конце — «...орой встречи».

Все остальное было под слоем засохшей грязи и в подтеках расплывшихся фиолетовых чернил. Зимин усмехнулся.

— Я столько его резолюций и докладных записок прочел, что закрою глаза и вижу этот размашистый почерк.

— Письмо профессора Нефедова?

— Вне всякого сомнения.

— А что в нем?

— Бог весть, как говаривали в старину, но суть-то не в этом, Степан. Обратил внимание на дату? «Пропал без вести», — пишет почтенный профессор в анкетах о своем сыне.

— Понимаю, — задумчиво сказал Степан.

— С сердцем как? — спросил его Зимин, когда они вышли из кабинета.

— Работает.

* * *

Третий день прибывали в Москву поезда с героями-дальневосточниками, и третий день на Каланчевскую площадь стекалась чуть ли не вся Москва. Вчера Ксении даже в Орликов переулок не удалось протиснуться. От Лермонтовской библиотеки смотрела она на гремевшее

медью оркестров и пионерскими барабанами шумное людское половодье с пятнами знамен.

Бойцы ОКДВА в буденовках и шинелях взлетали над головами, падали на десятки рук и вновь взлетали. А увидеть в лицо кого-нибудь из этих парней, совершивших былинный подвиг, так и не сумела, и поэтому, услышав сегодня по радио, что вечером прибудут еще эшелоны с бойцами ОКДВА, она заблаговременно приехала к вокзалам и прошла на перрон.

Если бы лето, наверное, все утопало бы здесь сейчас в цветах, но и без цветов у перрона и вокзала был праздничный вид — кумачовые полотнища, гирлянды, сплетенные из ветвей сосен и елок.

Обогнавшая ее девушка поскользнулась и обронила сверток — цветущая герань.

Ксения подалась в сторону, чтобы не наступить на алые лепесточки.

А она с пустыми руками! Но ведь ей и встречать некого, просто хотелось взглянуть, какие они — командиры и бойцы Особой, за неделю разгромившие войска, втрое превосходившие их по численности.

Нет, конечно, она понимала, что внешне они, вероятно, самые обыкновенные, и все же...

На перроне становилось тесней. Чтобы не увлекли ее дальше этого места, где должен остановиться дальневосточный поезд, Ксения обхватила чугунный столб. Впереди стояли трое мужчин — такие высокие и широкоплечие, что она усомнилась: вряд ли из-за их спин что-нибудь увидит! Крайний, в ватной куртке, стоял чуть боком, и ей видна была его прихваченная инеем седая борода. Средний — в шинели, тоже, кажется, пожилой, третий, в кожаной куртке, курил. Ветер подхватывал дым его папироски и бросал прямо на нее. Это было неприятно. Военный повернул к нему голову — бритый подбородок, виски в седине.

— Что мать поделывает?

— Когда уезжали, с тестом возилась, хочет пирогами встретить Василия.

«Илья!» — узнала Ксения.

— А кроме пирогов? — допытывался военный.

— Кроме пирогов, у всех нас, отец, сам знаешь, — хлопок. Готовим кадры туда.

Военный кивнул, тихо сказав:

— Много потребуется!

— Сколь потребуется, столь и дадим, — глядя в ту сторону, откуда должен подойти поезд, проговорил старик. Он поправил на голове шапку и засмеялся: — Идешь по улице и слышишь: «Якши... яман...» Я не хожу на эти курсы и то мимоходом нахватался: «Салам мен Орехово-Зуеводан». Так, Илья?

— Так, — Илья оглянулся и выронил папиросу. — Ксения Владимировна!

— Здравствуйте, — прошептала она и потупила глаза, но все равно видела его разрумяненное морозом лицо с радостно просиявшими глазами.

— Вы болели?

— Нет, — сказала она, уже ничего не слыша, кроме стука своего сердца.

— Но вы очень изменились. — Рука его коснулась ее руки. Она отвела свою.

— Ксюша!

— Да?

Издали донесся вскрик паровоза, и тотчас же грянул оркестр.

— Вы получили мое письмо?

— Да, — все так же, не поднимая глаз, проговорила Ксения. — Извините, Илья Степанович, я тороплюсь. — Она отцепила от столба пальцы.

Замелькали вагоны. Гремело «ура»... Объятия, поцелуи... Но все это Ксения видела словно в полусне.

Илья! Был ведь тот солнечный праздник у нее на душе... Был! С затаенным дыханием слушала она в ту осыпанную звездами июльскую ночь, как сумасшедше, сильнее, чем сейчас, колотилось, толкаясь в ладонь, сердце. Было непередаваемо хорошо и... немножечко жутко: что, если этот жаркий солнечный праздник разорвет вены, артерии и, оставив ее бездыханной, уйдет... Куда? Помнится, засмеялась: ее праздник — Илька! Да разве отдаст она его кому-нибудь!

А в окно комнаты смотрели звезды, заглядывали в ее полные счастливых слез глаза. Не раскутывая простыню, она неслышно поднялась с постели и села на подоконник.

Кто-то еще вот так же сидел однажды... Наташа Ростова? Да, а за окном ее ворочалась и стонала, ломая лед, река... Нет, это в деревне... Катюша Масло-

ва, молодой Нехлюдов... «Илька! Милый мой!» и вдруг... резкий хлопок двери: дядя!

Нет, это было уже на второй день, но в памяти они так и слились вместе — трепетное радостное ожидание... и лицо дяди, бледное, злое, потом... Если бы не было этого «потом»!

Письмо? Да, она получила его в тот самый день, когда судили Успенского.

«Ксения Владимировна! — писал он ей. — Эту весточку я шлю Вам из туркменского аула... Вокруг здесь цепкая и мрачная старина, но завтра ее не будет. Мы еще и сами до конца не сознаем, какое огромное счастье выпало на долю нашего поколения. Старт к вершинам человеческого бытия! Счастлив ли я? Конечно. И в то же время грустно, что был среди этих дней один, когда в ответ на «алло», сказанное сердцем, послышались гудки отбоя. А Вам не кажется этот день и грустным и нелепым? Нет, это не запоздалое извинение, иначе я поступить не мог. И если бы это повторилось, я поступил бы так же, только так! Почему-то мне думается, что Вы тоже поняли это, поэтому я пишу, а если нет — ну что же? ...Я воспользуюсь этим листком, чтобы сказать: желаю Вам счастья, Ксения Владимировна, — большого, неоранжерейного! Думайте о времени и о себе. Илья».

— Гражданочка, что с вами?

Ксения вздрогнула. Спрашивал железнодорожник, а толпа уже схлынула — по перрону деловито спешили пассажиры с чемоданами, мешками, корзинами.

— Почему вы плачете?

— Извините, — сказала она растерянно и пошла через рельсы.

— Платочек обронили.

Ксения не обернулась.

Значит, неверно, что все это уже в прошлом? Все живо. И как же ей теперь?

Дома, раздеваясь, ощутила дрожь.

— Не топлено у нас?

— Да что вы, Ксения Владимировна! — обиделась Анфиса. — Наверное, на улице зазябли.

Постояв возле вешалки, Ксения прошла в столовую. Здесь ведь было это! Поднял, и она словно сквозь сказочный шум леса услышала: «Радость моя!».

«Вы очень изменились!»

Она подошла к трюмо.

Конечно — морщинки на лбу и около рта. Когда они появились? В тот день, когда в «Комсомольской правде» было опубликовано «Открытое письмо профессору Нефедову»? Памятно, как остро закололо тогда сердце, до темноты в глазах. А может, в Кашине... Поехала туда, чтобы забыться в одиночестве, но за стенами дома и там все напоминало о *нем,* а в стенах боялась притрагиваться к роялю: едва вырывались из-под пальцев торопящиеся звуки, тотчас же слышалось: «Ксюшенька, радость моя!» Уверяла встревоженную тетю Вику, что совершенно здорова, но однажды проснулась среди ночи от непреодолимой жажды, хотела подняться с постели и не смогла. Да, скорее всего в эти дни, когда металась на больничной койке в горячке, и прорезались горькие, старящие ее морщинки.

«Думайте о времени и о себе». Думала. Но время, то есть то, что творилось вокруг, похоже на стихи Маяковского — одно нравится так, что дух захватывает и хочется поднять паспорт, чтобы крикнуть следом за поэтом: «Смотрите, завидуйте»...». Другое отталкивает, и порой ей было трудно понять — то ли жизнь идет мимо нее, то ли она обходит стороной жизнь, страшась ее жестокости и прямолинейности.

Илья, Илюша, Илька!.. Да, она могла бы называть его так: «Мой Илька», если бы... Ксения прислушалась.

— Их тоже нету-с, в отъезде,—говорила кому-то Анфиса.

— А Ксения Владимировна? — спросил мужской голос.

— Барышня дома... Ксюшенька!

Ксения вышла из столовой и недоуменно остановилась у порога. В прихожей стоял незнакомый мужчина в расстегнутом пальто, из-под которого виден был старый потертый сюртук, на ногах — валенки с кожаными задниками. Увидев ее, он снял шапку-ушанку: голова облыселая, лицо заросло светлой щетиной.

— Вот мы какими стали!

— Извините, но я вас не знаю.

Осветившая его серые глаза улыбка скользнула и по губам.

— Вглядись получше, Ксюшенька.

— Геннадий! — они обнялись. — Брат!

— Батюшки вы мои! — всплеснула руками Анфиса. Не сводя с нежданного гостя глаз, она пододвинулась к двери столовой, взглянула на портрет и расплылась в улыбке: — Они-с!

Ксения задержала в своей руку Геннадия, гладившего ее волосы, оглядела его сквозь радостные слезы и провела ладонью по колючей щеке.

— Гена! — И вдруг лицо ее дрогнуло. — Откуда ты?

Геннадий усмехнулся:

— С того света.

К ним подбежала сияющая Анфиса.

— Геннадий Федорович, разрешите пальтецо с вас.

— Не к спеху. Ксюшенька, мне срочно надо повидать отца.

Она кивнула.

— Но все же, Геннадий, откуда ты?

— Может быть, и без допроса можно?..

Ксения промолчала. Следом за ней он прошел в кабинет и закрыл дверь.

— Что за женщина?

— Анфиса.

— Меня, сестренка, интересует не имя, а язык ее — не длинный? Дело в том, что с того света, как ты, наверное, понимаешь, прибывают... без документов.

Ксения набрала номер института. Дядя Федя оказался у себя.

— Кто приехал? — переспросил он дрогнувшим голосом.

— Наш Геннадий.

Трубка шепотом прошелестела:

— Я еду.

— Сейчас приедет, — положив трубку, доложила Ксения брату, развертывавшему «Комсомольскую правду».

— Читал в поезде, — сказал Геннадий, задержавшись взглядом на очерке «Два часа». — Говорят, примерно так оно и было.

— Кто говорит?

— Ну, хотя бы я. Газеты почитываете с подчеркиванием... Кто это — отец?

— Нет, я читала.

— Ты? — Он опустил газету на колени. — Комсомолка?

— Нет.

— Ну, слава богу. А я было испугался. Живете неплохо... — Геннадий откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза. — Домашний уют. Я уже успел позабыть, что это за штука.

— А где ты был, Гена, все эти годы?

— В разных местах.

— У тебя семья есть?

— То есть?

— Ну, жена, дети?

— Женщины были, насчет детей не интересовался.

— Не надо так.

— Извини, я ведь солдат... Живете, говорю, неплохо. Металл есть?

— Какой металл?

— Бренный. И голова и руки у папы, помнится, были не промах.

— Геннадий Федорович, я прошу вас не говорить так о дяде.

— Ого! Уже «Геннадий Федорович» и «вы» — понятно. А мама куда уехала?

— В Кашин.

— Дачу, значит, не отобрали?

— Нет.

— И то клок шерсти. А чего она там зимой?

— Поехала с одним инженером, которого дядя очень ценит.

— Дядя ценит, а мама поехала? Что за инженер?

— Успенский.

— Что он будет делать там?

Ксения пожала плечами. Ей и самой было непонятно, зачем дяде понадобилось устраивать Успенского в Кашине.

Геннадий встал, прошелся по кабинету.

— А ты, сестренка, что поделываешь, учишься?

— Да, в консерватории.

— Любопытно!

— А что в этом любопытного, Геннадий?

— Ну как же: совдепия и... музыка!

— Музыка и кто?

— ЭС-ЭС-ЭС-ЭР. И они понимают ее?

— Не хуже нас с тобой. — Настороженный взгляд брата смутил ее, и она проговорила: — Гена, сядь. Ну что ты такой колючий!

Он продолжал ходить, дымя папиросой.

— Музыка... Ее и дети понимают, а они... Я, собственно, готовлюсь не к концертной деятельности, вероятно, преподавать буду. Но вот недавно, в ноябре, кажется... Ну да, когда наши войска Хайлар взяли, ко мне позвонил наш профессор. По просьбе ЦК союза текстильщиков консерватория давала в тот вечер концерт в клубе Трехгорки. Профессор тоже должен был принять участие, но заболел и просил меня заменить его. Я думала, речь идет лишь о сопровождении, аккомпанементе, но уже в клубе узнала: концерт предстоит открыть мне.

Ксения улыбнулась.

— Оробела. Жутко!

Сначала играла с оглядкой на зал, потом... Да, не было уж ни меня, ни зала — только то, что нарисовал гений Бетховена. Рук своих я тоже не ощущала. Увидела их, когда они уже неподвижно лежали на клавишах, и тогда же услышала тишину зала. Поклонилась — ни одного звука, ни одного хлопка. Знала: никогда и ничего так хорошо не играла. И тишина эта словно пощечиной была. Поднялась я со стула и побежала, и вот уже возле кулис настигли меня грохнувшие аплодисменты. Кто-то вытолкал меня обратно на сцену. Ткачихи, ткачи — они стояли, и сквозь слезы я видела, как сияли их лица. Поклонилась — аплодисменты продолжали греметь, тогда я села за рояль и еще раз сыграла «Эгмонта».

— Любопытно, — сказал Геннадий, а взгляд его был такой тяжелый, что Ксения поежилась и вздохнула с облегчением, услышав на улице знакомые гудки автомобиля.

Нефедов вбежал в шубе и заснеженных валенках.

— Ты?

— Я, папа.

— Боже! Мальчик мой! Как ты постарел... Как постарел!

— Годы... Жизнь...

Ксения смотрела на них, обнявшихся, и настороженность ее таяла.

— Весь белый! Ты ли это, отец?

— Годы. Жизнь, — сказал Федор Ефремович, а дрожащие руки его скользили, словно ощупывая, по голове, лицу и плечам Геннадия. — Как пробрался, сынок?

Геннадий оглянулся на Ксению.

— Да, да, об этом после. Ксюша, голубчик, распорядись об ужине. Или лучше сама, а Анфиса ванну пускай приготовит.

Суетливый, старенький... Ксении хотелось снять с дяди шубу и сказать, чтобы он поменьше волновался, помнил о своем сердце.

— Ксения, ты слышала, о чем я просил? — нетерпеливо прикрикнул Нефедов.

— Сейчас, дядюшка.

Нефедов выпроводил ее и, повернув в двери ключ, опустился в кресло.

— Ну-с?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



Волны ненависти

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рамзин сидел в своем кабинете, рассеянно свертывая и распрямляя завизированный германским посольством паспорт.

Улицей проносились автомобили, но шум их и гудки не заглушали радиорупора, подвешенного на столбе почти перед самыми дверями института. Передавали очерк какого-то Ильи Орлова. Голос артистки, читавшей его, заполнял весь кабинет:

«Хлопка! Хлопка требует страна! Хлопка требуют наши вот уже четвертый месяц стоящие фабрики.

— Будет хлопок! Есть хлопок! — радостно и гордо заявляем мы. Мы — это огромное собирательное, то есть это весь наш народ. Весь, товарищи! Год тысяча девятьсот тридцатый! Если сложить все увиденное и перечувствованное, это может стать богатейшим материалом для книги. О дружбе народов? Да, но не только дружба!

Вспомните прошлогоднее обсуждение этого договора в Большом театре. Сидели там рядом закаленный в боях русский рабочий класс и крестьянство Советского Востока. Встреча двух эпох и... даже не соседних! А то, что последовало за подписанием договора и вплоть до сегодняшних дней, — это и есть, друзья мои, волнующее раскрытие ленинского положения о необязательности для отсталых народов на пути к коммунизму проходить все стадии общественного развития.

Хлопкоробы понимали величину прыжка, который надлежало им совершить, и главным пунктом их требований было — люди: «Мало у нас коммунистов, грамотных по пальцам можно пересчитать — дайте нам людей,

которые станут нашими политическими руководителями, колхозными вожаками, учителями жизни...»

Текстильщики дали лучших своих кадровиков. И началось!

Если скорость жизни всей страны в десять лет сто, то для народов Средней Азии за весну и лето предстояло пройти века, и они прошли их. Свидетельство этому... Да все! И особенно сами люди, словно в сказке распрямившие плечи, — растущие национальные кадры коммунистов и комсомольцев, жар социалистического соревнования... Приезжающим сейчас в Среднюю Азию трудно поверить, что считанные месяцы и дни тому назад здесь ощутительно царил дух средневековья. Нет, не всюду еще оно отступило. До сих пор тысячи женщин ходят в парандже, живут затворницами, а те, что открывают лица, знают: каждую минуту их может ожидать смертельный удар из-за угла. До сих пор еще во многих местах существует как бы двоевластие: Советская власть и власть стариков. И нелегко первой настоять на своем, если седобородые скажут: «Ек!»[1]. Темные силы? Не спешите с приклеиванием ярлычков. Новые веяния ворвались в мысли и чувства и этих суровых хранителей обычаев и нравов старины. Верно, они косо смотрят на открытые лица женщин, но не более ласково и на тех, которые пытаются поссорить их с советской властью. Верно, губы их еще шепчут стихи корана и руки привычно совершают обрядный намаз, но эти же руки решительно голосуют на сходках за колхозы, а при встречах с «текстильчилар Россиядан»[2] прижимаются к сердцу — «Рахмат, ака!»[3].

Да, ака, то есть старший брат, хотя встречный «текстильчи» за свою жизнь износил, может быть, вдвое, а то и в десять раз меньше рубашек, чем говорящий ему сердечное «рахмат».

Но плечом к плечу с текстильщиками в этой хлопковой эпопее стоят и кооператоры и металлисты. Сколько плугов, сеялок, культиваторов сделано в нерабочие часы комсомольцами механических заводов! А железнодорожники! Если бы не оживили они паровозы, ржавев-

---

[1] Нет! *(узб.)*.
[2] С текстильщиками из России *(узб.)*.
[3] Спасибо, брат! *(узб.)*.

шие под открытым небом, если бы не взяли под свою охрану магистрали, если бы их посты из рук в руки не передавали вагоны и платформы с пометкой «Х» — «хлопок», сев мог бы вовремя не начаться, а это повлекло бы за собой такие события, что и подумать жутковато.

Авангардный бой за хлопок ведет комсомол. Но разве сделал бы комсомол столько, не ощущай он на каждом шагу поддержку и вдохновляющее слово Партии? И разве только комсомол на хлопковой передовой?..»

Голос диктора с каждым словом делался звонче. Рамзин оперся о стол ладонями — хотел встать, чтобы захлопнуть окно, но только вздохнул и, откинувшись к спинке кресла, устало закрыл глаза. В мыслях пыталось всплыть что-то стремительное, шумное. Гул улицы? Да, но не этой... Париж? Может быть. Но, может быть, и Лондон, а там... мясистое лицо с зажатой в углу рта сигарой— Уинстон Черчилль. Это в замке герцога Мальбора. Великолепнейший парк, лабиринт коридоров и зал. Застывшие фигуры в рыцарских одеяниях, портреты, писанные маслом, и увеличенные фотографии — все это, думалось, пахло чуть ли не средневековой давностью, и вдруг знакомое по-лошадиному длинное лицо с тяжелым подбородком и моноклем на черной тесемке. Похоже, имел какое-то близкое отношение к замку Мальбора и этот человек, о котором комсомольцы года два назад пели на демонстрациях: «Чемберлен — старый хрен».

Под высокими сводами плыли звуки органа — это из библиотеки. Играл Уинстон Черчилль.

Было это... кажется, так давно, что никакими календарными сроками не измерить. И тогда же через Денисова почти на все вопросы-требования генштаба Франции он ответил твердым «да». Но было ли это ложью? Твердость шла от уверенности, что «Промпартии» посильно совершить обещанное. Заблуждение? Больше — роковой просчет: взвешивая все «за» и «против», он не положил на чашу весов силу, о которой говорил сейчас в своем очерке этот комсомольский журналист, — народ. Это и стало для «Промпартии» ахиллесовой пятой. Пустой фразеологией, рассчитанной на то, чтобы польстить безликим массам, считалось им всегда марксистское положение: «Движущая сила истории — народ». Рево-

люции? В них он тоже видел лишь личности, увлекающие за собой массы. В Октябре другие политические течения не могли выставить деятеля крупнее Ленина — победили большевики. Но социалистическое соревнование? «Встречный план»? Почему в этих явлениях, поставивших «Промпартию» в пиковое положение, не мог разглядеть он народной души? Да и то ли это слово — «не мог»? Не вернее ли прямо сказать: не хотел?

Это ведь тоже помнится, как в сумятице мыслей мелькнуло вдруг слово «инсценировка»! И он с жадностью ухватился за него, убеждая себя: конечно, большевики могли уговорить девушек с фабрики «Равенство» или просто-напросто приказать им стать «инициаторами» социалистического соревнования. Догадку эту, казалось, убедительно подтверждало и то, как дружно повсюду партийные органы возглавили «почин». Эпопея со «встречным» естественно представилась копией с эпопеи социалистического соревнования, и начало — тот же Ленинград, только на этот раз в амплуа инициаторов выступили на политической авансцене не девушки в красных платочках, а парни в спецовках.

Да, в этом самоослеплении он зашел так далеко, что не придал никакого значения и подписанному в Москве договору между текстильщиками и хлопкоробами, вернее, счел его столь грубо сделанной политической дешевкой, что на запрос «Торгпрома» порекомендовал Осадчему ответить двумя словами: «очередной анекдот». Может быть, потому, что мысли неустанно пребывали в поисках, где и какой клин вбить в советскую экономику, как и чем понадежнее восстановить против большевистского режима различные слои населения, — в памяти фиксировались главным образом теневые стороны, зыбкие места, острые стыки, а всего этого имелось немало, и поэтому субъективно не были ложью и его «да». И все же произнес он их хотя и твердо, но без особого воодушевления. Ведь Париж требовал создания хаоса любыми средствами, не останавливаясь ни перед чем, то есть его новые требования несли в себе и то, от чего отказалась «Промпартия» после провала шахтинцев. Правда, Денисов передал их с оговоркой:

— Между нами, Леонид Константинович. Это мое личное мнение, точнее, наше торгпромовское: разрушениями не увлекаться. Военная промышленность — пожа-

луйста, здесь мы безоговорочно разделяем точку зрения французов, а что касается остального — только старое, малорентабельное.

Он полностью был согласен с этой торгпромовской «оговоркой»: зачем же губить огромные национальные ценности, тем более, все уничтоженное взято будет «Торгпромом» на учет и позднее оплачено — даже старье! — то есть все это ляжет на плечи будущего российского правительства, возглавить которое надлежало ему.

Что ж, и весной и летом делалось все так, как требовал Париж: мобилизационная готовность... диверсионные группы... от звена к звену понеслась команда — «начинаем». Но... гора родила мышь!

Первыми опять опрокинуты были люди из группы Кондратьева и Чаянова: загромыхали кое-где кулацкие выстрелы по колхозным вожакам, в разных местах небо окрасилось заревами пожаров. И все. Худой и словно позеленевший пришел Кондратьев к нему в институт и зло кинул на стол смятую «Правду» со статьей «Головокружение от успехов».

— Чего они медлят? Арест за арестом. Жду гостей и к себе.

Предчувствие старика не обмануло. Вскоре он действительно был арестован, но, кажется, так и не понял, что крестьяне пошли за большевиками потому, что те сумели заставить мужика поверить в свои силы. Нет, даже и не так: в словах «пошли за» ощутима разделяющая черточка, а ее не было. Попробуй-ка в этой колхозно-индустриальной были отыскать, где кончается ВКП(б) и начинается народ. Все это неслось к рубежам пятилетки единым потоком, и все это, еще не зная его, Рамзина, в лицо, говорило ему «нет» и властно приказывало: «Прочь с дороги!»

В книгах и газетах этакое не прочтешь, надо на собственной шкуре прочувствовать, что ОГПУ — это не только Лубянка, а вся страна, и притом те, что не работали в органах, даже опасней — не носят форму, по которой их можно бы опознать, — рабочие, крестьяне, студенты... Кажется, все заняты только своим делом, но стоит кому-либо из промпартийцев сделать опрометчивый шаг или обронить неосторожное слово, и он всеми клетками души и тела начинает ощущать, как устрем-

ляются на него десятки и сотни глаз. А за рубежом этого не хотят понять.

Рамзин усмехнулся, вспомнив, каким было лицо советника английского посольства.

Встреча с ним была... Ну да, в тот же день, когда арестовали Кондратьева. Упрятав в портфель шифровки, дипломат спросил: «Как смогли вы, господин Рамзин, допустить, чтобы земли в Туркестане были засеяны хлопком, и даже на значительно больших площадях, чем планировало это Советское правительство? Будьте любезны объяснить. Это очень интересует Париж и, конечно, не в меньшей мере Лондон».

Объяснить? Но он уже объяснял это в докладной, переданной торгпромовцам. Повторяться не захотелось.

«Прогуляйтесь по дороге от Москвы до Ташкента, там и найдете объяснение того, как попали в Среднюю Азию грузы к началу сева. Ну, а как засеяны были поля, об этом вам лучше может поведать профессор Кондратьев. Адрес? Пожалуйста, — Лубянская площадь, ОГПУ. Он там в гостях у «товарища Менжинского».

Советник об этом, видимо, уже знал: на лице не отразилось ни замешательства, ни удивления.

«И это все, что вы можете мне сказать?» — спросил он раздраженно.

«Все!»

Ушел, не попрощавшись, а Париж вскоре передал в радиограмме очередной вызов. Имейся возможность, конечно, приехал бы, хотя бы для того, чтобы в упор спросить о том, о чем спрашивал его Кондратьев: «Чего ждете?» И вот предлог для поездки за границу, наконец, нашелся. Через два дня в Берлине начнет свою работу международная конференция энергетиков и теплотехников, которую сначала планировали провести в Париже. Советский Союз, конечно, не смог бы послать туда своих представителей.

Рамзин понимал, что перемена места и времени продиктована французскими и отнюдь не инженерными кругами, но ехать к хозяевам уже не хотелось: за последние полтора месяца органами ОГПУ была раскрыта организация снабженцев, влипли связисты, имелись провалы и в других звеньях, особенно же ощутимым для «Промпартии» был арест Красовского.

— Но вместит ли в себя все это одна книга, — продолжало звенеть радио, — и если вместит, как назвать ее? «Наступление»?

«Наступление», — машинально повторил про себя Рамзин.

Бывают дни, похожие на мгновение, — блеснул и нет его. Так, помнится, было и у него, когда готовился к защите докторской. Сказать, что время тогда летело, — это слишком слабо, оно как бы глоталось. От бессонных ночей кружилась голова, но кружения эти были приятными. Он был творцом, открывателем, видел вершины, к которым шел, и тогда, вероятно, он ни за что не поверил бы, что обыкновенные календарные сутки, веками вмещавшие в себя двадцать четыре астрономических часа, могут растянуться чуть ли не на тысячелетия! Такое бывает лишь с теми, которые живут под занесенным мечом, ежеминутно ожидая, что он вот-вот опустится на голову. Был страх и в дни раскрытия шахтинского звена, леденил кровь «встречный план», но и тогда не было столь дикого ощущения, что время остановилось.

Вошел швейцар.

Кондратьев, Чаянов, Красовский... Стоило кому-нибудь из них запутаться на допросе, и ОГПУ станет известен весь состав центрального комитета «Промпартии». А Париж... требовал новых бессмысленных жертв. Одновременно с приглашением в Берлин прислана была и вот эта очередная директива военного министерства, в категорических тонах предписывавшая немедленно перейти к открытым диверсиям.

Голос артистки, читавшей очерк Орлова, умолк. Одиннадцать часов, а Маричева все не было. Но что изменится, когда он придет?

Рамзин приподнял веки, и глаза его зло уставились на листок, испещренный цифрами.

«Слишком поздно!» Эти слова он сказал час назад, когда прочел шифровку и устало подумал: «А не послать ли все к чертовой матери?» Просто отойти в сторону — свои не дадут, пойти же на Лубянку и поднять руки... Да, слишком поздно!

Рамзин вздрогнул — постучали в дверь.

«Маричев или?..»

По радио передавали скрипичный концерт.

— Леонид Константинович!

— Да.

Вошел швейцар.

— К вам, профессор, сказывают, вы их ждете.

— Маричев?

— Они-с.

— Впустите.

Голоса скрипок заполняли кабинет и словно звали куда-то. Рамзин закрыл окно, опустил штору.

Маричев вошел, как всегда, боком.

— Извините, немного задержался, — сказал он, вешая на крючок свою шляпу и в то же время не отрывая настороженных глаз от ходившего по ковру Рамзина: чертовски осторожен и всегда избегал встреч у себя в институте, тем более с членами ЦК «Промпартии».

— С визами, надеюсь, все в порядке?

— Да, располагайтесь.

Маричев сел в кресло, в котором только что сидел Рамзин. Тот ладонью придвинул ему листок со столбиками цифр.

— Оттуда?

— Да. — Рамзин сказал расшифровку.

Маричев молча выкурил папиросу, тыча окурком в пепельницу, сердито фыркнул.

— Они там думают, что это вроде пульта — нажал рубильник, и, пожалуйста, полетело все вверх тормашками. Но в чем-то они и правы... Да-с, Леонид Константинович, где на рожон лезем, а где не используем самых благодатных возможностей. Одна спичка у нефтяного фонтана — вот оно и море огня! А посмотрите, многоуважаемый, в окно — сушь! Кажется, и воздух готов воспламениться от одной спички. А торф? Так затрещит — одно великолепие! Торф! Это же и фабрики и электростанции. Сколько их на торфе? Вам ли не знать этого, Леонид Константинович! Верное дельце и почти безопасное. Предприятия, шахты — под охраной, а торфоразработки — это же десятки километров леса и болот. Сторожей не наставишься, а? Леонид Константинович!

— Можете принять на себя общее руководство.

— То есть... уполномачиваете?

— Руководство, но... и ответственность.

— Эка, чем припугнули! — рассердился Маричев.

Лицо его задергалось. — Можете не сомневаться — такого огонька подпущу, что он и из Берлина вам виден будет. Невмоготу, сударь мой, пятиться от красных чертей и в кустах отсиживаться, крови хочу! Крови!

Рамзин испуганно оглянулся на дверь, но Маричев и сам уже перешел на шепот.

— Если там трусят и не начинают — я один начну. Может быть, считанные дни остались Маричеву жить, но Маричев уйдет из жизни с громом, с молниями! А даст бог, так и с кровью. Вы в белых перчатках к власти лезете, а я не такой... Слышите — не такой!

Смотреть на него было и тягостно и противно.

«Не запорет ли все и всех?» — с беспокойством подумал Рамзин, а Маричев, словно побывав в его мыслях, усмехнулся.

— На рожон и я не полезу. Гарантия? Старик Маричев больше всего на свете хочет дожить до полного краха коммунии. Это и есть гарантия. — Он засмеялся.

Рамзин отвернулся, сухо сказал:

— Меня ждет семья. Поезд отходит в пять утра.

Маричев встал:

— Благодарствую за доверие.

Швейцар, когда он проходил в двери парадного, улыбнулся.

Сначала Маричев удивился, потом понял, что это лишь вежливый ответ на его собственную улыбку, и согнал ее с губ, но в глазах она осталась.

Неделя, конечно, слишком маленький срок для того, чтобы прибрать к своим рукам всю «Промпартию», однако ее хватит на то, чтобы Парижу стало ясно: и Рамзин и Осадчий — сей кандидат номер два в премьеры России — щенки по сравнению с Маричевым.

Неделя — семь дней, и надо, чтобы в каждом из них не было ни одного упущенного часа, ни одной холостой минуты, и зачем же ждать завтрашнего утра? Нефедова, например, завтра в Москве может не оказаться: встретившись с ним позавчера в ВСНХ, Федор Ефремович жаловался, что чувствует себя неважно, и сказал, что на днях уедет недели на две в Кашин. А может быть, уже уехал?

Увидев телефонную будку, Маричев попросил шофера остановиться.

Нет, ему положительно сегодня везло: профессор Нефедов был дома.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В русской рубахе с расстегнутым воротом Степан стоял на перроне, возле газетного киоска, и отсюда наблюдал за тронувшимся поездом.

Рамзин и Осадчий стояли у окна. Осадчий махал шляпой бежавшей рядом с вагоном жене: Рамзин вытирал платком очки.

«Не сбегут?» — вопрос этот появился и не уходил из мыслей с тех самых минут, когда Менжинский дал санкцию на выдачу заграничных паспортов заправилам «Промпартии». С ней теперь было все ясно, хотя еще и не все ее звенья раскрыты, но на западной границе и в Прибалтике день ото дня нарастала тревожная напряженность. Какие конкретные планы у генштаба Франции, где и когда намечаются главные удары войск интервентов? Этими данными ОГПУ не располагало. Не располагает ими, по всей вероятности, и верхушка «Промпартии». По словам Кондратьева, интервенция должна была начаться весной, и Красовский подтвердил: переход румынами и поляками границы ожидался в конце апреля, а затем получено было указание подготовить выход из строя железнодорожного транспорта к середине июня. Почему и в середине июня не состоялось вторжение войск Малой Антанты, он объяснить не мог и не думал, что это знают Рамзин и Осадчий.

Вероятно, так оно и было: после дипломатического разрыва с Францией связь верхушки «Промпартии» со своими зарубежными хозяевами осуществлялась лишь по радио и изредка через англичан, но арест Эммы Томпсон закрыл и этот канал. В Берлине Рамзин и Осадчий узнают то, что неведомо им сейчас. Игра стоила свеч! Останутся по ту сторону? Вряд ли! Знай они, что ордера на их арест уже подписаны, тогда, конечно, а пока... Нет! Но если даже и не вернутся, для безопасности СССР это теперь уже не столь существенно: считанные дни остались до часа, когда начисто сметется с лица со-

ветской земли вся промпартийская мразь, и что тогда будут представлять из себя Рамзин и Осадчий? В лакейских международного капитала немало таких господ: Керенский, Милюков, Деникин, Лев Троцкий... Втиснутся еще два — советскому народу от этого ни жарко, ни холодно, вот и весь возможный проигрыш!

Мелькнул последний вагон. Степан повернулся и пошел к дверям вокзала, но в глазах вдруг зарябило. Чувствуя неприятный пот на лице и под рубахой, он прислонился к ящику на автокаре.

«Опять сердце!»

Менжинский в последние дни приглядывался к нему настороженно и нет-нет, да напоминал: «Уговор наш не забывай!» — «Есть, товарищ председатель», — обещал он, в душе сомневаясь, что скоро может прийти время, когда в силу этого уговора должен будет сказать: «Все, товарищ председатель ОГПУ, больше не тяну». Бывали, конечно, и перебои в ударах сердца и приступы внезапной слабости, но все это легко объяснялось напряженной работой, короткими часами сна.

«Инфаркт миокарда!» — усмешка, с которой он изредка вспоминал диагноз, поставленный Опанасенко и врачами Кисловодска, отнюдь не была бравированием: в минуты, когда сердце давало себя знать, утихомиривали его не таблетки и капли, а сознание огромной опасности, висящей над страной. И когда нащупывались новые нити контрреволюционного клубка, в такие часы и дни совсем не бывало у него надобности в нитроглицеринах и вероналах: короткий сон, несколько гимнастических упражнений, и сердце входило в норму. А вот на прошлой неделе подвело. И причины как будто не было! Упорствовавший прежде Красовский назвал в то утро всех главарей «Промпартии». Заканчивая допрос этого путейца, он ощущал приятную, почти праздничную легкость на душе, а вышел из-за стола — потемнело вдруг в глазах, и грудь словно обручем стянуло — раскрывал рот, а воздуха не было. И вот опять так! А коробочка с нитроглицерином осталась в гимнастерке. Под пальцы, шарившие в кармане, попал пакетик: веронал!

Лицо, когда слизнул прилипшие к бумажке крупинки, перекосило от горечи, но он все же проглотил их и присел на край автокара. В голове плыл шум, слышались гуд-

ки... Не сразу сообразил, что гудки эти были не в голове, а на путях, паровозные... «Видимо, придется все же подавать рапорт».

Нет, разумеется, не о демобилизации. Речь может идти только об отдыхе, и о самом коротком — с месяц, не больше. И не теперь! Теперь это просто невозможно.

— Товарищ Орлов!

Степан открыл глаза. Рядом стоял его шофер.

— Вам плохо, товарищ Орлов?

— Принеси стакан воды.

— Газированной?

— Все равно какой.

Когда шофер вернулся со стаканом и бутылкой лимонада, Степан прополоскал рот и выпил несколько глотков — горечь исчезла.

— Ну вот... — нашел он в себе силы улыбнуться. — Поехали.

— К себе? — спросил в машине шофер.

— Нет, на квартиру, хотя... — Степан наморщил лоб, припоминая что-то срочное.

«А, Нефедов». Вчера поздно вечером с его домашнего телефона была продиктована телеграмма-молния для отправки в Кашин: «Жду немедленно. Место встречи прежнее. Лидия».

Никакой Лидии в семье профессора не было. Ясно, что текст этот — шифровка. Зимин приказал задержать отправку молнии на три часа. За это время вылетевший на самолете Зинченко будет на месте.

Тот факт, что телеграмма была послана сразу же после встреч Рамзина с Маричевым и Маричева с Нефедовым, говорил за многое. Но дача Нефедова интересовала чекистов и по другой причине. У «Промпартии» где-то работала подпольная рация, и Зимин еще весной высказал предположение: не в Кашине ли?

Проверять не стали: обнаруженная там рация вынудила бы их сразу взяться за матерого вредителя, а это и тогда было преждевременным. Иное дело, если в Кашине действительно капитан Нефедов, — обыск, мол, из-за него; рацию, если обнаружится, тоже взвалить на него. «Промпартию» это «заблуждение» ГПУ вполне должно устроить, а старик отделается пока лишь неприятными минутами допроса, которые к тому же убедят его,

что ГПУ неведома причастность профессора Нефедова к верхушке «Промпартии». Но Менжинского, не возражавшего против этих доводов Зимина, в телеграмме интересовали главным образом слова «место встречи прежнее». Что за «место» — московский дом Нефедова или одна из конспиративных квартир «Промпартии»?

«Что важнее сейчас — рация или это?» — вопрос председателя был адресован ему, Степану, и он сказал:

— А если и то и другое?

— Арестовать, произвести обыск, потом... дать возможность ему «бежать» и не спускать с него глаз до «места прежних встреч»? — правильно понял Менжинский. — Ну что же... Давайте!

В помощь Зинченко на двух самолетах вылетела группа чекистов. Когда они выезжали со двора, он вдруг ощутил смутное беспокойство, смысл которого стал ясен ему уже по дороге на этот вокзал: «А что, если в Кашине хранятся какие-нибудь архивы «Промпартии» или переписка и в ней встречаются имена Рамзина и Осадчего? Узнают те и могут не вернуться... Впрочем, Зинченко опытный чекист и знает, что затрагивать старика Нефедова сейчас никоим образом нельзя». Мысль эта приглушила встревоженность, а сейчас она опять поднялась. На Лубянке, наверное, уже известно, как прошла кашинская операция. Но ведь абсолютно ничего не изменится, если узнает он об этом не сейчас, а двумя часами позже: если промах допущен, поправить его поздно!

— Да, на квартиру, — подтвердил он.

Москва пробуждалась. Трамваи мелькали переполненные, и на тротуарах было уже людно — шли рабочие утренней смены.

На Земляном валу, как час назад, у продовольственного магазина теснилась толпа, но хвост ее жался теперь по тротуару чуть ли не до Красных ворот.

С вывесок закрытых магазинов бросались в глаза слова: «Союзмясо», «Союзрыба».

Да, наиболее гадливый осадок на душе оставляли по себе эти организаторы голода из «Союзмяса» и «Союзрыбы», Центросоюза — и мерзостные, и трусливые. Рыжеусый Марвич из Ленинграда вначале держался с подчеркнутой дерзостью, на вопрос о численности

организации со смехом ответил: «Можете не сомневаться, значительно больше, чем вас, гэпэушников».

«Болван!» — усмехнулся Степан, подумав о пузатых папках, тесно стоявших в его кабинете на полках крайнего от двери шкафа, — письма рабочих, студентов, крестьян, служащих... Свыше тридцати тысяч — это только у него, а сколько их в других отделах!

«Все было скрупулезно подготовлено у нас, оставалось буквально поставить точки над «и», но этого-то мы и не смогли сделать, потому что оказались связанными по рукам и ногам», — резюмировал Красовский свои показания.

Это верно, все было подготовлено у них, и заправилам дипломированных банд, естественно, казалось, что сорвать, скажем, сев хлопка в Средней Азии — дело пустяковое и совершенно безопасное.

От промпартийцев, работавших на линии Москва — Ташкент, требовалось лишь позаботиться, чтобы «пробки» подольше не рассасывались и грузы с машинами и другими материалами, высылаемые центром в Среднюю Азию, простояли в тупиках всю весну, потом можно дать им «зеленую улицу», а в тупики загонять вагоны с углем, лесом, нефтяными цистернами... Нехитрыми, но верными способами создания «пробок» были «ремонты» путей и мостов, и тоже не влекли за собой почти никакого риска потому, что те действительно нуждались в ремонте и кое-где в срочном: исподволь, но систематически приводили путейцы-промпартийцы все железные дороги в теперешнее состояние, под видом ремонта заменяя здоровые шпалы гнилыми. Думалось: разобрав полотно, можно продержать его в таком виде порядочное время под предлогом ожидания застрявших где-то материалов и твердо зная, что оттуда, где они застряли, их не скоро выпустят, и на вполне законном основании: первоочередные грузы — хлеб, уголь, нефть, керосин, скоропортящиеся товары...

Все рассчитали, гады, но не учли одного, что вокруг них — рожденный Октябрем советский народ. По первым же сигналам о том, что грузы для Средней Азии застряли в пути, текстильщики подняли тревогу, и возле ржавевших под открытым небом паровозов появилось множество слесарей, токарей... Пришли и молодые специалисты. Копии телеграмм-молний о заказах заводам

адресовались горкомам партии и комсомола, профсоюзам, штабам «легкой кавалерии» — и паровозные кладбища оживали, оглашались гудками...

Машинисты высокой квалификации безаварийно водили составы по опасным перегонам, а работники ОГПУ и комсомольцы-железнодорожники выявляли в это время, где именно «застряли» шпалы и другие строительные материалы.

На платформах писалось магическое: «Средняя Азия. Хлопок», и промпартийцы вынуждены были поднимать зеленые флажки. А что же им еще оставалось делать? Идти на прямые диверсии? Но общественные контролеры и обходчики круглыми сутками дежурили на всем протяжении следования поездов.

От комсомольцев-железнодорожников мысли Степана перекинулись к Илье, уже третий месяц не возвращавшемуся из Средней Азии. Жаркие дела там, под стать тамошнему солнцу!

Машина затормозила у подъезда.

— Подождать вас, товарищ Орлов?

«А может быть, все же на Лубянку?» — то ли порошок помог, то ли ветерок во время езды обвеял, чувствовал он себя сейчас совсем неплохо. Но ведь с утра у него сегодня Эмма Томпсон... Разговор с ней надо вести на свежую голову. Хитрая и осторожная штучка!

— Поезжай, Васек, в гараж. Я вызову.

На лестничной площадке верхнего этажа выбивали половик. Закашлявшись, Степан поспешил пройти к себе.

Одна из комнат его квартиры смотрела окном на восток, в прихожую из нее выбежала и лежала у порога солнечная полоска.

Степан взглянул на часы: десять минут восьмого. Снимая фуражку, увидел на столе записку: «Очень хотелось увидеться. Сердечный привет от Леонтия Петровича. Анна».

Степан сунул ее в карман, улыбнулся: он тоже хотел увидеть и ее и «генерала» Опанасенко, да и Орехово. Последний раз был там... Не вспомнилось, когда, но не меньше чем месяца два назад. Город поразил тогда его непривычной тишиной и безлюдием улиц. Понимал, что так и должно быть: рабочие после остановки фабрик

разъехались — кто на хлопковые поля, кто на торфоразработки.

Торф! Еще с дореволюционных времен велось: на добычу его приходили сезонники-крестьяне из рязанских и тамбовских деревень.

«Ничего, что тяжело, было бы денежно», — поговаривали они, заранее готовые ко всему — и к «чирякам», стягивавшим все тело в сплошную болячку, и к «болотнице», как издавна звали в этих местах малярию. Не пустяк, конечно, но и не такая уж страхота, чтобы крик поднимать и болота чураться. Оттрясет день и отпустит. Выпьет человек ковша два-три водицы, а еще лучше кваску кислого, пробрызгает лицо и опять подвернет штаны, чтобы лезть в вязкую, отдающую гнилостью жижу.

Помнится, разговорился как-то с кряжистым, бородатым артельщиком, и тот лишь плечами повел: «Само собой, трудновато после трясучки, но где же и кому деньга легко достается? Разве только ворам! Да и справедливо народный ум сказывает: «потерявши голову, по волосам не плачут», — не смог уберечься от окаянной, так теперь что уж — где ты, там и она. Останешься дома, и там тебя заставит на лежанке боками отплясывать, и болото ли только винить? Оно так, больше лихорадчиков среди нашего брата, но немало ведь и такого люда — торфоразработок дажеть и не нюхал, а болотницу себе схлопотал».

И так не в редкость с мальцов и до седины человек на торфе и хоть бы что! К «болотнице» привыкали, как к судьбе, и говорили не «заболел», а «прилепилась, окаянная». К врачам обращаться избегали, — может быть, отпугивала хина: горечь еще полбеды, пугали глухота, насморк, слезотечение. Шепоток бабок — безопаснее: не вылечат, так и вреда никакого... Судьба!

Но именно ею, этой болотницей, и воспользовались какие-то подлецы. Сначала по рязанским деревням и селам загулял, а потом и на Тамбовщину перешел слух, будто учеными установлено, что пары торфяных болот стали до того вредными, что любой человек дохнет — и «схлопочет» себе болотницу, да не такую, как прежде: два-три года побалует человеком — и каюк. Комары? Может, и комары играют какую-то роль, но главное — дыхание болот. Оно и комаров делает ядовитыми!

Опанасенко сам выезжал в Рязань с бригадой ИТР торфоуправления, подняли на ноги и медиков, но половина разбежавшихся так и не вернулась. Однако ореховцы не растерялись: на объединенном совещании бюро райкома партии, ВЛКСМ и райпрофбюро было принято решение обеспечить рабочей силой торфоразработки за счет местной мобилизации, а когда стали фабрики, еще тысячу текстильщиков послали на торф — вот и притих город.

Но что-то еще неприятное было в этой непривычной тишине.

«Да, обгорелые стены прядильной № 1».

Напасть на след тех, которые подожгли зимой фабрику, до сих пор не удалось.

«Не все удается», — нахмурился Степан, подумав о капитане Нефедове. Было это тоже зимой.

Чекисты, наблюдавшие за домом профессора, доложили о подозрительном неизвестном, который мелькает в окнах, но из дому никуда не выходит.

«Не он ли?» — предположил Зимин, не забывший об исчезновении в Маньчжурии командира «заградителей».

Сокольники отключили от электросети. Под видом монтеров чекисты пришли в дом Нефедова. На вешалке увидели мужское пальто, не профессорское, но в комнатах, кроме хозяина, его племянницы и прислуги, никого не обнаружили: или хорошо спрятался, или успел уйти в потемках, так и исчез... Кашинская дача тоже была взята под наблюдение: зимой жили там жена профессора и Успенский, а в конце весны приехала племянница. Зимин и тот уже начал думать: «Черт его знает, может быть, померещилось товарищам». И вот эта вчерашняя телеграмма... Если даже и ошибочно предположение о капитане, все равно кто-то там есть.

Степан снял рубашку, обтер влажное тело полотенцем и подошел к телефону. Зимина в отделе не было, трубку взял дежурный.

— Приеду в десять утра, — сказал ему Степан.

Но когда в половине одиннадцатого зазвонил телефон, он даже не пошевельнулся, не слышал и как открылась не запертая им дверь.

Зимин постоял возле кровати. Лицо друга казалось рябым от капелек пота, дыхание шумное, с хрипотой,

голова пепельно-серая. А давно ли на фронтах гражданской войны все завидовали недюжинной силе комиссара Орлова? Думалось, никогда износа не будет его могучему организму, и вот сгорает на глазах.

«Вижу, — сказал об этом недавно Менжинский, — и мысленно обнажаю перед ним голову. Большего ничего сейчас сделать не могу!»

Да, так получилось, что душой раскрытия контрреволюционного заговора стал этот человек, которого врачи приговорили к постельному режиму; все нити в его руках, и арестованные вредители, чувствовалось это, больше всего боялись вызова на допрос к Степану — спокойному, холодноватому, ничего не забывающему.

Часы и деление суток на дни и ночи — это, кажется, не для него.

Есть просто работа и есть сверкание таланта. Работа Степана Орлова была чуть ли не сплошь таким сверканием, и товарищи привыкли уже: если дело запутано и обнаруженная нить завела в тупик, надо идти к Степану.

Менжинского это сердило. «Не забывайте, что у Степана Петровича был инфаркт. Оберегать надо. А главное, уметь вовремя подставить свои плечи, чтобы принять на них побольше груза; себе побольше, ему поменьше...»

А возникал тупик, и он сам, хмурясь, говорил:

— Идите к Орлову.

Что ж, он имел на это право—и не только как председатель ОГПУ... в кармане тоже носил коробочку с нитроглицерином и нередко выслушивал очередные доклады в постели.

Сказать ему в такие минуты, чтобы поберег себя, значило вызвать вспышку гнева. Вот и сейчас Зимина привели в квартиру Степана эти три слова:

— Идите к Орлову.

В Кашине действительно был капитан Нефедов. Зинченко арестовал его на городском валу, когда мать передавала ему телеграмму. Во время обыска на даче капитану дали возможность «бежать».

До середины ночи просидел он в кустах за монастырской стеной, потом пробрался на станцию, взял билет до Москвы. В один вагон с ним сели трое чекистов, и все же упустили — выпрыгнул на ходу.

Рации на даче не оказалось, но... зато был обнару-

жен тайник с разобранным оружием. Зинченко слишком поздно сообразил, что не следовало его обнаруживать. Оставить теперь это без последствия нельзя: бандит с профессорским званием сейчас же заподозрит неладное, приписать его сыну тоже не очень надежно... Оружие заржавленное, и Федор Ефремович это, безусловно, знает. Оставалось принять версию, которую выдвинет сам профессор. Сделать вид, что доверие к нему не пошатнулось, тоже нельзя. Очевидно, акцент должен стоять не на тайнике оружия, а на укрывательстве сына-белогвардейца. Доказательство своего алиби предоставить самому профессору и сроком не ограничивать. Это даст ему почувствовать, что полностью ему в доверии не отказано, и, значит, о раскрытии его преступной деятельности в «Промпартии» не может быть речи, и что обыск на даче — всего-навсего досадная случайность, вызванная неосторожностью сына, наведшего на свой след ГПУ.

Так что предстоял не допрос, а подлинная актерская игра, в которой не должны сфальшивить и насторожить профессора ни глаза, ни тон. Трудное задание, но он, Зимин, все же рассчитывал с ним справиться, однако Менжинский считал, что Орлов хладнокровнее и вернее проведет этот продиктованный осложнившейся обстановкой поединок.

— Степан!

Не пошевельнулся. Зимин поправил его свесившуюся затекшую руку и отошел. Так же тихо набрал он номер помощника Менжинского и доложил, что Орлов спит, как мертвый.

— Минутку! — сказал тот, но прошло не меньше пяти, прежде чем в трубке раздался его голос: — Товарищ Зимин? Приказано не будить!

Зимин кивнул. Положив трубку, написал на листочке:

«Не пугайся, «арестовал» тебя я. Позвони в отдел— освободим немедленно. Алексей».

Звякнул телефон, и он снял трубку с рычажков, задернул на окнах занавески.

Ключ торчал в двери. Зимин запер ее.

Вторично приехал он вечером. Степан все еще спал.

Зимин вынул из портфеля булку, банку рыбных консервов и прошел на кухню. Чайник был наполнен водой.

Он поставил его на плитку и, вернувшись в комнату, включил свет.

— Степан!

Храп оборвался. Степан удивленно посмотрел на улыбающегося друга, сел рывком:

— Сколько времени?

— Пятнадцать минут десятого.

— Да? А я думал, проспал, но подожди... почему свет?

— Потому что пятнадцать минут десятого.

Степан отбросил одеяло и подошел к окну. Москва перемигивалась огнями.

— Веселое дело! — сказал он на ходу. Струю из крана пустил на полный напор. — Менжинский спрашивал меня?

— Да, — рассеянно отозвался Зимин.

В полдень у него состоялась встреча с Нефедовым. Самообладание редкостное! Вину свою за укрывательство сына не отрицал, но с достоинством подчеркивал свою уверенность, что сын его вернулся не врагом Советской России. Не растерялся, когда речь зашла и об оружии. Оказывается, в годы гражданской войны на даче жили посторонние люди. Очевидно, это дело кого-то из них.

«Ну что же — посторонние, так посторонние. На сегодня эта версия устраивает не только главу НИТИ!»

Не смыв путем мыло, Степан сдернул с гвоздя полотенце.

— В двенадцать он едет с докладом в ЦК, — раскрывая ножом консервную банку, ответил на его спрашивающий взгляд Зимин.

— И мы?

— Может быть. Да ты не спеши, он ждет нас в десять.

— Веселое дело, — надевая рубашку, повторил Степан, — Леша, а где...

Но Зимин был уже на кухне.

— Закипает! Пока со шпротами управляешься, и чай подоспеет.

— Спасибо. Я спрашиваю, где ты такое богатство отхватил?

— Шпроты? В буфет перед вечером привезли. По две банки на брата. Вторую твою я в кабинете оста-

вил. — Зимин вышел из кухни, смеясь. — Побоялся, как бы ты после такого богатырского сна с ними разом не расправился.

— Храпанул! Совестно даже. — Степан стянул на себе ремень и взялся за портупею. — Признаться, Алексей, перепугался утром.

— А что?

— Да сердце. Подумал, что и в самом деле в тихую пристань пора, а оказалось, просто выспаться надо было.—Он разломил булку, за вилкой идти не захотелось— подцепил золотистую, капающую маслом рыбешку на кончик ножа. — Хороша! Еще раз спасибо, Леша. Аппетитище, — кажется, и смолоду такого не было! Не забыл, как выскребывали мы котелки у костра? Да, как в Кашине?

— Скрылся.

Степан положил на стол ножик.

— Мобилизовали население двух деревень, но... место такое — лес, болота.

— Геннадий Нефедов?

— Геннадий Нефедов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из канцелярии тоже все уже ушли, но дверь с блестящей дощечкой

ДИРЕКТОР НИТИ
ПРОФ. НЕФЕДОВ Ф. Е.

была полуоткрыта, и Ксения с облегчением перевела дух.

«Куда-то вышел», — подумала она и, помедлив, прошла внутрь.

Массивные книжные шкафы. Полки с пробирками, колбами. Коллекции разных сортов хлопка и пряжи, наклееные на картонные листы, образцы тканей, диаграммы, чертежи машин.

Ксения всегда испытывала какой-то внутренний трепет, входя в этот кабинет, где все было так строго и внушительно, вплоть до тяжелых портьер. И дядя казался здесь совсем другим. Во всяком случае, она ни за что не осмелилась бы обнять его в этих стенах и сказать

«мой дядястый». Сколько по всем этажам кабинетов, лабораторий, отделов — и все это организовано им, живет его идеями и мыслями. Стоило услышать, как сотрудники произносили его имя, чтобы само собой подумалось, что здесь он если и не бог, то во всяком случае такая величина, на которую простые смертные смотрят отступя и запрокинув голову.

Эта атмосфера авторитета и культа профессора Нефедова невольно пронизывала и ее, особенно на пороге его кабинета. Но сейчас Ксения даже и не заметила, как прошла по ковру к столу и устало опустилась в кресло.

Вечер, а Москва в открытую форточку дышала почти дневным зноем. Ртутный столбик термометра тянулся к 27.

Она провела рукой по глазам. Бывает же такое ощущение, будто лицо опутано паутиной, и хотя знаешь — нет никакой паутины, а руки так и поднимаются, чтобы стереть ее. Было ли когда так прежде? Не помнилось. Беспокойство и смутность на душе — это понятно: хотя Геннадий вернулся не врагом, но жил нелегально и в глазах закона оставался государственным преступником — от этой мысли трудно было уйти. И совсем невозможно — от другой: что это ложь, будто все, связанное в душе с Илюшей Орловым, «быльем поросло». Та зимняя встреча на вокзале подтвердила — все живо!

По статьям в «Комсомольской правде» она знала, где он, но хотелось быть с ним рядом, дышать одним воздухом, жить одной жизнью. Прошлогодний разрыв вспоминался как что-то до дикости противоестественное. Им обязательно нужно было встретиться, чтобы еще раз понять друг друга, и никогда уже не расставаться, но встрече этой не бывать, пока между ними стоит Геннадий.

Слезы, попадавшие на губы, были нестерпимо горькими. Да, встревоженность, смутность, боль и горечь — все это было, а паутина... Впервые ощутила она ее, когда чекисты обнаружили на чердаке револьверы, разобранные винтовки, коробки с гильзами, пулеметные ленты... И как все это могло оказаться на даче? Кто захоронил? Нет, какая-либо причастность к этому Геннадия была немыслима. Жил он вместе с Успенским за две станции от Кашина, летом наведывался всего два раза — поэтому и сказала она уверенно:

— Это не наше.

Но чекист усмехнулся:

— Цэ так, барышня, — и Гнат не выноват, и Марына не вынна...

Не поверил он, не поверят и другие. Протокол, который ей пришлось подписать, потому что тетя Вика еще не пришла в себя от свалившего ее обморока, начинался словами:

«Во время обыска на даче профессора Нефедова Федора Ефремовича...»

Дядя и тайный склад! Дядя и какие-то преступные антисоветские замыслы — могло ли быть что-либо абсурднее? Но это ведь для нее, а для других? Другие могут и не поверить, как не поверил в непричастность Геннадия чекист.

Другие вспомнят, наверное, в первую очередь, что когда-то дядя был кадетом, и могут взять под подозрение всю его самоотверженную деятельность по возрождению советского текстиля.

Мысль эта так напугала ее, что она не дождалась даже, что скажут вызванные к тете Вике врачи, — времени до отхода поезда оставалось в обрез, и всю дорогу от Кашина до Москвы не отпускала ее нервная дрожь.

Колеса, казалось, слишком уж медлительно перестукивались, а ей надо было скорее увидеть дядю, чтобы... рассказать ему? Нет, это можно было сделать и в телеграмме и по телефону, и, наверное, тетя Вика уже сообщила, а она спешила, чтобы просто быть рядом с ним, чтобы он своим сердцем чувствовал ее сердце и знал, если только... Да, она найдет в себе силы постоять за того, кто заменил ей и отца и мать. Если понадобится, дойдет до самых верхов. Они знают Нефедова только как ученого и не знают его как человека. Только она знает его всего. Как любил он свое подмосковное имение, каждую травинку оберегал в нем! Когда отбирали, словно окаменел и на много лет постарел сразу. Тетя Вика так и не смогла простить революции утраты имения и денег, а он перешагнул через это. Да только ли перешагнул?

Давно уж это было, а так живо все помнилось.

...С утра дядя выбрился, надел праздничный костюм и на вопрос тети, далеко ли, сказал: «Куда душа зовет, Вика... Сейчас ты это не поймешь, не расспрашивай».

А вечером приехала тетя Тоня, не раздеваясь, спросила:

— Федора нет? Так это правда?

— Что? — не поняла ее тетя Вика.

— А то, что он продался большевикам?

— С ума сошла, Тонька!

— Вся Москва говорит — красный профессор! А вот и он!

А дядя Федя распахнул дверь и остановился у порога — лицо усталое, но довольное.

— Где ты был? — побледнела тетя Вика.

— На службе, дорогая, хватит бездельничать.

— На какой службе?

— Открываем текстильный институт. Здравствуй, Тоня!

Антонина Ефремовна хлопнула дверью. Дядя рассмеялся. Но услышав, что тетя Вика всхлипнула, шагнул к ней и закричал:

— Покойников в этом доме пока нет, прекратить причитания!

Тетя продолжала рыдать. Дядя махнул рукой и закрылся в своем кабинете. Ее, Ксению, увели в детскую, уложили в постель, но когда она засыпала, в доме опять поднялся шум.

Напуганная им, в ночной рубашечке, босиком выбежала из комнаты. Прихожая — полна кричащих людей, и глаза у всех злые-презлые. Она кинулась к дяде, встала рядом с ним со сжатыми кулаками, а он взял ее на руки и ласково шепнул:

— Ничего они нам с тобой не сделают, успокойся, дочурка.

— Зачем они здесь? — шепнула и она, обвив его шею голыми ручонками. — Прогони их, дядюшка.

— Ты хочешь этого? — улыбнулся он.

— Да.

— Слышали, господа? Пошли все вон отсюда! Поумнеете — придете.

Сказал и понес ее в комнату, положил на постель.

— Спи, моя телохранительница, спи, дочурка.

В прихожей и под окнами все еще шумели — что-то о сребренниках и большевиках, а дядя сидел на краю постели, гладил ее волосы и тихо, как в те дни, когда она была совсем малышкой, напевал:

Спи, моя радость, усни,
В доме погасли огни...

Помнился и приезд корреспондентов центральных газет. Правда, она ни слова из их беседы с дядей не слышала, да если б и слышала, вряд ли поняла бы, но два года назад искала в газетных подшивках нужные ему материалы и в «Известиях» за январь двадцатого года увидела его фото под заголовком:

«ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ»

Вопросы были набраны крупным шрифтом, ответы курсивом:

«ЗА РУБЕЖОМ ПОЯВИЛИСЬ СООБЩЕНИЯ, БУДТО БОЛЬШЕВИКИ УГРОЗАМИ ЗАСТАВИЛИ ВАС ПОЙТИ К НИМ НА СЛУЖБУ, ТАК ЛИ ЭТО?»

«Не только угроз, и приглашения не было».

«ЧТО ПОБУДИЛО ВАС НА ЭТОТ ШАГ?»

«Я уже старик, не в могилу же уносить мне свои знания».

«КАКОЕ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ?»

Ответ дяди на этот вопрос был дан с комментариями:

«Профессор Нефедов долго молчал, потом вздохнул, но ответил так же честно:

«Сказать, что я стал большевиком, было бы лицемерием; сказать, что я равнодушен к тому, что происходит вокруг меня, было бы неправдой. Впрочем, это, кажется, уже лишне комментировать, иначе не пришел бы я сам к Советской власти и не сказал бы ей: вот мои силы, опыт и знания — берите их».

Коммунизм... ведь это прежде всего новые человеческие отношения. Насколько разбирается она в политике, все, что делается теперь, — это во имя человека.

Да и в центре всех деяний — опять-таки человек. «Реальность наших планов — это мы с вами...» «Кадры решают все». А дядя... Если понадобится назвать одним словом специалистов текстильной промышленности с высшим образованием, то более точного слова, чем «нефедовцы», и не придумать. Все они — ученики дяди, и новая техническая мысль на текстильные фабрики идет сейчас из НИТИ, то есть тоже от дяди. Не может коммунистическая партия допустить, чтобы оскорбили словом или действием такого человека, которому если и есть что поставить в строку, то лишь отцовское чувство.

— Гена бежал из плена, — сказал он в тот зимний день, когда Геннадий вышел из его кабинета, а она пришла на зов. И на ее вопрос — был ли в Китае — кивком подтвердил: «Да!»

— Значит, он враг?

— Он мой сын и твой брат. Ну чего ты так смотришь? О чем ты думаешь?

— Я была на встрече героев ОКДВА.

— Мне ты веришь? — гневно крикнул дядя.

— Дядюшка!

— Веришь, что, если бы сын мой оказался подлецом, я без колебаний заявил бы: у меня нет сына. Веришь этому?

Да, она, конечно, верила.

— Ну, слушай,— сказал дядя, — я твердо говорю: у меня есть сын! Я добьюсь для него права жить свободно на родине. Но мне нужна твоя помощь, дочурка.

— Какая, дядя?

— Надо, чтобы до того дня, когда он сможет открыто занять свое место в нашей жизни, никто не знал бы, что он дома. Если не ради него, своего брата, то ради меня, старика, будь для него ангелом-хранителем. Спаси его для меня — сын ведь мой. Генка!

Дядя обнял ее, и она почувствовала, как с его щеки на шею ей упала его слеза.

Ксения вздохнула. Выезжая из Кашина, она думала, что Геннадий или в городе, или в его окрестностях: бежал он через курортный сад в сторону девичьего монастыря. Но уже в пути за Калязиным услышала разговор, будто ночью выпрыгнул здесь из вагона какой-то опасный преступник, и сразу подумала: не Геннадий ли?

Скрылся он или арестован? Она не знала, что было бы для брата лучше, — и то и другое нехорошо, и не знала также, как рассказать обо всем этом дяде. А может быть, ему и это уже известно. Нет, не смог бы работать, если бы знал.

Послышались шаги, Ксения поднялась, но в раскрывшуюся дверь, поблескивая очками, вошел ученый секретарь института.

— О! — воскликнул он от порога. — А Федор Ефремович?..

— Разве он не в институте?

— Я думал, что вы с ним приехали, — сказал ста-

рик и, перехватив ее взгляд на разбросанных по столу бумагах, пояснил: — Это я здесь расположился.

— Давно уехал он, Дементий Егорович?

— А он совсем не был сегодня.

— И дома не был...

— Д-да, — озадаченно проговорил ученый секретарь. Губы его шевельнулись: видимо, хотел что-то спросить и не решился.

Она тоже не решилась спросить: «А не приезжали ли к дяде из ГПУ?». Сказала: «Извините!» — и вышла.

Анфиса поджидала ее, сидя на крылечке дома.

— Не приезжал?

— Нет-с.

Чувствуя, как скапливается в груди холод, Ксения прошла в кабинет, отыскала в абонентной книжке коммутатор ГПУ и позвонила:

— Скажите, у кого можно навести справку о человеке, который... Не знаю, как сказать, ну... — она глотнула слезы, — не арестован ли он?

— По телефону таких справок не дают, — резко, наверное, рассердившись, сказала телефонистка.

Ксения продолжала держать в дрожащей руке разъединившуюся трубку. Слышалась музыка.

«Эгмонт»? Да, «Эгмонт», которого играла она рабочим Трехгорки, но сейчас в мелодии слышалось что-то фальшивое и грубое. Нет, это не в мелодии — гудки в трубке, частые, торопливые... Неужели арестован? Дядя! Профессор Нефедов! Директор НИТИ! Человек, все свои силы и знания отдавший возрождению России...

«Нет... Нет... Нет!»

Ночь прошла томительно, без сна. Когда заговорило радио, Ксения оделась и поехала на Лубянку. Но в комендатуре ей тоже сказали, что справок таких не дают.

Все же комендант позвонил куда-то. «Нет».

Но почему во время этого телефонного разговора он спросил, пристально взглянув на нее: «Кем вы доводитесь профессору? — и повторил в трубку: — Племянница».

Как узнать правду? Где?

«Илюша!» — Успенский говорил, что отец его работает на Лубянке. Но вспомнилось: «Нельзя мешать так личное и государственное», — и она покачала головой,

хотя и не о заступничестве думала. Оружие на даче... Геннадий... Глаза Илюши сразу насторожатся... а она не хотела, чтобы он смотрел на нее настороженно.

Дома позвонила в институт.

— Да вы что, Ксения Владимировна! — воскликнул Дементий Егорович, когда она попросила его обратиться в ОГПУ от имени НИТИ, и повесил трубку, но тотчас же позвонил сам: — Я хочу сказать — напрасно вы так волнуетесь: Федор Ефремович частенько бывает в отлучках и не всегда ставит в известность нас.

Это верно, случалось, неделями, а то и месяцами не заявлялся дядя домой, однако тогда ведь не было того, что произошло теперь в Кашине! А может быть, Дементий Егорович все же прав?

— Покушаете, Ксюшенька? — спросила Анфиса.

— Не хочется.

В столе она нашла дядину телефонную книжку и обзвонила всех знакомых и многих незнакомых ей лиц.

«Нет...» «Не был...»

«А Опанасенко?» — будто шепнул кто в комнате. Глаза ее оживились.

Леонтий Петрович! Дядя и тетя никогда не говорили ей о нем, и, понятно, услышав от Илюши, что Нефедовы отобрали ее у Опанасенко через суд, она рассмеялась:

— С кем-то путаете меня вы. (Тогда еще они были на «вы».)

— Конечно, нет ничего удивительного, что вы не помните, — сказал он. — Сколько было тогда вам? Месяца три-четыре?

— А вам, Илья Степанович?

— Столько же и плюс десять дней, но сумму эту надо взять в скобки и перед ними поставить минус. Произошло это, Ксения Владимировна, недели за две до приезда в Орехово-Зуево моей матери с Василием, которому тогда только-только два года сравнялось, и еще... Короче сказать, получилось так, Ксения Владимировна, что в той самой комнате, в которой попискивали вы, дней через десять заголосил второй малец, о котором тот же Опанасенко в святой час рождения сказал: «Настоящий Илья Муромец... Пусть Ильей и зовется, а?» А вы не верите, что мы родня! Одни и те же руки тютюшкали, извините за выражение, наши попки, а кро-

ватка, изготовленная для Ксении, очень пригодилась для Ильи.

Она от души смеялась, слушая эту его шутливую «мистификацию», и в тот же день, желая повеселить склонившуюся над книгой тетю Вику, с самым серьезным видом спросила:

— А кто такой Опанасенко?

— Что за Опанасенко? — насторожилась тетя.

— Кажется, Леонтий Петрович.

— Ах, Леонтий!.. Ухаживал когда-то за мной... Чудак!

— Почему чудак?

— Как все влюбленные.

— Он был влюблен в вас?

— Не девичий разговор затеяла, Ксения, — рассердилась тетя Вика. А когда укладывались спать, засмеялась: — Представляю, что было бы со мной теперь, если бы я стала тогда госпожой Опанасенко.

— Тетя, так, значит, и это правда, что вы судились с ним за меня?

Тетя Вика выронила из рук простыню.

— Кто наговорил тебе... такую чепуху? — побледнела и вновь вспыхнула, заходили, по всему лицу разбежались багровые пятна, и она, Ксения, поняла: правда!

А через неделю пришло гневное письмо дяди Феди. Вероятно, все было гораздо сложнее, то есть суть дела не только в ней. Почему папа в свой смертный час завещал ее университетскому другу, а не родной сестре? Что произошло между ними? А может быть, между ним и дядей Федей? Возможность проникнуть в эту тайну имелась: Опанасенко должен знать все. Но когда Илюша там же, в Кашине, показал ей запечатанное письмо, на котором в графе «кому» значилось: «Опанасенко Л. П.», и сказал: «Вот удивится старик и, само собой, обрадуется», — она испугалась.

— Не надо, прошу вас.

— Почему?

— Написать об этом первой, вернее, встретиться с ним надо мне, но я сейчас не могу, не готова, понимаете? Ведь все это так неожиданно. Дайте слово, что не отправите?

Однако ни тогда, ни после она так и не написала.

«Знать все — значит, невольно стать чем-то вроде судьи. Судьи над кем? Над дядей Федей!»

Успенский говорил, что Леонтий Петрович какое-то «партийное начальство». Но для нее сейчас важно было другое, что он — друг ее отца и... друг Степана Орлова.

Анфиса принесла тарелку с борщом в кабинет.

— Скушайте! Не хватает еще, чтобы и вы слегли, что я тогда буду делать? Силы-то в себе беречь надобно.

Силы? Это верно: силы нужны ей — не для себя, для дяди.

Она пододвинула тарелку. К большому удовольствию Анфисы, не отказалась и от котлет.

— Чайку?

— Не надо.

— Тогда вздремнули бы, может, а?

Ксения не ответила.

Мысли ее продолжали быть около Илюши и Опанасенко. Ведь ей только выяснить, где дядя и в чем его обвиняют. Больше ничего не надо — только выяснить. Она вышла из кабинета, надела жакетку.

— Не ждите меня, Анфиса, — вернусь я, наверное, очень поздно.

На петушинский поезд опоздала. Следующий в сторону Орехово-Зуева — не то ковровский, не то владимирский — отправлялся в 22.10. С ним Ксения и выехала из Москвы.

Сначала за окнами сгущалась темь, потом засветились звезды... Пассажиры дремали. Но в Дрезне в вагон тесно набились чем-то всполошенные люди, говорили о каком-то пожаре. Ксения вышла на площадку, а в Орехово-Зуеве спрыгнула с подножки и сразу оказалась в толпе, с взволнованным гулом смотревшей на огромное зарево, багрянившее небо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пожар начался около полуночи, вероятно, в те самые минуты, когда Илья с запыленным чемоданом шел мимо Дома Советов. В райкомовских окнах горел свет, и он решил «забежать на минутку».

В комнатах комсомольского райкома уборщица Мотя мыла пол.

— Кто там прет? Обождите, — проворчала она, не поднимая головы, а взглянула — и всплеснула руками. — Ой, загорели-то как! Илья Степанович! Чистый азиат!..

— В таком случае, салам алейкум, Мотя-апа, — пошутил Илья, белозубо сверкнув улыбкой. — Что это вы в такой час?

Уборщица с ног до головы оглядела его -- пропыленного, темно-бронзового, да еще в тюбетейке, потом сказала:

— Вечером в распределителе воблу давали. Отпросилась у Опанасенко, а зря: все равно не достала. — Она локтем смахнула пот со лба, заодно отодвинула и сбившиеся к глазам волосы.

— Ося на почтамт побежал. Остальной весь народ у нас мобилизованный.

— Куда?

— На торф, куда же еще.

Илья подумал, что уборщица что-то путает. В последнем письме, пришедшем к нему в Среднюю Азию отсюда, сообщалось, что план добычи торфа перевыполнялся и там, где по-старинному резали его на куски—кирпичи, и на фрезерных участках.

В кабинете на полу валялись листки, исписанные рукой Гольдштейна, — фамилии, цифры... Илья положил их на стол, придавил пресс-папье, чтобы ветром опять не сдунуло, и вышел.

На лестничной площадке повстречался с Максимом, работавшим теперь инструктором райкома, и от него узнал, что недели две назад к торфяникам стали приходить письма: «Останетесь на торфе — из колхоза выпишут и земли не дадут». Первыми снялись торфяники и торфяницы из Сасовского района, а следом за ними потребовали расчета и другие сезонники.

— А вы где же были? Допустить, чтобы в разгар сезона вражеская выдумка увела с торфа столько людей?

— В том-то и беда, товарищ Орлов, что это не выдумка.

— Не понимаю.

— Ездили наши туда, прямо в Сасово, а там в райкоме знаешь кто? Куницын.

— Вот как! И что он?

— Сказал, что его район — район сплошной коллек-

тивизации, кулаков ликвидировали и ликвидируют так же всех, кто не хочет вкладывать свои силы в развитие колхоза и ищет доходов на стороне. Это, дескать, наследие прошлого, с которым районное руководство поведет непримиримую борьбу. В деревнях ропот: земли-то там не так уж много, всех не прокормит. Да тебе лучше об этом редактор наш расскажет, он дежурит сейчас.

В общем отделе стучали своими «ундервудами» машинистки, а за столом заведующего отделом кадров незнакомый парень в круглых очках правил гранки. Илья догадался, что это и есть новый редактор газеты. А тот отодвинул в сторону влажные полосы, лицо приветливо оживилось:

— Товарищ Орлов?

— Доброго здоровья, Михаил Васильевич! Так ведь?

— Так. Но можно и короче — Михаил, Миша.

— Меня можно тоже покороче, чем товарищ Орлов,— засмеялся Илья. — Леонтий Петрович на торфе?

— В Кабанове. Там кулаки вывели из строя наши тракторы.

— Арестовали?

— Наверное. Вместе с Опанасенко выехали туда товарищи из ГПУ. А как там, Илья?

Орлов сел, руки положил на стол. Они были как из чугуна, а кое-где отливали даже синевой.

— Хорошо. Но о Средней Азии после.

Редактор скользнул взглядом по его лицу. С тех пор, как приехал он в этот город, чуть ли не каждый день слышит: «Илья говорил», «это Илья Орлов начал», «жаль, Илюши нет».

А недавно Опанасенко на бюро сказал: «Посекретарствую, товарищи, до съезда и попрошу вас другого посадить в этот кабинет»... «Больница манит?», — спросил его Волков с явным намерением обратить слова Леонтия Петровича в шутку, но тот не принял тона управляющего трестом, серьезно сказал: «Больница больницей, да и годы не те! Время, сами знаете, такое — и двадцати четырех часов в сутки мало, а старость есть старость». «О ком же вы думаете?»—«О каждом из вас, но, откровенно сказать, чаще о том, которого сейчас нет здесь».— «Предлагаешь Илью?»—удивилась Анна Леонидовна.— «А что?» — «Не молод ли?» — «Потянет!»

— Не все среднеазиатское солнце забрал?

— Для хлопка оставил. Значит, Куницын?

— Куницын, — подтвердил редактор, — точнее, не один Куницын. В других районах Рязани мы столкнулись с той же картиной.

— Да что там «Головокружение от успехов» не читали?

— В «Головокружении от успехов» о торфоразработках ничего не сказано, — усмехнулся редактор. — Глупость? Очевидная. С каждым годом будет у нас закладываться гигантов индустрии все больше и больше, а кто же построит их, а затем освоит, если деревни отгородятся от зова промышленных центров шлагбаумами? Вероятно, когда-нибудь не станет сезонных отхожих промыслов, но пока они есть, пока основной резерв рабочей силы для нас — деревня. И Сталинградский завод и Ростовский дают уже технику для наших сел, начнут скоро поступать на поля тракторы с маркой «Челябинск». Техника! А она ведь не только облегчает труд, но и высвобождает из производства излишки рабочей силы. Где сегодня заняты сто человек, завтра управятся десять, а может быть, и один. Вот они и нескончаемые резервы. Не знаю, как оно сложится... Может быть, по-прежнему сезонники будут заработки опускать в свой карман, а может быть, пойдут в общеколхозную кассу, создавая заинтересованность колхозов. Это дело будущего, а сейчас... — редактор досадливо махнул рукой.

— Что сейчас?

— Крестьяне там требуют роспуска колхозов.

— Меня интересует, что предпринято нашим райкомом?

— Материалы об этом явном перегибе Опанасенко передал в ЦК, но ждать сложа руки, пока в верхах разберутся и наведут порядок, мы, конечно, не могли. Если фабрики станут еще из-за топлива...

Илья согласно кивнул и снял трубку.

— Орлову? — переспросила его телефонистка с коммутатора райпрофбюро. — Нет в городе.

— Анна Леонидовна на торфе, — сказал редактор,— все там. Я, как видишь, исключение: от газеты не оторвешься, ну и приплюсовали мне по сему случаю дежурство — час у себя, час здесь и так далее.

Илья протянул ему руку.

— Рад знакомству, Миша! — Редактор действитель-

но ему понравился: чувствовалось — с огоньком парень. — Давно на газетной работе?

— Прямо из Свердловки.

— Да ну? Я ведь тоже свердловец, значит, тезки, Миша. — Илья тряхнул редактора за плечо: — Салам алейкум, уртак и орманг!

— «Салам алейкум» — знаю, а что такое «орманг»?

— По-нашему, по-среднеазиатскому, это словечко говорят вот таким джигитам, как ты, и означает оно «не уставай», то есть и дежурство справь и газету дай в срок, и не какую-нибудь, а чтобы барабаны в ней слышались и «брюки трещали в шагу». Кстати, на «салам алейкум» принято отвечать «ва алейкум салам»—и вам мир и привет. А на «орманг» — «борбулинг» — благоденствуйте. Ну, пока, я пошел благоденствовать!

— Обожди, — засмеялся редактор, — ты же мне так и не сказал: как там?

— В Средней Азии? Что ж, пополню твой языковый багаж еще одним словом: якши!

— Из него я не приготовлю ни щец, ни лапши, а мне нужна... короткая информация о хлопковых делах. — Редактор вынул из папки чистый лист бумаги. — Ну хотя бы строк сто, а? Илюш!

— Нет, уртак, пока я не разберусь здесь, что и к чему, ты ни одной строки из меня не выжмешь; ведь я еще никого своих не видел. Вваливаюсь — пусто, одна Мотя.

— На торфе всех найдешь. Несколько строк, Илья, самую суть.

— Для сути несколько строк и не надо, она великолепно вмещается в одно слово: фронт!

— Кулаки?

— Когда говорят о Средней Азии, употребляют другое слово, товарищ редактор, — баи. Есть, конечно, баи, куда они денутся? О сплошной коллективизации в Средней Азии думать еще рановато, а поэтому и «разбаивания» нет, но это уже не те баи, что весной стреляли из-за дувалов. Нет, конечно, те же самые, но с поджатыми хвостами. Сунули в зубы им «твердое задание», и ничего, не рыпаются. Фронт, Миша, в другом, не в перестрелках. Ты где в годы гражданской был?

— Беспризорничал.

— А! Я в деревне. Да и не могло это на наших глазах

быть — год рождения не тот. Но те, что постарше нас годков на пять, до сей поры, наверное, помнят заколоченные двери городских и уездных комитетов комсомола и наспех приклеенные бумажки: «Никого нет. Все ушли на фронт». Вот такие же замки и сейчас на дверях среднеазиатских райкомов комсомола: «Приема нет — все на хлопковых полях». — Илья достал из кармана сложенный вчетверо листок. — Вот полюбуйся, телеграммы, сегодня утром прибывшие в ЦК.

Редактор надел очки.

«ТАШКЕНТ. 400 тысяч комсомольцев вышли на хлопковые поля. Обязуемся силами комсомола собрать не менее 25 процентов всего урожая.

Ташкентский обком ЛКСМУ».

«АШХАБАД. Вся организация, как один, работает на полях. Обеспечим советский текстиль отечественным хлопком»...

Дальше шли Фергана, Мерв, Андижан, Коканд, Фрунзе — четырехзначные и пятизначные цифры комсомольцев, мобилизовавшихся на хлопковый фронт.

— Просто здорово! А наши?

— Повсюду, конечно, — и на полях, и на строительстве каналов и хлопкоочистительных заводов.

— Полстранички о них, Илья!

— Два подвала обещаю, но только позже. Хайер![1] — Илья шутливо приложил руку к сердцу и вышел.

«Потянет!» — улыбнулся редактор.

А Илья шел по тихой, окутанной туманом улице и с удивлением чувствовал, что сна у него «ни в одном глазу», а подъезжая к Орехову, думал: «Доберусь до постели и просплю целые сутки».

Ключа в условленном месте не оказалось.

Илья пристроил чемодан под крыльцо и минут через десять был уже около третьей железнодорожной будки. Где-то здесь должна быть с детства знакомая тропинка, по которой можно добраться до узкоколейки, а та и приведет на торфоразработки. Вон она — витками сбегает с насыпи по выгоревшей траве к соснам.

Лес! Сколько исхожено тобой, Илья, здесь! Сколько грибов и ягод собрано! А помнишь первый пионерский

---

[1] До свиданья! (*узб.*).

лагерь? Правда, раскинут он был не в этих местах, на том берегу Клязьмы, но не все ли равно! Помнишь комсомольские и молодежные гулянья? А когда принимали тебя в партию... в тот день ты тоже пришел в этот лес — долго бродил по нему, потом лег под березой и сквозь серебрящееся кружево трепетной листвы смотрел на звезды, разгоравшиеся в вышине. Ты вроде ни о чем и не думал тогда, любовался волшебными красками ночи, вслушивался в шум леса — то бережно ласковый, то полный мятежного ропота, зовущий куда-то... Вслушивался, и на душе у тебя становилось все светлее, словно и в самом деле не ты думал, а лес рассказывал о великих свершениях, ожидающих твою страну, звал тебя к ним...

Игольник и шишки похрустывали под ногами. Тишина! Ветерок был, но какой-то не ночной и не московский, словно невидимая печь дышала в лицо. Сушь!

А вот и узкоколейка! Из-под кисеи расползшихся облаков выглянула луна. Свет ее мягко лег на рельсы. Слева к насыпи подступили кусты орешника, справа стояли сосны, а даль была какая-то странная.

Туман? А почему же здесь его нет? Хотя там ведь болото, а в воздухе — парко.

«И комаров, наверное, полчища». Илья усмехнулся,— ничего, в Средней Азии москитами обстрелян. Они хоть и поменьше комара, едва различимы на глаз, но доводилось слышать там, как с диким ревом удирали от них в камышовых зарослях тигры и кабаны.

А небо тоже было странным: облака с черными пятнами. И сами облака висели как бы застывшие, а пятна двигались. Птицы? Но откуда их столько? И в такой час! — Илья прислушался и остановился.

Гул... Треск ломаемых сучьев, топот, свист... Вот будто грозовой ветер прошел по кустам, зашелестел ими, закачал ветки... Зайцы!

Один косой присел между шпал с тяжело отдувающимися боками, второй перемахнул насыпь, и тотчас же вылетели из кустов — волк, из-за деревьев — лиса. Заяц на узкоколейке лишь пискнул, но не тронулся с места. Ни волк, ни лиса не задержались возле него. Тоже спасались бегством? От кого?

Илья посмотрел на небо. И крупные птицы и пташки кружили под облаками. Не то совы, не то два филина

прохлопали крыльями над самой головой. Он проводил их взглядом и замер: пахло дымом.

Так вот почему странной казалась даль: горел лес! Мелькнуло опасение — можно ли пройти? — и исчезло: там же свыше двух тысяч людей — его комсомольцы, мать...

Из кустов продолжали выскакивать какие-то звери — лай, рычанье, треск... Кто-то толкнулся в ноги. Илья подался в сторону и чуть не наступил на змею, переползавшую узкоколейку. Та подняла голову, покачала ею и, распустив собравшееся было в кольцо туловище, поползла дальше. Пронзительно кричали сороки, и где-то тоскливо, словно плач, раздавалось:

— Ку-ку, ку-ку...

«Торф! Во что бы то ни стало отстоять!..» Дым уже не только виделся, он забивал и нос и рот, слезой заволакивал глаза. Временами мутный полог, прикрывший лес по обе стороны узкоколейки, разрывался, показывая стволы берез и осин и мохнатые, будто присевшие наземь ели.

А вдали полог этот перевивала рыжина. Очевидно, там и бушевал огонь.

Голоса... Центральный участок, помнится, начинался сразу же после крутого поворота узкоколейки к карьерам, а поворот этот уже был... Или показалось так?

Свернув в сторону, Илья топнул — дорога. Пошел краем ее и натолкнулся на строение. Зажег спичку — кузница. Значит, все же он на центральном.

— Кто здесь? — раздался мужской голос.

— Орлов.

— Какой Орлов? — Из темноты двинулся на него мигающий огонек фонаря, и тот же голос, но уже дружелюбно проговорил:

— А, товарищ Орлов! Значит, в городе знают, что тут натворили гады?

— Поджог?

— Спрашивает!—удивился старик-охранник.—Чтобы само и со всех сторон разом — не бывает этак, Степаныч.

Из глубины леса доносились глухие удары.

— Народ там?

— И там и в других местах. Вокруг, говорю, полыхает.

Илья не стал терять время на расспросы и побежал,

выставив вперед руку, чтобы в темноте не наскочить на деревья. Чем ближе звуки топоров, тем становилось светлее.

— Быстрее! — услышал он и резко раздвинул кусты, которыми пробирался. Поляна. Люди рыли ров, а чуть дальше укрытая сухими листьями и игольником земля дымилась, вспыхивала — огонь цеплялся за ветки деревьев, там-то и ухали топоры, визжали пилы. В клубах дыма парни и девушки (кажется, это были его комсомольцы), загораживая лица, сбивали языки пламени ветками, затаптывали их. Но то, что охватывалось здесь глазом, было лишь началом, передним краем бушевавшей огненной стихии. Главные силы ее еще шли, и там, где они шли, стоял гул и треск, — необозримая сжирающая все на своем пути стена огня.

Конечно, и через ров она может перемахнуть с ветром. Но если еще до рва огонь натолкнется на голую площадку, присыпанную влажной землей?

— Быстрее! — торопил женский голос.

«Мать!»

По-мужски сильно выбрасывала она со дна рва землю. Илья подбежал, взял у нее заступ.

Анна Леонидовна распрямилась и, словно сын не был в отлучке больше трех месяцев, сказала:

— Ты? Вот и хорошо! Останешься здесь, а я к карьерам...

От горящих деревьев долетел крик: на ком-то вспыхнула одежда.

— Еще один! — с досадой вырвалось у Анны.

Пострадавшим оказался присучальщик с прядильной № 2 Нилов. Когда Анна, Илья и еще несколько человек подбежали, товарищи уже сбили с него огонь. Смущенный тем, что оторвал от дела столько людей, он обрадовался, когда кто-то подал ему топор, и яростно кинулся на задымившуюся рядом сосну.

— Не зарываться, товарищи, и держать друг друга в поле зрения! — крикнула Анна, вглядываясь в огненную стену. — Успеем? — спросила она Илью.

— А можем не успеть?

— То есть, имеем ли право? Нет, Илья! Там, где карьеры, на просушке добыча всего сезона, лишь позавчера начали вывозить, понимаешь? Все там!

— Волков здесь?

Анна закашлялась.

— Там. На три группы всех разбили. Третья где к Губинским болотам поворот, а слева... оттуда, говорят, огонь идет к городу, — там твоя Люба Архипова командует. — Она опять закашлялась. — Управишься здесь, половину народа к карьерам, половину туда.

— Ребята-а-а-а!

Люди, копавшие ров, выпрямились и смотрели назад. Занесенные ветром искры подожгли три дерева — два еще дымились, а третье, кажется, ель, уже лизали оранжевые языки...

Илья выхватил у стоявшего рядом с ним паренька топор, бросил к ногам его лопату и с разбега перемахнул ров. В пояснице остро кольнуло.

«Этого еще недоставало!»

Топор глухо увяз в обгорелом стволе. С трудом выдернув его обратно, Илья хрипло крикнул:

— Пилу!

Там, откуда он прибежал, загремело «ура» — не понял, почему: может быть, воду подвели?

— Обождите, девчата! — сказал он подбежавшим с пилой девушкам. Он размахнулся и одним ударом отсек дымившуюся нижнюю ветку. — Давайте!

Пилу ему подал какой-то красноармеец. Илья оглянулся через плечо: и во рву и дальше — парни в военных гимнастерках. Откуда взялись, расспрашивать не было времени, да и незачем. Он ухватился за рукоятку, кивнул.

Дым слезил глаза, в шею впивались искры, а рядом слышалось уханье топоров: вероятно, огонь все же перебросился на соседние деревья и с них обрубали ветки.

Зубья пилы тоже вязли в древесине, взвизгивали.

— Толкнем! — выдохнул Илья, заметив, что щель зашла уже за середину ствола.

Ель заскрипела, хрустнула.

— Дружней! — крикнул кто-то.

Не отнимая рук от ствола, Илья скосил глаза: командир — три кубика в петлицах.

Дрогнула, закачалась ель.

— Береги-ись!

Метнулся хвост искр, к рухнувшему дереву кинулись с ветками девушки. Илья локтем обтер с лица пот и

окликнул подбежавшего командира. Тот остановился.

— Пожар не только здесь.

Командир кивнул:

— Две роты пошли к карьерам.

— А в сторону Губинских болот?

— Не знаю.

— Удержитесь здесь?

— Думаю.

— Можно, значит, забрать народ?

Командир посмотрел вокруг и махнул рукой:

— Берите.

На всякий случай Илья оставил во рву с полсотни человек.

За кузницей его и бежавших за ним людей остановил знакомый голос:

— Куда, товарищи?

— К Губинским, Леонтий Петрович.

— Ты как здесь? — изумился Опанасенко. Ответа ждать не стал... — На третий участок, товарищи, горят бараки! Девушки... — Он хотел сказать, чтобы женщины остались здесь: третий участок — опасная зона.

А где они здесь неопасные? Где взять сейчас мужчин? Правда, кроме этой красноармейской части, что уже прибыла, в пути еще один полк, проходивший лагерное обучение под Егорьевском. Но ведь огонь на третьем участке не будет поджидать их.

— Скоро вас сменят. От имени горкома партии прошу отстоять бараки.

— Есть отстоять! Отстоим! — вразброд откликнулись голоса.

— Спасибо, — сказал Опанасенко и сам побежал рядом с Ильей.

Трех человек вывезла санитарная машина с третьего участка. Легко обожженных не считали, и все же, наверное, не отстоять бы бараки, не переменись ветер. Но лучше ли стало— черт его знает: огонь повалил в сторону железной дороги, туда с ходу послали прибывших из-под Егорьевска красноармейцев, а Илья с группой комсомольцев поспешили к карьерам.

Огонь то затихал здесь, то вспыхивал облаками. Стучали поршни и насосы, выкачивая из черных ям воду. Струи из брандспойта накрывали и горящие деревья и красноармейцев.

В качнувшейся стене дыма прорезались трещины. Участок горящего леса был не шире ста метров. И эти сто метров были теперь последним заслоном, за которым облака огня и дыма ползли по земле среди холмов и пней, где тлевших, где мерцавших фиолетовыми огарками. Сбить здесь огонь, и тогда еще можно надеяться отстоять карьеры, а не удастся — рвы и канавы ненадолго удержат перед собой эти рыжие и фиолетовые хвосты. Перемахнут они через гребень свежего грунта, и сразу загудит, забушует море огня, в котором обуглится и испепелится заготовленное на год топливо фабрик.

Шипение, треск — и пар и дым... С полтысячи человек рыли канавы и ров, но многие уже настолько выбились из сил, что едва вскидывали лопаты. Спрыгнув на дно, Илья опять очутился рядом с матерью; голова и лоб ее забинтованы какими-то тряпками, платье не то порвано, не то обгорело.

— Что случилось, мама?

— Что может случиться около огня! Не беспокойся, не опасно. Там как?

Илья не понял, где «там» — в лесу или на третьем участке?

— Еще полк прибыл, — сказал он, задержавшись взглядом на девушке в голубом платье, увлеченно кидавшей лопатой мокрую землю. Что-то очень знакомое почудилось ему в тугих ее косах, венком обвивших голову, в плавном очерке плеч и красивом изгибе спины. Была она... нет, не совсем босая, в чулках.

— К железной дороге направили их, — добавил он,— давай-ка, мама, лопату мне, отдохни.

Но Анна отвела его руку и кивнула на машинистку горисполкома: у той с лопаты все сваливалось еще до броска.

Краем траншеи красноармейцы несли товарища, безвольно повисшего на их плечах; кто-то из них бросил топор. Илья поднял его и пошел вперед, невольно закрывая глаза и сдерживая дыхание.

Мимо пробежали красноармейцы с горящим деревом.

«А, туда же краем выходит болото!» — оглянувшись им вслед, вспомнил Илья и одобрительно кивнул.

Где-то прошумела струя воды, вторая накрыла и его. Хорошо! И во рту вроде не так горько стало. Красноар-

мейцы в мокрых гимнастерках рубили дымящийся ясень. Ударит по стволу один и отскакивает, бьет второй. А неподалеку от них стояли еще три дерева: одно сплошь в огне, и, похоже... вот-вот рухнет: перегорело в комле, второе дымилось, третья — береза. Не задетая ни пламенем, ни искрами, распустила она по ветру зеленые косы, словно улететь пыталась.

Илья подбежал к тому, которое дымилось, плюнул на ладони и занес топор.

— Илюша!

Девушка в голубом платье, которую только что видел во рву! Всадив топор в ствол, он обернулся к ней, и пальцы на топорище разжались: «Ксюша!»

Ксения перехватила его взгляд на своих ногах и смущенно улыбнулась. Еще в пути поняла она всю нелепость своей поездки сюда... А когда людей, с которыми доехала в вагонетке до леса, поглотила темнота, и совсем растерялась. На соседней полянке кучно стояли человек десять, тоже, видать, не знавших, куда идти. Подошла к ним. Мимо пробежали парень и девушка с лопатами. Парень вернулся.

— На гулянье, граждане, сюда пришли? Карьер в опасности, людей не хватает, а вы...

— Мы посторонние, — отозвался мужской голос.

— Не советские, что ли?

— Пожарному делу не обучались, — с усмешкой сказал другой мужской голос, а женщина в белом платке подошла к парню вплотную, заглянула в лицо.

— Ударник? Ну и лезь в огонь, а нам ни к чему это, — и повернулась спиной.

Она, Ксения, решительно отделилась от этих людей.

— А смогу я здесь что-нибудь?

— Были бы руки да совесть на месте — каждый сможет. Ну а еще есть тут... не сволочи?

Вышли две девушки. Парень махнул рукой и, убедившись, что они все три стараются не отставать от него, побежал уже без оглядки.

Лес этот, что угрожал перекинуть огонь на штабеля торфа, был тогда тоже густым и темным, ров копали за ним, а деревья сводили вон там, где мигала сейчас земля фиолетовыми и рыжими вспышками.

— А вы... не на танцы, случайно? — Она не сразу поняла, что высокая женщина с красивым строгим лицом

говорила это ей. — Любоваться, по-моему, здесь нечем!

«А, туфли!» — хотела сказать, что других, специально пожарных, у нее нет, но женщина уже затерялась среди работающих.

— Граждане, кого подменить?

Оглянулась пожилая женщина в ватной жакетке:

— Меня подмени, милая, пойду водицы испить.

Лопата вошла в грунт наполовину и заупрямилась. Соседи надавливали ногой, надавила и она, но зацепилась каблуком и сбросила туфель, а второй — это после, когда вокруг зашумели:

— Сбивайте, топчите!

Думала — это тем, что с ветками: ее дело — копать и выбрасывать землю на растущий бугор, и она выбрасывала, пока не почувствовала — трудно и горько дышать. Выпрямилась, протерла глаза. Там, где красноармейцы расчищали лес, словно кто молоко разлил, и в этом «молоке» метались черные и красные пятна. Пригляделась попристальней: черные — люди, а красные — горела земля.

— Сбивайте!

Второпях забыла, что в одной туфле, — на бугре упала. И вторую сняла. Нельзя было, конечно, в одних чулках, но сообразила это она слишком поздно, когда ступила на дымящуюся землю.

«Илька, милый мой!» — улыбалась она, не замечая и не слыша, как позади нее, вскинув рой искр, стало клониться объятое пламенем дерево.

— Отойди! — будто плетью стегнуло ее это слово.

«Не простил, не хочет простить!»

Искры сыпались с вышины, жаля лицо и плечи, но какое это имело значение?

Побледневший Илья подскочил прыжком и уперся ладонями в падающее дерево — пламя лизнуло его голые пальцы, ухватилось за рукав рубашки.

— В сторону!

Она отбежала, а Илью подвела больная нога. Горящее дерево обрушилось ему на голову. Ничего не видя от боли, он напружинился, чтобы отшвырнуть дерево, а оно уже скатилось с правой ладони и опрокинуло его на спину. А может быть, сначала сам упал и потом был придавлен? Удара в грудь не ощутил, а вот позвоночник

словно на куски разлетелся, и тотчас же подернулось все непроглядной, летящей куда-то тьмой, и во тьме этой дико звучал голос Ксюши:

— Люди! Народ!

Не замечая, а вернее, не обращая внимания на то, что платье ее тоже дымилось и пламя жгло руки, Ксения пыталась свалить с Ильи дерево, но силы ее, хотя и удесятеренные отчаянием, были слишком малы для этого.

— На помощь! Люди!

Люди были уже возле. Десятки рук ухватились за дерево, с карьера ударили две струи. Дерево отшвырнули.

— Воде доступ! Отойдите с той стороны, — приказал кто-то из военных.

Струя накрыла распростертого Илью, сбила с одежды огонь. Растолкав оттеснивших ее людей, Ксения опустилась на колени.

— Родной!

Рубаха успела стлеть, ветер развевал черные лохмотья. Ксения приникла к его опаленной груди ухом.

— Жив!

— Илья! — услышала она и приподняла голову. Та... с красивым строгим лицом.

— Спокойней, товарищ Орлова, жив, — сказал кто-то, и она поняла: не однофамилица — мать!

— Беремте! — скомандовал рослый военный.

Рука Ильи, когда его подняли, безвольно повисла. Анна подхватила ее, положила на грудь и уже не выпускала из своей.

Изо рва спешили парни и девушки. Ксения слышала всполошенные голоса.

— Придавило деревом...

— Илья Орлов!

— Илюша!

Когда Илью положили под навесом наземь, он глухо простонал.

— Жив! — раздались голоса. Кто-то плакал.

— Машину! — заметалась Ксения. — Есть здесь машина?

— Побежали уж, — угрюмо отозвался паренек в майке. Анна положила голову сына себе на колени. Ксения нерешительно обняла ее за плечи.

— Анна Леонидовна!

Орлова взглянула на нее—и вдруг глаза полыхнули:

— Кто ты?

— Я... я Ксения.

— Уйди!

Из глубины леса донесся стонущий гул. Анна вздрогнула.

— По местам, товарищи...

Одни кинулись к опустевшему рву, другие будто и не слышали. Ксения чувствовала на себе их враждебные взгляды и понимала — так и должно быть: не кинься Илюша спасать ее — не он, а она лежала бы сейчас здесь, распростертая и обгоревшая... Если бы в самом деле так! Но вышло по-иному, и друзья его, конечно, имеют все права смотреть так на нее. А чтобы уйти ей... нет! Это не заставит ее сделать ни Анна Леонидовна, ни кто бы то ни было другой. У нее тоже есть права терзающегося, любящего сердца. Там, куда увезут его, она не подпустит к нему ни одну санитарку и отстоит, а если... До теми в глазах страшно было ей заглянуть в это возможное для него «если», о себе же знала: колеса поезда, река, яд — все равно что, жить с сознанием столь страшной вины она не сможет, да и зачем?

Прибежали санитары с носилками, Анна, когда уложили на них Илью, посмотрела вокруг. Через две недели начнет поступать хлопок. Торф к этому времени должен быть на складах фабрик, вот этот торф, на который с гулом наступал огонь.

— Поезжайте! Управимся! — зашумели рабочие.

Анна кивнула, благодарная за их чуткость к боли материнского сердца, но Илье нужны сейчас не материнская и не какая иная любовь — искусные руки хирурга, врачебные знания. Здесь же...

— Осторожней, прошу вас, не трясите, — сказала она санитарам и заспешила ко рву. Толпа хлынула за ней следом. Яростная схватка с огнем продолжалась. Дым — дым, и где-то в этом дыму неслась санитарная машина, дверцы которой захлопнулись у Ксении перед самым лицом.

Фельдшер сказал:

— Нет места, девушка.

Она побежала за машиной, пока не упала, а поднялась — вокруг лишь темный лес.

— Господи, за что?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

В четыре часа утра прибыли еще два полка, и командование решило, что орехово-зуевцев и торфяников можно удалить с пожара.

Усталые, но довольные собой люди битком забили вагонетки. Те, кто не смогли втиснуться и не захотели ждать возвращения паровозика, шли рядом с узкоколейкой, припоминая и обсуждая пережитое.

А молодежь торопилась к больнице.

— В сознании ваш Илья Орлов, — в который уже раз говорил сторож, не открывая калитку. — Ну позашибло малость, ну обожгло — с кем греха не бывает! Днем приходите проведать, да не все. Делегацию, что ль, какую изберите, всех все равно не пропустят: врачи у нас строгие, порядок блюдут.

Но парни и девушки не расходились — растрепанные, опаленные, некоторые с перевязанными головами; шум их голосов проникал в раскрытые окна больницы. На крыльцо ее вышел в белом халате... Опанасенко! Голоса стихли.

Леонтий Петрович прошел в калитку, и стало еще тише. Шелестели желтеющими листьями тополя.

— Разойдитесь, товарищи: здесь же не один он, мешаете больным спать.

— Мы уйдем. Узнать только.

Опанасенко медлительно оглядел толпу — во всех глазах читалось: «Выживет ли?»

Что можно сказать? Илье сильно зашибло голову, но ни это, ни ожоги, хотя на груди они очень серьезны, не могло привести его там в шоковое состояние. Беда — в позвоночнике. Перелом? Ушиб? Вывих? Мнения хирургов разошлись. Он тоже считал: самое большее — вывих. Но, может быть, это действительно потому, что страшила мысль о связанных с переломом последствиях. Настораживала и боль: трижды терял Илья сознание — на месте пожара, в машине и в рентгеновском кабинете.

— Я понимаю вас, товарищи. Если бы могли вы сейчас чем-то помочь Илье Орлову, я сам распахнул бы перед вами двери больницы, но... помочь вы сможете, если разойдетесь и не будете мешать тем, которые борются сейчас за жизнь Ильи. И не только Ильи.

— Леонтий Петрович! Может быть, вызвать из Моск-

вы профессоров? Мы поедем и добьемся, — сказала Люба Архипова, держа перед собой завязанную руку.

«Понадобится — вызовем и профессоров», — хотел ответить ей Опанасенко, но от крыльца его окликнула дежурившая в приемном покое врач Софья Андреевна.

— Уже, — сказала она.

В коридоре хирургического отделения рентгенолог, невропатолог и хирурги обступили у столика главврача, рассматривавшего снимки. Увидев торопливо прошедшего в двери Опанасенко, главврач молча протянул ему свернувшийся трубочкой черный лист. Леонтий Петрович чуть отступил, чтобы свет лампы падал прямее, прищурился. Один из позвонков слегка сместился, но разрывов не было. Не опуская руки, он посмотрел на хирурга, отстаивавшего предположение о переломе.

— Радуюсь, что ошибся, — улыбнулся тот, — впрочем, это стало ясно еще до рентгена: больной заснул.

— Морфий же, — сказал главврач.

Хирург махнул рукой.

— Доводилось иметь дела с переломами позвоночников. Здесь, други мои, два кубика морфина ничто.

— Гипс отпадает?

— Безусловно. Наше дело теперь — ожоги и травма черепа, а позвоночник — постольку, поскольку... — Хирург оглянулся на худощавого с седым «ежиком» невропатолога. — Вероятно, новокаиновая блокада? — Под левым глазом невропатолога подергивалась фиолетовая жилка, отчего казалось, что он все время подмаргивает. В больнице он начал работать при Морозове, и еще тогда и врачи и больные привыкли с большим доверием относиться к его диагнозам и рекомендациям.

Опанасенко положил снимок на стол.

— По Сп-перанскому? В-возможно, — сказал невропатолог, заикаясь и, как всегда, сердясь на это. — П-прежде надо тщательно ос-с-свидетельствовать, но в общих черт-тах к-картина ясна.

— А исход?

— Вы с-сами медик, Леонтий П-петрович, и п-понимаете... Но за жизнь больного у меня оп-пасений нет.

— Это твердо, Виктор Семенович?

— Как г-гранит.

— Скажите им об этом. — Опанасенко кивнул на окно.

Невропатолог вгляделся в толпу, заполнившую больничный двор, и сказал:

— Хор-рошо.

Леонтий Петрович прошел в палату, в которой лежал весь белый от бинтов Илья.

— Перелома и трещин нет, — сказал он бесшумно поднявшейся с табуретки Анне.

— Я знаю.

Опанасенко отвернул край одеяла. У щиколотки нащупал пульс — 98 ударов. Ну, что же — при таких ожогах и травмах это неплохо, совсем неплохо.

— Виктор Семенович ручается за благоприятный исход.

Лицо Анны посветлело.

От окна донесся приглушенный стон. Там лежал доставленный с пожара красноармеец.

— Пить!

— Сейчас попьем. — Леонтий Петрович налил из графина в кружку воды, осторожно приподнял голову больного. Тот выпил всю воду и устало прошептал:

— Спасибо, доктор!

— На здоровье.

— Значит, жизнь вне опасности? — спросила Анна, глядя на дрожащее пятно зарева.

«Вне опасности», — хотел подтвердить он и промолчал: около шеи из-под бинтов у Анны проглядывали... белые волосы.

— Ты, Аннушка, видела свою голову?

— Да, седая, — усмехнулась она. Белыми увидела свои волосы здесь, в операционной, — то ли в тот миг, когда подбежала к распростертому сыну, это произошло, то ли позднее, когда работала, а сердце рвалось сюда и мучительно спрашивало: «Жив? Нет?»

— Бледнеет, кажется.

Леонтий Петрович догадался, что на этот раз она о зареве, и подтвердил:

— Заметно. Минут двадцать назад я разговаривал с центральным участком. Огонь повсюду идет на убыль, а что касается карьеров — полковник сказал: ветер изменился, и туда сейчас не залетает ни одна искра.

— Народу было сказано: «идите и отдыхайте до гудка», — не отрывая глаз от зарева, тихо проговорила Анна. — Начинать придется с расчистки путей...

— Раньше девяти не будем тревожить, — сказал Опанасенко, думая о том, что любой из членов бюро будет на торфе сейчас менее на месте, чем Анна, но ей нужен отдых и еще раз отдых.

На крайней койке зашевелился больной. Леонтий Петрович обнял Анну за спину и повлек из палаты, в дверях спросил:

— Как чувствуешь ты себя, Анна? Только откровенно, без игры в геройство — это нам сейчас ни к чему.

— Часа два поспать... Но боюсь, не усну без...

К ним подошла сестра из приемного покоя.

— Товарищ Опанасенко, вас к телефону.

Он кивнул и опять повернулся к Анне.

— Люминал я тебе дам, да и бехтеревка не лишней будет, а обо всем остальном вопрос оставим пока открытым. Договорились?

— Ладно.

— Бехтеревку и люминал товарищу Орловой, — попросил он дежурную сестру. — Бехтеревку сейчас. Анна, люминал — дома.

На лестничной площадке сестра из приемного покоя радостно сообщила:

— А поджигателей-то задержали, товарищ Опанасенко! Двоих!

— Двоих? — переспросил Леонтий Петрович — он знал лишь об аресте бывшего хожалого Митькина. — Откуда у тебя, девушка, эти сведения?

— Да так, — смутилась она, — знакомый сейчас позвонил.

— Понятно. А меня кто вызывает?

— Из горкома, товарищ Опанасенко. А к нам сейчас пришла девушка... И лицо и руки в ожогах, а ноги... где ступит — пятна крови. Хирург удивился, как на таких ногах могла она добраться с торфоразработок. Сначала все умоляла и требовала, чтобы ее пропустили в палату, где Орлов.

— Комсомолка?

— Не знаю, товарищ Опанасенко, она не местная.

В кабинете дежурного врача на кушетке сидела Ксения и взволнованно говорила:

— Нет, нет, я не могу.

— Обождите голосить! — прикрикнула на нее Софья Андреевна.

Леонтий Петрович взял трубку, лежавшую на столе, и, глядя на багровые ноги девушки, сказал:

— Слушаю. Да, я.

Из ванной комнаты доносился шум льющейся воды. Сестра прикрыла дверь, шум стал глуше.

«Наверное, профессор?» — подумала Ксения об Опанасенко, вспомнив, как кинулась звать его сестра. Да и эта, накричавшая на нее Софья Андреевна... сразу притихла. Конечно, не рядовой и, вероятно, многое может.

— Хорошо, сейчас я приеду. — Опанасенко положил трубку и, подойдя к кушетке, сел рядом с Ксенией. — Что вы не можете?

— Ложиться в больницу! — возмущенно сказала Софья Андреевна. — Мест нет, но я договорилась, Илья Захарович ее посмотрел, ванну готовим, а она, видите ли, раздумала — без ног и рук, похоже, хочет остаться.— Она вышла из-за стола. — Посмотрите, что здесь делается!

С подошвы Ксении Леонтий Петрович перевел взгляд на следы, оставленные ею от кушетки до двери.

— Почему не хотите?

— Нельзя мне сейчас. Я обязательно должна как можно скорей вернуться в Москву.

— Москвичка?

— Да.

— А на пожар как попали?

— На вагонетке.

— Исчерпывающий ответ, — усмехнулся Леонтий Петрович. — Обождите... Не та ли вы, которую он...

— Та...

Опанасенко опять посмотрел на ее ноги.

— Ну, что же, Софья Андреевна, Москва — не захолустье, и в Москве клиники имеются. Распорядитесь, чтобы девушку доставили на вокзал и посадили в вагон, но прежде, конечно, надо обработать раны и перевязать.

— Машины нет — на пожаре.

— Когда освободится.

Он встал, поднялась и Ксения:

— У меня к вам еще одна просьба.

— Слушаю.

— Разрешите мне пройти к товарищу Орлову хотя бы на пять-десять минут.

— Нет, товарищ Орлов сейчас спит, и ни о каких свиданиях речи, конечно, быть не может.

— А когда проснется?

Леонтий Петрович молча снял с себя халат.

— Если перевозки долго не будет — созвонитесь со мной, что-нибудь организуем. — Он передал халат санитарке и вышел, а в кабинет вошла сестра хирургического отделения.

— Где наша больная?

— Вон, — сказала Софья Андреевна, — ложиться она не будет, возьмите ее в перевязочную и сделайте, что полагается.

— Но в перевязочной сейчас никого нет.

— Ничего не знаю, Опанасенко так распорядился.

Ксения вздрогнула.

— Как вы сказали?

— Больная! — всполошилась Софья Андреевна, но та уже выбежала. От жгучей рези в подошвах кинуло в пот, пошатнуло, и она оперлась ладонью о стену коридора.

Мимо окна промелькнула пролетка.

— Леонтий Петрович!

К ней подступили врач и обе сестры, на лице Софьи Андреевны были и возмущение и испуг:

— Вы что! Забыли, где находитесь?

— Извините, доктор...

В половине девятого сипло заревел гудок, а еще через пятнадцать минут от электростанции двинулся «лягушонок» с вереницей вагонеток, в одной из них сидела и Анна.

Отъезжая на своей пролетке, Леонтий Петрович слышал, как кто-то из ожидавших второго рейса сказал: «А генерал наш, поди, ни минутки не вздремнул, силен, чертяка!»

Первое было верно, а насчет «силен» — увы! Когда-то ничего для него не составляло и ночь, и две провести без сна. Но это «когда-то»! Здесь недосмотрел, там не успел угнаться за событиями, а секретарю райкома положено определять ход их. И чем труднее приходилось, тем чаще думалось об Илье. Но вышло вон как!..

Мысли перекинулись к Митькину и «плотнику», за-

держанному кабановскими крестьянами, и Опанасенко хмуро сдвинул брови. И тот и другой отрицают свою причастность к пожару, но ведут себя по-разному. Митькин ревет в голос, а «плотник» внешне держится спокойно и даже с вызовом. По паспорту он владимирский. Будто в Покрове отстал от своего поезда, к Орехово-Зуеву. пошел лесом и заблудился.

Запросили о нем Владимир, но он, Опанасенко, был уверен, что ответ придет отрицательный, — не плотник этот тип, нет. Что-то было знакомое в его хищном лице со злорадно поблескивающими глазами. Память подсказывала, что они уже встречались ему, но где и при каких обстоятельствах — это не припоминалось, и Леонтий Петрович досадливо вздохнул.

В воздухе как бы висели черные точки пепла. От торфоразработок пожар оттеснили, а лес все еще горел, и в дымном небе не затухало зарево.

«Не плотник, нет, и не владимирский -- говор не тот!»

«В райком?» — хотел спросить его кучер, а оглянулся — и придержал коня: секретарь райкома спал, опустив на грудь подбородок с седой, уже несколько дней не бритой щетиной. Так, легким шажком проехал он через весь Двор стачки. Встречные люди переглядывались и затихали.

По Ленинской бежали, о чем-то споря, мальчишки. Кучер пригрозил им кнутом. На виду у Дома Советов повстречался автобус. Кучер и шоферу пригрозил. Тот сначала не понял, в чем дело, потом кивнул и приглушил мотор, но Опанасенко уже открыл глаза.

— Чуть не задремал, — проговорил он смущенно.

— А какая беда, ежели бы задремали, — возразил кучер, сердито посмотрев вслед автобусу. — Совещание-то у вас, я слышал, в десять.

— В десять.

— Ну вот!

Совещание созывалось по проверке готовности к уборочной. Многие председатели сельских Советов уже прибыли и толпились в коридоре. Леонтий Петрович поздоровался.

— Отменяется, поди? — спросил бардубравский председатель.

— Почему?

— Да беда-то какая!

— А! Беда бедой, дела делами, товарищи. — Опанасенко взял за рукав подошедшего технического секретаря. — Меня никто не спрашивал?

— Чудес не бывает. — Секретарь повернулся к председателю Покровского сельсовета. — Справку какую-нибудь подписать и то... просят и требуют подпись Леонтия Петровича.

— А как же! Раз Опанасенко — тут уж все, никаких прений.

Леонтий Петрович засмеялся, покачал головой.

— Звонили из МК — еще позвонят, — доложил ему техсекретарь, — ну и народ, конечно, приходил. Девушка одна и сейчас ждет — с пожара. Не знаю, по какому вопросу: кроме вас, ни с кем не хочет разговаривать.

Леонтий Петрович кивнул:

— Совещание, товарищи, будет в зале горисполкома.

Он прошел в двери райкома. На стуле у его кабинета сидела та самая девушка, которую он видел в больнице. Ноги и руки ее были забинтованы, на лице — полосочки пластыря.

— Вам не дали перевозку?

Девушка встала:

— Леонтий Петрович, я — Ксения.

Он смотрел на нее выжидающе, и она добавила:

— Племянница профессора Нефедова.

— Вот как! — растерялся Опанасенко.

Страшный холерный карантин; Владимир, диктовавший свою предсмертную мольбу; ореховская улица с квартальными и городовыми, и на этой улице он, «генерал Опанасенко», с крошечной девчуркой на руках, улыбающийся, счастливый, — все это разом обступило его.

— Ну что же мы здесь — пройдемте в кабинет. — Он достал из кармана ключ, открывая дверь, спросил: — Вы что же, опять пешком шли?

— Ничего, под бинтами вата, мягко.

Опанасенко усадил ее в кресло. Улицей прошумел автобус, залетел в окно чей-то смех.

— Леонтий Петрович, вы были другом моего отца...

Он утвердительно наклонил голову.

— А я его знаю только по фотокарточке, на которой папа снят студентом. Но я не о нем пришла поговорить

с вами. — Ксения вздохнула. — О человеке, который в силу своего положения мог бы... нет, что я говорю, он мог лишь то, что сделал: решительно порвать все нити, которые связывали его со старым миром. Высокие посты, которые он теперь занимает, это же не только дань его опыту и знаниям... Личная жизнь? Нет ее у него! Несмотря на свой преклонный возраст, он весь в горении, весь в строительстве новой России, и днями и ночами в работе, хотя у него больное сердце, и он... вы догадываетесь, Леонтий Петрович, о ком я говорю?

— Кажется, да, но не догадываюсь зачем.

На глаза ее навернулись слезы.

— Третий день нет дяди Феди дома, и неизвестно, где он. Я звонила в ОГПУ, была там — ничего не говорят. Леонтий Петрович! В память былой вашей дружбы с моим отцом помогите той, которую когда-то хотели назвать своей дочерью. Я не ищу у вас ни заступничества, ни протекций, мне только выяснить: где дядя Федя, что с ним? Вам это, наверное, совсем нетрудно. Ведь отец Илюши близкий для вас человек.

— А почему вы ищете его в органах?

— Нелепость все это, Леонтий Петрович, — проговорила она сквозь вырвавшиеся рыдания.

Опанасенко налил из графина стакан воды, Ксения мотнула головой.

— Выпейте, — настоял он.

— Я постараюсь говорить спокойно, — пообещала она, все еще вздрагивая от слез. — Дядя Федя... Да, это так, вы можете мне верить, Леонтий Петрович, дядя Федя порвал все нити, но была одна нить, о которой он и сам не подозревал, — сын! Мы все вслух говорили о Геннадии — «пропал без вести», а в душе... Но оказалось, он жив и пришел... тайно... — почувствовав, что рука Опанасенко сползла с ее плеча и сам он отодвинулся, Ксения опять вздохнула. — Я понимаю, я и сама сначала... — Она помолчала.

Было это на второй день появления Геннадия, ходил он по столовой и говорил: «Я чувствую твою настороженность и даже неприязнь, сестра, и нет у меня слов в свою защиту. Годы, которые мы были врозь, стоят между нами. Ты права, отец уже не тот, которого я знал, но и я не тот... Да, я был врагом красного цвета, но не России. Да, я прибыл в армию Ляна, чтобы иметь воз-

можность вернуться сюда с мечом и порубить им все, на чем держится красный цвет... Это был как бы бредовый сон, из которого вывели меня удары ОКДВА. В плен я попал не в офицерской, а в солдатской форме, и это отсрочило кару. Но я знал, что от нее мне не уйти... может быть, это сентиментально, однако, как говорится, из песни слова не выкинешь — меня неудержимо потянуло к свободе, чтобы успеть до того, как пробьет мой час, побывать у вас, обнять моих стариков, увидеть места, среди которых прошло детство, и тогда... разрядить свой маузер в кого-либо из тех, что в Кремле, а последнюю пулю оставить для себя. Но в пути от Забайкалья до Москвы меня неотступно окружала новая Россия. Не скажу, что я понял ее и, тем более, полюбил, но я понял, что возврата к прошлому нет, и передо мной только «или—или». Вернуться назад, где нет у меня никого и ничего, или склонить перед новой Россией голову—суди, и как бы ни был суров твой приговор, приму его без ропота!»

— Я и сама сначала, — повторила она, — но, к счастью, это не так. «Склонить перед новой Россией голову» — с этой мыслью Геннадий перешагнул порог нашего дома, и дядя Федя, конечно, не мог оттолкнуть его.

— А! — воскликнул Опанасенко, вспомнив, наконец, кого напоминал ему «плотник».

— Вы о чем, Леонтий Петрович?

— О другом. Но я слушаю. «Не мог оттолкнуть»?

Ксения кивнула.

— И потом... — горло ее вновь жарко перехватило,— это оружие...

— Какое оружие?

— На даче у нас. Но Геннадий к нему не мог иметь отношения — это я точно знаю, а заподозрить дядю... Вы понимаете меня? — спросила она поднявшегося Опанасенко.

— Да, конечно. А этот ваш Геннадий теперь в заключении?

— Не знаю. Он бежал. Не знаю, почему... Ведь он сам хотел, а дядя Федя...

— Не спешите, Ксения Владимировна. Вы уверены, что ваш двоюродный брат пришел на нашу землю из-за кордона не врагом?

— Да.

— А если?
— Что «если»?
Опанасенко кивнул на окно.
— Горит лес. Вы, голубушка моя, были на пожаре, знаете, что там творится, и что бы вы сказали, узнав, что поджег наши леса ваш братец?
— Леонтий Петрович! — По ее побелевшему лицу пробежала дрожь. — Жестоко шутить так, Леонтий Петрович.
— Вы не допускаете возможность такого варианта?
— Абсолютно.
— А если?
Ксения встала, стянула у горла воротничок прожженного платья.
— Я шла к вам, как к человеку, который...
— Поджигатели арестованы, Ксения Владимировна, и один из них...
— Назвался Нефедовым?
— Нет, но есть основания опознать в нем вашего брата.
— Какие? И кто может здесь «опознать» его?
— Допустим, что я, Ксения Владимировна.
— А вы разве знаете Геннадия?
— Не имел такого счастья, но имел другое «счастье» — знавать в молодости Федора Ефремовича Нефедова.
Ксения опустилась на стул.
— Нет, нет! Это невозможно! Леонтий Петрович...
— Я рад буду, если это окажется ошибочным, — тихо сказал Опанасенко и еще тише добавил: — Рад буду за вас, Ксюша.
Впервые за все время разговора назвал он ее так.
— Можно взглянуть мне на вашего «Нефедова»?
— Как раз это я и хочу предложить вам — он недалеко отсюда.
— Так пойдемте же скорее.
Леонтий Петрович посмотрел на ее ноги.
— Ничего, — сказала она.
— К одиннадцати я подойду, — предупредил Опанасенко техсекретаря.
Когда шли коридором, Ксения стерпливала боль, а на лестничной площадке ступила на рубчатый чугунный пол и вскрикнула.

Кучер не удивился, когда секретарь райкома вышел из дверей, словно ребенка, неся на руках забинтованную девушку, но услышав, куда ехать, заморгал. Однако размышлять было недосуг, Опанасенко сказал — «одним духом», и кучер крикнул успевшему собраться возле пролетки люду:

— Сторонись!

Ксения сидела прямо, не глядя по сторонам.

— А где и когда с Ильей встретились вы, Ксения Владимировна?

Она не шелохнулась, будто и не слышала вопроса, но когда напротив рынка пролетка свернула вправо, сказала:

— В Кашине, в прошлом году.

Сердце ее стучало горячо и возмущенно.

«Как мог он, этот Опанасенко?»

— Тпр-рр-ру, — осадил коня кучер.

Выпрыгнув из пролетки и, проговорив «обождите», Леонтий Петрович скрылся за дверью, возле которой прохаживался часовой.

Ксения устало закрыла глаза.

Лесной пожар... Если бы не эти бинты на руках и ногах, можно бы и не поверить, что было все это. Нет, было, и светлое чувство единства со всеми работавшими там людьми, и Илюша, придавленный горящим деревом, и гневное лицо Анны Леонидовны — все было! И сейчас еще небо багрово, и в воздухе горечь дыма.

«Как мог он?» — подумала она опять.

— Разрешите, девушка, за вами поухаживать.

У пролетки стояли два красноармейца.

— Спасибо, — поблагодарила она, когда они внесли ее в кабинет начальника, писавшего что-то за столом.

Опанасенко стоял у окна. Начальник кивнул на диван. Красноармейцы вышли. Какое-то время громко тикали лежавшие на столе круглые карманные часы, потом опять открылась дверь, и в кабинет ввели...

Ксению так и качнуло, а «плотник» взглянул на нее — и тоже вздрогнул. От начальника отделения и Опанасенко не ускользнуло, как побледнел он, но к столу подошел твердо.

— Когда это кончится? Мне на заработки надоть, за кого такого вы меня принимаете? Али по пачпорту не видите — владимирский я, плотник... — «Плотник» по-

вернулся к Ксении. — Вот схватили на дороге бог весть за какую провинность, сунули в каталажку — и держат, а меня артель ждет.

— Он? — спросил начальник отделения Ксению.

— «Да», — чуть было не слетело с ее губ, но...—«Что же теперь будет? Дядя Федя! Что будет с ним? Поверят ли ему, что он не знал, какого страшного мерзавца укрывал от властей?»

Загорелое, с отвислыми черными усами лицо начальника отделения было спокойным и бесстрастным. Разве любопытством слегка оживились лица командира взвода и красноармейцев, которые ввели в кабинет Нефедова. Для всех их происходившее было делом обыденным, но Опанасенко и дыхание сдержал, и чем больше отстукивали часы секунд, тем мрачнее насупливались его белые брови.

Выезжая сюда с Ксенией, он знал -- это двойная проверка, и не так волновала его первая, как вторая: действительно ли сама Ксения без пятна на совести? Всей душой хотелось, чтобы это было так, но...

А Ксения и не видела устремленных на нее глаз. Весь кабинет плыл и покачивался перед ней в каком-то леденящем тумане, потом сквозь туман этот проступила рука со стиснутым кулаком. Рука Геннадия, прижатая к бедру! Кулак едва заметно двигался... На миг она изумилась: как же раньше не замечала, что у Геннадия такие страшные руки, но это лишь на миг...

«А-а-а-а»—ожил в ее памяти крик девушки, вспыхнувшей костром у карьеров, когда огонь и дым перемахнули первый ров. Пламя пожара! Оно тоже как бы прошло сквозь стены этого кабинета, жгло лицо, душу, и, словно защищаясь от него, Ксения подняла забинтованные руки. «Нет, пусть, что будет...»

— Он!

Опанасенко шумно вздохнул.

— Готовы к показаниям, Геннадий Федорович? — спросил начальник отделения.

Нефедов молчал.

— Уведите.

У порога Нефедов оглянулся на сестру и сквозь зубы выдавил:

— Красная сучка!..

Ксения не шелохнулась. Казалось, вместе с этим

коротким словом «он» она выкинула из себя и все силы.

— Когда приезжает товарищ Зимин? — спросил Леонтий Петрович у начальника.

— Ожидаем с минуты на минуту, — отозвался тот, опять уже что-то записывая.

— Ксения Владимировна нужна будет?

— Конечно.

Опанасенко подошел к ней, погладил волосы.

— Задержишься здесь немного. Если профессор Нефедов действительно там, где ты предполагаешь, то товарищ Зимин, который сейчас приедет, это знает.

— И он скажет?

— Думаю, да.

Она кивнула, зябко поежилась.

— Не волнуйся, голубушка, что бы там ни было, тебе я верю, Ксюша.

— Спасибо, но мне...

— Что?

— Мне надо бы на почтамт, позвонить домой.

— Можно, — ответил на взгляд Опанасенко начальник. — Какой номер?

Ксения сказала, и начальник вызвал станцию.

— Когда вы в последний раз видели своего брата? — спросил он, положив трубку.

— В Кашине. — Ксения и сама удивилась, как ровно прозвучал ее голос. Может быть, это потому, что минуту назад, когда закрылась дверь за Опанасенко, она подумала: «Нет, не могут забыть все заслуги дяди, не могут!»

— Когда это было?

Девушка провела забинтованной рукой по лицу.

— Было это...

Зазвонил телефон. Послушав, начальник передал трубку ей.

— Анфиса!

Молчание, потом... встревоженный дядин голос:

«Ты, Ксения?»

— Дядя! Милый! Где ты был?

«Разве у меня дел мало? Что ты устраиваешь переполох? Где ты сейчас?»

— Я... — Ксения не сдержалась и заплакала, — я скоро приеду, дядя. Ради бога, жди меня!

В трубке раздались частые гудки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Звонок раздался среди ночи.

Рамзин не спал. Он только два часа назад вернулся из Берлина и чувствовал себя таким разбитым, что даже не позвонил на дачу жене.

— Или интервенция начнется немедленно, и тогда «Промпартия» еще может сыграть свою роль, или французам придется примириться с мыслью, что «взрыв изнутри» не состоится, — таким ультиматумом закончил он в берлинском ресторане свою информацию Рябушинскому.

— Отказ от борьбы? — изумился тот. И как разбушевался! С трясущихся губ слетало не «детки» и не «братцы», как в прежние встречи, а «гады», «сволочи». «трусы», «мерзавцы».

Он, Рамзин, молчал, молчал и Осадчий, видимо, опасаясь, что возражения еще больше распетушат бесновавшегося торгпромовца, и во сне и наяву видящего себя хозяином московского автомобильного завода, возникшего на базе его амовских мастерских. Наконец, Рябушинский умолк: то ли голос сорвал, то ли иссяк запас ругательств. Глотнул вина прямо из горлышка бутылки, пригладил на лысой голове редкие, взмокшие волосы и совсем тихо, плачущим голосом спросил:

— Как же так, братцы, а? Сил и деньжищ-то сколько вложено! — Взглянул на Осадчего: — И ты, Брут?

— Не совсем, — улыбнулся тот. — Леонид Константинович нарисовал вам в общем верную картину, но несколько сгустил черные краски в перспективах. Я согласен с его «или—или», лишь с оговоркой, конечно. Простите, Леонид Константинович, мысль эта пришла мне только сейчас, и только поэтому я не поделился ею с вами и излагаю, так сказать, экспромтом... Бесспорно, «Промпартия» связана по рукам и ногам. Развязать нам их может немедленное начало интервенции. Это аксиома. Но нет ли и другого ножа, который разрубит связывающие нас путы? Есть, Леонид Константинович, если посмотреть вокруг себя. Кем заполнить понесенные нами утраты? Да, наши попытки завоевать молодых специалистов были всегда безуспешными. На «нет» наталкиваемся мы и со стороны многих специалистов старой

формации. О будущих и говорить нечего: те же «товарищи», только со студенческими билетами. На первый взгляд, полная безысходность: потери растут, резервов нет... Но они есть, если не топтаться вокруг и около специалистов, если подумать о ломке кастовости нашей организации. Мой вариант выхода, господа,—союз с оппозиционными группами внутри большевистской партии.

Рябушинский махнул рукой.

— Немцы уже лезли с этим дерьмом.

— Знаю, — невозмутимо сказал Осадчий, — знаю и что отпугнуло Париж от немецкого варианта. Мой исключает Германию. А если хотите, и Льва Троцкого. Без него можно обойтись. Конечно, сами мы не сможем пойти к Бухарину и иже с ним. Кто-то должен связать нас. Троцкий без немцев шагу не сделает. Ну и пусть они цацкаются с ним на здоровье! Во Франции нет недостатка в деятелях с социалистическими вывесками. Пуанкаре и Бриан смогут приказать им поехать в Москву с целью... Ну, не важно, с какой целью... Это официально, а неофициально они встретились бы и договорились обо всем с лидерами правых, и тогда...

Думать об этом «тогда» профессора Осадчего не хотелось.

Москва за темными окнами затаилась тихая, незримая. И дернул же его черт влезть в эту грязную политическую игру! Зачем она ему, инженеру и ученому? Не принимает душа коммунистические идеалы? Но в конце концов разве не мог он уехать туда, где господствуют иные идеалы, ну хотя бы в Америку?.. Однако сожалеть об этом тоже было поздно. Все поздно! В том числе и вариант Осадчего. Достаточно прислушаться к тому, что творится на большевистских партийных конференциях в республиках, чтобы понять это.

Нет, только так, как сказал он Рябушинскому.

На этом «только так» его и застиг звонок. Жена? Но она еще не знала, что он вернулся. Из ВСНХ? Там тоже ожидать его могут лишь завтра.

Телефон умолк, а через минуту зазвонил опять.

Рамзин отбросил одеяло. Свет включенной люстры упал на чемодан с немецкими и польскими ярлыками. Кабинет не стал освещать — нашарил телефон и настороженно сказал в шуршащую, словно майский жук в спичечном коробке, трубку:

— Вас слушают.

— Леонид Константинович?

Голос девичий, заикающийся от волнения.

— С вами говорит племянница Федора Ефремовича. Простите, что я в такой час. Это все из-за Геннадия, он... Но дядя не виновен. Он же не знал... С постели подняли... дядя успел шепнуть — сообщи Леониду Константиновичу... Вы слышите?

Рамзин положил трубку: круг суживался.

Трубка снова зазвонила под дрожащей ладонью. Он снял ее с рычажков, положил на стол, но и на расстоянии слышалось, как голос Ксении надрывно взывал:

— Алло, алло! Леонид Константинович!

«Ничем, девушка, не сможет вам помочь Леонид Константинович, абсолютно ничем...» — Рамзин устало опустился в кресло.

Рабинович, Кондратьев, Чаянов, Красовский, Нефедов... А кто же остался? Осадчий со своим запоздалым вариантом? Маричев? Надо предупредить его об аресте Нефедова. Геннадий... О каком Геннадии говорила девушка?

Не припомнив никого из промпартийцев с этим именем, Рамзин протянул руку к трубке и тотчас же испуганно отдернул.

Нет, не телефон звонил — в прихожей.

Они! Так настойчиво и резко звонить среди ночи могли только они!

Он кинулся к окну, но не открыл его. Расслабленный и весь вдруг взмокший, прислонился к простенку, а звонок в прихожей дребезжал уже без перерыва. Постучали. Рамзин собрал остатки сил и, пошатываясь, вышел в прихожую. Руки дрожали, и он долго не мог справиться с ключом.

В прихожую вошли трое — два молодых чекиста, а третий...

— Товарищ Орлов?

— Любая гадюка возмутилась бы, услышав, что вы называете ее своим товарищем, господин Рамзин.

Леонид Константинович вспыхнул, словно обиженный, но тотчас же обмяк и с трудом проговорил:

— Я понимаю.

Это о глубине своего падения с вершины науки до...

Непонятным было одно: зачем открыл дверь? Ведь в ящике письменного стола заряженный револьвер, приставить дуло к виску — и все! Не было бы этого унижения и мучительного стыда: «мертвые сраму не имут». А ведь это лишь начало. Будет следствие, а потом, наверное, процесс... И если сейчас стоит он перед пришедшими за ним чекистами полураздетый, то там, на суде, перед всей страной, перед всем миром окажется совсем голым, не буквально, конечно, — внутренне голым. Но это и кошмарнее и постыднее.

Чекисты, с которыми приехал Степан, обошли комнаты. Помощник доложил, что квартира пуста.

— Одевайтесь, несостоявшееся ваше превосходительство, — сказал Степан и следом за помощником прошел в кабинет.

Из спальни Рамзин слышал, как он разговаривал с кем-то по телефону. Шаги... Завязывая галстук, Рамзин не оглянулся, однако и спиной и затылком чувствовал: Орлов стоит в дверях и смотрит на него.

Голос из кабинета сказал:

— Много писем и записок на иностранных языках.

— Сортируйте, я приеду с переводчиком, — сказал Степан, не отрывая глаз от Рамзина. — Облачились, ваше превосходительство? Прошу!

Машина стояла у подъезда. Усаживаясь рядом с шофером, Степан поморщился: с самого утра сильно ломило надбровья. Машина подалась чуть назад, а выехав на шоссе, стремительно понеслась мимо темных домов.

Ночная Москва!

Рамзин повел взглядом, словно прощаясь с ней, и вдруг до слез остро почувствовал, что любит, всем сумасшедше заколотившимся сердцем любит эту древнюю столицу Руси — свою Москву.

Париж, Лондон, Берлин... Да, там улицы и площади более впечатляющие. Редки выщербленные мостовые, и почти не встречаются деревянные тротуары, но все это чужое. А Москва... Нет, ни одного ее продырявленного дощатого тротуара не променял бы он сейчас ни на тенистые аллеи Елисейских Полей, ни на строгую и безукоризненную гладь асфальтов Фридрихштрассе и туманного Сити.

Кое-где в темных стенах домов мелькали квадраты света. А небо, осыпанное жемчугом звезд... до чего же оно родное!

На углу Мещанской под аркой Сухаревой башни бородач в белом фартуке греб метлой мусор, попыхивая огоньком папиросы. Он поднес к глазам козырьком руку, оглядел машину.

Рамзин расслабил узел галстука и расстегнул у воротника пуговицу, но дышать легче не стало. Рядом поблескивала сталь штыка, и перед глазами покачивалась широкая, обтянутая гимнастеркой спина Орлова.

«Любая гадюка возмутилась бы...» — и Рамзин порадовался (насколько можно было это в его состоянии), что Орлов сидит впереди, не видит его и поэтому не может догадаться о том, что сейчас у него на душе. Не поверил бы, счел бы, наверное, это подлым лицемерием. Не хочет отдать дощатый тротуар и выщербленную мостовую... Кто? Человек, который согласился в Париже на отторжение от Советского Союза чуть ли не половины территории с богатейшими недрами, городами, селами, миллионами людей. Да, это правда, хотя и невероятно чудовищная. Но и то, что сейчас у него на душе, тоже правда.

Чекист Орлов и шофер разговаривали. О чем? Рамзин настороженно прислушался.

— Маяковского утром я читал, — говорил шофер, — читал и задумался...

Рамзина передернуло.

Разговор о нем, и самый пугающий, был бы, наверное, менее страшен, чем эти слова о чтении каких-то стихов Маяковского; они тоже подчеркивали, что жизнь уходила, отвернувшись от него, и что это только для него трагедия, а для других он уже ничто.

Рамзин не хотел прислушиваться, но в лицо дул ветер и вместе с ветром долетал голос шофера:

— Пусть где-то еще там это «коммунистическое далеко», оно придет, а вот действительно вспомнят ли о всех нас те, которым прифартит жить в этом «коммунистическом далеко»? Не забудут ли, какой ценой оно создавалось? А может, это и неважно... Степан Петрович?

— Не забудут! Но и то правильно: неважно. Важно, чтобы оно было.

— Это, конечно, чтобы у других ноги не вязли, надо кому-то и подстилкой стать, не без этого...

Орлов повернул к шоферу лицо — брови приподняты:

— Зачем же обидно так? Не лучше сказать — фундаментом? Вон какое красивое здание, видишь? А фундамент в земле. Но сам-то он знает и все это здание знает: не будь его, простого, корявого, и ничего не было бы. Это, к слову, умели понимать и сто лет назад. Не доводилось читать «Листы и корни» Крылова? У каждого поколения, парень, свое слово в жизни и жизненное счастье свое.

— А растянуть его на все эпохи, значит, нельзя?

Орлов пожал плечами и рассмеялся.

Передернувшись от озноба, Рамзин плотнее прижался к спинке сиденья. Страх? Да, ложь это, что «мертвые сраму не имут». Страшно уйти из жизни таким, каким увидел себя, когда хлестнули по лицу слова: «Любая гадюка возмутилась бы...» Именно в ту минуту, потому что и во время тайной встречи с Рябушинским и здесь перед арестом, отчетливо сознавая близость катастрофы, он все же продолжал ощущать на себе лохмотья некоей тоги политического деятеля. Изменник Родины, вредитель, диверсант, политический бандит — вот какой след оставит он по себе в жизни!

Покачивалась винтовка, мерцал штык. Пальцы шофера шевелились на баранке. Мелькали дома... Почтамт... Еще несколько минут и — Лубянка, а потом...

— Нет!

Степан оглянулся на этот его хриплый вскрик, щелкнул кнопкой фонарика. Взгляды их встретились, и Рамзин невольно вдавился еще плотнее в кожаную спинку, словно не один человек, а вся Россия смотрела на него так — гневно и брезгливо. И ничего нельзя возразить, нечего сказать в свое оправдание.

Степан отвернулся.

Жаркий шум в висках и ломота в надбровьях — это знакомо, но никогда еще столь неимоверная тяжесть не разливалась по всему телу. Даже тогда, в Орехово-Зуеве, перед инфарктом! Словно не кровь, а жидкий свинец струился по жилам, и сердце с трудом пропускало его через свои клапаны.

— А все же мне очень хотелось бы, чтобы в счастливый

смех, мысли и чувства тех людей вошел и я, — уже серьезно сказал шофер. — Ну хотя бы крохотной искоркой. Пусть даже дошла бы она в это «далеко» и тотчас потухла, но прежде чем потухнуть — увидела бы, почувствовала бы... — Он повернул голову и резко, с испугом затормозил машину.

— Товарищ Орлов!

— А!.. — глухо, словно из-под земли, отозвался Степан и тотчас же дрогнул весь и посмотрел на шофера.— Не понимаю...

Все произошло как-то мгновенно: звучавший рядом голос шофера вдруг отлетел, а дома по обе стороны улицы стали крениться, освещенные окна в них сплющивались.

«Опять!» — успел подумать он о сердце, и в тот же миг страшная, ослепительная боль метнулась в затылке, и он понял, что теряет сознание. Но оно еще жило, в нем была мысль: « Хорошо, что рядом шофер, а позади боец с винтовкой, — не сбежит «их превосходительство»... нет!» И еще, словно красная вспышка в сгущающейся тьме: «Сердце! Левый карман!.. Сердце! Левый карман...» В левом кармане шинели была коробочка с нитроглицерином. Он весь напрягся, а рука не поднялась. Это помнилось. Но во рту был вкус нитроглицерина — и шинель перетянута. Правой вытащил?

— Степан Петрович, что с вами?

— Не понимаю, — повторил Степан, пробуя поднять левую руку, — не поднялась, и пальцы на ней шевелились с трудом, какие-то пугающе отяжелевшие. И словно не сам подумал, а кто-то со стороны шепнул: «Д-да, похоже, это твоя последняя строевая чекистская ночь, товарищ Орлов!»

Последняя? Но разве все уже сделано, чтобы страна жила без ружейных дул у висков и сердца? Правда, вот он, главарь «Промпартии», дрожит у него за спиной, а Зимин и другие товарищи взяли или берут сейчас остальных коноводов этой контрреволюционной банды. Но войска-то интервентов стоят на границах! Сегодняшним арестом главарей «Промпартии» ОГПУ схватило лишь руки, которые по указке Парижа должны были поднести спички к шнурам от заложенных мин. Но где заложены эти мины? Сколько их? Это в кратчайший срок обязано установить следствие.

Может быть, некоторые шнуры уже дымятся и каждую минуту надо ждать взрывов. Вот же глаз не спускали с гадов, а в Орехово-Зуеве заполыхали торфоразработки, огненное море заревело вокруг нефтяных вышек в Баку. Где, кому и какие приказания успели дать «их превосходительства»? Это своевременно должно узнать следствие.

Следствие? Но ведь большинство нитей по этому делу в руках у него и Алексея. Выйти ему из строя, значит, затянуть следствие.

— Степан Петрович! — растерянно окликнул опять шофер.

— Порядок, дорогой! Езжай быстрее! — нашел в себе силы сказать Степан. Нашел он их, чтобы сидеть прямо и, когда машина влетела во двор, самому открыть дверцу и выйти. Но здание ГПУ тоже покачивалось, и земля была полна дрожи, словно хотела уплыть из-под ног, и, главное, в этом знакомом на память дворе с мигающими в вышине звездами не хватало сейчас воздуха.

«Выспаться опять так же — все станет на свои места», — подумал он, вспомнив утро, когда этот Рамзин с Осадчим отъезжали в Берлин. Правда, в то утро не было столь душно и кровь, а не жидкий свинец, струилась по жилам.

Слепя глаза фарами, в ворота влетели еще две машины. «Алексей!»—обрадовался Степан, узнав в чекисте, выпрыгнувшем из первой машины, Зимина.

Маричев, Нефедов, а из второй машины чекисты вывели Осадчего.

— Леша!

Зимин оглянулся, подбежал. Степан кивнул на поблескивающего очками Рамзина.

— Возьми и этого, помести, а я...

«Нет, одного дня передышки теперь, пожалуй, не хватит, чтобы выдавить и стряхнуть с себя эту свинцовую тяжесть... может, и двух не хватит... Неделя? Это уж слишком. Три дня от силы! Рука? Черт с ней! Да и рука поднимется — чего ей виснуть?..»

— Ранили? — тревожно вырвалось у Зимина.

«Нет», — качнул головой Степан и крикнул Рамзину прерывистым, задыхающимся голосом:

— Приехали, ваше превосходительство!

Очки у Рамзина сползли. Он снял их и так, держа в кулаке, пошел, куда указал Зимин.

В самом ли деле глава «Промпартии» покачивался или это тоже показалось?

«Сдал... Не можешь даже довести до камеры... Сдал?.. Нет! Нельзя сдавать сейчас, никак нельзя!»

Дежурный на его вопрос о Менжинском сказал:

— Только-только куда-то вышел.

Степан вздохнул, и скорее с облегчением, чем досадливо, — не так-то легко прийти в кабинет председателя и вместо обычного доклада сказать: «Разрешите мне три дня отдыха». А может быть, и совсем не будет нужды в этом рапорте, пальцы-то вон уже шевелятся.

Но едва ступил на лестницу, и опять нестерпимо заломило в надбровьях, да и левая нога подкосилась.

Кто-то обхватил его спину, подставил плечо... Уже в коридоре Степан рассмотрел, что рядом, поддерживая его, идет молодой, голубоглазый красноармеец, чем-то очень похожий на Василия.

— Спасибо, товарищ, здесь уж я сам, — проговорил он у двери своего кабинета.

Зимин пришел вместе с Менжинским и врачом. На стук никто не отозвался, и Менжинский толкнул дверь.

Степан одетый сидел за столом, уткнувшись лицом в запачканную чернилами руку.

Спит? Но дыхания не слышалось.

— Степа! — тихо позвал Зимин.

И вдруг он рывком подскочил к столу, схватил друга за плечи:

— Степа!

Врач отклонил голову Степана, заглянул в его глаза и, оглянувшись на Менжинского, утвердительно кивнул. Менжинский снял фуражку. Обнажил свою голову и Зимин, судорожно глотая подступивший к горлу комок.

На столе, рядом с пустой коробочкой из-под нитроглицерина, — смятый, испачканный чернилами лист. Врач подал его Менжинскому.

«Председателю ОГПУ

товарищу Менжинскому

Рапорт

Прошу предоставить мне на три дня...»

И дальше не в строчку, а как попало, едва разборчиво, может быть, писал, уже не видя листка: «Все! Не везу больше, товарищи...»

В кабинет входили, вбегали и застывали с обнаженными головами чекисты.

Пальцы и ладонь правой руки Степана были в чернилах. Менжинский приподнял ее от стола. Тяжелая, холодная, несколько минут назад она была еще живой и писала эти слова. Председатель пожал ее и сказал, будто Степан мог еще услышать:

— От имени Родины, от имени Партии, от имени тех, которые будут жить после нас... спасибо тебе, солдат революции!

А на площади раздавались гудки, свет фар разры вал темноту двора.

Чекисты выводили из машин «генералитет» «Промпартии», раздавались слова команды...

Все это настороженно улавливал в камере-одиночке профессор Рамзин, и словно голос зовущего к расплате Возмездия в памяти его, леденя кровь, держалось:

«Приехали, ваше превосходительство!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Четыре часа длилось чтение обвинительного заключения. В самом зале стояла тишина, а за стенами его гулом гнева и раскаленных страстей сотрясалась площадь.

Бушующими потоками выплескивались на нее колонны демонстрантов, над головами, будто пятна пламени и крови, трепетали, парусами пружинились полотнища. И те, что с гордостью говорили о себе: «Мы москвичи», и те, что прибыли сюда в этот день со всех концов Советского Союза, — посланцы коллективов рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, учащихся, служащих, — шли и шли, требуя и провозглашая:

— Смерть вредителям, смерть поджигателям, смерть интервентам!

— «5» в «4»!

— Перевыполним промфинплан!

— Нет — войне! Да здравствует Красная Армия!

А красноармейские части тоже вливались в это бур-

ное людское море: четкий шаг, алые пятиконечные звезды на буденовках, блеск и мерцание штыков.

— Ударной бригадой сплотимся вокруг ВКП(б)! — это там, где головы в кепках, в шапках, в теплых платках. — Да здравствует ленинизм!

Островки голов в форменных инженерских фуражках:

— Предателям Родины — смерть!

Волна за волной и все туда, где взрывами взметалось грохочущее «ура». На трибуне — члены Центрального и Московского комитетов ВКП(б), члены Советского правительства.

— Битте, геноссе!

Немец! В очках, с белыми волосами... С трибуны заметили его, протянулось несколько рук, и вот он стоял уже рядом с товарищем Куйбышевым, подняв стиснутый кулак.

— Либер геноссен!

По площади пронеслось: — Макс Гельц!

Четыреста тысяч рурских пролетариев уполномочили его заявить, что они единодушно требуют: «Смерть!»

Дальше уже невозможно было держаться тишине, говорили посланцы рабочего класса Франции, Америки, Польши:

— СССР — отечество международного пролетариата!

— Нет пощады агентуре международного империализма!

Короток ноябрьский день, окутали сумерки площадь, но возле трибуны вспыхнули прожекторы, голубым светом доставая до Большой Дмитровки, а оттуда шли уже с факелами. Отблески их сквозь окна Колонного зала прорвались к подсудимым, сделав ненужными слепящие юпитеры.

В зале все тоже поднялись было, но в руке председательствующего зазвенел колокольчик.

То, о чем говорил прокурор, Зимину — он сидел в крайней от сцены ложе — было известно почти дословно, и хмуро сдвигало брови его не это.

Накануне окончания следствия Менжинский собрал у себя начальников отделов. Он, Зимин, задержался тогда из-за поломки машины и несколько запоздал.

— Был на Трехгорке, — говорил начальник второго отдела, когда он вошел в кабинет. — Вышла к столу там ткачиха, в волосах седина, тихая, говорит: «Я, ба-

боньки, кровь увижу — и дурнота сразу, а этим сама бы всем головы поснимала».

— А потом? — хмурясь, спросил его Менжинский. — Снять вражескую голову, когда она в твоих руках, — дело нехитрое. Заставить эту голову честно служить делу рабочего класса — труднее, но... — Он встал, тяжело оперся ладонями о стол. — С «Промпартией» покончено, товарищи! А со злом, которое она причинила нашему хозяйству? Это и пионерам известно: быстрее обезвредит мину тот, кто знает, где она заложена, но нам ведь надо не только выдернуть все палки из колес, расти надо, товарищи, — не идти, а лететь! Еще несколько лет — и не будет у нас недостатка в командирах промышленности и сельского хозяйства, на которых мы можем положиться полностью, а пока...

— Доверить опять командование вредителям? — изумился начальник первого отдела.

— Кто говорит о доверии им и их командовании? Здесь нет никакой новизны. Разве мало белых генералов и офицеров работало у нас в штабах армий?

— Но не мало было и предательств, — засмеялся Ягода.

— Это там, где комиссары доверяли больше, чем следовало.

Слова и горячность председателя были сверхнеожиданностью для всех. Давно ли в этом же самом кабинете он говорил: «Нет такой смерти, которая была бы слишком жестокой для этих сукиных сынов с профессорскими званиями».

— Разрешите спросить вас, товарищ председатель,— взволнованно сказал начальник второго отдела.

Менжинский кивнул.

— *Там* не хотят применения высшей меры?

Там — это в ЦК, откуда час назад вернулся Менжинский.

Кроме Ягоды, отошедшего к окну, взгляды всех сошлись на лице Менжинского, но тот молчал, и начальник второго отдела пожал плечами.

— Следуя закону, суд может сказать лишь одно слово — расстрел.

— Не сомневаюсь в этом, — сказал Менжинский. — Но тот же закон предоставляет подсудимым право апелляции к ЦИКу СССР.

— А ЦИК? — это спросил он, Зимин, и сам не узнал своего голоса.

За столом кто-то сказал:

— Ясно, что если уже имеется определенное мнение Центрального Комитета...

— Завидую вашей прозорливости, — устало усмехнулся Менжинский. — Мне, например, ничего не ясно. Мы свое слово сказали, что скажут суд и ЦИК СССР, не нам решать. Вероятно, многое будет зависеть и от того, как явят себя миру эти господа на скамье подсудимых, с чем придут они на нее. — Он вышел из-за стола и прошелся по кабинету. — У нас они многое сказали, но не будем обольщаться — далеко не все. Откровеннее были, чем их собратья из Донбасса, но тоже не до конца. Это чувствуется, верно?

Еще бы не чувствовалось! Тот же Рамзин упорно отрицал ответственность «Промпартии» за расстройство железнодорожного транспорта и ряд катастроф, пока на очной ставке Красовский не сказал: «Бессмысленно запираться, Леонид Константинович!» А Нефедов до последнего дня настаивал на своей якобы неосведомленности о планах интервенции. Чем это объяснить? Страхом? Но это же нелепость! У восточных народов есть хорошая пословица: «Если вода поднялась выше головы, то не все ли равно — на метр или на десять?»

— Однако и того, в чем они вынуждены были повиниться, с лихвой хватит суду, чтобы десять раз сказать — расстрел. Если сие до кого-либо из них не дошло, надо разъяснить им это. Каждому! Да если и есть какой-то призрачный шанс у них остаться в живых, то, конечно, он не в сокрытии и не в умалении тягчайших преступлений. Может ли ЦИК СССР сказать о них: «Пусть живут»? Нам представляется это маловероятным, и если это маловероятное все же произойдет, то лишь в том случае, если процесс вскроет, что не все патриотическое в их душонках сгнило и что это патриотическое возможно поставить на честное служение нашему государству. Таков этот шанс. Одна ложь или умышленная недоговоренность — и его не будет. Пусть поразмыслят они об этом в оставшиеся до процесса дни. На вчерашних своих хозяев излишне оглядываться, об этом тоже следует сказать им в прощальном напутственном слове. Потому и беснуются сейчас их хозяева, что

руки коротки. Вот почтенная «Таймс» утверждает: большевики, мол, не осмелятся вынести смертный приговор промпартийцам. Надо полагать... из-за страха перед Западом! Что на это сказать? Будь в наших руках эти болдуины и черчилли, пуанкаре, тардье и брианы, пилсудские и гуверы, мы бы, не колеблясь, поставили их к стенке, ибо это было бы в интересах нашей страны и в интересах народов их стран. И если бы начали они бить себя в грудь кулаками и уверять, будто осознали, какими матерыми хищниками были все эти годы, и стали бы каяться и обещать впредь быть овечками — мы все равно не поверили бы: горбатого только могила исправит. Так, Алексей Дмитриевич?

— А эти... не горбатые?

— Процесс покажет. Не задерживаю больше вас, товарищи.

«Есть шанс остаться в живых? А может быть, со временем и на прежние посты вернуться?» — Вот это чувство обжигающего сердце протеста, с которым он вышел в тот день из кабинета председателя, так и не рассеялось у него совсем, хотя после долгих раздумий он не мог не согласиться со многими доводами Менжинского. Но чтобы эти сидевшие сейчас за барьером главари «Промпартии» оказались не горбатыми...

Прокурор называл фамилии подсудимых, и взгляд Зимина перебегал с лица на лицо. Увы! На таком расстоянии невозможно было заглянуть им в глаза, да и глаз не было видно: все они сидели, потупя взор.

— Высшую меру социальной защиты — расстрел! — возвысил свой голос прокурор. И зал грохнул аплодисментами, которые не вдруг смог остановить и звонок председателя суда.

— Смерть! — неслись возгласы.

Промпартийцы озирались, словно в поисках щели, куда бы им можно было забиться от этого грома и гула среди стен, озаренных отблесками проходившего по площади факельного шествия.

Председательствующий сделал последнее предупреждение допущенной в зал публике и объявил перерыв.

«А ведь сиди он сам в зале, тоже, наверное, не удержался бы», — улыбнулся Зимин.

В фойе, когда он спустился туда, люди стояли так тесно, что пола совсем не было видно, огни люстр мига-

ли в волнах табачного дыма. Слушателей вроде не было, каждому не терпелось самому высказаться:

— А помните, товарищи?

— А у нас так было...

У перегородки, за которой отведено было рабочее место иностранным корреспондентам, раздался хохот.

Героями этого неожиданного веселья оказались два американца. Оба они утром получили телеграммы с нью-йоркской биржи: «Правда ли, что Советская власть свергнута и на улицах бьются военные части?» Один ответил: «В официальных кругах нам сообщили, что Советская власть существует». А второй подтвердил: «На улицах, действительно, видел красноармейцев разных частей — с полотенцами шли в баню».

— Алексей Дмитриевич!

Зимин оглянулся: Опанасенко!

Они поздоровались и пока теснились с прохода, Леонтий Петрович сказал, что сегодня ему все равно надо было приехать в Москву: на окружную дорогу поздно вечером должен прибыть из Узбекистана хлопок — подарок дехкан орехово-зуевским текстильщикам. Десять вагонов — это целый состав! Остальные товарищи приедут прямо туда, а он решил совместить, да на площади-то вон что творится, с трудом к дверям пробрался...

— Писатели, — сказал Зимин, перехватив взгляд его на немцах. — Иоганнес Бехер, Людвиг Ренн, Анна Зегерс... Читали ее «Восстание рыбаков»? А вон и Марсель Кашен...

Но Леонтий Петрович и сам уже узнал редактора «Юманите», куда-то спешившего и говорившего на ходу:

— Честное слово, никогда пролетариат, и особенно пролетариат Франции, не имел такого оружия против империалистов, какое дают материалы этого процесса.

— Пока еще это дает обвинение. Подсудимых мы не слышали, — щурясь, возразил ему журналист с черными, похоже, подкрашенными усами.

Опанасенко хотел спросить Зимина, не знает ли тот, кто этот щеголь, но к нему пробралась молодая женщина с модной прической:

— Извините, немецким журналистам хочется узнать, кто вы — инженер, рабочий, партийный работник?

— Один из тех, которые не дали этим подлецам остановить наш текстиль, — сказал Зимин, смутив

и рассердив Опанасенко, а переводчица уже подхватила его слова и, похоже, от себя что-то к ним добавила.

— О! — воскликнул стоявший у окна Макс Гельц. — Das ist interesant![1] — Он подошел и с улыбкой протянул руку: — Гельц.

В быстрой его речи понятными для Леонтия Петровича промелькнули всего три слова: «геноссе», «Рур», «арбайтерн». А говорил Гельц, оказывается, о том, что немецкие рабочие хорошо знают, как героически борются советские текстильщики за создание собственной хлопковой базы. Горняки Рура просили его передать, что восхищены ими, лично Макс Гельц хотел бы узнать об этом эпическом народном подвиге подробней, не найдет ли возможным русский товарищ по окончании судебного заседания уделить ему часик-другой для беседы?

— С удовольствием, товарищ Макс Гельц, но...

— Литер «икс»? — заулыбался Гельц, когда переводчица сказала ему, почему не может состояться эта беседа сегодня.

— По-русски «ха», — улыбнулся Опанасенко, — от слова «хлопок».

По фойе разнесся звонок, и Гельц протянул руку:

— Ich werde auch dort! Zusammen, ja?[2]

— Хорошо, — с готовностью согласился Леонтий Петрович. На лестнице он пересказал Зимину, что говорил Кашен.

— А вы разве знаете французский? Завидую. У меня, признаться, было когда-то в планах: английский и немецкий! Потом «и» заменило «или», а знак восклицательный исправился на... вопросительный: английский или немецкий? Ну, а теперь, кажется, ничего, кроме вопросительного знака, не осталось... Время! Будет ли у нас его когда-нибудь в достатке?

— Должно быть, — Леонтий Петрович сощурил в улыбке глаза.—В программе ведь прямо об этом сказано.

Зимин тоже улыбнулся:

— Значит, при коммунизме?

— Хотя бы.

— Ну что же, подождем до коммунизма, — сказал Зимин, и трудно было понять — всерьез или пошутил. — Илья как там?

[1] Это интересно!

[2] Я буду тоже там! Вместе, а?

— Поправляется.

— Анна?

— К отчету на областной профконференции готовится.

— Д-да, — вздохнул Зимин. — А вот Степана нет уже с нами.

Снизу долетел второй звонок.

За покрытым красным бархатом столом никто еще не сидел, но с минуты на минуту судьи должны были появиться: начальники караулов уже выстроились для отдачи чести.

— А вы? — спросил Леонтий Петрович, когда Зимин подвел его к своему месту.

— Стоя дальше видно.

— Ну нет,—запротестовал Леонтий Петрович, а посмотрел вниз и приутих: в третьем ряду сидела Ксения.

В тот памятный день, когда еще горел подожженный Геннадием Нефедовым и Митькиным лес, он по дороге на вокзал просил ее приезжать к нему и писать — она обещала. И он ждал даже в те дни, когда душу отяжелила боль, вызванная смертью Степана, и во время пуска фабрик, а услышал по радио об аресте главарей «Промпартии»—и поехал в Москву, но дома ее не застал.

«Они теперь почти не бывают-с здесь», — сказала прислуга.

Оставил записку — ответа не получил, позднее написал ей Илюша — и ему не ответила.

— Пройти туда, наверное, трудно?

— А зачем? — спросил Зимин, но проследил за его взглядом и сказал: — А!

Даже и на таком расстоянии было видно, как бледно ее лицо. Если бы оглянулась...

— Суд идет! — гулко отдалось под высокими сводами, и по залу будто ветер пронесся: подсудимые и публика поднялись и стояли, пока судьи не заняли свои места. В руке председателя зазвенел колокольчик.

— Подсудимый Рамзин!

Глава «Промпартии» встал и, наверное, по укоренившейся профессорской привычке поправил очки.

— Признаете вы себя виновным в предъявленном обвинении?

Закрыть глаза, и могло бы показаться, что зал пуст. Но вот вздох... и... глуховатый голос:

— Да, признаю.

— Подсудимый Нефедов!

Ксения так и подалась вперед, оперлась руками о спинку стула из второго ряда.

Что сказал стоявший перед судейским столом седой профессор, наверное, и в первом ряду не разобрали.

— Говорите громче, — потребовал председатель.

Нефедов повторил отчетливее:

— Ничего другого не остается мне.

— Признаете?

— Да, я же сказал.

Леонтий Петрович видел, как руки Ксении соскользнули со спинки стула. Из второго ряда оглядывались на нее. Обморок? Нет, встала.

— Подсудимый Калинников!

А Ксения уже выбиралась на проход и, пошатываясь, шла по ковру к двери.

— Хорошая девушка! — шепотом одобрил Зимин поднявшегося Леонтия Петровича.

Когда тот спустился в вестибюль, Ксения, уже одетая, накрывалась платком, увидела его—и дрогнула вся.

— Вы были там? Слышали? — А глаза большие, темные...

— Слышал.

— Не знаю, на что я надеялась, — продолжала она словно в бреду. — На что-то надеялась... Ведь это... Думалось: нет, это же страшнее, чем Каин, и подлее, чем Иуда... Не может быть такое. Что-нибудь другое, только не это... Не такое страшное... Леонтий Петрович! Вы слышали, он сказал «да»?

Опанасенко обнял ее.

— Куда сейчас, Ксюша?

— Пока никуда или куда-нибудь. У меня нет теперь своего дома.

— Есть, Ксюшенька!

Она покачала головой.

— Спасибо за ваше сочувствие и прошу передать Илюше: для меня нет более дорогого, чем то, что он написал мне, но... — Голос ее перехватился, и она еще решительней покачала головой. — Паутина—она... липкая, страшная, и нос и рот мне забила, и руки в паутине, и душа сквозь нее на мир смотрит... Ведь он сребренники Иудины получал, а я, выходит, тоже на эти сре6-

ренники жила, одевалась, в консерватории училась. Нет, не могу я в этой паутине прийти к Илюше. И к вам не могу.

— Нервы, девочка! — сказал Опанасенко, хотя чувствовал и понимал: это больше, чем нервы. Ему ли, медику, не знать, что рядом с болью обнажившегося сердца надо быть предельно осторожным: одно грубое и неловкое прикосновение — и уже ничего не поможет.

— Нервы? Нет, Леонтий Петрович, это не сейчас мною придумано... Еще когда читала Илюшино письмо... Думалось, если... Нет, Леонтий Петрович, я не смогу увидеться с ним до тех пор, пока...

— От «паутины» не освободишься?

— Да, — сказала она тихо, а глаза все такие же — большие, темные. Ладонями он ощущал дрожь ее тела.

— Где же и как ты думаешь от нее освободиться?

Как? Это она поняла еще на пожаре — только с народом и для народа! Где?

— Там, где хлопок. В газетах пишут, как нужны сейчас там люди!

— Они везде нужны.

— Я решила туда.

— Понимаю, — задумчиво проговорил Леонтий Петрович, — но это ведь не вдруг. А сейчас куда ты?

— На вокзал.

— Подожди, девочка, я оденусь.

Принимая из рук швейцара пальто, Леонтий Петрович оглянулся — Ксении не было. Не застегнувшись, он выбежал из дверей.

Демонстрация закончилась, но народ с площади не расходился, несвернутыми покачивались и алые полотнища.

Ксении не было видно.

А в зале в эти минуты, разложив перед собой множество бумаг, Рамзин говорил:

— Я не собираюсь защищаться и оправдываться. Ибо разве можно защищаться при совершенных мною величайших преступлениях?

А спустя десять дней в последнем своем слове он скажет о том же: «Я чувствую волны ненависти, которые идут со всех концов страны и окружают меня. И эта ненависть справедлива. Требование прокурора о применении высшей меры социальной защиты справедливо».

«Твердая земля»! Это слова Прокофия Орлова, отца Петра, а напомнил мне о них своей усмешкой все тот же Рамзин[1]. Нет, не в дни процесса... Было это, когда уже отгремела Великая Отечественная война.

Во дворе завода «Красное Сормово» стоит на пьедестале исцарапанный танк — военное детище сормовичей, — первым ворвавшийся в горящий Берлин.

Возле него я повстречал Леонида Константиновича вместе с сормовскими конструкторами.

Был полдень, и по радио передавали «Последние известия».

— Белый дом все сильнее раздувает военную истерию, — говорил диктор, — ожидается, что Трумен потребует от конгресса увеличения ассигнований на подрывную работу внутри СССР и стран народной демократии.

Поседевший Рамзин оглянулся на танк, на грохочущие корпуса завода, в мирные дни переключившегося на выпуск мирной продукции, и по губам его скользнула усмешка, без слов говорящая:

«Бывало это, господа! Ну что ж, если у вас голова на плечах лишняя, попробуйте!»

Да, и время, и люди не те, что в дни Прокофия, с тоской бросившего в лицо царскому суду: «Душно! Земли твердой нет для мужика... хотя бы кочечки махонькой!»

И вот она — необозримая, под ногами его внуков и правнуков. Поэтому и пришлось войскам интервентов уйти от советских границ в свои душные болотные топи, поэтому десять лет спустя и плакал слезами бессильной ярости Рустам-бек, а еще через год ломал в бешенстве пальцы фашист фон Ридлер. Но это уже «Воды Нарына» и «Чайка»...

До встречи на страницах этих книг, дорогой читатель!

---

[1] Л. К. Рамзин, бывший главарь «Промпартии», искупил свою вину перед Советским государством. В достижениях советской науки и техники есть и его вклад. Здесь и конструкция прямоточного котла, и тепловые, аэродинамические и гидродинамические расчеты котельных установок, и теория излучения в топках, исследование свойств топлива и его приготовление... Наряду с этими работами у Л. К. Рамзина, с гордостью называвшего себя теперь советским специалистом, находилось время и на разработку проблемы теплофикации и на проектирование теплосиловых станций. А в 1944 году его вновь вернули в Теплотехнический институт, где он стал научным руководителем, одновременно возглавляя кафедру в Московском энергетическом институте.

СОДЕРЖАНИЕ

Бирюков Николай Зотович

ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ

Роман

Редактор М. Мигунова. Художник Н. Бортников
Художественный редактор Р. Горяховский
Технический редактор А. Фисенко. Корректор А. Щеглова

Сдано в набор 25.IV. 1964 г. Подписано к печати 28.X. 1964 г. БЯ 00220.
Бумага 84×108[1] [32]. Объем: 13,75 физ п л., 22,55 усл. п. л., 23,59 уч.-изд л.
Тираж 65 000 экз. Заказ № 1638. Цена 85 коп.
Т. п. — 1964 — поз. 70.

Издательство «Крым», Симферополь, Горького, 5.

Типография Крымского областного управления по печати,
Симферополь, проспект им. Кирова, 32/1.

ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать	По чьей вине
75	6 сверху	на Лубянку	на Лубянке	Типографии

Твердая земля

Цена 85 коп.



1964